

**Торвальд Ю.**

**Век криминалистики:**



*Пер. с нем. / Под ред. и со вступ. ст. Ф. М. Решетникова.  
3-е изд. - М.: Прогресс, 1991. - 323 с.*

Основанный на достоверных фактах увлекательный рассказ о драматической истории возникновения и развития криминалистики. Для широкого круга читателей.

## **ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ**

Вниманию советского читателя предлагается новый перевод книги западногерманского писателя Юргена Торвальда, выпущенной издательством «Прогресс» в 1974 г. под названием «100 лет криминалистики». Нынешнее ее название «Век криминалистики» - позволяет точнее передать пронизывающую всю книгу мысль автора о том, что только со второй половины прошлого столетия начался период расцвета, «век» криминалистики. Буквальный перевод немецкого названия книги -- «Век детективов» — мог бы только ввести в заблуждение, ибо читатели, скорее всего, предположили бы, что речь в ней идет о расцвете вполне определенного литературного жанра, связанного с творчеством Эдгара По, Конан Дойля и их последователей, либо же что в книге описываются приключения сыщиков.

«Век криминалистики» печатается с учетом тех изменений, главным образом сокращений, которые были внесены в текст автором при подготовке сборника «Беспощадная охота», включившего все его сочинения, относящиеся к криминалистике<sup>1</sup>.

Несколько слов о самом авторе. Юрген Торвальд родился в 1916 г. в Золингене. изучал медицину, филологию и новейшую историю, служил в военном флоте, а затем стал писателем, издав несколько романов различного литературного достоинства. В конце 50-х гг. Ю. Торвальд занялся историей современной медицины и опубликовал две книги: «Век хирургов» и «Всемирная империя хирургов», после чего в начале 60-х гг. он обратился к истории криминалистики, написав названные выше произведения. Затем, видимо, сочтя эту тему исчерпанной, Ю. Торвальд вновь обратился к истории медицины, выпустив в 1971 г. книгу «Пациенты», где главными героями стали уже не врачи или ученые, а пациенты — 22 человека, которым были проведены первые операции по пересадке почек, сердца, легких, печени. «Пациенты» читаются с захватывающим интересом, несмотря на несколько неожиданный выбор темы, или, вернее, героев книги. Нужно отметить, что Ю. Торвальд умеет выбирать сюжеты, успех которых заранее предопределен. В этом отношении достаточно показательна и его книга «Кровь королей. Драматическая история заболевания крови в европейских монарших семьях» (1975), где описываются судьбы нескольких потомков английской королевы Виктории, как

<sup>1</sup> Переводы остальных частей этого сборника вышли в издательство «Юридическая литература». (См.: Торвальд Ю. Криминалистика сегодня. Развитие судебной серологии. М., 1980; Он же. Следы в пыли. Развитие судебной химии и биологии. М., 1982.)

известно унаследовавших от нее гемофилию — специфическую болезнь, от которой страдают главным образом мужчины, а женщины выступают лишь в качестве носителей и передатчиков мутантного гена.

«Век криминалистики», пожалуй, лучшая книга Ю. Торвальда. По своему жанру она относится, скорее всего, к научно-художественной литературе и продолжает традицию прекрасного произведения Поля де Крюи «Охотники за микробами». Это основанный на достоверных, как правило, фактах увлекательный рассказ о драматической истории возникновения и развития криминалистической науки — одной из отраслей современного знания. Вместе с тем, поскольку история криминалистики иллюстрируется у Ю. Торвальда рассказами о расследовании и судебном разбирательстве конкретных уголовных дел, «Век криминалистики» в немалой степени наделен и чертами детективной литературы. Именно это своеобразное жанровое сочетание и предопределяет успех книги у читателей.

Книга Ю. Торвальда состоит из четырех самостоятельных частей, посвященных истории дактилоскопии, судебной медицины, судебной токсикологии и судебной баллистики. Следует сразу же отметить, что «Век криминалистики», несмотря на обилие содержащихся в нем исторических сведений по каждой из названных специальностей, ни в коей мере не может рассматриваться в качестве учебника по истории криминалистики. Современная система криминалистики, в частности в советской науке, включает в себя, помимо общетеоретической части, три основных раздела: криминалистическую технику, следственную тактику и методику расследования отдельных видов преступлений<sup>1</sup>. Нетрудно убедиться, что в книге Ю. Торвальда два последних раздела криминалистики вообще никак не затронуты. Что же касается криминалистической техники, то в книге освещена лишь история дактилоскопии (а в связи с нею и некоторых других методов идентификации личности) и судебной баллистики, входящих в криминалистическую науку, а также тесно с нею связанных, но самостоятельных наук — судебной медицины и судебной токсикологии (вообще же вопрос о предмете криминалистики по-прежнему, как и в XIX в., остается весьма дискуссионным).

Ю. Торвальд убедительно проиллюстрировал связь криминалистики с развитием естественных наук, прогресс которых как раньше, так и теперь предопределяет основные ее достижения. Среди упоминаемых в книге ученых, чьи труды способствовали развитию криминалистики, мы встречаем имена Лавуазье, Берцелиуса, Либиха, Жолио-Кюри и многих других. При этом автор показывает и то, как достижения «большой науки» применяются к решению задач расследования преступлений (судебная токсикология), и то, как криминалисты, используя ее методы и приемы исследования, ставят и решают самостоятельные задачи (дактилоскопия).

Ю. Торвальд справедливо обращает внимание и на то, как криминалистическая наука подчас способствовала развитию наук естественных (так, успехи судебной токсикологии, возникшей в результате общего взлета химической науки, способствовали популяризации достижений ученых-естественников, не только росту их престижа, но и созданию новых научных учреждений, кафедр и т.п.). Правда, в его книге не нашлось места для показа еще одного направления обратного влияния криминалистики на развитие других наук, а именно: использования криминалистических экспертиз для прочтения стертых временем рукописей, установления авторства тех или иных произведений искусства, решения некоторых исторических загадок и т. п.

Хотелось бы подчеркнуть и наиболее существенный, на наш взгляд, пробел данной книги. Хотя описание событий в ней постоянно переносится из одной страны в другую, а часто и с континента на континент (из Франции в Англию, оттуда в Индию или в США, затем снова в Европу и т. д.), что создает ощущение широкой панорамы охвата, все же неоправданно редко упоминается в ней Россия и явно недооценивается вклад русских, советских ученых в развитие криминалистики. Об этом можно было бы не говорить, если бы автор ставил своей целью написать очерки истории какой-либо из криминалистических наук в одной, отдельно взятой стране, скажем во Франции или в Англии. Поскольку, однако, он претендует на то, чтобы дать всеобъемлющую картину развития в «век криминалистики» и судебной медицины, и судебной баллистики и т. д., то ради справедливости следует высказать и нашу позицию по этим вопросам.

Обратимся, в частности, к истории судебной медицины. Известно, что уже в первой половине XIX в. в русских университетах были организованы первые кафедры судебной медицины. Большой известностью пользовалось руководство по судебной медицине, принадлежащее перу профессора Медико-хирургической академии С. А. Громова (1774—1856). В трудах великого русского хирурга и анатома Н. И. Пирогова в 40—50-х гг. прошлого века впервые в истории судебной медицины были сформулированы многие рекомендации для судебных медиков по вопросам осмотра трупов, экспертизы огнестрельных ранений и др.<sup>2</sup> Однако об этом в книге Ю. Торвальда нет даже малейших упоминаний. Более того, по некоторым вопросам изложенное искажает подлинную историю судебной медицины. Вот только один пример. «Приоритет в области установления вида крови,— отмечал профессор В. Ф. Червяков,— принадлежит русскому исследователю — патологоанатому и судебному медику профессору Ф. Я. Чистовичу, который в 1899 году открыл преципитиновую пробу. Это открытие имело огромное значение для судебно-медицинской практики и действительно произвело переворот в лабораторной практике исследования следов крови»<sup>3</sup>. Между тем в книге Ю. Торвальда имя Ф. Я.

<sup>1</sup> См.: Криминалистика. Под ред. А. Н. Васильева, М., 1980, с. 4—5; Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982, с. 14.

<sup>2</sup> См.: Червяков В.Ф. История судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. М., 1956, с. 11—12.

<sup>3</sup> См.: Червяков В.Ф. История судебной медицины и судебно-медицинской экспертизы. М., 1956, с. 15.

Чистовича не упоминается, а говорится только о заслугах Уленгута, практически использовавшего это открытие для целей судебной экспертизы.

Достаточно весом вклад русских ученых и в развитие судебной токсикологии. Например, профессор Медико-хирургической академии А. И. Нелюбин еще в 1824 г. опубликовал в «Военно-медицинском журнале» «Правила для руководства судебного врача при исследовании отравления», где им впервые в мире была высказана мысль о невозможности обнаружения металлических ядов в трупном материале без разрушения органических веществ. Лишь спустя 15 лет после того, как эти «Правила» увидели свет, французский токсиколог Орфила, которому посвящены многие страницы «Века криминалистики», также предложил при исследовании трупного материала на наличие соединений металлов применять азотную кислоту<sup>1</sup>.

Важную роль в развитии судебной токсикологии и судебной химии сыграли труды таких выдающихся русских ученых, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, Н. Н. Зинин, которые, кстати, нередко выступали и в качестве экспертов на громких и сложных судебных процессах<sup>2</sup>. Наконец, и в области судебной баллистики начиная с 70-х гг. прошлого века русскими учеными было сделано немало (помимо экспертиз Н. И. Пирогова, можно упомянуть книгу Н. Щеглова «Материал к судебно-медицинскому исследованию огнестрельных повреждений», вышедшую в 1879 г., и др.)<sup>3</sup>.

Если в книге Ю. Торвальда все же упомянуты имена некоторых русских ученых прошлого (например, сообщается о том, что к Бертильону приезжали д-р Бехтерев из Петербурга и Сергей Краснов из Москвы), то развитие криминалистики в нашей стране в советское время, как и многие ее существенные достижения, вообще не нашло в книге какого-либо отражения. По этому вопросу хотелось бы порекомендовать читателю книгу И. Ф. Крылова «Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы» (Л., 1975), в которой особого внимания заслуживают биографические заметки, посвященные двенадцати пионерам советской криминалистики — А. А. Захарьину, И. Н. Якимову и др.

При этом необходимо отметить, что Ю. Торвальд справедливо отдает должное приоритету русского ботаника М. С. Цвета в открытии метода колоночной жидкостной хроматографии, с помощью которого можно разлагать на составные части различные химические вещества и таким образом идентифицировать каждую из составных частей того или иного вещества. К сказанному в книге Ю. Торвальда необходимо добавить, что советские ученые продолжают совершенствовать предложенный М. С. Цветом в 1904 г. (а не в 1906 г., как пишет Ю. Торвальд) метод для исследования прежде всего сложнейших природных соединений. Им удалось уменьшить объем хроматографических колонок в тысячи раз и создать принципиально новые специальные приборы — микроспектрофотометры («Милихром» и др.), которые ныне производятся серийно и применяются в химии, биологии, медицине, в криминалистике и во многих отраслях промышленности<sup>4</sup>.

Разумеется, книга Ю. Торвальда, описывающая главным образом события второй половины XIX—начала XX в., никак не может служить ориентиром для оценки нынешнего состояния и возможностей криминалистической техники. Известно, что за последние годы в нашей стране и за рубежом на службу криминалистике все шире привлекаются самые разнообразные научные приборы общего назначения: названные уже микроспектрофотометры, рентгеновские установки, электронные просвечивающие и растровые микроскопы, полярографы и т. д. Предпринимаются попытки использовать для криминалистических целей столь перспективные открытия, как явление ядерно-магнитного резонанса или голография. По-видимому, большие возможности для использования их при раскрытии преступлений заложены и в методах идентификации лица по запаху или по голосу (судебно-одорологическая и фонографическая экспертизы), которые в настоящее время разрабатываются<sup>5</sup>.

Данная книга всем своим содержанием подтверждает вывод о том, что криминалистика — это наука, находящаяся в процессе непрерывного развития, и что в принципе не существует препятствий к применению в ней любых научно обоснованных методов исследования<sup>6</sup>. Вместе с тем следует подчеркнуть, что многие из криминалистических проблем, история которых драматически описывается в книге Ю. Торвальда, до сих пор не нашли окончательного решения. В частности, несмотря на появление множества рекомендаций, основанных на использовании новейших методов, сложнейших биохимических и иных анализов, по-прежнему нередко остается крайне затруднительным определение давности наступления смерти, хотя нет необходимости говорить о том, что от правильного решения этого вопроса часто зависят результаты расследования самых запутанных дел, связанных с обвинением в убийстве<sup>7</sup>.

И все же, хотя книга Ю. Торвальда в основном обращена - к прошлому криминалистики, она

<sup>1</sup> См.: Швайкова М. Д. Судебная химия. М., 1965. с. 12.

<sup>2</sup> См.: Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л., 1980, с. 83—100.

<sup>3</sup> Подробнее см. там же, с. 125-132.

<sup>4</sup> См. статью академика Е. Велихова «В глубь миллиардной доли грамма». — «Правда» от 17 августа 1983 г.

<sup>5</sup> См.: Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Саратов, 1980; Ш л я х о в А. Р. Пути повышения роли судебной экспертизы. — «Советское государство и право», 1978, № 3; Селиванов Н. Новинки криминалистической техники. — «Социалистическая законность», 1979, № 7.

<sup>6</sup> См.: Криминалистика, с. 13.

<sup>7</sup> См., например: Ботезату Г. А. Судебно-медицинская диагностика давности наступления смерти. Кишинев, 1975; Мельников Ю. Л., Жаров В. В. Судебно-медицинское определение времени наступления смерти. М., 1978.

содержит не только исторические описания, но и немало полезных выводов и уроков, которые и по прошествии времени нисколько не утратили своего значения. Скажем, описываемое в книге дело Тиса-Эслар служит грозным предупреждением о том, какой огромный вред могут принести невежество и предрассудки, если им позволить вмешиваться в дела правосудия, и вместе с тем финал этой истории свидетельствует, что подлинная наука может оказаться сильнее любых темных сил и вопреки их сопротивлению помочь установлению истины.

Очень важным представляется и вывод, к которому подводит автор на материале целого ряда уголовных дел,—в криминалистике, как и в любой другой науке, не должно быть места непроверенным гипотезам, принимаемым за аксиомы только потому, что их выдвигают специалисты, пользующиеся большим авторитетом (подчас, кстати, дутым). Более того, в сфере криминалистики подобное явление особенно опасно, поскольку последствием его может оказаться не просто неверное решение того или иного научного спора, а осуждение невиновного либо оправдание подлинного преступника.

Мысль об огромной ответственности эксперта за обоснованность его выводов, проходящая красной нитью через всю книгу Торвальда, разумеется, и поныне не утратила, да и никогда не утратит своего значения. И в этой связи хотелось бы остановиться на одной поучительной истории.

Ю. Торвальд дает очень высокую оценку деятельности Альфонса Бертильона, которого рассматривает как основоположника современной криминалистической науки, явно недооценивая, заметим, трудов даже Ганса Гросса и других исследователей, также стоявших у ее истоков. В книге достаточно подробно описывается жизненный путь А. Бертильона, но лишь мимоходом упоминается его весьма старательное участие в знаменитом деле Дрейфуса. Как известно, офицер французского генерального штаба Дрейфус в 1894 г. предстал перед судом и по сфабрикованному обвинению был признан виновным в шпионаже и приговорен к пожизненному заключению. Французская реакция использовала дело Дрейфуса для разжигания шовинистических страстей и антисемитских настроений, а прогрессивная общественность Франции и других европейских государств выступила с требованием пересмотра приговора. В конечном счете после нескольких судебных разбирательств, каждое из которых оказывалось в центре острейшей политической борьбы, в 1906 г. Дрейфус был полностью реабилитирован. Важнейшим доказательством обвинения в деле Дрейфуса стало заключение трех экспертов, в том числе Бертильона, о том, что представленный суду документ был написан рукой Дрейфуса. Следует отметить, что Бертильон, который отнюдь не был специалистом в почерковедении, сыграл при этом особенно отрицательную роль: с самого начала на основании совершенно надуманных и не выдерживающих серьезной критики схем он безапелляционно заявил, что документ мог быть написан только Дрейфусом, и никем другим, а затем, уже единственный из экспертов, продолжал настаивать на своей правоте, несмотря на представлявшиеся в последующие годы в судебные инстанции многочисленные доказательства, опровергавшие его утверждение. В результате от Бертильона отвернулись не только многие прогрессивные деятели во Франции и за рубежом, но и ближайшие коллеги, прежде относившиеся к нему с неизменным уважением.

В связи с оценкой роли Бертильона в истории криминалистики следует сказать и о том, что Ю. Торвальд справедливо делает в своей книге акцент на преимуществах дактилоскопической системы регистрации преступников перед вытесненной ею системой «бертильонажа». И все же основная идея Бертильона, а именно требование изучать и классифицировать элементы внешности преступников, и по настоящее время далеко не исчерпала себя, хотя речь ныне, разумеется, идет уже о совершенно новых подходах. Так, во многих странах, в том числе и у нас, сейчас довольно успешно разрабатываются устройства, предназначенные для суммирования информации о признаках внешности разыскиваемого преступника. К их числу относятся конструкции типа «фоторобот», «айдентикит», «мимик», «рисовально-композиционный идентификатор» и др. Свидетелю при этом предлагаются изображения отдельных частей лица, из которых он выбирает соответствующие тому, что сохранила его память, а из показаний нескольких свидетелей, если это оказывается возможным, составляется сводный, синтетический портрет<sup>1</sup>.

Особая и несколько неожиданная тема, к которой Ю. Торвальд не раз обращается на страницах своей книги,— это взаимосвязь криминалистики, или, точнее, деятельности органов расследования, с литературой. По твердому убеждению Ю. Торвальда, если в Германии XIX в. так и не появилось мощного централизованного органа сыскальной полиции, подобного парижской Сюрте или лондонскому Скотланд-Ярду, то это произошло в немалой степени из-за отсутствия в Германии писателей, которые, подобно англичанам Чарлзу Диккенсу, Уилки Коллинзу и позднее Конан Дойлю или французам Эмилю Габорио, избрали бы темой своих произведений деятельность детективов. Пожалуй, трудно найти другой пример такого рода несколько наивной уверенности писателя в возможности литературы оказывать прямое воздействие не только на духовную жизнь общества, но и на организацию полицейской службы.

В книге Ю. Торвальда содержится немало интересных сведений из жизни двух человек, в большей или меньшей степени причастных и к уголовному розыску, и к литературе, а именно англичанина Генри Филдинга (1707—1754) и французского Франсуа Эжена Видока (1775—1857). Каждый из них сыграл заметную, если не выдающуюся, роль в истории борьбы с уголовной преступностью в своей стране; значение этой их деятельности очень хорошо показано в произведении Ю. Торвальда, и, вероятно, в этом смысле оно открывает немало нового нашему читателю. Однако хотелось бы отметить и весьма

<sup>1</sup> См.: Колдин В. Я. Роль науки в раскрытии преступлений. М., 1975, с. 27-28.

существенные различия в фигурах Филдинга и Видока, мимо которых проходит Ю. Торвальд, и прежде всего по вопросу о том месте, какое каждый из них занимает в истории литературы. Сразу же следует сказать о том, что Филдинг был прежде всего писателем, лишь в конце своей жизни ставшим судьей и организатором полицейской службы, а Видок поначалу был профессиональным преступником, затем главой сыскной службы и уже потом стал писателем. Если Филдинг отличался безукоризненной честностью, то Видок был человеком совершенно иного склада. Наконец, несоизмеримы и масштабы их литературного таланта. Генри Филдинг был выдающимся писателем, один из романов которого навсегда вошел в мировую литературу. Не случайно К. Маркс, которому, по свидетельству его биографа Франца Меринга, очень нравились английские романы XVIII в., особенно любил среди них лучшее создание Г. Филдинга — «Историю Тома Джонса, найденыша»<sup>1</sup>. Что же касается главного литературного труда Видока, его «Мемуаров» (или «Записок»), вышедших в четырех томах в Париже в 1828—1829 гг., то для их оценки, вероятно, лучше всего обратиться к мнению А. С. Пушкина, который ознакомился с ними сразу по их выходе в свет.

В сочинениях А. С. Пушкина имеется немало упоминаний имени Видока в сочетаниях, столь хорошо известных нашему читателю, что оно уже стало нарицательным. К публикации же «Записок» Видока А. С. Пушкин отнесся с крайним возмущением, считая того настолько безнравственным человеком, что ему не должно было бы, по мнению А. С. Пушкина, позволять занять хоть какое-то место в литературе. Самого же Видока он характеризует как «отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного», который не имеет права толковать «о благородстве чувств и независимости мнений»<sup>2</sup>.

Очевидно, что в оценке личности Видока мы вполне можем доверять чутью нашего поэта, а не восторженным характеристикам Ю. Торвальда. Что же касается вклада Видока в организацию и совершенствование деятельности французской уголовной полиции, то в этом вопросе оценки Ю. Торвальда представляются достаточно убедительными.

Из книги Ю. Торвальда читатель узнает немало любопытного и о писателях, далеких от детективной литературы, а тем более от деятельности настоящих детективов. Например, известно, что Марк Твен еще в 1882 г. в романе «Жизнь на Миссисипи» описал поиск преступника по сохранившемуся на месте преступления отпечатку пальца. Современный читатель этого романа может и не знать, что методы дактилоскопии стали известны в Соединенных Штатах более чем десятилетие спустя, и действительно остается тайной, каким образом Марк Твен пришел к своему открытию, было ли то случайностью, вдохновением или интуицией писателя. Пожалуй, это напоминает другую литературную загадку — Джонатана Свифта, который в романе «Путешествия Гулливера», опубликованном в 1726 г., высмеивал астрологов, якобы открывших два спутника у Марса. Самое поразительное заключается в том, что эти два спутника Марса действительно были обнаружены астрономами, но лишь в 1877 г., то есть через 151 год. В случае же Марка Твена скорее можно говорить об идеях, уже носившихся в воздухе — и это подтверждается Книгой самого Ю. Торвальда, — а не об открытии, как у Свифта, намного опередившем свое время.

Наконец, среди упоминаемых в книге Ю. Торвальда выдающихся писателей есть и Дж. Б. Шоу, которому брошен язвительный, но, вероятно, не лишенный оснований упрек в том, что он любил публично высказываться по всевозможным поводам, причем нередко без серьезных на то оснований и по вопросам, в которых он отнюдь не был специалистом (в данном случае речь шла о судебной баллистике). Разумеется, описанная Ю. Торвальдом история не ставит под сомнение значения литературного творчества Дж. Б. Шоу.

Еще более важной темой из числа рассмотренных в книге Ю. Торвальда и заслуживающих самостоятельного анализа представляется проблема соотношения криминалистики и криминологии. Если в самом общем виде криминалистику можно определить как науку о приемах и средствах расследования преступлений, то криминология — это наука о причинах преступности и способах борьбы с нею. На наш взгляд, суждения Ю. Торвальда по вопросам криминологии, высказанные им в «Веке криминалистики», весьма поверхностны и требуют, как правило, довольно критического к себе отношения. В особенности это относится к оценке учения итальянского психиатра Чезаре Ломброзо (1835—1909) в сопоставлении со взглядами бельгийского статистика Адольфа Кетле (1796—1874). С точки зрения Ю. Торвальда, оба они были серьезными учеными, разными путями пытавшимися вскрыть действительные причины преступности. Поскольку подобная позиция может ввести в заблуждение некоторых читателей, специально не занимавшихся историей криминологии, представляется необходимым поспорить с автором «Века криминалистики».

Кетле действительно внес весьма существенный вклад как в статистическую науку (будучи одним из ее основателей), так и в изучение преступности. В своих работах он показал, что количество и виды преступлений, совершаемых в отдельной стране, подчиняются определенным статистическим закономерностям. Не случайно большой интерес к трудам Кетле проявлял К. Маркс. В статье «Смертная казнь» (1853) он отмечал, что Кетле в 1829 г. удалось с поразительной точностью предсказать не только общее число, но и все разнообразные виды преступлений, которые были затем совершены во Франции в 1830 г. Более того, именно на открытия Кетле опирался К. Маркс, когда в этой же статье сформулировал знаменитый вывод: «Итак, если преступления, взятые в большом масштабе, обнаруживают, по своему числу и по своей классификации, такую же закономерность, как

<sup>1</sup> См.: Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957, с. 526.

<sup>2</sup> Пушкин А. С. Поли. собр. соч., т. 11. М., 1949, с. 129.

явления природы, если, по выражению Кетле, «трудно решить, в которой из двух областей» (физического мира или социальной жизни) «побудительные причины с наибольшей закономерностью приводят к определенным результатам», то не следует ли серьезно подумать об изменении системы, которая порождает эти преступления»<sup>1</sup>. Однако сам Кетле никогда не формулировал столь далеко идущих выводов. Его заслуга состояла лишь в том, что он обнаружил и констатировал определенные закономерности, которым подчиняются преступления, взятые в большом числе. Что же касается причин преступности, то за решение этой проблемы Кетле вообще никогда не брался. В этом ограниченность его учения, что, однако, не умаляет его действительных заслуг в истории развития криминологии.

Напротив, Ломброзо в отличие от Кетле сыграл весьма отрицательную роль как в истории изучения причин преступности, так и в истории уголовного права. Опираясь на результаты наблюдений над заключенными (он несколько лет работал тюремным врачом), Ломброзо в своей книге «Преступный человек» (1876) заявил, что им открыт особый тип людей — «прирожденный преступник», которого легко обнаружить по определенным физическим признакам («стигматам»), скажем по особенностям строения черепа, форме ушей, носа, губ и т. д. В изображении Ломброзо и его последователей, образовавших так называемую «итальянскую школу» в уголовном праве, преступность выступала в качестве не социального, а биологического явления, порождаемого в первую очередь биологическими (генетическими и т. п.) причинами. Тем самым, вопреки утверждениям Ю. Торвальда, учение Ломброзо по своей сути было попыткой не раскрыть подлинные причины преступности, а увести исследователей этой проблемы на неверные пути. Особенно же реакционный смысл имели те выводы, которые делали из учения Ломброзо его последователи в области уголовной политики, поскольку вместо судебной процедуры и ответственности за совершенные уголовные преступления ими предлагалась система выявления по соответствующим стигматам «потенциальных преступников», которых следовало «устранить» из общества, не дожидаясь совершения ими какого-либо преступления.

По этим причинам мы, разумеется, не можем согласиться с Ю. Торвальдом в оценке роли Кетле и Ломброзо, как и с рядом других его суждений по истории криминологии. Вместе с тем хотелось бы отметить, что некоторые ученые, упоминаемые в книге Ю. Торвальда в качестве видных криминалистов, были и довольно известными для своего времени криминологами, хотя Ю. Торвальд об этом и не говорит. Например, на страницах «Века криминалистики» много рассказывается об экспертизах, проведенных профессором судебной медицины в Лионе Лакассанем (1843—1924). Хотелось бы добавить, что Лакассань был одновременно и основателем так называемой «лионской школы» в криминологии, занявшей промежуточные позиции в споре между сторонниками двух основных направлений в криминологии — антропологического и социологического, и во многом предопределившей пути развития этой науки во Франции. Лакассань был участником многих международных конгрессов по вопросам причин преступности, одним из основателей и редакторов журнала «Архивы уголовной антропологии», на страницах которого им было сформулировано кредо «лионской школы»: «Социальная среда является бульоном, в котором развивается культура преступности. Преступник — это микроб, не играющий никакой роли до того момента, пока не окажется в бульоне, который заставит его активно функционировать»<sup>2</sup>.

Нетрудно, разумеется, заметить, что терминология этого определения заимствована из учения великого биолога Луи Пастера и что так формулировать концепции в области причин преступности мог только тот, кто, подобно Лакассаню, был врачом или судебным медиком.

В своей книге Ю. Торвальд рассказывает также об итальянском профессоре медицины Оттоленги, активном стороннике введения системы «бертильонажа». Видимо, это не очень украсит облик профессора, но ради справедливости следует добавить, что Оттоленги был не менее активным последователем и учения Ломброзо. Особенно усердно он изучал носовую кость черепа и пришел к выводу, что по ней можно различать не только преступников и «обычных» граждан, но и определять, кто из преступников является прирожденным убийцей, кто вором, кто мошенником и т. п.<sup>3</sup>

Нуждаются в серьезных комментариях и те восторженные оценки, которые дает в своей книге Ю. Торвальд полицейским службам ряда капиталистических государств. Как правило, излагая историю создания полиции какой бы то ни было страны, Ю. Торвальд сначала рисует очень яркую, образную картину царившего разгула преступности, коррупции, беззакония и произвола в деятельности полицейских органов. Затем он переходит к описанию того, как с приходом Видока, Эдгара Гувера или другого реформатора наступает эра подавления преступности и торжества законности и порядка. При этом Ю. Торвальд справедливо подчеркивает, что необходимость реформ каждый раз была социально обусловлена и проводились они в тот момент, когда положение дел в борьбе с преступностью достигало поистине кризисного состояния. Однако у читателя может сложиться впечатление, будто многие из описываемых в книге пороков, присущих полиции капиталистических государств, относятся лишь к давно прошедшим временам, а ныне они полностью или почти искоренены. В действительности же дело обстоит далеко не так.

Скажем, по прочтении книги Ю. Торвальда может сложиться впечатление, будто реорганизация

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 532.

<sup>2</sup> «Archives d'anthropologie criminelle», 1889, p. 182.

<sup>3</sup> Подробнее см.: Решетников Ф. М. «Классическая» школа и антрополого-социологическое направление в уголовном праве. М., 1966, с. 73.

лондонского Скотланд-Ярда в 80-х гг. прошлого века, после того как некоторые его сотрудники были уличены во взяточничестве, привела к избавлению этой организации от ее пороков. Между тем и поныне время от времени всплывают на поверхность факты, свидетельствующие о размахе существующей в Скотланд-Ярде коррупции. В частности, в ходе расследования, начатого в 1978 г. и продолжающегося вот уже несколько лет (его проводят сотрудники провинциальной полиции), раскрыты факты взяточничества со стороны десятков рядовых и высокопоставленных чиновников Скотланд-Ярда, тесных связей многих из них с преступным миром, помощи преступникам в организации ограблений, сокрытии следов преступлений, устройстве побегов из тюрем и т. п. Многочисленные разоблачения, свидетельствующие о том, что лондонская полиция, от низших чинов до самой верхушки, была охвачена коррупцией, полностью дискредитировали ее в глазах населения<sup>1</sup>.

Столь же неправильно было бы полагать, будто в современных условиях утратили свою силу приводимые в книге Ю. Торвальда слова одного из руководителей нью-йоркской полиции Дж. Уоллинга, вскрывшего в 1887 г. чудовищные пороки этой организации и написавшего о них в стиле блестящего памфлета. И хотя Ю. Торвальд сопровождает слова Уоллинга комментарием, из которого следует, будто полиция в Соединенных Штатах была такой лишь в старые времена, нас, скорее, поражает то, до какой степени эта характеристика состояния американской полиции верна и сегодня.

В особенности неправильной представляется та явно идеализированная характеристика, которую дает Ю. Торвальд американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) и его многолетнему главе Э. Гуверу. Кстати сказать, Э. Гувер до самой своей смерти (2 мая 1972 г.) прилагал немало усилий к тому, чтобы всячески рекламировать деятельность ФБР и его заслуги, большей частью мнимые, в борьбе с организованной преступностью, то есть именно в том плане, в каком ФБР и Э. Гувера рисует Ю. Торвальд. Видимо, в этих же целях в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне чуть ли не ежедневно организуются экскурсии, где демонстрируются и оборудованные по последнему слову Науки и техники лаборатории, и коллекции огнестрельного и холодного оружия, произведенного чуть ли не во всех странах, и фотографии, схемы, вещественные доказательства, подтверждающие якобы героические усилия ФБР в борьбе с гангстерскими бандами 20—30-х гг. (принять участие в такой экскурсии может любой американец или иностранец, приехавший в Вашингтон и располагающий хотя бы одним лишним долларом и часом времени).

Приходится лишь сожалеть, что Ю. Торвальд в описании ФБР пошел на поводу у рекламных сочинений, большей частью инспирированных самим Э. Гувером. В действительности Э. Гувер пришел в 1924 г. на пост руководителя Бюро расследований {так до предпринятой им в 1930 г. реорганизации называлось ФБР}, имея за своими плечами опыт работы двоякого характера: клерка из отдела каталогизации библиотеки конгресса США и самого активного участника так называемых «пальмеровских облав» — преследований левых сил в США, организованных в 1919—1920 гг. министром юстиции Пальмером, в ходе которых на основании ложных обвинений около десяти тысяч американцев были подвергнуты арестам, а многие из них затем высланы из страны. Э. Гувер действительно, как это и отмечает Ю. Торвальд, придавал большое значение широкому использованию достижений науки и в особенности систематизации собранных его ведомством сведений самого различного характера. Однако вопреки Ю. Торвальду все это использовалось в первую очередь не для борьбы с гангстерами и другими опасными разрушителями федеральных законов, ради чего и создавалось Бюро расследований, а для организации полицейской слежки за миллионами американских граждан, проведения антисоветских и антикоммунистических кампаний, устройства травли и расправ над лидерами прогрессивных движений. (Из многочисленных преступлений американской охраны достаточно напомнить лишь об убийстве в 1968 г. выдающегося руководителя негритянского демократического движения Мартина Лютера Кинга, «причастность» к которому ФБР во главе с Э. Гувером не вызывает сомнений<sup>2</sup>).

Весьма односторонней представляется и восторженная оценка, которую дает Ю. Торвальд различным комиссиям (или комитетам) по расследованиям, якобы игравшим с начала XX в. и до нашего времени выдающуюся роль в борьбе «лучшей части Америки» с коррупцией в полицейских органах. Да, среди всякого рода комиссий, создававшихся в США и президентами, и обеими палатами конгресса, и различными неправительственными организациями на протяжении последних десятилетий, были и такие, которые способствовали разоблачению, скажем, связей организованных преступников с полицией (комиссия Уиккершема начала 1930-х гг., комиссия Кефопера конца 1940-х гг. и др.) либо злоупотреблений ФБР и ЦРУ в их деятельности внутри США и за их пределами (комиссия Черча 1976 г.). Однако даже деятельность этих комиссий никогда не имела своим результатом радикального искоренения вскрытых ими пороков. Что же касается большинства комиссий по расследованиям, то они создавались либо только для того, чтобы успокоить общественное мнение, возмущенное уже вскрытыми преступлениями и махинациями властей (например, во времена «Уотергейта»), либо, напротив, играли откровенно реакционную роль, насаждая в стране атмосферу всеобщего страха и подозрительности, и служили орудием наступления на права и свободы американских граждан (самым чудовищным примером может служить кампания, развязанная в начале 1950-х гг. комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, которую возглавлял сенатор Маккарти).

<sup>1</sup> См.: Решетников Ф. М. Буржуазное уголовное право—орудие защиты частной собственности. М., 1982, с. 154.

<sup>2</sup> См.: Костин П. В. Тайная полиция США. М., 1981, с. 227-235.



И уже совершенно ложным, искажающим историческую действительность представляется описание Ю. Торвальдом роли частного сыскного агентства Аллана Пинкертон в «разоблачении» в 70-х гг. прошлого века в штате Пенсильвания преступлений якобы совершенных таинственной ирландской организацией «Молли Магвайрс».

Исследованиями прогрессивных американских историков, среди которых хотелось бы выделить книгу Антони Бимбы, впервые опубликованную в 1932 г. и недавно переизданную в США (1982)<sup>1</sup>, неопровержимо установлено, что миф о террористической организации «Молли Магвайрс», якобы действовавшей среди горняков ирландского происхождения, был создан как предлог для кровавой расправы над руководителями рабочего движения в Пенсильвании. Когда в 70-х гг. прошлого века горняки этого американского штата повели стачечную борьбу против нечеловеческих условий существования, против безжалостной эксплуатации и тирании буржуазии, хозяева призвали на помощь частное агентство Пинкертон. В ход был пущен механизм провокаций: бандиты в масках врываются в жилища рабочих и убивали людей, якобы неугодных мифической «Молли Магвайрс», агенты Пинкертон проникали в рабочие организации, действительно борющиеся за интересы горняков, разжигали в них национальную вражду, совершали уголовные преступления, а затем сваливали вину за них на рабочих и их руководителей. В 1877 г. с помощью провокаторов был организован судебный процесс над активистами рабочего движения в Пенсильвании, в ходе которого обвинение, хотя оно и не смогло доказать существования «Молли Магвайрс», все же сумело добиться вынесения смертного приговора 19 руководителям рабочих. Все они были повешены. Следует добавить, что агентство Пинкертон существует и поныне: оно превратилось в одно из крупнейших в мире частных сыскных агентств и по-прежнему сочетает в своей деятельности расследование уголовных преступлений и обслуживание, теперь уже на основе постоянных договоров, крупнейших монополий США и Канады с целью шпионажа за рабочими, срыва забастовок и т. п.<sup>2</sup>

В заключение добавим, что автор «Века криминалистики» иллюстрирует историю создания и развития этой науки на примерах, относящихся почти исключительно к одному-единственному виду преступлений, а именно к тяжкому преднамеренному убийству. Как известно, большинство авторов детективных романов также предпочитают сюжеты, связанные с расследованием дела о каком-либо загадочном убийстве, и в этом опять проявилось отмеченное нами сходство книги Ю. Торвальда с жанром детективной литературы. Однако избранный Ю. Торвальдом прием вовсе не означает, что достижения криминалистики как науки связаны лишь с расследованием дел об убийствах. В данном случае речь идет лишь об одном из видов общеуголовных преступлений, правда, наиболее опасном из них и чаще всего наиболее трудно раскрываемом. Действительная же «палитра» преступлений, совершаемых в буржуазном обществе, намного богаче и разнообразнее, и развитию криминалистики в немалой степени содействовала необходимость борьбы не только с убийствами, но и с имущественными, должностными и любыми другими преступлениями.

В этой связи хотелось бы напомнить сатирический набросок К. Маркса из рукописи «Теории прибавочной стоимости» (IV том «Капитала»), Высмеивая буржуазных вульгарных политэкономов, которые утверждали, что все профессии, в том числе и земельного собственника, и священника и т. п., «производительны», К. Маркс заметил, что с этой точки зрения должна быть признана «производительной» и «профессия» преступника. Действительно, писал К. Маркс, ведь преступник «производит» преступления, а следовательно, и уголовное право, и профессора, читающего этот курс, и полицию, сыщиков, судей, палачей и т. д. Продолжая эту шутиливую мысль, К. Маркс далее спрашивал: «Достигли ли бы замки их теперешнего совершенства, если бы не было воров? Получило ли бы изготовление банкнот такое усовершенствование, если бы не существовало подделывателей денег? Проник ли бы микроскоп в обыкновенные торговые сферы, не будь в торговле обмана? Не обязана ли практическая химия своими успехами в такой же мере фальсификации товаров и стремлению ее обнаружить, в какой она ими обязана рвению честных производителей? Изобретая все новые средства покушения на собственность, преступление вызывает к жизни все новые средства защиты собственности и этим самым в такой же мере стимулирует производство, в какой забастовки стимулируют изобретение машин. И,— если покинуть сферу преступлений частных лиц,— мог ли бы без национальных преступлений возникнуть мировой рынок?»<sup>3</sup>

Конечно, вопросы, заданные здесь К. Марксом, звучат иронически, но они отражают глубокое понимание того, что преступность не только порождается основными условиями существования буржуазного общества, но и пронизывает все сферы его жизни, что она действительно оказывает огромное влияние на многие процессы, происходящие в нем, и, наконец, что, как бы это ни казалось парадоксальным, необходимость борьбы с преступлениями реально сказывается на развитии ряда отраслей науки и производства. Именно этого понимания тесной и всесторонней взаимосвязи преступности со многими другими сторонами жизни буржуазного общества, в котором ключевым является представление о конечной предопределенности феномена преступности социальными условиями, и недостает Ю. Торвальду. Вместе с тем в его книге читатель найдет материалы, прекрасно иллюстрирующие отдельные проявления указанной взаимосвязи. В частности, в «Веке криминалистики» приведено немало *примеров* того, как достижения науки становились источниками

<sup>1</sup> См.: Бимба А. «Молли Магвайрс» (из истории рабочего движения США). М., 1950.

<sup>2</sup> См.: Калинин Ю. В. Частный сыск на службе капитала. Минск, 1978. с. 7-11.

<sup>3</sup> Маркс К..Энгельс Ф. Соч., т. 26, часть 1, с. 394.



преступлений (открытие новых растительных ядов, новейшие изобретения оружейной техники и т.п.), раскрытие которых требовало от науки новых усилий, подчас приводивших к весьма серьезным достижениям. Книга Ю. Торвальда — лишнее свидетельство того, что естественные науки в условиях буржуазного общества могут как содействовать совершению преступлений, так и служить их раскрытию, но никакие успехи естественных наук и криминалистики, даже умелым образом используемые правоохранными органами капиталистических государств, не могут привести к искоренению преступности, поскольку они не затрагивают ее коренных причин.

*Ф. М. Решетников, профессор, доктор юридических наук*

## **I. НЕИЗГЛАДИМАЯ ПЕЧАТЬ, ИЛИ ПРИЧУДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

*1. Париж, 1879 г. Слава и слабости французской уголовной полиции. История Сюртэ от Эжена Франсуа Видока до Гюстава Масэ. Тысячи полицейских шпиков, миллионы описаний и десятки тысяч фотографий преступников и нерешенная, несмотря на все это, проблема точной идентификации уголовников.*

Когда в 1879 г. Альфонс Бертильон, письмоводитель Первого отделения полицейской префектуры Парижа, вывел криминалистику из тупика, в который она тогда зашла, ему было 26 лет, а французской уголовной полиции — 70. В то время Сюртэ («Безопасность»), как называли французскую уголовную полицию, пользовалась всеобщей славой и считалась колыбелью уголовной полиции вообще, а ее семидесятилетняя история исчислялась со времен Наполеона.

Существовавшие до Наполеона полицейские службы во Франции занимались не столько раскрытием уголовных преступлений, сколько выслеживанием и арестами политических противников французских королей. Но и позже, во второй половине наполеоновской эры, у Анри, шефа созданного для борьбы с уголовными преступлениями Первого отделения парижской полицейской префектуры, было в подчинении всего 28 мировых судей и несколько инспекторов. Парижские улицы стали в то время подлинным раем для многочисленных грабителей и воров. Только в 1810 г., когда из-за наполеоновских войн ослабли все социальные связи и волна преступлений грозила затопить весь Париж, пробил час рождения Сюртэ и наступил поворотный момент в судьбе одного человека — основателя Сюртэ Эжена Франсуа Видока, человека, чью деятельность невозможно оценить однозначно и тень которого, казалось, даже через двадцать лет после его смерти еще витала над Сюртэ.

До 35 лет жизнь Видока представляла собой цепь сумбурных приключений. Сын пекаря из Арраса, Видок побывал актером и солдатом, матросом и кукольником, наконец стал арестантом (за то, что избил офицера, соблаздившего одну из его подружек), совершившим несколько дерзких побегов. Ему удавалось бежать из тюрьмы то в украденной форме жандарма, то прыгнув с головокружительной высоты тюремной башни в протекающую под ней реку. Но всякий раз его ловили, и в конце концов Видок был приговорен к каторжным работам и закован в цепи. В тюрьмах Видок годами жил бок о бок с опаснейшими преступниками тех дней. Среди прочих — с членами знаменитого французского клана Корню. Члены этого клана убийц, приучая своих детей к будущим преступлениям, давали им для игр головы мертвецов.

В 1799 г. Видок в третий раз бежал из тюрьмы, на этот раз удачно. Десять лет он прожил в Париже, торгуя одеждой. Но все эти годы бывшие сокамерники угрожали Видоку, что выдадут его властям. Возненавидев шантажистов, он сделал самый решительный шаг в своей жизни: отправился в префектуру полиции Парижа и предложил использовать для борьбы с преступностью приобретенный им за долгие годы заключения богатый опыт и знание уголовного мира. Взамен он просил избавить его от угрозы ареста за прежние дела.

Семь десятилетий спустя некоторые представители Сюртэ уже испытывали известную неловкость, когда речь заходила о Видоке и о рождении Сюртэ. Уж слишком не вязалась биография последнего до 1810 г. со сложившимися за 70 лет представлениями о происхождении и жизненном пути не просто полицейского, а шефа уголовной полиции. К этому времени всеми была забыта тяжелейшая ситуация, заставившая тогда Анри — шефа Первого отделения, и барона Паскьо, исполнявшего обязанности префекта полиции Парижа, принять беспрецедентное решение: поручить Видоку возглавить борьбу с преступностью в Париже.

Для того чтобы скрыть от деклассированных элементов истинную роль Видока, его сначала подвергли аресту, а затем, устроив очередной успешный побег из заключения, выпустили на свободу.

Вблизи префектуры полиции, в мрачном здании на маленькой улочке Святой Анны, и обосновался Видок. В выборе сотрудников он руководствовался принципом: «Побороть преступление сможет только преступник». Вначале у Видока работало всего 4, потом 12 и затем уже 20 бывших заключенных; он выплачивал им жалованье из секретного фонда и держал в строжайшей дисциплине.

За один только год Видок с двенадцатью сотрудниками сумел арестовать 812 убийц, воров, взломщиков, грабителей и мошенников, ликвидировал притоны, в которые до него не рискнул сунуться ни один мировой судья или инспектор.

На протяжении 20 лет организация Видока (которая вскоре стала называться «Сюртэ») разрасталась и крепла, став тем ядром, из которого развилась впоследствии вся французская криминальная полиция.

Тысячеликие перевоплощения, тайные проникновения в притоны, инсценированные аресты, «подсадка» сотрудников

Сюртэ в тюремные камеры, организация затем их «побегов», даже инсценировки смерти сотрудников после выполнения ими заданий — все это обеспечивало Видоку непрерывный поток необходимой информации.

Доскональное знание преступного мира, его членов, их привычек и методов преступлений, терпение, интуиция, умение вжиться в образ наблюдаемого, потребность быть в курсе каждого дола, дабы никогда не потерять «чутья на преступника», цепкая зрительная память и, наконец, архив, в котором были собраны сведения о внешности и методах «работы» всех известных ему преступников, составляли прочную основу успешной деятельности Видока. Даже когда для Видока стало невозможным скрывать далее свою роль шефа Сюртэ, он все равно продолжал систематически появляться в тюрьмах, хотя бы для того, чтобы запоминать лица уголовников.

Лишь в 1833 г. Видоку пришлось выйти в отставку, так как новый префект полиции Анри Жиске не захотел мириться с тем фактом, что весь штат уголовной полиции Парижа состоит из бывших заключенных. Деятельный Видок тут же открыл частную детективную контору (пожалуй, первую в мире), стал преуспевающим дельцом и писателем, не раз подсказывал сюжеты для романов великому Бальзаку, так что остаток своих дней он прожил весьма интересно. Скончался Видок в 1857 г.

Преемниками Видока на посту шефа Сюртэ стали представители буржуазии: Аллар, Канле, Клод, а в 1879 г. — Гюстав Масэ.

Сюртэ пережила четыре политических переворота во Франции: от Наполеона — к Бурбонам, от Бурбонов — к июльской монархии Луи Филиппа Орлеанского, от июльской монархии — к империи Наполеона III, от Наполеона III — к Третьей республике.

Из мрачной штаб-квартиры Видока на улице Святой Анны Сюртэ переехала сначала в не менее мрачное помещение на Кэ-д'Орлож и наконец разместилась в здании префектуры на Кэ-д'Орфевр. Теперь здесь работало несколько сотен инспекторов, а не двадцать сотрудников, как во времена Видока. Подчиненные Видока с уголовным прошлым уступили место более или менее почтенным обывателям. Но ни Аллар и Канле, ни Клод и Масэ, по сути дела, никогда не отказывались от методов работы, которые ввел в практику Видок; более того, число бывших преступников, которых они привлекали в качестве оплачиваемых сотрудников и филеров, постоянно росло.

Высланных из Парижа, но все же незаконно возвратившихся в него уголовников при повторном аресте ставили перед выбором: либо работать на Сюртэ, либо снова угодить за тюремную решетку. Сюртэ по-прежнему не пренебрегала и внедрением своих агентов (их называли «баранами») в тюремные камеры, чтобы те входили в доверие к своим соседям и хитростью добывали у них нужную информацию. Сами инспекторы регулярно посещали тюрьмы и приказывали водить вокруг себя в тюремном дворе заключенных для того, чтобы, как некогда Видок, тренировать «фотографическую память» на лица, запечатлевая их в своей памяти. Такой «парад» оставался самым распространенным методом опознания ранее судимых преступников, а иногда помогал найти среди заключенных тех, кто разыскивался за совершение других преступлений.

Архив Видока превратился в гигантское бюрократическое сооружение. Горы бумаг в беспорядке валялись в мрачных и пыльных, освещенных газовыми рожками помещениях префектуры. Здесь на каждого изблещенного преступника была заведена карточка. В нее заносились: фамилия, вид совершенного преступления, судимости, описание внешности; в сумме таких карточек было собрано около пяти миллионов. И количество их все возрастало, поскольку к тому времени проверке стали подвергаться все гостиницы и заезжие дворы и даже учитывались все приезжающие иностранцы. К тому же, с тех пор как в 40-х годах в одной из брюссельских тюрем стали фотографировать преступников, число их портретов, накопленное парижской префектурой, составило 80 тыс. штук. Однако, как бы ни восторгались иностранцы быстрому разоблачению в Париже преступников, бежавших туда из своей страны, и какие бы ни рождались легенды о парижской полиции, Сюртэ 1879 г. была уже поражена глубоким кризисом.

## *2. Бертильон — помощник писмоводителя в полиции. Его «неописуемо дурной характер».*

Так и остаются великой тайной Истории те правила и мерки, по которым она выбирает своих пионеров и героев. Более чем странный, казалось бы, выбор был сделан ею, когда именно в Альфонсе Бертильоне она угадала способность вывести из скрытого кризиса криминалистику и открыть в ней новую эру.

Альфонс Бертильон был худым молодым человеком, на бледном лице которого застыло печально-холодное выражение. У него были медлительные движения и невыразительный голос. Он страдал диспепсией, носовыми кровотечениями и страшными приступами мигрени, вследствие чего он был настолько малообщителен и замкнут, что производил прямо-таки отталкивающее впечатление. К его замкнутости присовокуплялись недоверчивость, сарказм, холерическая злобность, нудный педантизм и абсолютное отсутствие чувства прекрасного. Он был настолько лишен музыкального слуха, что во время военной службы ему приходилось отсчитывать отдельные звуки, издаваемые трубачом, чтобы отличить сигнал «подъем» от сигнала «сбор».

Один из его немногочисленных друзей подтвердил впоследствии, что у него «неописуемо дурной характер». А когда весной 1879 г. одному из посетителей префектуры сказали, что этот Бертильон — сын уважаемого врача, статистика и вице-президента Парижского антропологического общества доктора Луи Адольфа Бертильона и внук естествоиспытателя и математика Ахилла Гийара, тот не поверил и разразился неудержимым хохотом.

Действительно, трудно было себе представить, что сына и внука таких видных людей трижды исключали из лучших школ Франции за неуспеваемость и из ряда вон выходящее поведение. А из банка, куда его приняли учеником, он был уволен уже через несколько недель. И в Англии, будучи домашним учителем, он тоже никому не пришелся по нраву. Наконец только благодаря связям его отца молодого Бертильона приняли помощником письмоводителя в префектуру полиции.

Рабочее место Бертильона находилось в углу одного из больших залов, загроможденных картотеками на всех французских уголовников. Летом в этом углу было нестерпимо жарко, а зимой так холодно, что приходилось писать в перчатках, а ноги буквально коченели. Здесь, поодаль от других, сидел Бертильон и заносил в карточки данные, полученные полицейскими служащими при арестах и допросах подозреваемых.

Холодной весной 1879 г. он тоже был занят переписыванием примет личности преступника. Его закованные пальцы заносили в карточку вышедшие из-под пера инспекторов, работавших по старинке, шаблонные описания типа: рост — «высокий», «низкий», «средний»; лицо — «обычное», «без особых примет». В общем, это были определения, подходящие для характеристики тысяч людей. На карточках имелись приклеенные фотографии, сделанные фотографами, считавшими себя «художниками». Соответственно и были сделаны снимки — скорее «художественные», чем четкие, а зачастую даже искаженные, ибо арестованные противились фотографированию.

Все, что проходило через руки Бертильона, наглядно свидетельствовало о том глубоком кризисе, в котором оказалась Сюртэ. Со времен большого триумфа Видока и созданных им методов преобразился мир, изменилось общество, а вместе с ними — облик и сущность преступности. Но эти изменения еще вряд ли осознавались общественностью. До 1879 г. лишь немногие ученые делали более или менее серьезные попытки выявить социальные, биологические, психологические корни преступности и ее динамику. Среди них можно назвать бельгийского астронома и статистика Адольфа Кетле, посвятившего несколько десятилетий своей жизни попыткам использовать статистические методы при изучении преступности и вычислить, насколько велика доля преступников в человеческом обществе.

В свою очередь итальянский психиатр Чезаре Ломброзо предпринял обширное исследование физиологии и психологии преступников. Для этого в тюрьмах и психиатрических больницах города Павии он обмерил черепа большого числа преступников и в результате пришел к выводу, что у каждого преступника есть определенные аномалии в строении черепа, которые уподобляют его в большей степени, чем других людей, животному. Преступник, по словам Ломброзо, — это атавистическое явление, так сказать, шаг назад в развитии человечества. Следовательно, преступником рождаются. Вышедшая тремя годами раньше, то есть в 1876 г., книга Ломброзо «Преступный человек» получила известность и за пределами Италии и привлекла внимание по крайней мере некоторых ученых к феномену преступника. В остальном же преступность принималась просто как явление, с которым нужно бороться посредством применения наказаний, и продолжала оставаться совершенно неисследованной областью.

Но нельзя упускать из виду то немаловажное обстоятельство, что в 1879 г. эта проблема выглядела совершенно иначе, нежели в начале века. Во всяком случае, стало очевидным, что с ростом населения и дальнейшим развитием промышленного производства постоянно росло и количество преступников. Феноменальная память Видока на лица преступников была единственной в своем роде, но теперь не хватило бы даже сотни Видоков, чтобы запомнить лица бесчисленного количества преступников всевозможных категорий, всплывших на поверхность огромной трясины больших и малых преступлений в 80-х годах XIX столетия.

С ростом общего культурного и образовательного уровня населения вырос и интеллектуальный уровень преступников. В тюрьмах многочисленные «бараны» были не в состоянии выведать нужную им информацию у сокамерников, менявших для сокрытия прежней судимости свои имена и внешность. Все реже удавались старые провокационные трюки инспекторов, притворявшихся добрыми знакомыми заключенных. Ничего не давали и установленные за опознание преступника премии. Наоборот, они приводили к тому, что инспекторы все чаще заключали сделки с жадными до денег заключенными и с их согласия клятвенно заверяли, что данный заключенный и есть разыскиваемый преступник. Премию инспектор делил затем со своим сообщником. Результатом этих сделок было обилие судебных ошибок, чреватых тяжкими последствиями, атмосфера неуверенности, некомпетентности и обмана.

То, что Видоку служило лишь подспорьем к памяти — его картотека, — превратилось волевым образом в основное средство идентификации преступников. Но картотека теперь настолько разрослась, что стала необозримой и потому почти непригодной. Систематизация ее по именам была бессмысленной, поскольку воры, взломщики, фальшивомонетчики, мошенники и убийцы все время меняли свои имена. Систематизация по возрасту и категориям преступников и способу совершения ими преступления больше не годилась, ибо не позволяла разбить картотеку на сравнительно небольшие подразделы, которые было бы легче просматривать. Польза от фотографий тоже стала весьма сомнительной: практически было невыполнимо среди 80 тыс. снимков отыскать фотографию ранее судимого для сличения с фотографией вновь арестованного. Регистрация описаний внешности была столь же бесполезной, как и алфавитный указатель фамилий преступников. В особо важных случаях инспекторы и писари рылись в фототеке только для того, чтобы найти фотографию какого-нибудь одного преступника, имевшего судимость. Таков был раздираемый внутренними противоречиями мир, в котором сложились первые и самые глубокие впечатления Альфонса

Бертильона о работе полиции и Сюртэ.

*3. Эпоха бурного развития естественных наук. Учение Кетле. Рождение идеи. Бертильон предлагает производить измерение уголовников и их регистрацию по данным такого измерения. Наука впервые стоит у порога уголовной полиции. Андриэ, префект парижской полиции, и Гюстав Масэ, шеф Сюртэ, отказывают Бертильону.*

Бертильон начал работать помощником письмоводителя с 15 марта 1879 г., а через четыре месяца выяснилось, что история сделала удачный выбор, направив именно его в пыльный угол полицейской префектуры Парижа.

У Бертильона был действительно тяжелый характер, и потерпел он в жизни немало крушений, но важнее другое (и именно это сыграло теперь решающую роль) — он вырос в семье, члены которой были в числе тех, благодаря кому XIX век стал веком расцвета естествознания. Атмосфера родительского дома была наполнена тем духом неукротимой любознательности и стремлением познать закономерности природы, которые уже за несколько десятилетий до рождения Альфонса разрушили все традиционные барьеры верований и мировоззрений. Еще с раннего детства Бертильону было знакомо имя Чарлза Дарвина, совершившего своей книгой «О происхождении видов» переворот в науке, ибо он поколебал библейскую легенду о сотворении мира и доказал, что все живое — результат длительного процесса биологического развития. Бертильон слышал и о Луи Пастере, чье открытие бактерий революционизировало медицину; о Дальтоне, Гей-Люссаке, Берцелиусе — людях, сделавших поразительные открытия в химии. Он был наслышан об атомах, о физиологах и биологах, раскрывших тайны жизненных процессов у человека и животных.

Мальчик, присев у ног деда, наблюдал, как тот изучает растения, подразделяя их на виды и семейства и систематизируя в алфавитном порядке. Он видел, как дедушка и отец, словно священнодействуя, измеряли человеческие черепа различных рас, пытаясь обнаружить и объяснить, есть ли связь между формой головы и умственным развитием человека. Не сосчитать, сколько раз слышал он имя Кетле — человека, занимавшегося не только криминалистикой, но и пытавшегося доказать, что развитие человеческого организма подчинено вполне определенным законам. Еще ребенком он с отцом и дедом простаивал перед «кривыми Кетле», показывающими, как в зависимости от размеров человеческого тела можно распределить в определенном порядке всех людей. Конечно, существует множество великанов, схожих между собой, как близнецы; есть люди очень высокие и очень низкие, есть просто высокие и просто низкие, но большинство — это люди среднего роста.

Бертильон годами соперничал отцу и деду в их попытках проверить утверждения Кетле о том, что на свете нет двух человек с совершенно одинаковым строением тела и что шанс обнаружить двух одинаковых по росту людей равен 1:4. Бертильон был не способен восторгаться латынью или другими дисциплинами, преподаваемыми во французских школах, но впечатления детства, возникшие в те моменты, когда он наблюдал за работой отца и других антропологов, никогда не изгладились из его памяти.

В июле 1879 г., когда над Парижем повис зной, а Бертильон с повседневной, отупляющей методичностью заполнял и копировал то ли трех-, то ли четырехтысячную карточку, его осенила идея. Она возникла — как он впоследствии признавался — из щемящего чувства досады от бессмысленности своей работы и вместе с тем из нахлынувших на него воспоминаний детства. Зачем, спрашивал он себя, тратят время, деньги и силы на все менее перспективные попытки опознавать таким путем преступников? Почему надо цепляться за старые, до крайности несовершенные методы в то время, когда естествознание уже обнаружило «каинову печать», которая позволяет безошибочно отличить одного человека от другого, а именно размеры его тела.

Бертильон не знал, что еще 19 лет тому назад, в 1860 г., в Бельгии начальник лувенской тюрьмы Стевенс, ссылаясь на учение Кетле, предлагал, правда безуспешно, измерять окружность головы, длину ушей и ступней, рост и ширину грудной клетки у всех взрослых преступников, не имеющих особых отклонений от нормы. Стевенс убеждал, что полученные при этом показатели нельзя будет скрыть никаким переодеванием, гримом или сменой фамилии.

Удивление и насмешки других писарей вызвал Бертильон, когда в конце июля он приступил к сравнению фотографий заключенных. Начал он с сопоставления формы ушей и носа. Еще более громким смехом была встречена просьба Бертильона разрешить ему обмерять заключенных, подлежащих регистрации. Ко всеобщей потехе, такое разрешение он в конце концов получил. Страшно ожесточившись, он за несколько недель обмерил довольно большое количество заключенных: их рост, окружность и длину головы, длину рук, пальцев, ступней. При этом он убедился, что размеры отдельных частей тела у различных людей могут совпадать, но никогда не совпадут размеры четырех или пяти частей тела одновременно.

Зной и духота августа вызывали у Бертильона тяжкие приступы мигрени и носовые кровотечения. Но этим молодым человеком, прежде, казалось бы, столь никчемным, нецелеустремленным, вдруг овладела идея. В середине августа он составил докладную о том, каким образом можно решить проблему безошибочного закрепления примет преступников. Докладная была направлена Луи Андриэ, занимавшему с марта 1879 г. пост префекта парижской полиции. Но ответа на докладную так и не последовало.

Бертильон продолжал свою работу. Ежедневно, до начала службы он отправлялся в тюрьму Сантэ. Там ему разрешали — к вящему удивлению и веселью заключенных — производить свои измерения.

1 октября 1879 г. Бертильон получил повышение по службе: из помощников письмоводителя его перевели в писари,— и он тут же направил префекту вторую докладную. В ней он ссылался на закон Кетле, согласно которому вероятность совпадения показателей роста у различных людей составляет 1:4, и при этом подчеркивал, что величина костей каждого взрослого человека не изменяется на протяжении всей его жизни. Но если данные о росте сложить с еще одним измерением — развивал свою мысль Бертильон,— например с длиной верхней части туловища, шанс совпадения уменьшится уже до 1:16. А если взять одиннадцать единиц измерения и зафиксировать их в карточке преступника, то по теории вероятности шансы совпадения размеров частей его тела с частями тела другого преступника будут равны 1:4 191 304. Располагая четырнадцатью единицами измерения, мы получим еще более низкое соотношение — 1:286435456. Выбор единиц для измерения — объяснял далее Бертильон — достаточно велик: можно измерять, кроме роста человека, отдельные части головы, длину различных пальцев, длину предплечья, ступней. Все существовавшие доселе описания внешности человека — резюмировал он — поверхностны и бесконтрольны; такая идентификация по внешнему виду является неполной и чревата грубыми ошибками. Так же обманчивы все виды фотографий, к тому же систематизировать их практически невозможно. Напротив, тщательный обмер преступников обеспечивает абсолютную надежность, исключает возможность обманов и ошибок. Более того, Бертильон предложил систематизацию карточек с данными измерения преступников, позволяющую за несколько минут выяснить, имеются ли уже в картотеке данные на любого вновь арестованного.

Бертильон ссылался на опыт своего отца, который, систематизируя данные антропологических измерений, разделял их по величинам на три группы: большую, среднюю и малую. При таком делении — уверял он — очень просто разделить, скажем, картотеку из 90 тыс. различных карточек таким образом, чтобы любую из них можно было быстро в ней отыскать. Для этого за основу в карточке следует принять, например, длину головы и ее измерение подразделить на большое, среднее и малое; таким образом, в каждом подразделе окажется по 30 тыс. карточек. Если в них вторым измерением взять окружность головы и ее в свою очередь разбить на подразделы с величинами «большая», «средняя» и «малая», то в результате останется 9 групп по 10 тыс. карточек в каждой. А если таким же образом ввести подразделы для одиннадцати единиц измерения, то в каждом отделении картотеки останется всего от 3 до 20 карточек.

То, что Бертильону представлялось само собой разумеющимся, дилетанту на первый взгляд должно было казаться великой путаницей. Впрочем, и само изложение вопроса в докладной было более чем запутанным. Не получивший систематического образования, Бертильон так и не научился более или менее четко излагать свои мысли. Построение фразы у него было не совсем обычным, формулировки — туманны, да к тому же он бесконечно повторялся.

Альфонс Бертильон с трепетом ждал ответа префекта, так как был твердо убежден в своей правоте. Он вдруг поверил, что нашел смысл жизни и наконец сможет доказать, что он не такой уж «безнадежный случай» и не такая уж «паршивая овца» в своей семье.

В таком настроении он пребывал две недели. И вот свершилось то, чего он так напряженно ждал: его вызвал к себе префект. От волнения неловкий и скованный более обычного Бертильон с мертвенно-бледным лицом переступил порог кабинета Андрие и... пережил невообразимое разочарование. Луи Андрие был политиком из категории тех республиканцев, кого лишь связи и система торговли чинами могли привести на пост префекта полиции. Он никогда не интересовался ни статистикой, ни математикой, а его познания в столь специфичном полицейском деле были и вовсе ничтожны. Поскольку он не понял сути докладной Бертильона, то передал документ Гюставу Масэ, исполнявшему обязанности шефа Сюртэ.

Масэ имел большой опыт полицейской работы, но, будучи практиком, испытывал полнейшее пренебрежение ко всякого рода теориям и теоретикам. Из низших чинов дослужившийся до высшего поста в Сюртэ, он еще инспектором прославился успешным расследованием дела Вуарбо — об убийстве, совершенном в Париже в 1869 г.

В колодце было найдено расчлененное тело мужчины, аккуратно зашитое в колени. Весь Париж пришел в страшное волнение. Масэ благодаря своей наблюдательности и находчивости не только сумел проследить путь этой жуткой находки, следы которой вели к портному Вуарбо, но и доказать, что именно Вуарбо в своей комнате расчленил труп. Способ, которым ему удалось все это раскрыть, свидетельствовал о блестящих дедуктивных способностях Масэ. Исходя из предпосылки, что при расчленении трупа должно было пролиться много крови, Масэ внимательно осмотрел деревянный пол в комнате портного. Однако на дочиста вымытых досках никаких подозрительных следов обнаружить не удалось. Единственное, на что Масэ обратил внимание,— это на крайне неровную поверхность пола, и велел налить на него воды. Затем в присутствии Вуарбо он поднял доски в тех местах, где вода скапливалась и медленно просачивалась под пол. Под досками оказалась запекшаяся кровь. Пораженный этим Вуарбо сознался, что убил и ограбил своего друга Бодасса, расчленив затем его труп.

Много дел раскрыл Масэ тем же дедуктивным методом, который никогда не потеряет своего значения в криминалистике. Но он настолько верил практическому опыту, практическому чутью и «фотографической памяти», что, вполне естественно, категорически отклонил докладную Бертильона. В своем ответе Андрие Масэ отметил, что полиция не арена для показательных экспериментов всяких теоретиков. Андрие считал позицию Масэ обоснованной, так как видел в ней оправдание своей

неспособности понять предложение Бертильона.

Префект встретил Бертильона вошедшими в историю словами:

«Бертильон? Кажется, вы чиновник двадцатого класса и работаете у нас всего восемь месяцев, не так ли? И у вас уже появились идеи?! Ваша докладная читается как анекдот...»

Бертильон робко пытался ответить: «Господин префект... если вы позволите...» Андриэ позволил. Но неспособность Бертильона вразумительно выражать свои мысли сказалась и здесь, к тому же его неловкость усилилась от волнения, и он окончательно запутался в объяснениях, так ничего и не прояснивших префекту. Андриэ резко оборвал Бертильона и отпустил с предупреждением, дабы тот впредь не беспокоил префектуру своими идеями, иначе его увольнение будет делом нескольких минут.

Пока подавленный, но по-прежнему полный неукротимого упорства Бертильон возвращался в свой «угол» в префектуре, Андриэ передал отцу Бертильона просьбу последить за сыном, чтобы тот заботился исключительно о своей службе и не совался бы в то, что выходит за пределы его обязанностей. В противном случае он будет вынужден отстранить его сына от столь милостиво предоставленной ему службы.

Доктор Луи Адольф Бертильон, переживший из-за своего сына немало горьких минут, на этот раз вызвал его к себе и сердито потребовал объяснений. С гневом стал он просматривать копию докладной, адресованной Андриэ. Но после ее прочтения гнев его угас, и он сказал сыну: «Извини меня (по свидетельству одного из современников, он был при этом очень взволнован), я уже совершенно потерял надежду на то, что ты когда-либо сможешь найти свой путь. Но он вот в этом. Это же прикладная наука, и она знаменует собой революцию в полиции. Я все объясню Андриэ. Он должен это понять... Должен...»

Луи Адольф Бертильон на следующий же день отправился к префекту и попытался его переубедить. Тщетно. Однако в ценности предложений сына Бертильону-отцу удалось убедить депутата и генерального секретаря казначейства Гюстава Юбара, попытавшегося силой своего авторитета повлиять на решение Андриэ. Тоже тщетно. Единственное, чего удалось добиться, так это несколько поколебать уверенность Андриэ в собственной правоте. Но из-за престижных соображений он так и не отменил однажды принятого решения. Оставался один шанс: не вечно же Андриэ быть префектом, и Альфонсу Бертильону нужно лишь терпеливо ждать его отставки.

В то время Луи Адольф Бертильон и не догадывался, что История или, если хотите, госпожа Случайность, распорядилась таким образом, что на другом краю земли еще два человека носились с идеей найти решение проблемы, которую так неожиданно раскрыл его сын Альфонс Бертильон.

*4. «Свет с Востока». Бенгалия, 1877 г. Уильям Хершел. Китайская печать. Многолетние эксперименты Хершела с отпечатками черных пальцев. Тайна папиллярных линий. Хершел применяет отпечатки пальцев для регистрации индийских арестантов. Неодобрение деятельности Хершела генеральным инспектором тюрем Бенгалии. Крах Хершела.*

Философы при случае утверждают, что свет всякого познания идет с Востока. Правы ли они? Случайность ли это или загадочное предопределение?

Как бы то ни было, но в 1877 г. в Хугли — столице одноименного округа Индии — английский чиновник Уильям Хершел, лежа на кушетке в своем кабинете, диктовал письмо.

Хершел был еще относительно молодым человеком, ему было сорок четыре года, но амebная дизентерия и приступы лихорадки подорвали его здоровье и силы. Его бородатое лицо с запавшими щеками и поблекшими глазами было бледным, голос — усталым и слабым. Однако содержание письма было выстрадано им, и Хершел прилагал все усилия для того, чтобы придать тексту ту убежденность, которая переполняла его самого.

Письмо было адресовано генеральному инспектору тюрем Бенгалии и датировано 5 августа 1877 г. Текст гласил: «При этом направляю Вам работу, содержащую описание нового метода идентификации личности. Он заключается в штемпелеподобном оттиске указательного и среднего пальцев правой руки. (Простоты ради берутся только оттиски этих двух пальцев.) Для получения оттиска годится обычная штемпельная краска... Способ получения такого оттиска едва ли сложнее получения обычного отпечатка канцелярского штемпеля. В течение нескольких месяцев я проверял этот способ на заключенных, а также при выдаче документов и выплате жалованья и ни разу не столкнулся с какими-либо практическими трудностями. У всех лиц, получающих в настоящее время в Хугли официальные документы, берут отпечатки пальцев. Пока что никто этому не противился. Я полагаю, если ввести повсеместно этот метод, то можно будет навсегда покончить с махинациями при установлении личности... В течение последних 20 лет я заполнил тысячи карточек оттисками пальцев и теперь могу почти всегда идентифицировать людей на основе этих отпечатков».

В самом деле, в тот день минуло двадцать, точнее, девятнадцать лет с того дня, как Хершел, совсем еще молодой секретарь в Джанпуре, высокогорном районе округа Хугли, впервые столкнулся со странными следами, какие оставляют грязные человеческие руки и пальцы на древесине, стекле или бумаге. Это были следы, создававшие картину, полную причудливых линий, изгибов, петель и спиралей. Впоследствии сам Хершел не смог точно объяснить, как и когда этот феномен попал в круг его интересов. Наверное, в те минуты, когда он наблюдал за приезжавшими в те времена в Бенгалию китайскими торговцами, которые при заключении сделок ставили иногда на деловых бумагах отпечаток черного большого пальца правой руки. Возможно, ему было известно о китайском обычае, согласно

которому развод супругов удостоверялся отпечатком пальца мужа, а у внебрачных детей брали отпечатки пальцев при их поступлении в приют.

Как бы то ни было, но Хершел еще в 1858 г. потребовал у поставщика материалов для дорожного строительства индуса Раджьядара Конаи, как у одной из договаривающихся сторон, почернить штемпельной краской пальцы и ладонь его правой руки и сделать оттиск на договоре поставки. В то время Хершел даже приблизительно не ориентировался в узорах линий, образующихся при отпечатках пальцев. Он просто хотел этой таинственной манипуляцией обязать индуса, который, как и многие его соотечественники, весьма охотно нарушал сроки поставки, выполнить условия заключенного договора. Но именно с этого момента узоры в отпечатках пальцев навсегда полонили Хершела.

Итак, он диктовал письмо. Тут же лежала старая, пожелтевшая записная книжка, на обложке которой были выписаны два слова:

«Знаки руки». Книжка эта была заполнена отпечатками его собственных пальцев и пальцев многих индийцев, у которых он на протяжении 19 лет регулярно брал отпечатки. С изумлением Хершел обнаружил, что отпечатки пальцев, взятые у одного человека, никогда не совпадали с отпечатками пальцев другого человека: всегда линии на кончиках пальцев рук переплетались по-разному. Он научился различать узоры этих линий и узнавать людей по «рисунок их пальцев». А когда вычитал в учебнике анатомии, что такие узоры называются «папиллярными линиями», то перенял это название.

Дело в том, что на протяжении 15 лет он стоял перед проблемой, возникавшей в связи с его обязанностями выплачивать жалование все растущему количеству индийских солдат. Для глаза европейца все они были на одно лицо. Почти у всех были одинакового цвета волосы и глаза, имена их тоже постоянно повторялись, писать же никто из них не умел. Зато часто случалось, что, получив жалование, они появлялись снова и уверяли при этом, что денег им еще не выдавали. Иногда они даже присылали друзей или родственников, и те требовали жалование по второму разу, поскольку носили ту же фамилию. Так как Хершел был не в состоянии отличить претендентов на жалование друг от друга, он в конце концов решил заставить их оставлять отпечатки двух пальцев — как в поименных списках, так и на платежных квитанциях. После этого махинации мгновенно прекратились.

С течением лет Хершел углублял свои познания в этой области. Так, оказалось, что на ладонной поверхности ногтевых фаланг пальцев рук человека узоры остаются неизменными. Они все те же и через 5, 10, 15, и через 19 лет. Неопровержимым тому доказательством была записная книжка Хершела. Человек может постареть, болезни и возраст изменят его лицо и фигуру, но пальцевые узоры останутся все теми же. У человека это неизменный индивидуальный знак, по которому его можно опознать и после смерти, и даже тогда, когда от человека не останется ничего, кроме лоскутка кожи с пальцев его руки. Что это, чудо? Случайность или воля создателя, пожелавшего безошибочно различить свои творения? Хершел не знал ответа на эти вопросы, но распорядился, чтобы в одной из тюрем его округа в реестре рядом с фамилией каждого заключенного проставлялись отпечатки его пальцев.

Как бы неправдоподобно это ни звучало, но теперь стало возможным говорить о порядке в этом страшном хаосе. Ведь с незапамятных времен бывало, что вместо осужденных отбывали наказание подставные лица, а опасные преступники проходили по незначительным делам и лишь изредка удавалось установить, стоял ли прежде перед судом вновь осужденный или нет.

Хершел достаточно полно осознал истинное значение своего открытия, и перспективы его применения уводили далеко за пределы Хугли. Мысли Хершела устремлялись в Англию, в Лондон. Разве там, на его родине, мог хоть один полицейский совершенно безошибочно установить, был ли именно этот преступник, этот мошенник, взломщик или вор ранее судим или нет, особенно если он изменял фамилию (что было дозволено каждому)? Разве не вводили в заблуждение даже фотографии? А единичны ли случаи, когда невинные люди становились жертвами жутких ошибок при идентификации, в результате чего попадали на каторгу, а то и на виселицу? А разве не предпринимались издавна попытки найти некий признак, позволявший безошибочно опознать того или иного человека?

Хершелу не надо было долго искать подходящий пример. В то время в Лондоне велось уголовное дело, в ходе которого разгорелась многолетняя борьба по вопросу идентификации одного человека. Волны страстей, бушевавших вокруг этого дела, докатились и до Бенгалии. Все были наслышаны о процессе по делу о миллионном наследстве лорда Джеймса Тичборна, за которым с 1866 по 1874 г., затаив дыхание, следил весь Лондон. И все из-за одного мошенника, выдававшего себя за единственного наследника лорда Джеймса, его сына Роджера, который пропал без вести в 1854 г. Этот неотесанный, до смешного полный человек по фамилии Кастро из Вага-Вага, в Австралии, сумел обмануть полуслепую мать Роджера Тичборна так же мастерски, как и его родственников, врачей и даже таких известных лондонских адвокатов, как Сарджент Баллентайн и Эдвард Кенили! Короче говоря, этот аферист в 1874 г. после бесконечно тянувшегося разбирательства был приговорен к четырнадцати годам каторги, а судебные издержки составили несколько миллионов фунтов стерлингов.

Но сколько же свидетелей признавали в нем настоящего Роджера Тичборна! Сколько свидетелей поклялись в этом! А сколько оказалось «достоверных примет» на его теле! Но что произошло бы (именно этот вопрос не давал покоя Хершелу), если бы воспользовались его открытием — отпечатками пальцев? Разве Роджер Тичборн не был солдатом? Что, если бы уже в то время стали бы при регистрации военнослужащих брать у них отпечатки пальцев? Тогда этот грандиозный процесс



закончился бы в считанные минуты если бы можно было предъявить отпечатки пальцев Роджера Тичборна времен его службы в армии. Это же так просто: штемпельная подушечка, оттиски пальцев Кастро, сравнение, и все ясно: Кастро — обманщик!

Уильям Хершел продолжал диктовать свое письмо: «Как пример того, сколь полезным мог бы стать мой метод, я приведу дело Тичборна. Если бы у Роджера при поступлении в армию взяли отпечатки пальцев и они где-нибудь хранились, то весь процесс был бы закончен в течение десяти минут. Я полагаю, нет надобности более подробно излагать, насколько необходима идентификация в тюрьмах. Отпечатки пальцев — это средство, позволяющее в любое время установить, идентична ли личность заключенного личности ранее судимого. Для этого нужно будет лишь вызвать заключенного и взять у него отпечатки пальцев. Если он не был прежде судим — это тут же выяснится. То же самое, если понадобится выяснить, действительно ли умер, например, заключенный № 1302 или это подставной мертвец? У трупа есть два пальца, и они дадут ответ на этот вопрос.

Не откажите во внимании к данному делу и разрешите мне попробовать применить мой метод в других тюрьмах...»

Этой просьбой закончил Хершел письмо генеральному инспектору. К письму он приложил множество собранных им за долгие 19 лет отпечатков и сделал приписку: «Бережно сохранить прилагаемые образцы просит преданный Вам У. Хершел».

Хершел запечатал письмо дрожащей рукой, но в глубине души он был полон надежд и верил, что его письмо вызовет интерес и одобрение.

Через десять дней он держал в руках ответ генерального инспектора тюрем. Это было письмо, полное дружеских слов, которые, однако, служили лишь прикрытием того, что генеральный инспектор, зная о тяжелом недуге Хершела, счел его предложения горячечным бредом.

Ответ поверг Хершела в глубокую депрессию, которая на несколько лет полностью выбила его из колеи и не дала ему сделать больше ни одного шага, чтобы отстаивать свое открытие. У него было только одно желание: вернуться на родину, в Англию, где ему, возможно, удастся восстановить свое здоровье.

В конце 1879 г. он отправился в путь.

*5. Токио, 1879 г. Врач миссии д-р Генри Фолдс изучает отпечатки пальцев на древних глиняных черепках. Идея Фолдса о проверке подозреваемых с помощью отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. Предложения Фолдса полицейским управлениям Лондона и Парижа. Гробовое молчание в ответ.*

В этом месте опять хочется вспомнить о совершенно непостижимой внутренней логике истории или же о великой случайности.

В то же самое время, когда Уильям Хершел угасал в Хугли и писал свое столь же значимое, сколь и оказавшееся бесполезным письмо генеральному инспектору тюрем Бенгалии, в больнице Цукиджи, в Токио, работал врач-шотландец, доктор Генри Фолдс. Он преподавал японским студентам физиологию. Фолдс был человеком совсем другого склада, нежели Хершел. Воинствующий пресвитерианец, умный, полный фантазии, но одновременно холерик, обидчивый, эгоцентричный, своенравный и упрямый до ограниченности. Фолдс никогда не встречался с Хершелом, не слышал ни о нем самом, ни о его экспериментах в Индии. Но в письме, которое Фолдс послал в начале 1880 г. в Лондон в журнал «Нейчер» («Природа»), был такой абзац: «В 1879 г. мне довелось рассматривать несколько найденных в Японии доисторических глиняных черепков и я обратил внимание на отдельные отпечатки пальцев, которые, должно быть, остались на сосудах тогда, когда глина была еще влажной. Сравнение этих отпечатков с вновь сделанными дало мне повод заняться этой проблемой... Общий тип пальцевого узора не меняется в течение всей жизни, а следовательно, может служить для идентификации лучше, чем фотография».

С 1879 по 1880 г. Фолдс собрал массу отпечатков пальцев и изучил всевозможное разнообразие пальцевых узоров, образуемых папиллярными линиями. Сначала его заинтересовали только этнографические проблемы, в частности вопрос о том, существуют ли отличия линий в отпечатках пальцев у представителей различных народов. Позже он стал изучать вопрос, передаются ли по наследству узоры папиллярных линий. Затем случай навел его на один след, который отныне уже не давал ему покоя. По соседству с домом Фолдса через побеленную каменную стену перелез вор. Фолдсу, чье увлечение пальцевыми узорами было общеизвестно, сообщили, что на стене остались четкие следы испачканных сажей пальцев человека. Пока Фолдс изучал эти отпечатки, вора арестовали. Тогда Фолдс попросил у японской полиции разрешения отобрать отпечатки пальцев у задержанного. Но, сравнив пальцевые узоры, оставшиеся на стене, с пальцевыми узорами арестованного, он выяснил, что они совершенно разные. А так как отпечаток на стене должен был, естественно, принадлежать только вору (он перед этим споткнулся об остывшую жаровню), то Фолдс сделал вывод — арестованный невиновен. И оказался прав: через несколько дней был арестован настоящий взломщик. Для полной уверенности Фолдс взял отпечатки пальцев и у него. Теперь они полностью совпадали со следами на стене.

Богатая фантазия Фолдса заработала. А что, если на месте каждого преступления искать отпечатки пальцев преступника? Что, если таким образом можно будет изобличать воров и убийц?

Эта идея была воплощена в жизнь, когда произошла другая кража. В этот раз тоже позвали на помощь Фолдса, и он обнаружил на бокале отпечаток целой ладони. Случай этот натолкнул его на мысль, что для того, чтобы остался отпечаток, вовсе не обязательно чернить пальцы. Через выходные

отверстия потовых желез, на кончиках пальцев выделяется жировой секрет, который оставляет отпечаток столь же четкий, как сажа или краска.

При всем том определяющую роль сыграл другой, прямо-таки невероятный случай.

Во время своих прежних исследований Фолдс в различных домах отбирал отпечатки пальцев слуг. Теперь он сравнил отпечатки, оставленные на бокале, с отпечатками, имеющимися в его коллекции. Результат поразил его, но факт оставался фактом: отпечатки на бокале полностью совпадали с пальцевыми узорами одного из слуг, отпечатки которого он отобрал ранее. Привлеченный к ответу слуга сознался.

Теперь у Фолдса не оставалось сомнений в том, что он открыл метод доказывания, который произведет революцию в работе полиции всего мира. Он увидел такую возможность применения отпечатков пальцев, о которой не догадался Хершел. Но Фолдс не удовлетворился этим. Хотя он не был полицейским, но после того, как случай однажды ввел его в мир полиции и преступлений, этого оказалось достаточно, чтобы его фантазия привела к открытиям, соответствовавшим выводам одного тяжелобольного человека в Хугли — Хершела.

Все свои наблюдения и выводы Фолдс изложил в письме, отправленном им в английский журнал «Нейчер». Он писал:

«Если на месте преступления обнаружены отпечатки пальцев, они могут привести к обнаружению преступника. Я уже дважды проверил это на практике. В судебно-медицинской практике отпечатки пальцев могут иметь еще и другое применение, например когда от изуродованного трупа остались неповрежденными только руки. Если узоры папиллярных линий были заранее известны, то у вас, без сомнения, будет доказательство более верное, чем злополучное родимое пятно в дешевых бульварных романах... У всех опасных преступников можно после вынесения им приговора отбирать отпечатки пальцев и хранить их. Если случится, что через некоторое время за вновь совершенное преступление будет арестован тот же преступник, но под другой фамилией, то путем сравнения отпечатков пальцев можно будет установить подлинное его имя... Основной тип пальцевого узора не изменяется на протяжении всей жизни человека и поэтому может служить лучшим способом идентификации, нежели фотография».

Журнал «Нейчер» опубликовал письмо Фолдса 28 октября 1880 г. Несколько дней спустя перекрестились пути двух людей, которые шли независимо друг от друга к идее использования отпечатков пальцев в целях идентификации и принесли ее в Европу с далекого Востока.

Статья Фолдса застала Хершела, вернувшегося к тому времени в Англию и медленно поправлявшегося на родине, в его доме в Литлморе. Прочтя сообщение Фолдса, Хершел страшно возмутился и тут же написал письмо в тот же журнал «Нейчер». В нем он сообщал, что задолго до Фолдса, а именно 20 лет тому назад, он отбирал отпечатки пальцев и использовал их в самых различных целях для идентификации. И лишь нерадивость его начальства да собственное нездоровье не позволили ему широко оповестить об этом. Вопросы об использовании отпечатков пальцев, найденных на месте преступления, — идеи, целиком принадлежащей Фолдсу, Хершел не касался.

Вполне можно понять чувства Хершела, когда он прочел известие о том, как кто-то за один год сделал открытие, над которым он сам трудился два десятилетия. Естественно также и то, что, заявляя о своем праве первооткрывателя, он вначале не обратил внимания на несомненно оригинальную мысль Фолдса. Во всяком случае, Хершелу в первую очередь важно было сослаться на свою собственную работу.

Для строптивой природы Фолдса письмо Хершела, как только он узнал о нем, стало вызовом — вызовом человека, посягающего на его приоритет в этом открытии. Разве это его вина, что Хершел не довел свои наблюдения до сведения общественности, а промолчал? Это он, Фолдс, только он обратил внимание всего мира на отпечатки пальцев. Лишь он один...

Не теряя ни минуты, Фолдс решил вступить в борьбу, о которой Хершел и не помышлял. Фолдс решил вернуться в Англию, но еще до отъезда разослал повсюду письма, адресуя их знаменитостям того времени, с тем чтобы ознакомить их со своей идеей и закрепить за собой право первооткрывателя. Он пишет таким ученым, как Чарлз Дарвин. Он написал и британскому министру внутренних дел, а также шефу лондонской полиции Эдмунду Гендерсону, предлагая каждому из них свое открытие. Но никто из влиятельных лиц в лондонской полиции ему не ответил. Наконец через одного знакомого в Лондоне Фолдсу удалось узнать, что в Скотланд-Ярде, этом святилище лондонской полиции, его принимают за афериста.

Вслед за этим Фолдс шлет письма во Францию. Он пишет префекту парижской полиции Луи Андрие. Фолдс не мог знать, что Андрие меньше всех способен вдохновиться такого рода радикальными идеями. Еще менее мог Фолдс, отправляя свое письмо, предполагать, что Андрие после всего лишь двухлетней службы находится накануне своей отставки, а новый политик, на этот раз Жан Камекасс, готов сменить его на посту префекта парижской полиции и что тем самым будет открыт путь другой идее идентификации, для другого человека, о существовании которого Фолдс тогда и не подозревал, — для Альфонса Бертильона.

*6. Париж, 1881 г. Новый префект полиции — Камекасс. Последний шанс Альфонса Бертильона. Измерения начинаются. Насмешки сослуживцев. Успех с наступлением третьего месяца. Дело Дюпона. Насмешки прикусили язык. Амелия Нотар. «Каинова печать» найдена. Восхождение Бертильона к славе. Первая в мире служба полицейской идентификации под крышей парижской префектуры. Развитие полицейской фотографии.*

### *Первая полицейская лаборатория.*

Если впоследствии порой и утверждали, что Жан Камекасс был человеком настолько дальновидным, что сразу же постиг значение идеи Альфонса Бертильона, то это всего лишь одна из легенд, которыми столь часто бывают вымощены пути истории.

Камекасс, как и Андрие, был политиком. В качестве префекта полиции он приобрел известность благодаря тому, что основал первую школу полиции. Об идее Бертильона он имел такое же туманное представление, как и его предшественник. До 1881 г., то есть до своего вступления на пост префекта полиции, Камекасс никогда не слыхал о титулярном письмоводителе из Первого бюро.

Доктор Луи Адольф Бертильон, прикованный к постели в Нейи тяжелой формой артрита, не смог своим личным присутствием использовать смену префектов, которой он так ждал, в интересах своего сына. Но он писал письма, телеграфировал и посылал к префекту друзей. Он был достаточно хорошим врачом, чтобы понимать, что на полное выздоровление ему рассчитывать не приходится; следовательно, у него осталось слишком мало времени для того, чтобы помочь сыну проложить себе путь в жизни. Но лишь через год, в ноябре 1882 г., одному из его друзей, парижскому адвокату Эдгару Деманжу, удалось убедить Камекасса, что если тот не хочет упустить случая прослыть новатором в борьбе с преступностью, то ему надо испытать метод Бертильона.

Спустя несколько недель, в середине ноября, Камекасс вызвал к себе Бертильона. Но и на этот раз, хотя последний и был подготовлен отцом к этой встрече, присутствующая ему неловкость испортила весь ход столь важного первого свидания с префектом. Наверное, Альфонс Бертильон опять потерпел бы поражение, не будь Камекасс связан данным Деманжу обещанием оказать содействие сыну Луи Адольфа. В конце концов Камекасс завершил беседу вымученными словами: «Хорошо, я дам вам шанс проверить свои идеи. Со следующей недели мы на пробу введем ваш метод идентификации. Я дам вам двух помощников и три месяца срока. Если за это время вы исключительно при помощи одного вашего метода распознаете рецидивиста, тогда...»

Если принять во внимание условия, на которых был предоставлен этот шанс, то вряд ли его вообще можно назвать шансом. Ничтожной была вероятность того, что именно в течение этих трех месяцев будет задержан преступник, его осудят, он отбудет наказание, выйдет на свободу, опять совершит преступление и его вновь арестуют. Бертильон прекрасно понимал, что только исключительно счастливый случай будет ему помощником в выполнении условий, поставленных Камекассом. Тем не менее он безропотно согласился. И по-видимому, правильно сделал. Гюстав Масэ, узнав, что ему придется отдать Бертильону двух писарей, возмутился до глубины души. Система Бертильона, утверждал он, может оказаться действенной при условии, что измерения всегда будут проводиться самыми добросовестными сотрудниками и самым добросовестным образом. Но ради всего святого, не забывайте о рутине и о том, что измерения большинство служащих будут проводить чисто механически.

За всем этим скрывалось глубокое недоверие старого практика к занудному теоретику и ко всему тому, что звалось наукой. Тем не менее в возражениях Масэ содержалось зерно истины, которое значительно позже (а для Бертильона — трагическим образом) дало о себе знать. Но на этот раз протест Масэ не возымел действия.

Возможно, и сам Камекасс не надеялся на успех опытов Бертильона. В комнате, где до сего времени все еще работал Бертильон, стали официально проводить измерения и регистрацию данных. Но в каких это происходило условиях! Коллеги наблюдали за Бертильоном, не прекращая издевательских насмешек. Обоим помощникам нельзя было доверять, так как они никак не могли постичь смысла порученной им работы. Они пытались восставать против мрачной и ожесточенной педантичности Бертильона, с которой тот следил за их действиями. Им было известно отрицательное отношение Масэ ко всему происходящему, и они шушукались за спиной Бертильона, но ослушаться не решались, так как боялись его холодной ярости, готовой обрушиться на них, допусти они малейшую неточность. Бертильон безмолвствовал и работал как одержимый. Он измерял, проверял, записывал.

С некоторых пор каждый вечер с итогами всего сделанного за день он спешил в маленькую квартиру, в которой с зимы 1881 г. стал частым гостем. Квартира принадлежала молодой австрийке Амелии Нотар, невзрачной близорукой женщине, кое-как перебивавшейся в Париже уроками языка. Однажды из-за своей близорукости она попросила Бертильона помочь ей перейти перекресток. Замкнутый, необщительный Бертильон раскрыл свои мысли перед такой же замкнутой и необщительной женщиной. Так зародился этот необыкновенный союз, со временем превратившийся в столь же необыкновенный брак. Бертильон не настолько доверял своим помощникам, чтобы позволить им заполнять регистрационные карточки. Это делала Амелия Нотар. Она своим каллиграфическим почерком вписывала в них данные с утра до ночи.

К началу января 1883 г. у Бертильона в картотеке было 500 карточек, к середине января — уже тысяча, а в начале февраля их насчитывалось 1600. Регистрационная система функционировала. Но что из этого? Февраль был третьим месяцем испытательного срока, а следовательно, последним, отведенным Бертильону для опыта. К 15 февраля в картотеке было уже 1800 регистрационных карточек. Но до сего времени к Бертильону еще ни разу не приводили никого, кто был бы уже однажды им обмерен и кого можно было бы опознать по данным, имеющимся в картотеке.

Февраль того года выдался туманным, небо было мрачным, и эта мрачность была под стать настроению Бертильона. Он был раздражительным более обычного, во время работы что-то бормотал про себя. Его опять мучили жестокие приступы мигрени, опять повторялись носовые кровотечения,

опять «взбунтовался» желудок. 17 февраля его отделяло еще 12 дней от рокового срока; 19 февраля оставалось всего 10 дней...

20 февраля, незадолго до конца рабочего дня, Бертильон лично обмерял последнего из арестованных, назвавшегося Дюпоном. Он был шестым Дюпоном за этот день. Уже давно среди уголовников, не отличавшихся богатством фантазии, фамилия Дюпон стала излюбленным псевдонимом. Бертильон измеряет: длина головы — 157 мм, ширина головы — 156 мм, длина среднего пальца — 114 мм, мизинца — 89 мм...

Раньше он часто ловил себя на том, что черты лица вновь арестованного казались ему знакомыми. С дрожью в руках перебирал он тогда карточки, преисполненный надежды найти наконец то, что было ему так необходимо. И всякий раз он чувствовал себя одураченным. Одураченным ненадежностью человеческого глаза, с чем его системе и предстояло сразиться. Теперь же по завершении обмера арестованного Дюпона ему тоже показалось, что перед ним уже знакомое лицо. Но, пребывая в дурном расположении духа, он противился собственным ощущениям.

По своей длине голова арестованного Дюпона подходила к разделу картотеки с пометкой «средняя». Тут имелась отсылка в соответствующий подраздел. А данные измерения ширины головы, тоже разбитые на подразделы, позволили уменьшить количество искомых картотечных ящиков до девяти; данные о длине среднего пальца сократили это количество до трех, а данные о длине мизинца умещались в одном ящике, и в нем было всего пятьдесят карточек. Одну из них минуту спустя Бертильон держал в похолодевшей от волнения руке. В ней значились те же цифры, которые он только что получил, измеряя арестованного Дюпона. Но в карточке стояла другая фамилия: Мартэн, арестованный 15 декабря 1882 г. за кражу пустых бутылок.

Бертильон повернулся к арестованному. «Я вас уже однажды видел,— еле выговорил он,— вы были задержаны 15 декабря прошлого года за кражу пустых бутылок. Тогда вы назвали себя Мартэн...» Воцарилось напряженное молчание. Полицейский, сопровождавший задержанного, был потрясен. А арестованный со злостью воскликнул: «Ну и ладно! Ну и ладно, это был я...» Остальные служащие, которые были очевидцами этой сцены, уставились на Бертильона. Некоторые из них решили, что ему помог случай, другие понимали, что тот, над кем они с таким удовольствием издевались, переживает в это мгновение настоящий триумф. Бертильон овладел своим волнением и обвел всех их взглядом, полным сарказма. По своему обыкновению он, не проронив ни слова, сел за письменный стол и стал сочинять докладную префекту полиции, затем отправил ее. Только после этого он запер свою картотеку и покинул бюро. На улице Бертильон повел себя необыкновенным для него образом: нанял дрожжи и отправился прямо к Амелии Нотар. Только там он на мгновение дал выход своему волнению и поведал своей тихой и, как всегда, преданной слушательнице о пришедшем к нему наконец успехе. Затем он поехал к отцу. То, что он сообщил ему, было последней радостью для больного человека, который через несколько дней после этого скончался.

21 февраля 1883 г. парижские газеты опубликовали первые сообщения о случае Дюпон-Мартэна и о новой системе идентификации Бертильона. Сообщение едва заметили. Но через двадцать четыре часа Камекасс призвал к себе Бертильона и разрешил продлить его опыты на неопределенный срок. Заманчивая для каждого политика мысль обрести известность благодаря введению прогрессивного новшества воодушевила и Камекасса. Он решил: этого человека надо поддержать! И Бертильон получает в свое распоряжение еще нескольких помощников и отдельное помещение для того, чтобы иметь возможность без помех проводить измерения.

В остальном мало что изменилось. В марте ему удалось еще одна идентификация ранее судимого. На протяжении следующего квартала Бертильон идентифицировал еще 6, в июле, августе и сентябре — 15, а до конца года — 26 заключенных, при опознании которых старые, рутинные методы и «фотографическая память» отказали. Его регистратура к тому времени насчитывала 7336 карточек. В них ни разу не повторялись все размеры регистрируемых.

Успех Бертильона все еще продолжал быть внутренним делом префектуры полиции. В отношении к нему понемногу происходили изменения, характерные для окружения преуспевающего человека. Насмешники приумолкли и встречали его с большой предупредительностью. Но в чудаковатом Бертильоне слишком глубоко засело недоверие к ним. В отместку за столь долго переносимые им издевки он теперь держался с демонстративной холодностью и едким сарказмом.

Гюстав Масэ, самый сильный и серьезный противник Бертильона, 1 апреля 1884 г. подал в отставку, так как в городском управлении ему не удалось выбить больше денег для Сюртэ (в частности, ему не позволили даже провести телефон, хотя он готов был из собственных средств оплатить его установку). Но Сюртэ в целом была настолько крепко связана с практикой старой школы, что там все равно не принимали всерьез Бертильона — «бледнолицего из префектуры». Некоторые инспекторы шулки ради с ложным дружелюбием приглашали Бертильона идентифицировать первого попавшегося покойника или пьяного. Они потешались над тем чувством отвращения, какое внушал Бертильону вид мертвого тела. Только когда ему действительно удалось путем измерения и сравнения данных, имеющихся в его картотеке, опознать одного покойника, идентифицировать которого Сюртэ оказалось невозможным, отрицательное отношение к нему стало мало-помалу, хотя и неохотно, уступать место признанию. Но неужели и им, работникам Сюртэ, для поиска конкретного лица Бертильон навяжет свои измерения? Им что же, каждого подозрительного задерживать, раздевать и измерять?

Сам Бертильон абсолютно ничего не предпринимал для того, чтобы побыстрее растопить этот лед

отчужденности. Не забывались и перенесенные насмешки. Он по-прежнему оставался оскорбительно резким. К середине 1884 г. Бертильон так выдрессировал своих помощников, что смог уже доверять им измерение и заполнение карточек. Таким образом у него оставалось время для занятий новыми проблемами. Бертильон часами просиживал за своим письменным столом, пристально вглядываясь в фотографии тех заключенных, которых он уже измерял. Фотографии изготавливались тут же, в ателье, расположенном на чердаке префектуры. Бертильон приобрел собственное фотооборудование и стал по-своему снимать заключенных. Затем вырезал из снимков и дюжинами наклеивал отдельные изображения ушей, носов, глаз. Одновременно он с прилежанием муравья искал наиболее точный способ описания их формы. Перечень вариантов был бесконечным. К примеру, описание носа выглядело так: S-образная спинка носа, смятая спинка носа, расплюснутая спинка носа, искривленная вправо или влево спинка носа; ноздри сомкнутые, ноздри толстые и т. п. и т. д. У каждого заключенного он исследовал цвет глаз, различая при этом внешние и внутренние участки роговицы в зависимости от ее окраски: с желтым пигментом, оранжевым, каштановым, карим, серо-голубым...

Стимулятором этого поиска был все тот же иронический вопрос сотрудников Сюртэ, допытывавшихся, надо ли им выслеживать и арестовывать разыскиваемого преступника по карточечным данным, иными словами — с сантиметровой лентой в кармане.

Бертильон был поглощен еще одним новым замыслом, который последовательно воплощал в жизнь. Он вздумал дополнить карточки с данными измерений хорошими фотографиями и описаниями преступников с тем, чтобы любой полицейский, познакомясь с ними, тут же мог хорошо представить себе облик разыскиваемого преступника и при случае узнать его и задержать. Затем можно будет проверить правильность ареста путем обмеривания задержанного. Бертильон искал такой способ фотосъемки, при котором можно было бы зафиксировать на бумаге неизменяемые или трудноизменяемые черты человеческого лица. Наконец, он пришел к выводу, что этим требованиям лучше всего отвечает снимок в профиль.

В течение 1884 г. Бертильон идентифицировал 300 ранее судимых, из которых большинство опять-таки проскользнули сквозь сети старых методов идентификации. За этот же год ему ни разу не встречались величины измерения, которые бы повторялись во всех деталях. Можно было больше не сомневаться в надежности его системы. Она функционировала.

Камекасс начал водить к Бертильону своих друзей — политиков и зарубежных гостей и демонстрировать им его метод измерений. В конце 1884 г. таким путем попал к Бертильону англичанин Эдмунд Р. Спирмэн, интересовавшийся работой полиции и имевший солидные связи в британском министерстве внутренних дел. Спирмэн, о котором еще пойдет речь, проявил столь бурную заинтересованность, что на какое-то мгновение расплавил холодную замкнутость Бертильона, и тот охотно продемонстрировал перед англичанином свою систему.

Тогда же Бертильона посетил и директор управления французских тюрем Эбер. Он тоже быстро уловил, что отныне у него появились шансы для наведения порядка в регистрации заключенных во Франции, где, как и в полицейском архиве, полным-полно было фальшивых фамилий. Спустя несколько дней после посещения им Бертильона Эбер объявил французским журналистам, что намерен ввести метод Альфонса Бертильона в практику французских тюрем. Это вызвало чрезвычайный интерес к особе Бертильона. На следующий день его имя впервые появилось в крупных парижских газетах. Заголовки гласили: «Молодой французский ученый революционизировал идентификацию преступников», «Французская полиция снова во главе мирового прогресса», «Гениальный измерительный метод д-ра Бертильона». За одну ночь Бертильон оказался на верном пути к славе национального масштаба.

1885 год (Камекасс ушел в отставку, и его место занял новый префект, Граньон) был годом, когда во всех тюрьмах Франции вводился метод антропометрии, как теперь назвал его Бертильон.

Граньон не испытывал симпатии к Бертильону, но прекрасно понимал, что антропометрия знаменует собой настоящую революцию в деятельности полиции и всей пенитенциарной системы. Он потребовал ввести измерения преступников в полицейских службах провинций и добивался создания в Париже центрального антропометрического бюро, по возможности в собственном новом помещении. Но планам Граньона противодействовала неповоротливость управленческой бюрократии. Ему пришлось удовлетвориться тем, что вместо нового здания для бюро было отведено несколько чердачных помещений во Дворце юстиции. Помещения эти находились в плачевном состоянии. Зимой там было еще холоднее, а летом еще жарче, чем в прежней рабочей комнате Бертильона. Но 1 февраля 1888 г. Бертильон, именуемый теперь «директором полицейской службы идентификации», въехал туда.

На открытие новой службы собрались представители министерств, палаты депутатов и сената, парижские журналисты и репортеры, приехавшие из провинций. Бертильон молча выслушивал приветственные речи. Дождавшись последнего выступления, он без каких-либо слов благодарности исчез в своей комнате — первом в его жизни собственном кабинете.

Лишь полное отсутствие чувства прекрасного могло позволить Бертильону довольствоваться достигнутым и не замечать мрачной безвкусицы обстановки своего учреждения. Самым важным было то, что это наконец его владение, где он хозяин. Отныне каждому посетителю придется, преодолев множество ступеней, остановиться на последней и ждать, примут его или нет. В этом была своеобразная месть Бертильона за времена прежних унижений.

На следующее утро парижские журналисты придумали новое слово, быстро вошедшее во

французский, а затем и во многие иностранные языки,— «бертильонаж».

«Бертильонаж, основанный на измерении отдельных неизменяемых частей человеческого скелета,— писал Пьер Брюллар,— величайшее и гениальнейшее открытие XIX века в области полицейского дела. Благодаря французскому гению скоро не только во Франции, но и во всем мире не будет ошибок в идентификации, а следовательно, и судебных ошибок вследствие неправильной идентификации. Да здравствует бертильонаж! Да здравствует Альфонс Бертильон!»

Несколько недель спустя Бертильон потребовал передать в ведение службы идентификации фотоателье и получил его. Фотографы пытались противиться его приказу снимать каждого арестованного дважды: анфас и в профиль. Причем эти два снимка следовало делать с одинакового расстояния, при одинаковом освещении, а голова фотографируемого должна была сохранять одно и то же положение. Подумать только, какое непосильное требование к фотографам! Они-то еще продолжали считать себя художниками, а не какими-то техническими исполнителями. Однако им быстро пришлось познакомиться с гневом Бертильона, его тихим голосом, но оскорбительно холодным тоном. Вскоре Бертильон сконструировал кресло, вращающееся вместе с сидящим на нем заключенным, что давало возможность делать два снимка согласно необходимым требованиям. Готовые снимки тут же наклеивались на карточку с данными измерений. И хотя карточка выросла до невероятных размеров, почти до полумиллиона карточек, Бертильон сам вносил туда словесный портрет — «описание преступника словами». Как долго он искал способ формализовать это описание! Вместе с новыми фотографиями этот «говорящий портрет» должен был обрисовать как можно точнее облик правонарушителя. С таким точным «портретом» полицейским пока не приходилось иметь дела. Для каждой видимой приметы головы теперь имелись точно сформулированные понятия с буквенным обозначением каждого. Ряд таких букв составлял формулу, то есть совокупность характерных признаков для каждого конкретного человека. Все этому Бертильон стал обучать своих подчиненных. Они должны были заучивать наизусть формулы тех заключенных, которых они лично не знали, а затем отправляться в тюрьму Сантэ на «парад арестантов» и там выискивать тех, чью формулу они заучили. Благодаря безжалостной муштре Бертильона им действительно удавалось опознать большую часть заключенных.

Но как некогда Гюстав Масэ отрицал опыты Бертильона, так и теперь некоторые сотрудники Сюртэ критически заявляли: словесный портрет — это сверхсложный вздор, с которым нормальный полицейский немногого достигнет. Однако к тому мнению уже никто не прислушивался. Словесный портрет был введен во французской полиции как дополнение к карточке с данными измерений и как основное средство при розыске преступника.

К началу 1889 г. Бертильон почти достиг вершины своей славы. не хватало лишь какой-то малости, какого-то особого случая для того, чтобы его имя оказалось навечно вписанным в историю Франции.

#### *7. 1892 г. Парижские анархисты. Бертильон идентифицирует Равашоля. На пороге мировой славы.*

11 марта 1892 г. взрыв потряс бульвар Сен-Жермен в Париже. Облака дыма вырывались из распахнутых окон дома № 136. Полиция и пожарные, прибывшие на место происшествия, решили, что взорвался газ. Но под развалинами третьего этажа были найдены остатки бомбы. А так как в этом доме проживал председатель суда Бенуа, который в мае 1891 г. вел судебный процесс над несколькими анархистами, то никто не сомневался относительно того, кто подложил бомбу. Однако попытка найти истинных виновников вначале не дала никаких результатов. Волнение общественности возрастало. Наконец 16 марта женщина — агент Сюртэ, значившаяся в ее списках под номером X2S1, сообщила интересные сведения. Она была знакома с супругой профессора Шомартена, преподавателя технической школы в парижском пригороде Сен-Дени. Шомартен был фанатичным приверженцем анархизма и при каждом удобном случае публично распространялся об эпохе социальной справедливости, которая наступит после ликвидации всех правительств. Его считали неопасным, поскольку было совершенно очевидно, что он не умеет обращаться с бомбой. Но тут его жена проговорила, что именно Шомартен запланировал покушение, дабы отомстить председателю суда Бенуа за то, что тот вынес суровые приговоры его товарищам. Исполнителем, по ее словам, был некий Леон Леже.

В тот же день Шомартена арестовали. Он во всем признался. но основную вину стал сваливать на Леже. Последний, по словам Шомартена, был послан в столицу для того, чтобы отомстить судьям, враждебно относившимся к анархистам. Леже ненавидит всех богачей, и вообще это человек, способный на все. Он скрывается от полиции, которая давно его разыскивает. К тому же Леже — это псевдоним, настоящая его фамилия Равашоль. Он-то и украл динамит в Суари-суз-Этуаль. Бомба для взрыва, произведенного на бульваре Сен-Жермен, сделана на Кэ-де-ля-Марин, заявил в заключение Шомартен, и там же проживает Равашоль.

Когда сотрудники Сюртэ прибыли на Кэ-де-ля-Марин, то нашли убежище того, кто звался Равашолем, пустым. В нем остался лишь материал для изготовления бомб. Шомартена допросили вторично, и выяснилось, что о новом месте пребывания Равашоля ему ничего не известно. Тем не менее он описал внешность покушавшегося, правда, туманно и неточно: худощавый, рост — примерно 1,6 м, желтоватый цвет лица, темная борода. Несколько часов спустя имя Равашоля появилось на страницах всех парижских газет. Сотни полицейских отправились на поиски таинственного незнакомца. Дороги на выезде из Парижа были перекрыты, проверялись все поезда, все мужчины с желтоватым цветом лица и темной бородой задерживались. Были арестованы известные анархисты. Консьержам

домов было приказано сообщать о каждом человеке, внешность которого соответствовала бы словесному портрету Равашоля. Однако эти меры оказались безрезультатными.

«Франция в руках беспомощных людей,— писала газета «Ле Голуа»,— которые не знают, что предпринять против внутренних варваров...»

Префект полиции (теперь этот пост занимал Анри Лозе) призвал на помощь Бертильона. Опрос полицейских участков за пределами Парижа показал, что в Сент-Этьене и Монбризоне был известен один человек, проживавший там под именем Равашоль, хотя в действительности его звали Франсуа Кенигштейн, он родился 14 октября 1849 г. в Сен-Шамоне, был сыном голландского рабочего с металлургического завода в Изье, обучался профессии красильщика. Дома все боялись его жестокости; свою мать он часто избивал и угрожал ей убийством. В 1886 г. он оставил работу и занялся контрабандой и воровством. Уже около года он разыскивается полицией за совершение нескольких тяжких преступлений. В ночь на 16 мая 1891 г. был взломан склеп баронессы Рош-Тайе на кладбище под Сент-Этьеном. Грабитель открыл саркофаг, похитил нательный крест и медальон и пытался содрать кольца с пальцев умершей. Имелось достаточно указаний на то, что это преступление — дело рук Равашоля. 19 июня того же года был найден задушенным старик отшельник, одиноко проживавший в своей лачуге в Форезских горах. 35 тыс. франков, накопленных стариком за всю его жизнь, оказались похищенными. Кенигштейн-Равашоль, подозреваемый в совершении этого преступления, был арестован, но вырвался из рук полицейских, и ему удалось скрыться.

Примерно через шесть недель, вечером 27 июля 1891 г., ударами молотка были убиты две владелицы скобяной лавки на Рю-де-Роанн в Сент-Этьене. Убийца поживился лишь 48 франками. Это преступление также приписывали Кенигштейну-Равашолю, которого, однако, так и не смогли схватить.

Все это было и интересно, и, наверно, важно, но решающим было совсем другое. В 1889 г., когда в Сент-Этьене ввели бертильонаж, туда по подозрению в соучастии в краже был доставлен Кенигштейн, которого обмерили, зарегистрировав соответствующие показатели. Уже 24 марта 1892 г. Бертильон держал в руках полученную из Сент-Этьена карточку с данными<sup>1</sup>: Клод Франсуа Кенигштейн по прозвищу Равашоль; рост — 1,663, размах рук — 1,780; объем груди — 0,877; длина головы — 0,186; ширина головы — 0,162; длина левой стопы — 0,279; длина среднего пальца левой руки — 0,122; длина левого уха — 0,098; окраска левой роговицы — желтовато-зеленая; шрам около большого пальца левой руки.

Описательная часть карточки была не настолько полной, как это требовалось Бертильону, что и вызвало его сильный гнев. Тем не менее у него в руках было единственное для того времени точное описание Равашоля. Если Кенигштейн-Равашоль и Равашоль Шомартена окажутся одним и тем же лицом, то, значит, полиция сделала огромный скачок вперед в розыске преступника. Если удастся его арестовать, то его идентификация будет для Бертильона пустячным делом. Если Кенигштейн-убийца и Равашоль, подложивший бомбу, одно и то же лицо, тогда, безусловно, будет нанесен серьезный удар по всему движению анархистов. Анархисты — так можно будет заявить общественности,— проповедующие столь высокие идеалы преобразования человеческого общества, для достижения своих целей используют профессиональных убийц.

Как только 26 марта в газетах появились приметы Равашоля, замешательство и нервозность в обществе снова усилились. В газете «Фигаро» Альбер Мильо писал: «Равашоль? А кто знает этого Равашоля? Кто знает, как он выглядит? Это реальное существо или миф? Человек ли он? Все найдено, даже динамит. Но никто не знает, где найти Равашоля».

Похоже было, что Равашоль и вправду становился мифом. В нем видят то идеалиста, то одного из основателей анархистской группы «Куртиль», то борца за свободу...

Но вот в воскресенье, 27 марта в девятом часу утра опять взорвалась бомба. На этот раз в доме № 32 на Рю-де-Клиши. Взрывной волной жителей дома выбросило из постелей, и через раскрытые окна люди взывали о помощи, так как лестничная клетка была разрушена. Пять человек оказались тяжело ранеными. В этом доме жил генеральный прокурор Бюло, выступавший обвинителем на процессе анархистов. Следовательно, нет никаких сомнений: взрыв — дело их рук. А если и были какие-либо сомнения, то их быстро рассеяла статья мнившего себя социалистом редактора газеты «Ле Голуа» Жарзюэля, который сообщил, что получил в воскресенье письменное приглашение встретиться с каким-то незнакомцем на площади Бастилии. Этот незнакомец, во фраке и цилиндре, представился Жарзюэлю как Равашоль и предложил дать редактору интервью при одном условии: тот поклянется, что не будет публиковать точного описания его внешности. Для Жарзюэля сенсационность своей публикации была значительно дороже, нежели требование оказания помощи полиции. Поэтому он привел только следующие слова Равашоля: «Нас не любят. Но следует иметь в виду, что мы, в сущности, ничего, кроме счастья, человечеству не желаем. Путь революции кровав. Я вам точно скажу, чего я хочу. Прежде всего — терроризовать судей. Когда больше не будет тех, кто нас сможет судить, тогда мы начнем нападать на финансистов и политиков. У нас достаточно динамита, чтобы взорвать каждый дом, в котором проживает судья...»

Новая волна возмущения прокатилась по Парижу. Толпами валили люди по Рю-де-Клиши к месту последнего взрыва. Премьер-министр Эмиль Лубе часами совещался с военным министром и префектом полиции. Все известные зарубежные анархисты были высланы из страны. В Риме, Лондоне, Берлине и Петербурге — повсюду говорили о Равашоле. Анархистские газеты славил его

<sup>1</sup> Все измерения выполнялись в метрах.— *Прим. перев.*



как героя, как «непобедимого».

Два дня спустя, в среду, 30 марта, владелец ресторана «Бери» на бульваре Мажанта сообщил полиции, что у него завтракает мужчина примерно тридцати лет, со шрамом около большого пальца левой руки. Незнакомец еще в понедельник разговаривал с официантом Леро и провозглашал анархистские лозунги. Комиссар полиции Дреш с четырьмя сержантами прибыл к ресторану как раз в тот момент, когда незнакомец собирался его покинуть. Анархист тут же выхватил револьвер, но, несмотря на отчаянное сопротивление, был обезоружен и схвачен. По дороге в полицейский участок он несколько раз пытался бежать и катался по мостовой в ожесточенной борьбе с сержантами. Пока задержанного везли в Сюртэ, он непрерывно кричал на всю улицу: «Братья, за мной! Да здравствует анархия, да здравствует динамит!»

К Бертильону его привели страшно окровавленного. Он так бушевал и неистово сопротивлялся, что не было никакой возможности обмерить его и сфотографировать. Только к пятнице задержанный успокоился. Теперь тон его изменился, он принял заносчивую позу героя. Только лично Бертильону он позволил обмерить и сфотографировать себя. Полученные данные оказались такими: рост — 1,663; размах рук — 1,780; объем груди — 0,877; длина головы — 0,186; ширина головы — 0,162; длина левой стопы — 0,279; длина среднего пальца левой руки — 0,122; длина левого уха — 0,098. Итак, Равашоль — «революционный идеалист» оказался Клодом Франсуа Кенигштейном и, по всей вероятности, грабителем и убийцей из Сент-Этьена. На следующее же утро сообщение об этом было помещено в печати. Некоторые левые газеты реагировали с возмущением и иронией; неужели полиция серьезно хочет убедить общественность, что Равашоль — это низкий преступник, убивавший и грабивший корысти ради?! И она серьезно надеется доказать, что задержан настоящий Равашоль? Всеобщее смятение и жуткий страх вновь овладели людьми — если задержан не настоящий Равашоль, то, значит, тот, истинный, на свободе!

Процесс над Равашолем был назначен судом присяжных на 27 апреля, и вдруг за два дня до этого взорвалась очередная бомба. Страшный грохот потряс ресторан «Верн», у входа в который был арестован Равашоль. Стены обрушились, вылетели окна. Под развалинами были найдены два трупа: хозяина ресторана и одного из посетителей.

Но сделанные Бертильоном измерения не лгали.

Равашоль, представ перед судом как виновник взрывов на бульваре Сен-Жермен и на Рю-де-Клиши, отрицал свою причастность к убийству в Сент-Этьене. Судьи же, парализованные, как видно, страхом от угроз, сыпавшихся в адрес парижской юстиции, не решались сказать ни одного резкого слова.

Но вот 20 июня Равашоль, обвиняемый в убийстве и ограблении в районе Сент-Этьена, предстал перед судом присяжных департамента Луара в Монбризоне. Председатель суда Дарриган прибыл из Лиона. Он чувствовал себя свободным от неуверенности и страха, сковавших парижских судей. Как только Равашоль понял, что игра в запугивание окончена, он сбросил маску. Громко, высокомерно и цинично он заявил, что одна из его фамилий действительно Кенигштейн, а ограбление могилы баронессы Рош-Тайе и убийство отшельника Жака Брюнеля — дело его рук. Это было признание человека распущенного, для которого слова анархистов об уничтожении власти имущих служили прикрытием его собственных устремлений убийцы.

Когда Равашоля, приговоренного к смерти, вели ранним утром 10 июля по улицам Парижа к месту казни, он надрывно распевал:

«Хочешь счастливым быть — вешай своих господ и кромсай попов на кусочки». Его последними словами на эшафоте были: «Вы свиньи, да здравствует революция!»

К сообщению о разоблачении Равашоля, весть о котором облетела все европейские страны, присовокупилось известие и об истории проведенной Бертильоном идентификации, способствующей этому разоблачению. Во всех столицах мира обратили внимание на бертильонаж. Казалось, не было больше никаких препятствий его победоносному шествию по всему миру.

#### *8. Лондон, 1884 г. Фрэнсис Гальтон и история его бурной жизни. Гальтон и отпечатки пальцев.*

На лондонской Международной выставке 1884 г. было много диковинок — больших и мелких, незабываемых и совсем не остающихся в памяти, забавных и занимательных. К последним надо отнести павильон, где каждый посетитель за три пенса мог измерить и оценить некоторые свои физические и духовные возможности.

Уплатив билетеру за вход, посетитель оказывался в длинном помещении, в конце которого стоял стол с различными инструментами и аппаратами. Тут же находился молодой человек, преисполненный готовности подвергнуть желающих тесту. Он мог измерить размах рук, рост, длину верхней части туловища, вес человека. Замерял он также силу мышц рук, быстроту реакции, объем легких, проверял зрение, умение различать цвета, слух. В другом конце павильона при выходе посетителю выдавали карточку с полученными данными. Павильон пользовался огромной популярностью.

Иногда в этом павильоне можно было встретить respectable господина лет шестидесяти, выделявшегося голым черепом, окаймленным узким венчиком волос. Это был сэр Фрэнсис Гальтон — один из тех ученых-дилетантов (какое нехорошее слово!) XIX в., которые так много сделали для прогресса естественных наук.

Фрэнсис Гальтон, сын состоятельного фабриканта, родился в 1822 г. в Бирмингеме. Вначале он изучал медицину, но так и не приобщился к врачебной практике, а целиком посвятил себя научным

интересам и путешествиям. Обладая полной материальной независимостью, он объездил множество стран. В 1840 г. побывал в Гисене (Германия) для того, чтобы познакомиться с известным немецким химиком Юстусом Либихом. Затем посетил Будапешт, Белград, Константинополь, Афины, Венецию, Милан и Женеву. Все эти путешествия на лошадях и в экипажах были крайне изнурительными. Результатом их явилось физическое и психическое переутомление, впрочем часто повторявшееся на протяжении всей его жизни, что не помешало Гальтону дожить до девяностолетнего возраста.

Воодушевленный работой своего кузена Чарлза Дарвина «О происхождении видов», в которой много внимания уделялось проблеме наследственности, Гальтон в 60-х годах прошлого века заинтересовался вопросами передачи по наследству физических и духовных свойств и способностей. Для решения этой задачи ему нужны были статистические данные. Годами собирал он материал. С этой целью и был создан описанный выше павильон на международной выставке. Все копии данных, полученных в результате измерений посетителей выставки, отправлялись в архив Гальтона. Когда в 1885 г. выставка закрылась, Гальтон пришел в такой восторг от обилия полезного статистического материала, что не успокоился до тех пор, пока ему не удалось открыть при известном лондонском Саут-Кенсингтонском музее стационарную измерительную лабораторию. Одно время даже считалось хорошим тоном подвергнуться измерениям Гальтона, которые производил его ассистент сержант Рэндл. Гальтон вскоре прославился как самый выдающийся из английских специалистов в области антропометрии.

Так обстояли дела, когда весной 1888 г. весть о назначении Альфонса Бертильона шефом полицейской службы идентификации Парижа достигла Лондона. Научное «Королевское общество» заинтересовалось бертильонажем и попросило Фрэнсиса Гальтона выступить по данному вопросу на одной из его знаменитых «пятниц». Никто в то время не представлял себе, каковы будут последствия этого приглашения.

Гальтон принял приглашение и тут же отправился в Париж, дабы подробно узнать обо всем от самого Бертильона. Впоследствии он так рассказывал о своем визите: «Я встретился с месье Бертильоном во время моего кратковременного визита в Париж и имел возможность ознакомиться с его системой. Ничто не может превзойти ту тщательность, с которой его ассистенты производят обмер преступников. Их действия точны и быстры. Все прекрасно организовано...»

Но Гальтон не ограничился только сообщением об открытии Бертильона. Столкнувшись однажды с проблемой идентификации, он решил основательно заняться этой темой.

Тем временем статьи, написанные доктором Фолдсом и Уильямом Хершелом и опубликованные ровно восемь лет тому назад в журнале «Нейчер», были основательно забыты. Фолдс, ставший между тем полицейским врачом в Лондоне, все еще предпринимал тщетные попытки заинтересовать Скотланд-Ярд и британского министра внутренних дел своей идеей об отпечатках пальцев, а пока что частным образом, ворча и возмущаясь, продолжал свои опыты.

В каком-то уголке феноменальной памяти Фрэнсиса Гальтона сохранилось воспоминание об открытии, описанном в «Нейчер». Гальтон отправил в редакцию письмо с просьбой представить ему более подробные сведения по данному вопросу. Журнал немедленно откликнулся на его просьбу, но опять-таки по какой-то случайности редакция переслала Гальтону статью не Фолдса, а именно Уильяма Хершела, который, несколько поправив здоровье, проживал все там же, в Литлморе, и тоже в частном порядке занимался проблемой отпечатков пальцев. Узнав, что им заинтересовался сам Гальтон, Хершел понадеялся, что этот интерес даст новую жизнь его изобретению и оно получит практическое применение. Без малейших колебаний он переслал Гальтону весь свой материал. Вскоре он и сам посетил Гальтона, чтобы лично продемонстрировать ему способ получения отпечатков пальцев.

И тут произошло то, что обычно случается лишь при наличии такого исключительного ума, каким обладал Гальтон.

Он десятилетиями занимался антропологией и антропометрией, и ему, казалось бы, было предначертано стать приверженцем Бертильона. Но, ознакомившись с присланными Хершелом материалами, он сразу понял, что в руки к нему попало нечто более значимое, чем бертильонаж. Разумеется, система Бертильона — большой шаг вперед. Но если бы удалось осуществить идеи Хершела, то новый метод сделает возможным еще больший прогресс. Открывающиеся при этом перспективы поистине необозримы.

Во время подготовки к докладу, прочитанному Гальтоном 25 мая 1888 г., у него не хватало времени для того, чтобы вплотную заняться новым феноменом. Но он не упустил возможности упомянуть в своем выступлении, что, кроме бертильонажа, по всей вероятности, существует еще один способ идентификации — отпечатки пальцев, — на который пока не обратили надлежащего внимания.

Сразу же после доклада Гальтон погрузился в работу. В первую очередь его интересовал вопрос, действительно ли отпечатки пальцев остаются неизменными на протяжении всей жизни человека. Коллекция собранных Хершелом отпечатков, представлявшая собою материал тридцатилетнего наблюдения, выглядела достаточно доказательной. Тем не менее Гальтон дал распоряжение отбирать отпечатки пальцев у всех посетителей Саут-Кенсингтонского музея. Он чувствовал, что напал на след нового «чуда рода человеческого». И хотя сержант Рэндл все еще продолжал измерять рост, остроту зрения и физическую силу посетителей музея, Гальтона уже интересовала только тема папиллярных линий. С каждого отпечатка пальцев он велел делать увеличенные фотоснимки, чтобы их легче было сравнивать. Через три года в коллекции Гальтона было гораздо больше отпечатков, чем в коллекции

Хершела. Ни разу за это время отпечатки пальцев одного человека не совпадали с отпечатками пальцев другого. Как установил Гальтон, по математической теории вероятности шанс совпадения отпечатка какого-либо отдельного пальца одного человека с отпечатком пальца другого человека выражается отношением 1:4. Если же у одного лица отобрать отпечатки всех десяти пальцев — вероятность совпадения будет равняться 1:64'000'000'000. Приняв во внимание общую численность населения земного шара, можно считать, что совпадение отпечатков пальцев двух человек практически невозможно.

Гальтона занимал еще один вопрос, который ни Хершелу, ни Фолдсу не пришел в голову. Если отпечаткам пальцев как средству идентификации предстоит соперничать с бертильонажем, то следует все множество вариантов папиллярных линий привести в единую систему, а затем каталогизировать их, как это делал Бертильон с данными измерений. Гальтон вместе со своим сотрудником Коллинзом принялся за работу. Изучая труды историков, он с изумлением обнаружил, что еще задолго до него многие ученые занимались такого рода классификацией. Так, например, в 1823 г. Ян Пуркинье, чешский профессор патофизиологии в Праге, в своей книге «К вопросу о физиологии кожного покрова человека» предпринял попытку навести порядок во множестве отпечатков, полученных им в результате исследований. Ему попадались большое количество основных типов пальцевых узоров, которые, по его мнению, постоянно повторяются: спирали, эллипсы, круги, двойные завихрения, кривые полосы.

Гальтон попытался воспользоваться методом Пуркинье. Из тысячи отпечатков он отобрал девять увеличенных фотографий и стал их сравнивать между собой. Дальше этого ему продвинуться не удалось. Опыт Пуркинье не оказался образцом, достойным подражания. Затем Гальтон решил, что существует шестьдесят различных основных типов отпечатков. В полном изнеможении он на несколько дней прекратил всякую работу. Когда же он вновь приступил к изучению отпечатков, то, к своему удивлению, обнаружил, что принимал одинаковые отпечатки за различные только потому, что при взятии отдельных отпечатков краска распределилась неравномерно. Нет, так дальше дело не пойдет, решил он. Он не должен брать за основу общее впечатление от папиллярных линий.

Наконец после бесконечных опытов Гальтон убедился, что существуют четыре основные группы узоров, из которых образуются производные. Он постоянно наталкивался на треугольники, из которых тянулись остальные папиллярные линии. Это были треугольники, или дельты (название он взял от похожей на треугольник прописной буквы в греческом алфавите), находившиеся либо на левой стороне отпечатка, либо на правой. Иные пальцевые узоры имели два треугольника, некоторые — даже больше. Были отпечатки, на которых треугольников не было вовсе.

Итак, существуют четыре основных типа узоров: без треугольника, с треугольником слева, с треугольником справа и с несколькими треугольниками. Возможно, именно эти четыре типа можно положить в основу классификации? Конечно, если взять у каждого человека один-единственный отпечаток пальца, то можно отнести его к одному из четырех классов, то есть поместить карточку с отпечатком в специальный картотечный ящик. Но ведь тогда за короткое время каждый ящик окажется переполненным. А если брать у каждого человека по два отпечатка на одну карточку, то, так как  $4^2 = 16$ , мы будем обладать 16 возможными комбинациями. Но если брать отпечатки всех десяти пальцев на одну карточку, получится уже 1048570 возможных комбинаций и соответственно классов отличия.

Гальтон торжествовал. Не решена ли таким путем проблема классификации отпечатков пальцев? Не следует ли немедленно предать это гласности? В 1891 г. Гальтон помещает статью в журнале «Нейчер». В ней он говорит и о том, сколь многим он обязан Уильяму Хершелу. Статья не привлекла к себе особого внимания, если не считать того, что после ее выхода в свет вновь объявился Фолдс и заявил, что именно он, а не Хершел является первооткрывателем значения отпечатков пальцев для целей полицейской идентификации. Но Гальтон не придавал значения заявлению Фолдса, как, впрочем, и отсутствию интереса к статье со стороны остальных читателей. Борьба за приоритет открытия не входила в сферу его интересов. Его мысли были целиком поглощены сутью предмета. Он работал над книгой, в которой рассматривал вопрос об использовании отпечатков пальцев как способа идентификации. В 1892 г. книга была закончена и в том же году увидела свет. Называлась она «Отпечатки пальцев».

То, что судьба отвела Гальтону определяющую роль в истории криминалистики, было проявлением абсолютной необходимости.

*9. История Скотланд-Ярда. От «ловцов воров» до боу-стрит-раннеров. Джонатан Уайлд. Филдинг и Таунсенд. Идеалы гражданских свобод и рост преступности. Лондон — самый незащищенный город в мире. Роберт Пиль. Первые детективы. Уичер и дело Констанции Кент. Тэннер и дело Мюллера. Коррупция в Скотланд-Ярде. Провал. Убийства, совершаемые Джеком Потрошителем. Новые провалы.*

В те дни, когда появилась книга Гальтона, на берегу Темзы уже возвышались два новых больших комплекса зданий с остроконечными фронтонами и крепостными башнями по углам. В них разместился новый Скотланд-Ярд — главная резиденция лондонской полиции.

Если история Сюртэ к этому времени насчитывала восемьдесят лет, то Скотланд-Ярд не мог похвастаться столь почтенным возрастом.

В 1829 г. два первых лондонских полицейских комиссара, Мэйн и Рауэн, заняли под свое бюро помещение в старом здании, примыкавшем некогда к Уайтхоллскому дворцу. Позже лондонская полиция заняла еще один комплекс зданий, в котором ранее останавливались члены шотландской

королевской семьи при посещении лондонского двора. Отсюда и произошло название «Шотланд-Ярд» («Шотландский двор»), ставшее впоследствии наименованием английской уголовной полиции.

То, что английская полиция была моложе французской, объяснялось вескими причинами. Многие зарубежные наблюдатели считали и считают чрезмерно преувеличенными представления англичан о значении гражданских свобод. Именно эти представления способствовали тому, что английская общественность в любом виде полицейского надзора усматривала угрозу гражданским свободам. Длилось это до тех пор, пока Лондон в 30-х годах XIX в. буквально не поглотила трясина преступлений, насилия и беззаконий. Из-за своеобразного понимания свободы жителями Англии страна столетиями не имела ни публичных обвинителей, ни настоящей полиции, а поддержание порядка и охрана имущества считались делом самих граждан. Возможно, такая точка зрения и оправдывала себя, но только до тех пор, пока граждане были в состоянии не только бесплатно осуществлять полномочия мировых судей, но и для их поддержки нести полицейскую службу. Со временем никто не хотел больше заниматься этим делом. Граждане стали нанимать кого-нибудь вместо себя за плату. Подбирая тех, кто подешевле: инвалидов, полуслепых, бродяг и даже воров. Многочисленные мировые судьи использовали свои посты часто лишь для наживы — брали взятки, занимались укрывательством преступников. Англия не имела своего Видока. Вместо подобных ему в результате столкновения с преступностью рождались отвратительные типы профессиональных доносчиков и «ловцов воров» — самозванных детективов, занимавшихся этим ради наживы, из мести или из жажды приключений. После поимки вора и его осуждения они получали от государства или общины часть суммы налагаемого на преступника штрафа, а в случае поимки убийцы или грабителя им выдавалась премия.

Так что каждый мог приобрести «профессию» доносчика, мог поймать преступника и предстать с ним в качестве обвиняемого перед мировым судьей. Если за этим следовало осуждение, доносчик получал свое вознаграждение, но, с другой стороны, подчас ему грозила месть приятелей осужденного.

Каждый мог стать «ловцом воров» и привести в суд уличного грабителя, взломщика, убийцу. К преступнику применялись жестокие санкции (за совершение любого из двухсот, по преимуществу мелких, преступлений грозила смертная казнь). Тюремь служили лишь пересыльным пунктом по пути на виселицу или в ссылку в колонии.

Сорок фунтов, одежду, оружие и имущество преступника получал «ловец воров» от государства или общины за поимку уличного грабителя. Такие деньги «за кровь» были большим соблазном для всех «детективов», однако жажда денег вела их потом к коррупции. «Ловцы воров» провоцировали молодых людей на совершение преступления, а затем тащили их в суд, дабы получить свои денежки. Они открыто предлагали услуги по возвращении украденного за цену, равную его стоимости. Разумеется, при этом «ловцам воров» приходилось делиться вознаграждением с вором, если только не они сами совершали кражу, что тоже случалось довольно часто. Самым знаменитым представителем таких «детективов» был некий Джонатан Уайлд. Жулик, уличный грабитель, организатор подпольного преступного мира Лондона, несомненный предшественник более поздних гангстерских боссов Северной Америки, Уайлд нарек себя «генеральным тайным сыщиком Великобритании и Ирландии». Он носил трость с золотой короной вместо набалдашника, имел в Лондоне сыскную контору и огромную виллу с большим количеством прислуги. Сотни уличных грабителей отдал Уайлд под суд и отправил на виселицу, но среди них были только те, которые не желали ему подчиниться. В 1725 г. он кончил, как все грабители: его повесили.

Лишь двадцать пять лет спустя один лондонский мировой судья со всей искренностью и серьезностью восстал против ширящихся беззаконий. Это был писатель Генри Филдинг. Из-под его пера вышел злой памфлет на Джонатана Уайлда.

Будучи тяжело больным, Филдинг тем не менее обладал огромной силой воли. Как мировой судья Вестминстера он беспомощно взирал на захлестнувшую Лондон волну преступности. У него хватило решимости и аргументов доказать министру внутренних дел, что Лондон — единственный на земле город, обходящийся без полиции, — может стать позором нации, позором цивилизованного мира.

В результате Филдингу выделили средства из фонда секретной службы для оплаты дюжины сотрудников. Требование выдать им униформу привело всех участников этой истории в состояние шока. Сотрудникам выделили только красные жилеты, под которыми они носили пистолеты. Помещение суда Филдинга находилось на Боу-стрит, и его сотрудников начали называть боу-стрит-раннерами (сыщиками с Боу-стрит), — так неожиданно они стали, надо полагать, самыми первыми детективами в мире. Филдинг платил им по одной гинее в неделю. Но и каждый гражданин, нуждавшийся в защите и пожелавший узнать обстоятельства преступления, мог нанять раннера за одну гинею в день, и уже через четверть часа тот был готов приступить к порученной работе.

Методы раннеров немногим отличались от методов Видока. Переодевшись, они посещали притоны, оплачивали услуги филеров, запоминали лица преступников, умели терпеливо выслеживать, отличались напористостью и мужеством. У них были неплохие достижения, а некоторые из них даже прославились. Самым знаменитым был Питер Таунсенд, служивший одно время телохранителем короля Георга IV. В анналах истории криминалистики вошли также имена Джозефа Эткина, Виккери, Ратвена, Сэйера. Но анналы умалчивают о том, каким образом боу-стрит-раннеры нажили большие состояния (Таунсенд оставил после себя 20 тыс., Сэйер — 30 тыс. фунтов стерлингов). Между тем то, что они не чуждались практики Джонатана Уайлда, было секретом Полишинеля. Ограбленные банкиры

отказывались от уголовного преследования грабителей, гораздо вернее было, хорошо заплатив боу-стрит-раннерам и грабителям, получить украденное обратно. Правда, при этом к пострадавшему возвращалась только часть похищенного, но это было лучше, нежели увидеть через какое-то время вора перед судом, но никогда не увидеть украденного им. Раннеры брали деньги «за кровь», где только могли их получить. А некоторые из них без зазрения совести могли отдать под суд невиновного.

Тем не менее во времена, когда никто не был уверен в безопасности своей жизни и имущества, раннеры-взяточники были лучше, чем ничего. И Генри Филдинг даже с такими полицейскими достиг удивительных для своего времени успехов. Это произошло не только потому, что он, как впоследствии и Видок, стал вести реестр известных ему преступников. Он преуспел и потому, что в процессе розыска грабителей, убийц и воров вступал в переписку с другими мировыми судьями по всей Англии, публиковал розыскные листы в газетах.

Когда в 1754 г. Генри Филдинг умер, его место занял его сводный брат Джон. Он был слепым. История, а может быть, легенда повествует, что к концу своей жизни (он умер в 1780 г.) Джон Филдинг различал три тысячи преступников по голосам. Он создал вооруженные пешие боу-стрит-патрули и конные отряды для патрулирования проезжих дорог. Правда, конные патрули просуществовали недолго (у Филдинга не хватало денег на их содержание). Но боу-стрит-раннеры на протяжении девяноста лет были единственными детективами, которыми располагал Лондон. Однако их число никогда не превышало пятнадцать человек, и это в конце концов обрекло их на бессилие. К 1829 г. в Лондоне существовали целые районы, где даже среди бела дня совершались ограбления. На каждых 822 жителя столицы приходился один преступник. Около тридцати тысяч человек жили исключительно за счет ограблений и краж.

Ситуация стала настолько серьезной, что министр внутренних дел Роберт Пиль решил наконец, вопреки враждебному отношению общественности к полиции, создать настоящую полицейскую службу. Он выдержал настоящий бой в нижней палате парламента, и 7 декабря 1829 г. тысяча полицейских в голубых фраках, серых холщовых брюках и черных цилиндрах продефилировала через весь город к своим новым полицейским участкам. Цилиндры должны были показать лондонцам, что не солдаты взяли на себя охрану их безопасности, а гражданские лица. Несмотря на цилиндры, к ним на долгие десятилетия пристали презрительные клички, такие, как «пилеры», «коперы» («хвататели») или «бобби» (уменьшительное от имени Роберт).

Понадобилось несколько особо жестоких убийств для того, чтобы министр внутренних дел в 1842 г. решился наконец предпринять следующий шаг. Двенадцать полицейских сняли свою униформу и, облачившись в гражданскую одежду, стали детективами. Они разместились в трех маленьких комнатах Скотланд-Ярда. Имена некоторых из этих детективов вошли в историю, в частности Филд, Смит, Джонатан Уичер. Писатель Чарлз Диккенс увековечил их деятельность, написав в 1850 г. первый серьезный английский детективный роман «Холодный дом». Прообразом героя романа — детектива Скотланд-Ярда Баккета — послужил настоящий детектив, инспектор Филд. В английской литературе впервые случилось, чтобы герой романа представлялся таким образом: «Я — Баккет, из детективов. Я — агент секретной полиции». Слово «детектив» стало термином, обозначающим криминалиста, и привилось во всем мире.

Но в практике работы первых детективов перемен вначале было немного. Жалование новых детективов было больше, чем у боу-стрит-раннеров, а следовательно, соблазн коррупции меньше. Но любой житель Лондона все еще мог нанять детектива в частном порядке по своему делу. Такая возможность была необходимой уступкой английской общественности, начавшей вновь возмущаться. Разве из Франции не доходили устрашающие слухи? Разве их уголовная полиция не является по существу институтом шпионажа за гражданами? Подобные подозрения только усугубляли и без того сложную борьбу детективов с преступностью. Все это порождало ограничения, которых не знали во Франции и которые были на руку лишь преступникам. Детективы не могли никого задержать, не имея в наличии веских доказательств. Им запрещалось склонять подозреваемого к даче показаний. Всех подозреваемых они обязаны были предупреждать, что всякое их показание может быть использовано против них самих. Неудивительно поэтому, что деятельность английских детективов была менее эффективной, чем деятельность их французских коллег.

Инспектор Джонатан Уичер стал жертвой этого враждебного отношения общественности к полиции, когда 15 июля 1860 г. он прибыл в Траубридж в графстве Сомерсетшир для расследования происшедшего там убийства. За две недели до этого, 29 июня, в загородном доме «Роуд-хилл-хаус» был найден убитым трехлетний ребенок — младший сын управляющего фабрикой Самюэла Сэвила Кента, проживавшего там со своей второй женой, тремя детьми от первого брака и тремя — от второго. Убитый ребенок был сыном от второго брака. Сэвил, так звали малыша, был любимцем родителей. Он исчез из своей кровати ночью. Его нашли в уборной в саду с перерезанным горлом. Местная полиция под руководством столь же тщеславного, сколь и ограниченного суперинтенданта Фаули оказалась совершенно беспомощной. Фаули делал такое, что спустя всего несколько десятилетий показалось бы любому криминалисту недопустимым, более того — преступным нарушением закона. Он нашел в бельевой корзине окровавленную то ли детскую, то ли дамскую ночную рубашку, но даже не подумал обеспечить ее сохранность, и она исчезла. Кровавый отпечаток руки с оконного стекла он стер, «дабы не пугать членов семьи». Для того чтобы сделать хоть что-то существенное, он арестовал няню, Элизабет Гоу. Элизабет вскоре была освобождена, так как отсутствие каких-либо мотивов совершения ею этого убийства было очевидным.

Когда Уичер прибыл в Траубридж, Фаули встретил его враждебно. Он ничего не сказал инспектору ни о ночной рубашке, ни о следе окровавленной руки на оконном стекле.

Способы и методы деятельности Уичера были типичными для первых английских детективов. У него не было ни малейшего представления о каких-либо научных методах расследования; они войдут в практику лишь в будущем. Подмогой Уичеру служили три компонента: умение наблюдать, знание человеческой природы и способность к выработке версий. Через четыре дня Уичер пришел к выводу, что только одного человека можно считать потенциальным убийцей, а именно шестнадцатилетнюю Констанцию, дочь Самюэла Кента от первого брака. Констанция ненавидела мачеху и считала, что ею самой пренебрегают и плохо к ней относятся. Уичер посчитал вполне возможным, что она убила своего единокровного брата — этого любимчика отца и ненавистной мачехи, желая тем самым досадить его родителям. К тому же, рассуждал Уичер, ночное убийство, вне всякого сомнения, не могло не оставить следов на ночной одежде девушки. Как только выяснилось, что из трех ее ночных рубашек одна бесследно исчезла, он потребовал ареста Констанции. Ответом была буря негодования со стороны местных жителей. Через несколько дней девушку пришлось освободить. Какая дерзость отважиться обвинить ребенка в убийстве своего беспомощного брата! Только развращенный ум мог придумать такое! Уичер стал объектом жестокой травли. Чтобы оградить от нападок общественной полиции в целом, Ричард Мэйн, один из комиссаров лондонской полиции, уволил Уичера.

Четыре года спустя, в 1864 г., Констанция Кент созналась в убийстве своего сводного брата. Она действительно сделала это для того, чтобы причинить боль мачехе и отцу. И в том же, 1864 г. английская общественность с готовностью (о, коварное непостоянство человеческой природы!) восславил одного из первых детективов, но не беднягу Уичера, а Дика Тэннера за удачное раскрытие первого в Великобритании убийства, совершенного на железной дороге.

9 июля 1864 г. в купе вагона Северо-Лондонской железной дороги был убит семидесятилетний банковский служащий Бриге. Неизвестный убийца забрал у своей жертвы золотые часы с цепочкой, очки в золотой оправе и — что выглядело очень странно — шляпу. Свою же он оставил в купе. За поимку преступника была назначена высокая награда, пресса публиковала сенсационные сообщения о ходе расследования. Через одиннадцать дней Тэннер нашел ювелира, у которого убийца обменял похищенные золотые часы с цепочкой на другие. Футляр, в котором находились обменные часы, навел на след одного портного, немца, проживающего в Лондоне, по имени Франц Мюллер. Он подарил этот футляр ребенку своих друзей. Шляпа, оставленная преступником в купе, оказалась принадлежащей Мюллеру. Из его письма хозяйке квартиры было ясно, что он находится в данное время на борту парусника «Виктория», на пути в Северную Америку.

20 июля Дик Тэннер с ордером на арест в кармане, вместе с несколькими свидетелями отправился в путь на борту быстроходного парохода «Сити оф Манчестер». Пароход прибыл в Нью-Йорк на четырнадцать дней раньше «Виктории». Когда наконец «Виктория» прибыла в порт, толпа любопытных подплывала к ней на лодках и кричала: «Как поживаешь, убийца Мюллер?..»

16 сентября Тэннер вместе с арестованным вернулся в Англию. Два месяца спустя Мюллера повесили. В последнем слове перед казнью он признался в своем преступлении.

Но даже такой громкий успех не принес существенных дивидендов лондонской уголовной полиции. Заняв в 1869 г. пост начальника полиции, Эдмунд Гендерсон признал: «Огромные трудности стоят на пути развития уголовного розыска. Большинство англичан относятся к нему с недоверием. Он чужд привычкам и чувствам нации. Детективам приходится работать тайком». Но именно Гендерсон сумел увеличить штат сысского отдела Скотланд-Ярда на 24 человека и поручил руководство им одному из бывших помощников Джонатана Уичера суперинтенданту Уильямсону.

Уильямсон, по прозвищу Философ, предпринял первые попытки упорядочить деятельность детективов, работавших без всякой системы. Еще за 50 лет до этого практически прекратилась высылка преступников в колонии. Отбыв свой срок в британских тюрьмах, они выходили на свободу и, оказавшись вне всякого контроля, принимались за свое прежнее ремесло. Только в 1871 г. парламент законодательным путем провел решение о регистрации всех рецидивистов с обязательным фотографированием и подробным их описанием. Но как только ведение этого реестра передали из Скотланд-Ярда в министерство внутренних дел, он, попав в жернова бюрократии, потерял всякую практическую ценность. Уильямсон возобновил регистрацию рецидивистов в Скотланд-Ярде. Но едва восемь лет спустя он стал пожинать первые плоды своих усилий, как Скотланд-Ярд (как для краткости стали называть сысской отдел) поразил тяжелый удар. Выяснилось, что три старейших, наиболее уважаемых Уильямсоном сотрудника — Майклджон, Драскович и Кларк — брали взятки у лиц, мошенничавших на тотализаторе.

Скандал в Скотланд-Ярде вызвал очередную волну недоверия к полиции. Организация Скотланд-Ярда потребовала существенных изменений. Во главе его встал поборник новшеств, адвокат Говард Винсент. Он побывал в Париже для ознакомления с работой Сюртэ и перенял у французов все, что в этих обстоятельствах только можно было перенять. Из все еще рыхлой группы детективов он создал отдел уголовного розыска, которому предстояло определить впоследствии лицо будущего Скотланд-Ярда.

Первым нововведением Винсента была организация наблюдения за уголовниками. По примеру Масэ, но с большим размахом он начал сбор фотографий для создания «альбома преступников». Трижды в неделю Винсент отправлял тридцать детективов в тюрьму Холлоуэй для проверки того, нет ли среди вновь поступивших арестантов знакомых лиц. Эта практика хотя и медленно, но начала

приносить свои плоды.

Однако то, как мало все еще ценили Скотланд-Ярд, можно проиллюстрировать одним небольшим примером. Когда суперинтендант Уильямсон однажды спросил у незнакомца, весьма похожего на вышедшего на пенсию сотрудника Скотланд-Ярда:

«Мы с вами знакомы? Вы у нас работали?», то получил ответ:

«Нет, слава богу, так низко я еще никогда не опускался!»...

В 1884 г. пост начальника отдела уголовного розыска занял новый человек — Джеймс Монро, долго работавший в британской полиции в Индии. Ему воочию довелось убедиться, что позиции Скотланд-Ярда все еще оставались весьма шаткими.

С 6 августа по 9 ноября 1888 г. английская общественность пребывала в шоке, вызванном серией убийств, совершенных неизвестным преступником.

Ночью 6 августа на темной улице лондонского района Уайтчепел был найден с перерезанным горлом труп тридцатипятилетней проститутки Марты Тэрнер. 31 августа была убита еще одна проститутка — Энн Николе, затем последовали еще четыре убийства: 8 сентября погибла Энни Чэпмэн, 30 сентября — Элизабет Страйд и Кэтрин Эддоуз, а 9 ноября — Мэри Келли. Все убитые занимались проституцией, у всех было перерезано горло, причем сделано это было с такой страшной силой, что голова отделялась от туловища. Но убийце как будто и этого было мало: у последних пяти жертв он с редчайшей жестокостью выпотрошил все внутренности. Прделано все было с точностью, которая наводила на мысль, что это дело рук человека, знакомого с хирургией. Убийства происходили между одиннадцатью вечера и четырьмя часами утра, к тому же исключительно в районах Уайтчепела, Спитлсфилда и Стипни. Несмотря на то что Чарлз Уоррен, бывший в то время начальником лондонской полиции, распорядился производить непрерывное патрулирование улиц города и все работники Скотланд-Ярда каждую ночь были на ногах, убийцу разыскать не удалось. Его прозвали Джеком Потрошителем. Возмущение беспомощностью уголовной полиции не имело пределов. Уоррену, старому рубаке из Южной Африки, пришлось подать в отставку.

Но и тогда, когда начальником полиции назначили Монро, а блестящего адвоката Роберта Андерсона сделали начальником отдела уголовного розыска, тайна Джека Потрошителя оставалась тайной. После смерти Мэри Келли убийства внезапно прекратились, так и оставшись нераскрытыми. Существовало несколько более или менее официальных версий относительно убийцы. Например, предполагали, что это был сумасшедший, который хотел отомстить проституткам за то, что заразился от них венерической болезнью, и который покончил с собой 9 ноября. Более правдоподобной выглядела версия о причастности к этим убийствам одного русского фельдшера, работавшего в восточной части Лондона и выступавшего под различными фамилиями: Педаченко, Коновалов, Острог. В Лондон он прибыл из Парижа, где его тоже подозревали в убийстве одной гризетки. Она была убита таким же зверским способом, как и жертвы Джека Потрошителя. Русский странным образом исчез из Лондона, а после того, как в 1891 г. в Петербурге убил женщину, закончил свой жизненный путь в сумасшедшем доме.

Несомненно, озлобленность и тревога лондонской общественности были вполне естественными. Но это возмущение в конечном счете ей следовало бы обернуть против самой себя. Разве убийства Джека Потрошителя не показали со всей очевидностью, к чему приводит эта щепетильная защита личных свобод (среди прочих — бесконтрольной свободы перемещения любого человека и права называться любым именем)? Разве парижские газеты не были правы, посмеиваясь с явной национальной гордостью, что в Париже такой Джек Потрошитель не смог бы неделями безнаказанно совершать свои кровавые убийства?

Во всяком случае, в те дни, когда Фрэнсис Гальтон в своей лаборатории корпел над тысячами отпечатков пальцев, над Лондоном витала тень Джека Потрошителя. Она еще не полностью рассеялась и к тому времени, когда Гальтон в 1892 г. выпустил свою книгу «Отпечатки пальцев». И несмотря на весь его авторитет, Гальтону понадобился целый год, прежде чем министерство внутренних дел удосужилось обратить на нее внимание. Однако в 1893 г. было еще не поздно, как сказал один из его современников, «поднять знамя дактилоскопии в решительной битве, имеющей историческое значение».

*10. Снова Лондон: фотографии и «парады» заключенных в целях идентификации. По-прежнему нерешенная проблема — идентификация. Скотланд-Ярд взирает на Париж. Фрэнсис Гальтон и Уильям Хершел. Гальтон приходит к открытию значения отпечатков пальцев. Шанс, что у двух людей окажутся совершенно одинаковые отпечатки пальцев, равен 1:64'000'000'000. Поиски способов классификации отпечатков пальцев. Скотланд-Ярд едет в Париж. Мелвилл Макнэтен. Лепэн. Бертильон и англичане. Тщетные попытки Гальтона доказать возможность регистрации отпечатков пальцев. 1894 г.— комиссия Троупа приходит к выводу, что способ идентификации по отпечаткам пальцев во много раз проще бертильонажа, но неприемлем из-за невозможности классификации отпечатков. Введение бертильонажа в Лондоне. Начальники полиций европейских стран едут в Париж. Полицейская Мекка. Бертильонаж в Санкт-Петербурге, Брюсселе, Мадриде, Риме, Дрездене, Берлине. Органы германской уголовной полиции. Д-р Вильгельм Эбер. Ганс Гросс. Пророк научной эры криминалистики. Бертильонаж в Австрии.*

Со времени своего визита к Альфонсу Бертильону в 1884 г. Эдмунд Спирмэн не переставал устно и письменно обращать внимание британского министра внутренних дел на бертильонаж. В лице д-ра И. Дж. Гарсона, честолюбивого вице-президента лондонского Антропологического общества, Спирмэн



обрел союзника. Борьба за бертильонаж стала для Спирмэна своего рода навязчивой идеей. Досконально изучив методы идентификации, которыми пользовались в Скотланд-Ярде, он обрисовал их министру в самых темных тонах, хотя и это не могло достаточно полно передать всю мрачную реальность. Списки профессиональных преступников и списки освобожденных заключенных, составляемые в министерстве внутренних дел к концу каждого года, попадали в руки полиции в лучшем случае через девять месяцев. К этому времени данные, разумеется, устаревали, к тому же описания внешности были весьма поверхностными и неточными, как бывало в свое время и во Франции. Особые приметы редко фиксировались, а если и упоминались, то примерно так: «Татуировка на левом безымянном пальце». Это была примета, которая в те времена моды на татуировку могла относиться к сотням подозреваемых. Альбомы со снимками преступников в Скотланд-Ярде разделили участь французской картотеки преступников. Альбомы содержали около 115 тыс. фотографий. Многие предпринимались для того, чтобы навести порядок, но хаос здесь был так же велик, как некогда в Париже. Сотрудники отдела наблюдения за преступниками нередко целыми днями рылись в картотеке только для того, чтобы найти снимок всего одного преступника. Речь шла о бесцельной трате сил и времени. Не лучше обстояли дела и с процедурой идентификации в тюрьмах. Трижды в неделю встречались 30 сотрудников в тюрьме Холлоуэй для опознания знакомых им по фотографиям лиц преступников. Все было, как 50 лет тому назад, когда каждому новичку-детективу, как важнейшую заповедь, твердили: «Учись узнавать мошенника, мой мальчик, учись узнавать мошенника...» За одно посещение тюрьмы 30 сотрудников идентифицировали в лучшем случае четырех преступников, а на каждую такую идентификацию уходило 90 рабочих часов, причем эти опознания часто впоследствии оказывались ошибочными.

Книга Гальтона «Отпечатки пальцев» уже вышла в свет, когда в 1893 г. Спирмэну удалось уговорить двух высокопоставленных чиновников из министерства внутренних дел — сэра Чарлза Рассела и сэра Ричарда Уэбстера, отправлявшихся с политической миссией в Париж, — посетить Бертильона. Тот радушно принял их в своих владениях, и они вернулись на родину в восторге от всего увиденного. Уэбстер потом заявил, что ему довелось видеть лучшую из систем идентификации, какую только можно себе представить. Теперь уже Рассел и Уэбстер уговаривали исполняющего обязанности министра внутренних дел Эсквита ввести в Англии бертильонаж. Эсквит готов был уже согласиться, но тут произошло то самое (как выражается один французский историк) отклонение стрелки истории, которое порой кажется случайностью, порой — перстом судьбы. Один из членов «Королевского общества» вручил Эсквиту книгу Гальтона. Эсквит нашел время ознакомиться с ней и отложил введение бертильонажа. Вместо этого он решил назначить комиссию для ознакомления как с бертильонажем, так и с системой отпечатков пальцев. Комиссии предстояло решить, какая из этих систем больше подходит для Англии.

В октябре 1893 г. комиссия приступила к работе. В нее входили Чарлз Эдвард Троуп, сотрудник министерства внутренних дел, майор Артур Гриффит и Мелвилл Макнэтен. Гриффит был инспектором британских тюрем и, кроме того, весьма известным писателем, работавшим в то время над двухтомным произведением «Тайны полиции и преступлений». Макнэтен представлял Скотланд-Ярд.

В те омраченные недавними убийствами Джека Потрошителя времена Макнэтен, вернувшись из Индии, занимал должность начальника отдела уголовного розыска. Для постоянного напоминания о случившемся в его письменном столе лежали жуткие снимки зарезанных женщин. Этот холеный низенький человек, всегда распространявший вокруг себя «атмосферу индийского плантатора», получивший позже прозвище Добрый Старый Мак, стал как бы между старым и новым Скотланд-Ярдом. Он сменил на этом посту ученика неудачливого Уичера — Уильямсона, который встретил его словами человека, разочаровавшегося во всем:

«Мой мальчик, вы пришли в сумасшедшее учреждение. Если вы будете выполнять свой долг — вас будут поносить, не будете выполнять его — вас тоже будут поносить». Макнэтен застал еще детективов-ветеранов, вроде суперинтенданта Шора, незнакомых с орфографией. Ему еще приходилось заучивать поговорку «Лучший детектив — удача и случай» (что, впрочем, не так далеко от истины). Макнэтену от природы был присущ консерватизм, но в Индии он достаточно расширил свой кругозор, дабы понять, что уголовной полиции нельзя проходить мимо новейших достижений науки.

Члены комиссии Троупа в первую очередь отправились в лабораторию Гальтона в Саут-Кенсингтонском музее, чтобы на месте ознакомиться с системой отпечатков пальцев. Простота системы

была столь захватывающей, что члены комиссии повторили свой визит в лабораторию. И уже казалось, что история «повернула стрелку» в нужном направлении, но тут же выяснилось, что она чуточку поторопилась. После выхода в свет книги «Отпечатки пальцев» неутомимый Гальтон понял, что ему еще рано праздновать победу своего метода регистрации. В его системе обнаружилось несколько слабых звеньев, а именно: если бы четыре определенных им основных узора папиллярных линий (без треугольника, с треугольником слева, с треугольником справа, с несколькими треугольниками, или, как их еще иначе назвал Гальтон, дуги, петли слева и справа, завихрения) встречались равномерно, то можно было бы 100 тыс. карточек с десятью отпечатками пальцев распределить таким образом, что найти нужную не представляло бы никакого труда. Но о подобной равномерности, не могло быть и речи. Дуги встречались реже, чем остальные узоры. Наблюдалась тенденция к повторению на определенных пальцах одного и того же основного узора. Когда Гальтон классифицировал 2645 карточек, выяснилось, что в один ящик попало 164 карточки, в то время как в

других оказалось по одной-единственной карточке. В итоге в отдельных ящиках накапливалось столько карточек, что о быстром нахождении одной нужной нечего было и думать.

Когда члены комиссии появились в лаборатории Гальтона, он как раз трудился над разработкой новых критериев классификации. Ему уже казалось, что он нашел правильное решение, но, увы, он всего лишь приблизился к нему. Гриффит настаивал на определении срока окончания поиска, что было абсолютно нереальным. Возможно, для этого ему, Гальтону, потребуется всего один год, а может быть, два или три. Комиссия оказалась в затруднительном положении. Этот способ идентификации выглядел на редкость простым. И вот вместо того, чтобы без всяких затей использовать его, приходится он него отказываться только потому, что не усовершенствована регистрация. Значит ли это, что надо обратиться к бертильонажу — методу более сложному, чтобы через несколько лет узнать наконец, что Гальтон решил проблему упорядочения карточек с отпечатками пальцев?

Вот какая перспектива, подобно мрачной туче, зависла над Троупом, Гриффитом и Макнэтеном, когда после этого они отправились в Париж.

В столице Франции три англичанина окунулись в атмосферу триумфа французской полиции. В то время пост префекта полиции перешел к новому человеку — Луи Лепэну, небольшого роста, темпераментному, всегда жестикулирующему господину. Ему было суждено стать популярнейшим парижским префектом конца XIX — начала XX столетия. Заветной его мечтой было заставить население Парижа полюбить свою полицию, и в этом начинании он проявил так много решительности и находчивости, как никто другой. Подавляя забастовки и беспорядки железной рукой, он делал это с таким дипломатическим тактом, что у побежденных не оставалось чувства поражения. Он не брезговал театральными эффектами. Мог, например, внезапно ворваться в гущу бастующих, на которых полицейские по его же приказу нацелили заряженные ружья. «Стой! Я запрещаю вам стрелять в этих честных людей!» — кричал он своим полицейским, и, пока бастующие выражали ему свой восторг, забастовка сама по себе угасала. Лепэна прозвали «префектом улиц», поскольку он все время старался быть на людях. Всех своих служащих он подбирал лично. Патрульные полицейские были у него видными, высокими. Мужчины ниже 1 м 74 см не имели никаких шансов попасть к нему на службу. В уголовную полицию сотрудники подбирались по иному принципу: их внешность должна была быть совсем заурядной. Те, кто был выше 1 м 67 см, имели рыжие волосы, большой живот или шрам на лице, беспощадно отбраковывались.

Лепэн жаловал Бертильона так же, как и его предшественники, но по натуре он был слишком большим охотником за славой, чтобы не понять, чем может обернуться для парижской полиции бертильонаж. Он обрушил на англичан такую лавину похвал по поводу гениальности Бертильона и его программы, что вся служба идентификации предстала перед иностранцами в ослепительном блеске.

В подобном ключе беседовал с англичанами и Горон, бывший в то время шефом Сюртэ. Горон, уроженец Бретани, был уже близок к тому, чтобы стать почти легендарной личностью. Небольшого роста, полный, короткорукий, с напوماженными усами, в пенсне, он производил впечатление не лучшее, чем Бертильон. Преступников Горон преследовал из «любви к искусству». Он находился, если можно так выразиться, где-то между Масэ и грядущим. Никто точно не знал, в какой степени он использует в работе традиционных осведомителей. Во всяком случае, он располагал множеством так называемых «загонщиков», которых снабжали документами ранее судимых лиц, с тем чтобы они под видом всякого рода бандитов проникали в притоны, а затем поставляли Горону необходимую информацию. Вместе с осужденными они отправлялись в тюрьмы, там «вынюхивали», подслушивали, попадали в другие тюрьмы, «умирали», получали новые документы и под другими именами продолжали свою работу. Допросы Горон проводил в темных камерах, доводя арестантов до нужной кондиции простым методом — лишением пищи. В обмен на интересующие его сведения он предлагал роскошный обед. Он обещал заключенным женщин, если они расскажут все, что ему хотелось узнать. Это стали называть «харчевней месье Горона». И действительно, ему удалось ликвидировать целые банды, которые, выползая из своих обиталищ в старых крепостных валах и дровяных складах на берегах Сены, терроризировали весь Париж. Как и Лепэн, Горон был хорошим пропагандистом и сумел перетащить прессу на свою сторону. Как и Лепэн, он был достаточно умен, чтобы оценить значение бертильонажа и тот факт, что другой системы идентификации пока не предвиделось. Потому-то он так ярко и расписал англичанам достижения Бертильона.

Да и сам Бертильон во время визита гостей из Лондона показал себя с самой лучшей стороны. Его покинула обычная мрачность и замкнутость, и он сопровождал гостей даже во время посещения ими тех мест Парижа, где обитали преступники. Бертильон не успокоился до тех пор, пока гости не выпили с ним грога. Он, проживший в Англии несколько лет, был до смешного убежден, что это напомнит англичанам их родину. За выпитый с ними грог Бертильон поплатился страшными приступами мигрени.

В своих апартаментах под крышей префектуры Бертильон, как рассказывал Макнэтен, готов был без устали говорить о своих успехах, которыми он, впрочем, гордился по праву. Бертильон демонстрировал англичанам вещи, о которых те сроду не слыхивали; среди прочего, например, был фотоаппарат на высоком штативе, вращая который можно было с доскональной точностью снять место преступления. Аппарат имел насадку с метрической шкалой, которая отпечатывалась на фотографии, что позволяло представить точные размеры места преступления: расстояние от трупа до двери, до стены и т. п. Он показал и другие интересные и необходимые в работе приспособления, позволяющие не делать трудоемких карандашных зарисовок места происшествия. Бертильон отвел гостей в помещение, где размещалась лаборатория для фотографических и физических

экспериментов. И только после показа всего этого продемонстрировал как свое наивысшее достижение методику бертильонажа.

В комнату ввели заключенных. Гриффиту и Макнэтену дали в руки измерительные приборы, для того чтобы они лично убедились в «простоте» процедуры измерения. Бертильону удалось показать гостям действенное преимущество своей системы идентификации перед прежней и доказать, что она является собой небывалый шаг вперед. Ему не удалось только одно — убедить практичных англичан, что его метод действительно прост. Их страшил не только необходимость скрупулезности в обмеривании, но и вероятность ошибок, которые обязательно возникнут, как только измерения будут проводиться вне контроля такого педантичного и компетентного наставника, каким был Бертильон. Словесный портрет почти не произвел впечатления на англичан. Они считали, что его конструкция слишком сложна для рядового полицейского, и время доказало, что они были правы. Отказавшись от словесного портрета, Макнэтен записал: «Видимо, работа Бертильона по своей природе имеет скорее теоретическое, чем практическое значение».

Последовавшие затем заседания комиссии Троупа, длившиеся до февраля 1894 г., проходили под знаком все той же неразрешимой дилеммы. Спирмэн и д-р Гарсон использовали все свое влияние, добиваясь введения в Лондоне бертильонажа и словесного портрета. При этом оба так увлеклись антропометрией, что совершенно не обращали внимания на те возможности, какие давала система идентификации по отпечаткам пальцев.

Наконец 19 февраля комиссия в обширном документе представила министру внутренних дел свои рекомендации, которые содержали изложение противоречий во мнениях членов комиссии, решивших искать выход в компромиссе. Он состоял в том, чтобы ввести в Скотланд-Ярде метод измерения, но в форме, устраняющей сложности бертильонажа. Следовало бы, рекомендовал документ, регистрировать 5 из 11 предлагаемых Бертильоном единиц измерения, а от словесного портрета отказаться вовсе. Вместо него, по мнению комиссии, на каждую карточку следует наносить отпечатки десяти пальцев заключенного. Регистрацию карточек надо проводить по метрическим величинам, поскольку классификация по отпечаткам пальцев пока невозможна.

В июле 1894 г. британское министерство внутренних дел поддержало предложения комиссии Троупа. Детективу-инспектору Стэдмэну и детективам-сержантам Коллинзу и Ханту было поручено приступить к созданию в Скотланд-Ярде картотеки с данными измерений и отпечатками пальцев. Этому активно противился Спирмэн. По его словам, если бертильонаж, при котором требуется абсолютная точность как единичного измерения, так и совокупности всех измерений, оказался урезанным на шесть важных единиц, то соответственно уменьшаются и шансы на успех всего предприятия; более того, возможно, они вообще сводятся к нулю. Вся же затея с отпечатками пальцев представлялась ему вообще ненужной. Спирмэн, рассерженный, уехал в Париж к Бертильону, чтобы сообщить ему о происходящем. Факт искажения в Лондоне его системы чувствительно задел обидчивого Бертильона и настроил его враждебно ко всем англичанам. Между тем произошли события, отодвинувшие происходящее в Лондоне на второй план. Спирмэн встретил в Париже специалистов по вопросам полицейского дела из различных европейских стран. Все они ожидали приема у Бертильона, чтобы ознакомиться с его системой. Здесь собрались знаменитости: от доктора Бехтерева из Санкт-Петербурга и Сергея Краснова из Москвы до доктора Штокиса из Льежа и начальника службы идентификации берлинской уголовной полиции фон Хюллесема.

Пока в Лондоне искали решение, Париж и чердак Дворца правосудия превратились, как сострил один современник, «в Мекку европейских полицейских управлений». Система Бертильона победным маршем двинулась по континентальной Европе. Шефы европейских полицейских служб, отправляясь к Бертильону, полностью сознавали все несовершенство своих систем идентификации, а о существовании дактилоскопии вообще не имели никакого понятия. В 1896 г. доктор Штокис и доктор де Лавелье первыми создали в Бельгии частные службы идентификации, работавшие по принципу бертильонажа. Испания в своих тюрьмах создала «антропологические кабинеты». В Италии первый кабинет, где производились подобные измерения, открыл при полиции Неаполя профессор ди Блазио. Профессор Оттоленги — судебный медик в Сиене, ставший вскоре ведущим криминалистом Италии, — начал преподавать методику Бертильона. Он стал настолько страстным поклонником «словесного портрета», что расширил метод, предложенный Бертильоном, и начал регистрировать «произвольные и непроизвольные виды движений» заключенных, а также «психические приметы», такие, к примеру, как «способность к запоминанию». Для выявления таких примет он предложил сложные аппараты — динамометр и платисмограф. Затем бертильонаж ввели в Португалии, Дании и Голландии.

С 1896 г. стали вводить антропометрию в работу полиции городов и земель германской империи. Начальник дрезденской уголовной полиции, имевший титул советника правительственного совета Кёттиг, основал в столице Саксонии антропометрическое бюро. Благодаря этому начинанию имя его стало выделяться на том весьма бесцветном фоне разобщенной в ту пору немецкой уголовной полиции. Между тем прошло уже три четверти века с тех пор, как и в Берлине, столице самой большой немецкой земли — Пруссии, из маломощной горсточкой ночных охранников и полицейских слуг была впервые создана организованная и одетая в униформу полиция.

Еще в 1822 г. трем полицейским в Берлине было вменено в обязанность «в цивильном одеянии заниматься расследованием преступлений». И все-таки с того времени нигде в Германии так и не зародились свои Сюртэ или Скотланд-Ярд либо иная уголовная полиция, с которой связывались бы какие-либо славные дела или легенды. Тут дело было не только в чрезмерной рассудительности и в

отсутствии смелых идей у прусского чиновничества, хотя и это возможно: ведь кто из немецких криминалистов смог бы написать мемуары, подобные вышедшим из-под пера Масэ, или стать героем сенсационных криминальных приключений масштаба Горона! Но дело заключалось еще и в том, что в Германии тех лет не было ни одного хорошего писателя, достойного сравнения с англичанами Чарльзом Диккенсом, Уилки Коллинзом, позднее с Конан Дойлом или французом Эмилем Габорио, избравшими героями своих произведений детективов.

«Молькенмаркт» — древний, мрачный, угловатый комплекс зданий, который до 1891 г. занимал берлинский полицейско-президиум, — а затем и новое его помещение на Александерплац не стимулировали полет фантазии. То же самое относилось к Четвертому отделу, который с 1854 г. примерно соответствовал Сюртэ или лондонскому уголовному розыску. Не лучше выглядели полицейско-президиумы и сыскные отделы в других немецких землях.

Когда правительственный советник Кёттиг вводил в Дрездене бертильонаж, он понятия не имел, как, впрочем, и другие руководители уголовной полиции в Германии, о том, что уже восемь лет тому, назад, в 1888 г., берлинский ветеринарный врач доктор Вильгельм Эбер направил в прусское министерство внутренних дел докладную записку, ставшую любопытнейшим документом в истории дактилоскопии. Отнесись к ней в министерстве с большей долей воображения, возможно, прусской полиции и выпала бы честь участвовать в становлении дактилоскопии. Эбер несколько иначе, чем доктор Фолдс, исходя из совсем других предпосылок, открыл криминалистическое значение отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. Кровавые отпечатки рук на полотенцах, оставляемые мясниками и ветеринарами в берлинских бойнях, привлекли внимание Эбера и навели его на мысль о папиллярных узорах. В результате многочисленных опытов он выявил различную в каждом отдельном случае их картину. Через некоторое время Эбер уже умел определять по отпечатку на полотенце того, кто им пользовался. Точно так же, как и Фолдс, он пришел к выводу, что по отпечаткам ладони и пальцев руки, оставленным на месте преступления, можно установить преступника. К своей докладной записке в министерство внутренних дел он приложил ящичек, в котором содержались принадлежности, необходимые для получения «картины рук», с оговоркой, что он снимал отпечатки с предметов, которых касались неизвестные ему люди, а затем сумел их установить. С помощью паров йода, заявлял Эбер, можно закрепить отпечаток руки, на котором четко будут видны папиллярные линии.

8 июня 1888 г. исполняющий обязанности начальника берлинской полиции фон Рихтхофен вернул Эберу его докладную записку, сухо заметив при этом: «Пока что, насколько могут вспомнить ветераны, никогда еще не удавалось реконструировать отпечатки рук по следам, оставленным на щеколдах, стаканах или других предметах, обнаруженных на месте преступления». И никто не вспомнил о предложениях Эбера, когда в Саксонии — первой из германских земель — был введен бертильонаж.

Советник Кёттиг пытался пригласить в Дрезден начальников полиции всех германских земель, чтобы заинтересовать их бертильонажем. Он ратовал за проведение «всеобщей конференции немецкой полиции», но его усилия разбились о стену местнических интересов отдельных земель и их полицейских ведомств. Между тем шеф гамбургской уголовной полиции Рошер ввел антропометрию, за ним последовал Берлин. Наконец в июне 1897 г. прошла конференция немецкой полиции. Она, к величайшей радости Кёттига, приняла решение об организации во всех имперских землях служб идентификации с использованием метода Бертильона и о создании в Берлине центральной картотеки.

После «завоевания Германии» Бертильон пережил один из своих величайших триумфов. Прошел год, и, как говорили в Париже, «приобщилась» к бертильонажу и Австрия — важнейшая часть придунайской монархии.

Шестью годами раньше, в 1892 г. за введение антропометрии в Австрии уже высказывался один из видных пионеров криминалистики, оказавший большое влияние на ее развитие. Имя этого человека Ганс Гросс. Он родился в Граце в 1847 г. и, еще будучи студентом, изучавшим право, осознал все недостатки существовавших методов идентификации, особенно тех, которые используются австрийской уголовной полицией на селе. В уголовной полиции служили бывшие унтер-офицеры, исполнявшие свои обязанности кое-как, полагавшиеся только на доносы осведомителей и любой ценой, порой самыми грубыми методами добивавшиеся признания подозреваемыми своей вины. Когда Гросс в 1869 г. начал работать следственным судьей в промышленном районе Верхней Штирии, знакомство с работой уголовной полиции показалось ему кошмарным сном. Если и велась какая-то работа по расследованию преступлений, то вся она лежала на плечах следственного судьи. Гросс, хотя и изучал законодательство в университете, но о криминалистике не имел ни малейшего представления. Но зато в отличие от других следственных судей тех лет он обладал воображением и догадывался, сколь необходимо создать новый духовный и научный естественно-технический фундамент следственной работы. Будучи юристом, он не обладал специальными познаниями в области теоретического или прикладного естествознания. Но добросовестное изучение доступной ему литературы привело его к выводу, что вряд ли существует какое-либо техническое или естественнонаучное достижение, которое нельзя было бы использовать при раскрытии преступлений.

Гросс проштудировал основы химии и физики, занялся фотографией и микроскопией, ботаникой и зоологией и, как результат двадцатилетнего труда, написал книгу, обобщившую его опыт, которой было суждено стать первым учебником научной криминалистики и прославить Гросса во всем мире. Он назвал ее «Руководство для следователя».

В 1888 г. Гросс впервые услышал о бертильонаже. Естественно, он тут же сам занялся измерениями и в первом издании своего учебника в 1892 г. решительно высказался за введение

антропометрии в Австрии.

Когда 3 апреля 1898 г. австрийский министр внутренних дел распорядился основать в Вене бюро по бертильонажу, он был в полной уверенности, что обеспечил полицию своей страны новейшим техническим достижением.

*11. «Свет приходит с Востока». 1896 г.— Эдвард Генри, генеральный инспектор полиции Бенгалии, решает проблему классификации отпечатков пальцев. 1897 г. — бертильонаж в Индии отступает перед отпечатками пальцев. 1898 г. — убийство в Джалпагури. Из Калькутты в Лондон. Скотланд-Ярд проверяет «систему Генри». Конец бертильонажа. 1901 г. — Генри становится заместителем начальника полиции Лондона. Инспектор Коллинз. Первые успехи на ипподроме. 1902 г. — кража со взломом на Денмарк-хилл. Отпечатки пальцев взломщика Джексона. Ричард Мьюир.*

В конце 1896 г. в купе скорого поезда, следовавшего в Калькутту, молодой британский офицер с интересом рассматривал своего попутчика, привлекшего его внимание своим странным поведением.

Попутчик был высоким, стройным, необычайно холеным человеком лет сорока пяти, с несколько удлинённой красивой головой, пышными волосами, расчесанными на пробор, темными усами. Весь его облик свидетельствовал о том, что это непременно либо высокого ранга чиновник, либо офицер. В течение часа он не шевелясь смотрел в окно, затем внезапно вынул из нагрудного кармана золотую ручку и стал что-то торопливо искать в остальных карманах своего костюма. Так ничего и не найдя, он снял левую накрахмаленную манжету и начал на ней что-то быстро записывать. Самым удивительным было то, что он не только писал, но и рисовал какие-то дуги. Он несколько раз прерывал свою странную работу и, глядя перед собой, глубоко задумывался, затем дополнял записанное и нарисованное. К концу пути его манжета была полностью разрисована и исписана. На вокзале в Калькутте его встретили несколько слуг, которые увезли его в элегантном экипаже.

Молодой офицер не мог знать, что ему довелось присутствовать при событии необычайной важности, а о том, кто сидел напротив него, он и подавно не догадывался. Это был Эдвард Генри — генеральный инспектор полиции Бенгалии, провинции в Британской Индии. И в этот день на своей манжете он набросал основные принципы всеобъемлющей системы классификации отпечатков пальцев.

Генри — сын врача, родом из Шедуэлла, восточного пригорода Лондона. В 1873 г., в двадцатитрёхлетнем возрасте, он отправился в Индию, где стал успешно продвигаться по ступеням служебной лестницы. В 1891 г. он занял должность генерального инспектора полиции Бенгалии. Сравнительно молодой, Генри выделялся образованием, умом, хорошим воспитанием и богатой фантазией. Одновременно с этим он обладал исключительными организаторскими способностями и математическими познаниями. Заняв столь высокий пост в Калькутте, он тотчас же ввел бертильонаж в работу полиции. С учетом очень низкого образовательного уровня работников индийской полиции тех лет и их неосведомленности о европейской системе мер Генри пришлось сократить измерения до шести величин. В соответствии с заключением лондонской комиссии Тroupa в карточку с измерениями вносились в качестве особой приметы и отпечатки пальцев.

Достижения бертильонажа, особенно если сравнивать их с состоянием дел в сфере идентификации в прошлом, отрицать было немислимо. В 1893 г. в Бенгалии благодаря антропометрическим измерениям удалось установить наличие прошлой судимости у 23 вновь арестованных. В 1894 г. это число возросло до 143, а в 1895 г. — до 207. К этому же году количество карточек, составленных в Бенгалии по системе Бертильона, достигло 100 тыс. Тут-то и обнаружилось наличие ошибок при обмеривании преступников. Возникли непреодолимые трудности с обучением индийских полицейских и тюремной администрации. Их необходимо было научить измерять заключенных так, чтобы на эти измерения можно было положиться. К тому же заполнение одной карточки занимало у них почти час, для страховки измерения повторяли трижды. Максимальный допуск колебался в пределах двух миллиметров. Но данные измерений отдельных людей часто отличались именно этими двумя миллиметрами. И, чтобы не проглядеть эти миллиметры, приходилось, отыскивая нужную карточку, просматривать множество картотечных ящиков, на что тоже уходило не менее часа.

Пожалуй, только игрой случая или капризом судьбы, роль которых так велика в истории криминалистики, можно объяснить то обстоятельство, что Генри работал в Бенгалии — той же самой провинции, где полтора десятка лет тому назад проводил свои первые эксперименты с отпечатками пальцев Уильям Хершел. Генри жил в том же окружении и впитывал в себя те же впечатления. Во всяком случае, Генри независимо от Хершела уже в 1892 г. (то есть до решения комиссии Тroupa) обратил внимание на проблему отпечатков пальцев. В 1893 г. в его руки попала вышедшая годом раньше книга Гальтона «Отпечатки пальцев». В 1894 г. из доклада комиссии Тroupa он узнал, что Гальтону не удалось решить проблему практической классификации отпечатков пальцев. И тогда Генри впервые задал себе вопрос: действительно ли эта проблема столь неразрешима?

Через несколько месяцев Генри уехал в отпуск па родину. Прибыв в Лондон, он тотчас же посетил Гальтона в его лаборатории в Саут-Кенсингтоне. Гальтон, которому было уже за семьдесят, встретил его без всякого предубеждения, не опасаясь за свой престиж, и поделился с Генри всеми своими сомнениями. Таинственный мир папиллярных линий зажег фантазию Генри. Он вернулся в Калькутту с чемоданом, до краев заполненным фотографиями отпечатков пальцев, и постоянно размышлял о них. В Калькутте он продолжал собирать образцы отпечатков и фотографировать их. Он все сравнивал и сортировал отпечатки вплоть до декабря 1896 г., то есть до того момента, когда в поезде к нему

неожиданно пришло решение проблемы классификации отпечатков пальцев — классификации, позволяющей без особого труда и в кратчайшее время найти нужные отпечатки.

Если быть точным, то идея эта родилась на свет благодаря сочетанию научно-исследовательских принципов Гальтона и организационно-практического таланта Генри. Последний никогда не забывал упомянуть о той благодарности, какую он испытывает к Гальтону, и даже позже, став признанным корифеем дактилоскопии, Генри всегда считал уместным отдать должное заслугам Хершела и Фолдса. В последние недели 1896 г. Генри изобрел такой способ систематизации миллионов карточек с отпечатками пальцев, что любая из них могла быть найдена за самое короткое время. Он определил пять основных узоров пальцевых отпечатков и четко охарактеризовал каждый из них с последующим подразделением. Итак, существовали простые дуги, пихтообразные дуги, радиальные петли, ульнарные петли и завихрения (радиальная петля обращена в сторону радиуса предплечья, то есть в сторону большого пальца; ульнарная петля обращена в сторону мизинца). Узоры можно сравнивать с буквами латинского алфавита A, T, R, V и W. Затем следовало — и это было главным для массовой регистрации — подразделение основных узоров. Для этого необходимо было провести уточнение рисунка, который Гальтон назвал треугольником, или дельтой. Этот треугольник мог образовываться, например, раздвоением одной-единственной папиллярной линии или двумя разбегающимися линиями. Генри определил для них исходные точки, названные им «внешними пределами». В так называемых петлях тоже имелись свои определенные точки, названные «внутренними пределами». Если провести прямую между внешними и внутренними пределами и сосчитать папиллярные линии, пересекаемые этой прямой, то их число окажется у разных людей различным. Это число можно обозначить цифрами и положить в основу группировки. Эти цифры, обозначающие основные узоры, дадут формулу, согласно которой будет достигнуто упорядочение классификации карточек с отпечатками пальцев.

То, что непосвященному человеку могло показаться сложнейшей системой, в действительности было простым методом, который легко осваивался в кратчайшее время. Для его применения на практике не нужно было ничего, кроме лупы и иглы для более удобного отсчета линий.

Еще в начале 1896 г. Генри отдал бенгальской полиции приказ прилагать к карточкам Бертильона карточку с отпечатками всех десяти пальцев преступника. Теперь же Генри решил испытать свою систему на большом числе карточек. «Если этот метод регистрации,— писал он,— окажется надежным, то я полагаю, что от антропометрии можно будет со временем отказаться...»

Спустя год, в январе 1897 г., Генри был уже полностью уверен в своей правоте. Он обратился к британскому генерал-губернатору Индии с предложением назначить беспристрастную комиссию, правомочную принять решение о введении регистрации по отпечаткам пальцев вместо бертильонажа. Несмотря на свойственную ему сдержанность, Генри откровенно ликовал, когда генерал-губернатор принял его предложение.

29 марта 1897 г. под председательством генерал-майора Шехана, «генерального инспектора Индии», в служебном помещении Генри в Калькутте заседала комиссия. Выводы, сделанные ею два дня спустя, 31 марта, знаменовали для Генри величайший успех. «Ознакомившись с антропометрической системой и ее недостатками,— говорилось в выводах комиссии,— мы столь же внимательно изучили систему отпечатков пальцев. Первое, на что мы обратили внимание,— это простота самой процедуры снятия отпечатков пальцев и их четкость. Здесь не требуются ни особые инструменты, ни особое обучение сотрудников. Нам был также разъяснен и принцип классификации, предложенный мистером Генри. Способ настолько прост, что мы... смогли найти оригиналы двух сложнейших карточек... быстро, четко и без труда... Задача, осложненная недостаточной четкостью отпечатков, была решена нами в две минуты...»

Уже 12 июля 1897 г. генерал-губернатор окончательно отменил практику измерений и вместо нее ввел во всей Британской Индии дактилоскопию. С ее помощью в 1898 г. во всей Бенгалии были идентифицированы 345, а в 1899 г.— 569 преступников, две трети из которых с помощью бертильонажа идентифицировать бы не удалось.

А в это время сам Генри занимался изучением вопроса о возможности использования наличия на месте преступления отпечатков пальцев как вещественного доказательства; и вот то ли случай, то ли судьба послали Генри для проверки его метода как раз такое дело об убийстве, в котором он, так сказать, нуждался.

Время действия — август 1898 г. Место действия — отдаленная пограничная область между Бенгалией и Бутаном. Когда начальник британской полиции округа Джалпагури в сопровождении двух индийцев посетил в конце месяца чайную плантацию, он застал там подозрительную тишину и безлюдье. А когда он приблизился к дому управляющего, никто не вышел ему навстречу. Входная дверь дома была открыта. В спальне он нашел самого управляющего, лежащего на кровати. Тот был мертв: у него было перерезано горло. Бумаги в письменном столе были перерыты, денежная шкатулка вскрыта, деньги похищены. Прислуга в панике разбежалась. Исчезла и возлюбленная управляющего — туземка. В конце концов отыскали эту женщину и повара. Женщина во время совершения преступления в доме не находилась. Повар же видел, как вечером какой-то мужчина выбежал из дома, но в темноте не распознал его. Начальник полиции Джалпагури нашел бумажник управляющего.

Денег в нем не было, только в одном отделении оказался измятый бенгальский календарь. На его светло-голубой обложке можно было различить еле заметное бурое пятно. У полицейского не было при себе лупы, но он предположил, что это отпечаток пальца, и сообщил о своей находке в Калькутту.

Генри приказал снять отпечатки пальцев у убитого и у всех лиц с которыми убитый имел дело, а

затем, обеспечив сохранность этих отпечатков, доставить их немедленно в Калькутту. Здесь в течение нескольких минут установили, что бурое пятно представляет собой не что иное, как отпечаток, по-видимому, большого пальца правой руки. Отпечаток не принадлежал убитому. Он не принадлежал также и никому другому из ближайшего его окружения. После долгих расспросов выяснилось, что в конце 1895 г. убитый пойман на воровстве своего тогдашнего слугу Чарена, который был затем арестован и осужден в Калькутте. Во время своего ареста слуга поклялся отомстить управляющему.

Генри дал распоряжение искать отпечатки пальцев Чарена. Возможно, они уже есть среди карточек, которые в начале 1896 г. завели дополнительно к карточкам с данными измерений. Если же их не найдут в новой картотеке, то существовала еще одна возможность — отыскать его отпечатки в более старых антропометрических карточках, на которые иногда уже тогда заносили отдельные отпечатки пальцев. В поименном реестре нашлась карточка с измерениями Чарена. В ней оказался отпечаток большого пальца его правой руки, который соответствовал отпечатку большого пальца, найденному на календаре.

По случаю бриллиантового юбилея царствования королевы Виктории в 1897 г. амнистировали большое количество заключенных, в их числе оказался и Чарен. После этого он исчез. Прошли недели, прежде чем удалось его разыскать, арестовать и предать суду в Калькутте. Впервые судьи столкнулись с отпечатками пальцев как со средством доказывания. Чарен упорно отрицал свою причастность к убийству. Неопределенность ситуации заставила суд пойти на компромисс. Чарена осудили за хищение, а не за убийство. Вынести смертный приговор, основываясь на отпечатке одного пальца, — на такое суд не мог решиться. Все это было слишком ново, слишком неопределенно, слишком революционно для тех, кому до сего времени приходилось выносить приговоры лишь на основании свидетельских показаний.

К моменту вынесения приговора по этому делу Генри был уже занят новыми проектами. Он написал книгу «Классификация и использование отпечатков пальцев», изданную за счет британской администрации. Одновременно, извлекая урок из дела Чарена, он разрабатывал новый, свой собственный способ регистрации отпечатков пальцев. Он хотел собрать отдельные отпечатки пальцев и упорядочить их таким образом, чтобы как можно проще проводить идентификацию, подобную той, какая имела место в Джалпагури. В то время еще нигде за пределами Индии не было известно о поразительных успехах в области идентификации, достигнутых в Бенгалии.

Далек был путь из Индии в Лондон, да и колесо бюрократической машины проворачивалось очень медленно, но все же она работала, и поэтому отчет комиссии генерал-майора Шехана из Калькутты наконец достиг адресата. Он оказался в министерстве внутренних дел как раз в то время, когда Скотланд-Ярд был ввергнут в очередной кризис вследствие англо-бурской войны. Демонстрации безработных сотрясали Лондон. Лавина преступлений нарастала. Сэр Эдвард Брэдфорд, тринадцать лет занимавший пост начальника полиции, обессилел. Сэр Роберт Андерсон, шеф отдела уголовного розыска, был накануне ухода на пенсию. Что касается службы идентификации, то Мелвилл Макнэтен не достиг ничего существенного. Не то чтобы бертильонаж полностью перестал быть действенным, нет — для того времени и он был прогрессом. Но нерешительность комиссии Троупа все еще сказывалась на работе отдела измерений. К тому же Гальтон выпустил новую книгу — «Дактилоскопический справочник», — оставившую полную уверенность в том, что решение проблемы отпечатков пальцев на подходе. Потому-то сообщения из Индии и попали на благодатную почву.

5 июля 1900 г. в Лондоне начала свою работу новая комиссия под председательством лорда Белпера. Генри вызвали в Лондон для доклада. Гальтона пригласили как эксперта, а заодно с ним и всех сотрудников Скотланд-Ярда, проработавших пять лет по системе, сочетающей в себе метод Бертильона с отбором отпечатков пальцев. Это были Макнэтен, Стэдмэн, Коллинз, а также д-р Гарсон, который в 1894 г. с большим усердием отстаивал антропометрию.

Выступление Генри имело огромный успех. Фрэнсис Гальтон лишней раз доказал свое внутреннее благородство, даже не намекнув, скольким обязан ему Генри, а лишь признав его систему практическим решением вопроса. Неожиданно его поддержал д-р Гарсон. Будучи мелким карьеристом, он мгновенно сообразил, что ему следует переменить лошадей и «оседлать» отпечатки пальцев. После этого он вдруг принялся расхваливать систему классификации отпечатков пальцев, которую разработал сам. Но его система оказалась настолько несовершенной, что комиссия без лишних споров отклонила ее. После тщательного обсуждения вопроса лорд Белпер от имени комиссии рекомендовал в ноябре 1900 г. отменить в Англии бертильонаж и перевести всю систему идентификации преступников на дактилоскопию, предложенную Генри.

Но это еще не все. Министр внутренних дел назначил Генри заместителем начальника полиции Лондона и шефом отдела уголовного розыска. В марте 1901 г. Генри приступил к исполнению своих новых обязанностей. Начал он с визита в то скромное помещение, где работал инспектор Стэдмэн, сержанты Коллинз и Хант. Стэдмэн к тому времени был уже тяжело больным человеком, и Коллинз с Хантом практически вдвоем выполняли всю основную работу. По сравнению с опытами Генри в Калькутте их успехи выглядели довольно жалкими. Собранные ими отпечатки пальцев были технически плохо сняты, нечетки, неправильно систематизированы, да и хранились в тесных ящиках обычного платяного шкафа. Но Генри сумел заразить своей страстью к дактилоскопии Коллинза и Ханта. Он предоставил в их распоряжение образцы отпечатков, собранных им в Индии, и научил их различать узоры папиллярных линий. Его дидактические способности были настолько велики, что Коллинз в кратчайший срок стал крупнейшим английским дактилоскопистом тех лет. Уже через год, к



маю 1902 г., новый дактилоскопический отдел идентифицировал 1722 рецидивиста. Это число в четыре раза превосходило самые лучшие показатели, достигнутые при применении бертильонажа. Но Генри прекрасно понимал, что этого мало, для того чтобы Англия пала перед дактилоскопией. Ему нужны были достижения такого уровня, которые сломали бы скептицизм судей в отношении отпечатков пальцев и рассеяли недоверчивость общественности.

Такая возможность впервые представилась уже в 1902 г. во время ежегодных скачек в Ипсоме. Мелвилл Макнэтен позже вспоминал: «В первый день скачек мы боялись, что нам ни за что не справиться. В шесть или семь часов вечера полиция привезла в тюрьму всех уголовников (мошенников и карманников), которых удалось задержать на скачках. Уже на следующее утро, в 9 часов 30 минут, они должны были предстать перед мировыми судьями. Поэтому мы послали в Ипсом несколько специалистов. Они отобрали отпечатки пальцев у 45 арестованных и привезли их в Скотланд-Ярд. Два сотрудника отдела дактилоскопии в ту же ночь сверили отпечатки пальцев, и двадцать девять человек из этих арестованных были распознаны как ранее судимые. Карточки «грешников» главный инспектор (к тому времени Коллинз был назначен главным инспектором) рано утром отвез в Ипсом. Когда преступники предстали перед судом, то с учетом их прежних судимостей они были подвергнуты двойному наказанию. Один из них назвался Гринном из Глостера. Он уверял, что никогда прежде не был судим, а ипподром для него — мир совершенно неизвестный. Когда главный инспектор назвал ему его подлинное имя — Бенджамен Браун — и уточнил, что он вовсе не из Глостера, а из Бирмингема и за ним значится изрядное количество судимостей, арестованный разразился бранью: «Проклятые отпечатки пальцев! Я так и знал, что они меня выдадут!»

В том же году Генри получил еще один, более значительный шанс. На этот раз речь шла об отпечатках пальцев, обнаруженных на месте преступления. В августе 1902 г. на месте кражи со взломом на Денмарк-хилл Коллинз обнаружил на свежевыкрашенном подоконнике четкие отпечатки пальцев человека, который, как тут же показала карточка, совсем недавно отбыл срок заключения за другую кражу со взломом. Звали его Джексон. Он был арестован и препровожден в тюрьму Брикстоун. Там для полной уверенности Коллинз снял у него отпечатки пальцев еще раз. Никакого сомнения — во время взлома Джексон находился в доме на Денмарк-хилл.

Кража со взломом — это преступление, не входящее в компетенцию мирового судьи; такие дела рассматриваются в знаменитом Олд-Бейли — лондонском уголовном суде с участием присяжных заседателей. Генри решил воспользоваться этим шансом и сделать все возможное для достижения нужного ему результата. Он понимал, что лишь обвинитель с исключительным авторитетом, славой и талантом будет в состоянии преодолеть барьер недоверия и предубеждений, сковывавших и консервативных английских судей, и присяжных.

Таким человеком был прокурор Ричард Мьюир. Сорокапятилетний Мьюир занимал видное место среди среднего поколения адвокатов, которые выступали обвинителями от имени британской короны. Дела об убийствах, такие, как дело Криппена, сделали имя Мьюира известным даже за пределами Англии. После переговоров с Генри Мьюир лично отправился в Скотланд-Ярд. Четыре дня он со свойственной ему тщательностью неумолимо экзаменовал Коллинза. Четыре дня перепроверял он методику дактилоскопии, регистрации и уже достигнутые результаты. Наконец он настолько убедился в преимуществах этого метода, что высказал готовность взять дело, даже менее важное, чем дело Джексона, только для того, чтобы тем самым помочь Генри и его системе отпечатков пальцев добиться общественного признания.

2 сентября 1902 г. Джексон предстал перед центральным уголовным судом в Олд-Бейли. История не сохранила для нас точного отчета об этом процессе. Известны лишь его результаты. Мьюир совершил чудо: убедил недоверчивых присяжных в абсолютной надежности идентификации с помощью отпечатков пальцев. Джексон был признан виновным и приговорен к шести годам каторжной тюрьмы.

Это был первый публичный успех Генри на английской земле. Но он-то знал, что этот успех — только начало. Настоящей же победы он ожидал от большого процесса, который всколыхнул бы всю Англию. И таким стал процесс по делу «дептфордских убийц», вошедшему в историю криминалистики.

*12. 1905 г. — убийство в Дептфорде. Отпечатки пальцев впервые допущены в качестве доказательства по делу об убийстве. Братья Стрэттоны. Д-р Фолдс, или соперничество и ненависть. Обвинительный приговор Стрэттонам. Разработка системы отпечатков пальцев.*

Отвращение, отвращение и еще раз отвращение испытывал обвинитель Ричард Мьюир к убийцам из Дептфорда. Такое же стократное отвращение испытывал каждый лондонец, прочитав в утренних газетах от 27 марта 1905 г. первые сообщения о убийстве, совершенном в Дептфорде.

Утром 27 марта улицы Дептфорда, мрачного района в восточном предместье Лондона, расположенном на южном берегу Темзы, близ Гринвича, были еще безлюдны. Около 7 часов 15 минут на Хай-стрит молочник заметил, как из дома № 34, в котором помещалась маленькая лавчонка, торгующая красками, выбежали два молодых парня и скрылись на соседней улице. Они так спешили, что второпях даже не закрыли за собой дверь лавки.

Минут через десять по этой же улице прошла маленькая девочка. Ребенок увидел окровавленного человека, высунувшего голову из-за дверей лавки, но тут же скрывшегося и запершего за собой дверь изнутри. Ребенка не удивила эта картина. На бойнях Дептфорда кровь лилась рекой, и окровавленные лица и фартуки были в порядке вещей.

Лишь в 7 часов 30 минут один молодой человек поднял тревогу. Это был ученик, который, придя, как обычно, в лавку хозяина, застал ее дверь против обыкновения запертой. Фарроу — его хозяин, пожилой добродушный человек лет семидесяти,— всегда вставал очень рано. Ему приходилось обслуживать маляров, покупавших у него по пути на работу краски и разные малярные принадлежности. Поэтому к приходу ученика дверь лавки всегда была уже открытой. Всегда, кроме этого утра. Ученик позвонил, но в доме никто не отозвался. Тогда паренек через соседний участок проник во двор старого домика. Через окно, выходящее во двор, он заглянул внутрь, и то, что он увидел, заставило его, громко взывая о помощи, броситься в соседний магазин.

Через двадцать минут детектив-инспектор Фокс с несколькими своими сотрудниками прибыл на Хай-стрит. Еще через некоторое время в дом № 34 вошел Мелвилл Макнэтен.

Маленькое помещение позади лавки, служащее и складом и конторой, являло картину полного разорения. Мебель была опрокинута, ящики стола выдвинуты. Повсюду виднелись кровавые пятна и брызги крови. Тело старика Фарроу валялось на полу изуродованным, почти неузнаваемым комком. Под пиджаком и брюками у Фарроу виднелась ночная рубаха. Обнаружив многочисленные следы крови в лавке и на узкой лесенке, ведущей на верхний этаж. Фокс выдвинул следующую версию:

Фарроу спустился из спальни для того, чтобы обслужить предполагаемого покупателя. Здесь же в лавке на него напали и сбили с ног. По-видимому, старик сумел подняться и загородить убийце или убийцам дорогу наверх, где в спальне находилась миссис Фарроу. Огромная лужа крови на ступеньках лестницы свидетельствовала о том, что здесь на старика вновь напали. И похоже на то, хотя это и кажется невероятным, что Фарроу еще раз пришел в себя уже после того, как убийца или убийцы покинули лавку. Он дополз до открытой двери и выглянул на улицу. Возможно, хотел позвать на помощь. Но так как на улице никого не было видно, он запер дверь изнутри, вероятно из страха перед убийцей или убийцами, которые могли вернуться. Затем он каким-то образом добрался до задней комнатки, где его и настигла смерть.

На верхнем этаже в спальне на постели лежала миссис Фарроу, слабая, изнуренная борьбой за жизнь старуха. У нее был разmozжен череп, но она еще дышала. Ее отвезли в Гринвичскую больницу, где она через четыре дня скончалась, так и не произнеся ни слова.

Между тем Фокс обнаружил две маски, сделанные из старых черных дамских чулок. Они подсказывали, что убийц было двое. Поначалу казалось, что они не оставили больше никаких следов. Однако под кроватью миссис Фарроу была найдена маленькая шкатулка для денег, вскрытая и опустошенная до последнего пенса. Из расчетной книжки вытекало, что добыча грабителей составляла не более 9 фунтов стерлингов. Макнэтен, как известно причастный к развитию дактилоскопии, обследовал шкатулку со всех сторон на предмет обнаружения на ней отпечатков пальцев. Он насторожился, заметив на гладкой лакированной поверхности внутри шкатулки маленькое пятно, похожее на след пальца. Он тотчас же вызвал к себе Фокса и его сотрудников, а также ученика Фарроу, все еще сидевшего в помещении нижнего этажа в полной растерянности. Макнэтен поинтересовался, не касался ли кто-нибудь из них шкатулки. Молодой сержант смущенно сознался: да, это он задвинул подальше под кровать шкатулку, чтобы санитары, уносившие миссис Фарроу, не споткнулись о нее.

Макнэтен распорядился, чтобы шкатулку осторожно запаковали и немедленно отправили к главному инспектору Коллинзу. Молодого сержанта тоже препроводили в отдел дактилоскопии. На всякий случай Макнэтен велел снять отпечатки пальцев не только у ученика, но и у обоих убитых. (Это был первый случай в Лондоне, когда у трупов брали отпечатки пальцев.) Наконец Макнэтен проинформировал своего начальника Генри, и оба с нетерпением стали ждать результатов экспертизы.

Коллинз провозился до следующего утра, а затем сообщил, что пятно на шкатулке является отпечатком большого пальца, который не принадлежит ни ученику, ни одной из жертв, ни кому-либо из лиц, принимавших участие в расследовании. Сравнение отпечатка с имеющимися к тому времени примерно 80 тыс. зарегистрированных отпечатков пальцев показало, что отпечаток, найденный на шкатулке, зарегистрирован пока не был.

Докладная Коллинза, как потом рассказывал Макнэтен, заканчивалась выводом, что отпечаток пальца, оставленный на шкатулке, дает на увеличенной фотографии совершенно отчетливую картину. Следовательно, как только подозреваемого в совершении преступления человека арестуют, его идентификация не вызовет затруднений.

Тем временем Фокс стал изучать ближайшее окружение Фарроу. При этом он познакомился с молодой женщиной по имени Этель Стэнтон. Она, по всей видимости, одновременно с молочником видела незнакомых ей двух молодых парней, бежавших по Хай-стрит в то утро. На одном из них было коричневое пальто. Почти в то же время один из сотрудников Фокса сообщил, что в пивной в Дептфорде он подслушал разговор, в котором в связи с убийством и ограблением упоминались братья Альфред и Альберт Стрэттоны.

Об этих братьях Скотланд-Ярду было кое-что известно, но до сих пор их еще ни разу не арестовали и не подвергали регистрации. Альфреду было двадцать два года, Альберту — двадцать лет. Они слыли отъявленными лентяями, которые никогда даже и не пытались работать, а находились на содержании у девушек и женщин. Они постоянно меняли свои адреса, однако через несколько дней Фоксу удалось выяснить, что Альберт Стрэттон живет в старом, мрачном доме на Нотт-стрит, в квартире некой мисс Кэт Уэйд, пожилой женщины, сдающей комнаты внаем. Как выяснилось во время

ее допроса, она очень боялась Альберта Стрэттона. Как-то, убирая в его комнате, она обнаружила под матрасом несколько масок, сделанных из черного чулка. Затем Фокс узнал, что брат Альберта Стрэттона, Альфред, имеет любовницу по имени Ханна Кромэрти. Девушку нашли в убогой комнатенке в нижнем этаже дома по Брукмилл-роуд. Единственное окно комнаты выходило на улицу. С девушкой увиделись как раз после того, как Альфред Стрэттон сильно ее избил. Вне себя от ярости, она «выложила» все. Да, она знает Альфреда Стрэттона. Да, он приходил, когда ему вздумается, и заставлял ее делать все, что ему хотелось. Да, он провел ночь с воскресенья на понедельник у нее. В воскресенье вечером в окно комнатки заглянул какой-то мужчина. Альфред с ним о чем-то разговаривал. Позже опять кто-то постучал в окно, и после этого Альфред сразу оделся и ушел. Потом она заснула. Когда проснулась, было уже светло, и Альфред стоял в комнате одетый. Альфред Стрэттон, как показала далее Кромэрти, часто исчезал среди ночи, выходя через окно, и тем же путем возвращался. В этот раз он строго приказал ей отвечать каждому, кто бы ни спросил, что он провел у нее всю ночь с воскресенья на понедельник и ушел лишь утром после девяти часов.

Ханна Кромэрти рассказала еще кое-что. Во вторник исчезло коричневое пальто Альфреда. Когда она захотела узнать, куда оно подевалось, Альфред прорычал, что подарил его приятелю. Кроме того, он перекрасил свои коричневые башмаки в черный цвет.

Макнэтен приказал арестовать братьев, где бы они ни находились. Однако те как в воду канули. Исчезла из своего жилища и Ханна Кромэрти. Но в следующее воскресенье задержали Альфреда, а в понедельник в пивной арестовали Альберта. Оба брата — широкоплечие парни со зверскими лицами — бурно протестовали, когда их доставили в полицейский участок Тауэр-бридж.

Макнэтен достаточно хорошо понимал, что обвинительного материала, которым он располагает, недостаточно для того, чтобы отдать Стрэттонов под суд. Но ему были необходимы отпечатки их пальцев. Если ни один из отпечатков их больших пальцев не совпадет с отпечатком, найденным на денежной шкатулке Фарроу, то задерживать их дальше будет нельзя. Если же совпадет...

Полицейского судью, воспитанного на «добрых старых традициях», которому предстояло решить, содержать ли братьев Стрэттонов под стражей или отпустить, не слишком убеждали аргументы Фокса. На что ссылался Фокс? На болтовню старухи, сдающей комнаты? На небылицы мстительной любовницы? После бесконечного взвешивания всех аргументов «за» и «против» судья все же согласился задержать арестованных на восемь дней и отобрать у них отпечатки пальцев, хотя о дактилоскопии он имел самое смутное представление. Коллинз поспешил явиться к арестованным со всеми дактилоскопическими принадлежностями. Стрэттоны покатывались со смеху, когда им наносили черную краску на пальцы, которые затем прикладывали к регистрационной карточке. Ничего не подозревая, они смеялись, как от щекотки...

С полученными отпечатками Коллинз сразу отправился в Скотланд-Ярд.

«Перед обедом я только что вернулся к себе в бюро, — рассказывает Макнэтен в своих мемуарах, — и никогда не забыть мне того драматического момента, когда через час или два ко мне ворвался эксперт по дактилоскопии (Коллинз). Великий боже! — воскликнул от в большом волнении. — Я установил, что отпечаток пальца на шкатулке абсолютно точно совпадает с отпечатком большого пальца старшего из арестованных!»

Старший — это Альфред Стрэттон. Тотчас же проинформировали Генри (он стал к тому времени начальником лондонской полиции), который в тот же день связался с Ричардом Мьюиром. Генри слишком хорошо понимал, что представился именно тот случай, когда отпечатки пальцев могли бы быть признаны средством доказывания. Процесс над Стрэттонами окажется в центре внимания всего Лондона, более того — всей Англии. И главное в нем — один-единственный отпечаток пальца!.. Более удачного случая для дактилоскопии не придумаешь!

Ричард Мьюир, как и перед процессом по делу Джексона, отправился в Скотланд-Ярд и попросил Макнэтена и Коллинза ознакомить его с результатами экспертизы. Он прибыл как раз к тому моменту, когда братьев Стрэттонов предъявили для опознания молочнику, видевшему утром, в день убийства Фарроу, двух парней, покидавших лавку. Молочник не опознал Стрэттонов. Этель Стэнтон, наоборот, готова была поклясться, что Альфред Стрэттон был один из убежавших. Вот и все, что имело в своем распоряжении следствие, помимо отпечатка большого пальца Альфреда Стрэттона.

Мьюир, еще лучше, чем Макнэтен, понимал, как плохо обстоят дела с доказательствами. Основным звеном в цепи улики был отпечаток пальца. Именно на нем держалось все обвинение. От того, признают ли присяжные этот отпечаток весомой уликой, зависело вынесение приговора. Мьюир обдумывал сложившуюся ситуацию в течение двух дней и наконец заявил, что готов выступить обвинителем в процессе по делу Альфреда и Альберта Стрэттонов.

То, что вокруг этого отпечатка пальца завяжется борьба, стало ясно уже 18 апреля, когда в полицейском суде Тауэр-бридж проходило, как это принято в Англии, предварительное рассмотрение вопроса о предании Стрэттонов суда. На столе Мьюира стояла взломанная шкатулка для денег, охраняемая двумя полицейскими. Сам Мьюир не отходил от стола. Он понимал, что судьи и присяжные очень мало знают о технике снятия отпечатков пальцев. Ему нужен был нетронутый оригинал. Поэтому так часто гремел его голос: «Не прикасаться! Там отпечатки пальцев!»

Рядом с Мьюиром находился Коллинз, готовый дать разъяснения. Адвокат, защищавший Стрэттонов, заявил, что, если они будут преданы суду и дело дойдет до процесса, он пригласит двух экспертов в качестве свидетелей защиты, которые уж смогут доказать, что система идентификации по отпечаткам пальцев, предложенная Генри, ненадежна. Имена этих экспертов пока не были названы.

Мьюир и Коллинз тщетно ломали себе головы, пытаясь понять, кто могут быть эти таинственные противники. Но уже само упоминание о предполагаемых экспертах заставило их быть начеку и приготовиться к любым неожиданностям.

5 мая Альфред и Альберт Стрэттоны расположились на скамье подсудимых в Олд-Бейли. Процесс вел судья Чэннел. Он никогда прежде не интересовался дактилоскопией, впрочем, как и присяжные. Бут, адвокат обвиняемых, заполучил для них еще двух защитников — Кэртиса Беннета и Гарольда Морриса. Первому из них в последующие десятилетия предстояло стать яркой звездой на небосводе британского судопроизводства. Однако их появление не слишком обеспокоило Мьюира. Его взгляд был прикован к двум мужчинам, занявшим место среди свидетелей. Имена экспертов защиты больше не были тайной. Один из них — д-р Гарсон, столь долго ратовавший за бертильонаж, а затем пытавшийся создать свою собственную систему классификации отпечатков пальцев, не выдержавшую конкуренции с системой Генри. Возможно, он хотел отомстить Генри? А может быть, он собирается дать бой системе, оказавшейся совершеннее его собственной?

Рядом с Гарсоном сидел Генри Фолдс! Имя этого человека, первым использовавшего отпечатки пальцев, оставленные на месте преступления, в силу ряда неблагоприятных обстоятельств было отнесено в тень именами Хершела, Гальтона и Генри. С тех пор как Гальтон торжественно назвал Хершела человеком, которому принадлежит открытие отпечатков пальцев, Фолдс вел жестокую борьбу за свой приоритет. Все больше и больше верил он в существование заговора, нацеленного против его права на открытие. С годами он утратил всякую меру. В статьях и брошюрах он отстаивал не только свой приоритет в открытии доказательственного значения отпечатков пальцев, что, несомненно, было его заслугой, но и в открытии собственно отпечатков пальцев. Может быть, теперь он намеревался выступить против Генри в порыве слепой мести, принеся ей в жертву, по сути, собственное открытие?

Мьюир бросал в их сторону мрачные взгляды, которые явно выражали готовность скрестить шпаги с каждым из них. Когда Мьюир взял слово, в зале наступила мертвая тишина. «В сотнях процессов об убийствах,— писал позднее его биограф Фелстед,— в которых он выступал обвинителем от имени короны, Мьюир никогда не выказывал такого глубокого отвращения к обвиняемым, как в деле Стрэттонов. Он видел в их преступлении жестокость, с какой ему еще не приходилось сталкиваться. Он говорил, что лица изуродованных бедных старых супругов свидетельствуют о том, что убийцам чужды какие-либо человеческие чувства... Он говорил, пожалуй, медленнее и осторожнее обычного, но с железной убедительностью. Обвиняемые смотрели на него так, словно не судья, а он, Мьюир, может в любую минуту приговорить их к смертной казни...»

Воскресные газеты писали о Мьюире: «Его слова звучали, как звон колокола, оповещающего о смертной казни в Нью-Гейтской тюрьме».

Мьюир сразу же пошел в атаку. Он начал с вызова таких свидетелей, как Кэт Уэйд или Этель Стэнтон, чьи показания уличали Стрэттонов. Показания этих свидетелей дали ему возможность нарисовать полную картину этого двойного убийства, показать и подготовку к нему, и его совершение. И только после этого он перешел к вопросу об отпечатках пальцев.

Мьюир, указывая на шкатулку, произнес: «Нет ни тени сомнения в том, что отпечаток большого пальца, найденный на шкатулке, принадлежащей мистеру Фарроу, оставлен большим пальцем обвиняемого Альфреда Стрэттона».

Затем он вызвал для дачи свидетельских показаний Коллинза. За спиной Коллинза находилась большая доска, установленная так, чтобы каждый из присяжных легко мог следить за объяснением принципа сравнения отпечатков пальцев. Коллинз выступал еще более убедительно, чем три года назад на процессе взломщика Джексона. Он продемонстрировал сильно увеличенную фотографию отпечатка пальца на шкатулке и оригинал отпечатка большого пальца Альфреда Стрэттона, указав на одиннадцать совпадений узора на обоих отпечатках. «В судебном зале,— писал позже суперинтендант Черилл, наиболее известный из всех последователей Коллинза в Скотланд-Ярде,— воцарилась напряженная тишина, когда Коллинз давал разъяснения, а затем подвергался перекрестному допросу защиты».

Перекрестный допрос, предпринятый Бутом и Беннетом, с первых же фраз показал шаткость их позиций. Не будучи компетентными в области дактилоскопии, они не придавали значения ни ненависти Фолдса, ни ложной значительности Гарсона. Ничего не подозревая, они из самых лучших побуждений подчеркивали то, что им подсказал Фолдс. А именно: снимки, представленные Коллинзом, содержат такие различия, которые внимательному наблюдателю должны были сразу броситься в глаза и наглядно продемонстрировать безответственное легкомыслие Скотланд-Ярда.

Различия, которыми оперировала защита, представляли собой обычные мелкие отклонения, всегда возникающие из-за неодинаковости силы, с которой пальцы прижимаются к фиксирующей поверхности. Мьюир и Коллинз отреагировали на это молниеносно. Коллинз несколько раз подряд отобрал отпечатки большого пальца у присяжных, а затем наглядно продемонстрировал всему составу суда такие же «различия» в отпечатках пальцев, как те, на которые обращала внимание защита. Каждый из присяжных мог воочию убедиться, что эти различия не имеют ничего общего с основными узорами отпечатков пальцев, а именно только они и должны приниматься во внимание. Бессмысленный аргумент защиты был опровергнут. Из-за этого произошло ожесточенное столкновение между Бутом и Фолдсом.

Потеряв уверенность в компетентности своих экспертов, Бут и Беннет засомневались в целесообразности вызова в качестве свидетеля д-ра Гарсона. А возможно, они по искоркам в глазах

Мьюира угадали, что он готовит им сюрприз, способный уничтожить Гарсона, если тот подвергнется перекрестному допросу. Тем не менее, когда в распоряжении защиты не оказалось других средств, она все же решилась пригласить Гарсона. Ее опасения были не напрасны — поражение было еще значительнее, чем тогда, когда защита следовала советам Фолдса.

Мьюир предъявил суду письмо. Не писал ли д-р Гарсон ему, обвинителю? Не предлагал ли в нем д-р Гарсон свои услуги эксперта обвинению, прежде чем выступить экспертом защиты? Как д-р Гарсон сможет объяснить это двурушничество? Осталось не высказанным вслух, но всем понятным, что Гарсон обвиняется в своей готовности выступить с заявлением, совершенно противоположным тому, что он говорит теперь, если бы обвинение только согласилось воспользоваться его услугами, удовлетворив тем самым его жажду публичного признания. Гарсон побледнел, посмотрел вокруг и упрямо произнес: «Я — независимый свидетель». Больше он не успел ничего добавить, его перебил судья Чэннел. «Я хочу сказать, — заявил он сердито, — что этот свидетель совершенно не заслуживает доверия...» И предложил Гарсону покинуть свидетельское место.

«Это была победа Мьюира», — сообщал один обозреватель тех лет. Защита потерпела поражение в борьбе с отпечатками пальцев. Судья Чэннел, напутствуя присяжных, при всей своей сдержанности счел нужным отметить, что, без сомнения, отпечатки пальцев в определенной степени имеют силу доказательства. Поздно вечером, около 22 часов, после двухчасового совещания присяжные вернулись в зал заседаний. Воцарилась напряженная тишина. Затем присутствующие заслушали вердикт присяжных. Он гласил: «Альфред и Альберт Стрэттоны виновны». Затем судья Чэннел произнес приговор: «Смертная казнь через повешение». Поток взаимных обвинений, который стал вырываться из уст обоих осужденных, только подтверждал справедливость приговора. Стрэттоны заплатили за свое преступление жизнью.

Процесс над Стрэттонами знаменовал собой первый важный этап на пути к полному признанию дактилоскопии в судопроизводстве.

Система Генри распространилась в Великобритании, Шотландии, Ирландии, в британских доминионах и колониях. Одновременно она прокладывала себе путь в Европе и по всему миру.

*13. Париж. Слава Бертильона угасла. Бельгия, Голландия, Германия, Венгрия, Испания, Италия отказываются от бертильонажа. Дело Шеффера. Бертильон злится на судьбу. 1911 г.— похищение «Моны Лизы». Вор оставляет отпечатки своих пальцев, но Бертильон их не находит. 1914 г.— смерть Бертильона и конец бертильонажа во Франции. Отпечатки пальцев на пути в Новый Свет.*

Несомненно, для изобретателя подлинная трагедия обнаружить, что его открытие, которое только что завоевало весь мир, вытесняется другим, новым открытием, которое сводит на нет все его усилия. Именно такая судьба ожидала Альфонса Бертильона в те дни, когда дактилоскопия пустила глубокие корни в Англии. Другой человек, возможно, не проявил бы раздражения, а постарался бы понять и принять неизбежное, тем более если его имя уже вошло в историю. Бертильон был и останется человеком, проложившим научным идеям путь в криминалистику. Он был и останется пионером использования фотографии в криминалистике. Он был и останется основателем первой в мире криминалистической лаборатории. Но его упрямому характеру не хватало благоразумия и великодушия. На его глазах утрачивались те позиции, которые только что завоевала его система измерений, и с этим он не мог примириться.

Как и в 1896 г., когда решительный начальник уголовной полиции Дрездена Кёттиг (ставший впоследствии полицей-президентом) своим примером способствовал введению антропометрии в Германии, так и теперь город Дрезден возглавил переход немецкой полиции к дактилоскопии.

Важную роль в этих преобразованиях сыграл тогда еще двадцатилетний молодой человек, которому впоследствии было суждено войти в историю немецкой криминалистики, — Роберт Хайндль.

Хайндлю — студенту, изучавшему право в Мюнхене, — случайно попал в руки один английский журнал со статьей о работе Генри в Индии. Он написал в Калькутту, попросил прислать ему для ознакомления материалы по основам дактилоскопии и, получив их, разослал меморандумы полицей-президентам всех крупных городов Германии. В них он призывал обратиться к дактилоскопии.

Полицей-президент Кёттиг воспользовался большой дрезденской выставкой, чтобы начать широко пропагандировать дактилоскопию. В одном из павильонов он выставил группу скульптурных фигур в человеческий рост, демонстрировавшую процесс снятия отпечатков пальцев. Хайндль позже назвал эту группу «надгробным памятником антропометрии». Когда во время работы выставки удалось в кратчайшее время обнаружить похитителя сладостей, оставившего отпечатки своих измазанных сахаром пальцев, это усилило интерес общественности к дактилоскопии.

Уже 24 октября 1903 г. во всей Саксонии ввели дактилоскопию. В том же году Гамбург и Берлин начали сбор дактилоскопических карточек. В Баварии первым в этом деле стал Нюрнберг. В Мюнхене ввели дактилоскопию только после того, как несколько дел об убийствах доказали несовершенство существующей системы идентификации, для чего потребовался не один год. Хайндль получил задание организовать первый в баварской столице дактилоскопический кабинет.

Разумеется, то тут то там все еще раздавались возражения.

Порой слышались голоса сомнения в надежности отпечатков пальцев на том основании, что уголовники, несомненно, найдут пути и средства изменить свои папиллярные линии. Этот аргумент потерпел провал лишь после того, как практическими опытами было доказано, что даже после тяжелых ожогов огнем, кислотой и кипятком на вновь восстановившейся коже кончиков пальцев образуются

прежние папиллярные линии. Хайндль любил показывать бородавку, выросшую на кончике одного из его пальцев. Даже на этой бородавке были отчетливо различимы папиллярные линии. Тем временем от антропометрии отказались все европейские страны.

Система Бертильона сохранилась лишь во Франции — стране, где она зародилась и принесла славу основоположнику науки криминалистики. Тот факт, что в Европе отказались от системы измерений преступников, воспринимался во многих политических и научных кругах Парижа не только как низвержение Бертильона. В эти годы, когда французский национализм (впрочем, как немецкий и русский) достиг своего наивысшего расцвета, отказ от бертильонажа рассматривался как оскорбление нации. В этих условиях Бертильон продолжал укреплять позиции французской антропометрии, делая это озлобленно, безрассудно и явно не замечая очевидного. Навсегда останется тайной вопрос, серьезно ли Бертильон верил в то, что «крохотное пятнышко» (как он называл отпечаток) на человеческом пальце никогда не сможет стать основой для идентификации, или вопреки здравому смыслу просто-напросто закрывал глаза на очевидную истину.

17 октября 1902 г. Бертильон довольно неохотно пошел навстречу просьбе следственного судьи Жолио отправиться с ним на улицу Фобур Сент-Оноре в дом № 157 и сфотографировать место происшедшего там убийства. Ни Жолио, ни принимавшие участие в расследовании криминалисты и не помышляли об отпечатках пальцев. Им важна была лишь фотография места происшествия.

В кабинете зубного врача по фамилии Ало находился труп его слуги Жозефа Рейбеля. Письменный стол и стеклянный шкаф были взломаны. Но унесено из кабинета было так немного, что сразу же напрашивался вывод об инсценировании ограбления для сокрытия истинных мотивов убийства. Как бы там ни было, но во время съемки Бертильон наткнулся на кусочек стекла с жирными отпечатками нескольких пальцев (большого, указательного, среднего и безымянного). Взять это стекло с собой в лабораторию побудила Бертильона отнюдь не мысль об идентификации, а лишь любопытство фотографа: как лучше можно сфотографировать такие отпечатки? В конце концов он снял их на темном фоне при свете дуговой лампы.

Когда перед ним легли снимки, на которых отчетливо виднелись папиллярные линии, ему захотелось порыться в картотеке. Возможно, это была своего рода игра с дактилоскопией, к тому же абсолютно ничто не говорило о том, что среди тех немногих антропологических карточек, на которые уже были нанесены отпечатки пальцев, найдутся и отпечатки пальцев убийцы. К тому же карточки были систематизированы не на основании папиллярных узоров, а по величинам измерений, так что Бертильону и его сотрудникам пришлось потратить несколько дней, чтобы разыскать (среди нескольких тысяч) карточку с отпечатками, идентичными найденным на месте преступления. И тут произошло неожиданное: они нашли такую карточку. Отпечатки на ней полностью совпадали с отпечатками на стекле. Похоже, что сама судьба пожелала вразумить Бертильона. На карточке имелись отпечатки только большого, указательного, среднего и безымянного пальцев правой руки. И убийца оставил на стекле отпечатки именно этих пальцев! Они принадлежали ранее судимому Анри Леону Шефферу, родившемуся 4 апреля 1876 г. Через некоторое время, Шеффер пришел в марсельскую полицию с повинной и во всем сознался.

В докладной Бертильона, относящейся к этой находке, не было даже намека на то, что он осознал значение отпечатков пальцев. Он говорил в ней об «убедительном сходстве и совпадении отдельных пунктов...». Но, как явствовало из докладной, такие поразительные совпадения он находил не однажды. И только счастливая (а здесь и вероломная) случайность привела, мол, его к положительному результату.

Дело Шеффера породило во Франции легенду, словно судьба решила еще более усилить позор Бертильона, будто именно он, Бертильон, был первооткрывателем отпечатков пальцев, о которых столько говорят в мире. Бертильон страшно обиделся, когда один парижский карикатурист изобразил его ищущим повсюду отпечатки пальцев, и вовсе пришел в ярость, обнаружив в какой-то газетенке рисунок, изображающий его в уборной, где он с лупой изучает отпечатки, оставленные измазанной нечистотами рукой. Для Бертильона дело Шеффера было нежелательным эпизодом, которому он не позволил хоть как-то повлиять на его взгляды. До 1911 г. отпечатки пальцев оставались, в понятии Бертильона, лишь терпимым приложением к метрической системе. В том же году он потерпел поражение, сразившее бы наповал всякого другого на его месте. Он же остался невозмутимым.

22 августа 1911 г. парижские газеты взбудоражили своих читателей сообщением, которое в глазах многих французов означало национальную катастрофу. Накануне, в понедельник, 21 августа из салона Карре в Лувре исчезла всемирно известная картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза». (Эту картину принято считать портретом супруги флорентийского дворянина дель Джоконде, отсюда и другое ее название — «Джоконда».)

Сначала в музее пытались найти вразумительное объяснение отсутствию картины (будто бы картину отнесли к фотографу), но вскоре дирекция музея вынуждена была заявить, что этот шедевр, гордость Лувра, похищен неизвестными.

Когда хотели подчеркнуть полную невероятность какого-либо события, в Париже обычно говорили: «Это все равно, что захотеть украсть «Мону Лизу». А тут ее действительно украли, и нервозность нации, порожденная предчувствием грядущей войны, нашла себе выход в политическом скандале. Дело доходило до абсурднейших обвинений, жалоб, предположений. Так, подозревали германского кайзера Вильгельма II, якобы организовавшего эту кражу, чтобы задеть французскую гордость. Немецкие газеты платили той же монетой. «Кража «Джоконды», — писала одна из них, — не что иное,

как уловка французского правительства, намеренного ввести в заблуждение свой народ, вызвав германо-французский конфликт».

Вся французская полиция была поставлена на ноги, на всех границах и в портах был установлен строжайший контроль. Министр внутренних дел, генеральный прокурор Лекуве, начальник полиции Лепэн, шеф Сюртэ Амар и Бертильон прибыли на место происшествия. Картина, написанная на деревянной доске, была снята со стены вместе с рамой. Сама рама лежала на боковой лестнице, которой пользовались только служители Лувра. Значит, картину вынули из рамы. Казалось неправдоподобным, что вору удалось, пройдя мимо музейных сторожей, незаметно вынести тяжелую картину.

Сотни подозреваемых подвергались проверке. Проверяли даже психиатрические клиники; так как было известно, что некоторые из душевнобольных выдавали себя за любовников Моны Лизы. Под подозрением оказались художники: кстати, молодого Пикассо тоже считали причастным к этой краже. Но вдруг пришло известие: Альфонс Бертильон напал на след — он обнаружил отпечаток человеческого пальца, оставленного на стекле музейной витрины.

Известие подтвердилось. Бертильон действительно нашел отпечаток пальца. Было такое впечатление, что повторяется история с Шеффером, происшедшая в 1902 г. Но ничего не повторилось. Первые оптимистические надежды, возлагавшиеся на Бертильона и отпечатки пальцев, оказались иллюзией. Ожидалось, что нужные результаты даст дактилоскопическая проверка многочисленных подозреваемых, — все напрасно. В итоге об отпечатках пальцев перестали говорить, а Сюртэ бросалась то по одному, то по другому следу, все больше подгоняемая возмущением общественности, но ничего, кроме издевок и насмешек, не добились.

2 декабря 1913 г., то есть почти через двадцать восемь месяцев после кражи, неизвестный, назвавшийся Леонардом, предложил флорентийскому антиквару Альфредо Гери купить у него «Мону Лизу». Незнакомец объяснил, что у него только одна цель — вернуть Италии шедевр, украденный Наполеоном (что вовсе не соответствует истине). Через некоторое время он лично привез картину во Флоренцию. После ареста он сам раскрыл секрет кражи, чем вызвал новый скандал, и если бы это тогда же стало известно французской общественности, то, несомненно, подорвало бы у нее все еще чрезвычайно большую веру в Бертильона.

«Леонард» сам похитил картину. Его настоящее имя и фамилия — Винченцо Перруджа. Он итальянец, а в 1911 г. работал в Париже маляром, причем какое-то время именно в Лувре.

В этот роковой понедельник 1911 г., когда исчезла «Мона Лиза», он навещал своих коллег маляров, работающих в Лувре. Музей в этот день был закрыт для посетителей, но сторож, знавший Перруджа, впустил его. Внутри никто не обращал на него внимания. Некоторое время он спокойно ждал, оказавшись совсем один в салоне Карре, затем снял со стены картину с рамой, нашел боковую лестницу, вынул картину из рамы и спрятал ее под свой рабочий халат. Так он и прошел мимо сторожей, а затем дома, в своей убогой комнатке на улице Госпиталя Сен-Луи, запрятал ее под кровать.

Сама легкость совершения такой кражи была позором для охраны Лувра, а то, что вора так долго не могли разыскать, было позором еще большим. А все дело в том, что, как теперь выяснилось, Перруджа — бездельник и психопат по отзывам знавших его — не однажды арестовывался французской полицией в годы, предшествовавшие краже, причем последний раз в 1909 г. за попытку ограбить проститутку. Тогда у него сняли отпечатки некоторых пальцев согласно схеме, предложенной Бертильоном в 1894 г. Они оказались в рубрике «особых примет» в метрической карточке Перруджа. Но так как в 1911 г. количество антропометрических карточек с отпечатками пальцев было уже слишком велико, чтобы их можно было просмотреть одну за другой, как это было сделано в случае с Шеффером, то Бертильон оказался не в состоянии сравнить отпечатки, найденные в Лувре, с имевшимися у него в картотеке. Кража, которую можно было бы раскрыть за несколько часов, более двух лет оставалась неразгаданной.

Лепэн, опасаясь повторения упреков, сыпавшихся в адрес полиции после кражи «Моны Лизы», задумал провести реорганизацию всей службы идентификации. Он, заявивший некогда, что приложит все усилия к тому, чтобы население полюбило парижскую полицию, ничего так не боялся, как упреков. Их он боялся даже больше, чем мысли о том, что может пошатнуться национальная слава Бертильона. Но пока он взвешивал свое решение о реорганизации, до него дошла весть, что Бертильон смертельно болен и жить ему осталось немного. И Лепэн решил дожидаться кончины Бертильона.

Но и в последние недели жизни Бертильона, почти ослепшего и прикованного к постели, не покидало его знаменитое упрямство. Он так и не смог признать свою ошибку. Двадцать лет тому назад французское правительство обещало ему красную ленту Почетного легиона, но желанную розетку он все еще не получил. Узнав о его грядущей кончине, французское министерство внутренних дел решило наградить Бертильона столь желанным для него орденом, но при одном условии: он должен наконец признать одну допущенную им крайне тяжкую по своим последствиям ошибку, отнюдь не связанную с его системой измерений. В октябре 1894 г., слишком доверившись действовавшему в пользу Германии предателям, которые занимались во французской армии пагубными интригами, и ослепленный собственной славой, Бертильон выразил согласие выступить экспертом по делу Дрейфуса, долгие годы потрясавшему всю Францию. Из-за фальсифицированных результатов почерковедческой экспертизы, а также из-за того, что экспертиза касалась мало знакомой ему сферы, Бертильон оказался причастным к тому, что французский капитан Дрейфус был объявлен немецким

шпионом и сослан на Чертов остров. В 1906 г. он был полностью реабилитирован. Это и была та роковая ошибка, которую Бертильон не хотел признать. И когда посланец министерства внутренних дел предстал у смертного одра Бертильона и изложил свое требование в достаточно дипломатических выражениях, лицо умирающего злобно перекошилось и он закричал: «Нет! И еще раз нет!» Несколько дней спустя он полностью ослеп, а 13 февраля 1914 г. испустил последний вздох.

Через несколько недель в Монако состоялась Международная конференция полиции, которая лишь в незначительной степени оправдывала свое название. Ее участниками были в основном французские криминалисты, адвокаты и судьи. В напряженные дни, незадолго до начала первой мировой войны, в атмосфере разгула национализма никто не желал слушать выступающих, не говоривших на французском языке. В центре дискуссии на этой конференции был вопрос о том, как ускорить и упростить розыск международных преступников-гастролеров.

Естественно, что в связи с этим возник разговор об идентификации, а следовательно, о дактилоскопии и антропометрии. Тогда слово взял временно заменивший Бертильона его сотрудник Давид. В качестве международного способа идентификации он предложил не антропометрию, а дактилоскопию.

Со смертью Бертильона ушла в небытие и его система. Место бертильонажа во всей Европе, включая Францию, заняла система отпечатков пальцев как основное средство полицейской идентификации. В дни, когда Давид объявил об окончательном закате антропометрии, Европа уже не была единственным лидером мира и центром мировых событий. По ту сторону

Атлантики, в Новом Свете, набирала силу машина Соединенных Штатов. К тому моменту, когда раздался погребальный звон по антропометрии, дактилоскопия и научная идентификация приступили к покорению Нью-Йорка.

*14. Джордж Уоллинг и хаос в полиции Нью-Йорка. Нью-йоркская уголовная полиция как образчик положения в полиции на всей территории Соединенных Штатов. Распространенность коррупции. Местнические тенденции в отдельных штатах. Беспомощность Вашингтона. Аллан Пинкертон. История и методы борьбы с преступностью на Диком Западе. Грабители поездов. Фототека Пинкертона. Отпечатки пальцев в Сент-Луисе. Первые американские пионеры дактилоскопии. «Жизнь на Миссисипи» Марка Твена. Синг-Синг. Ливенуорт. Приключения бертильонажа в Новом Свете. Случай с двумя заключенными по имени Уилл Уэст. Вера в Бертильона пошатнулась. Легенды об инспекторе Бирнсе. Ма-Мандельбаум. Старший констебль Хейс — герой детективов. Альбом преступников и методы идентификации, предложенные Бирнсом. Поездка сержанта-детектива Джозефа Форо из Нью-Йорка в Скотланд-Ярд. 1906 г.— Форо ведет первое дело. Идентификация гостиничного вора Джонсона. 1908 г.— раскрытие убийства Нэлли Куинн. Ретроспективный взгляд на дело об убийстве Натена. 1911 г.— дело Сесара Челлы. Дактилоскопия в Синг-Синг. Упорная борьба с некомпетентностью и коррупцией. Путь к созданию ФБР. Уильям Берне и Гастон Мине. Эдгар Гувер. Концентрация всех картотек с отпечатками пальцев в Вашингтоне.*

В 1887 г. Джордж Уоллинг, суперинтендант нью-йоркской полиции, опубликовал свои мемуары. В них можно было прочитать следующее: «Я слишком хорошо знаю силу столь распространенного у нас союза политиков и полицейских. Я пробовал выступать против этого, но результаты были, как правило, катастрофическими для меня. Местное управление в США осуществляется не так, как в остальном цивилизованном мире. Оно базируется на всеобщих выборах. Избирательные кампании ведутся не ради нужд городов, а лишь во имя целей, преследуемых двумя политическими партиями... Я не верю в то, что хотя бы один человек из пятисот способен объяснить истинные цели каждой из двух партий. Называть их «политическими» будет ошибкой. Их единственным основополагающим принципом, по крайней мере в Нью-Йорке, является сила и эксплуатация. До тех пор пока такие политики будут влиять на полицию, они будут парализовывать коррупцией полицейский аппарат,

которому надлежит охранять имущество и честь граждан... Город Нью-Йорк практически находится во власти двадцати тысяч «держателей должностей», большинство которых получено благодаря самым злонамеренным элементам и контролируется ими же. Настоящие джентльмены практически отстранены от всякого участия в политике. Здесь не найти честных коммерсантов, известных журналистов, ученых или просто мирно работающих граждан. Зато здесь можно увидеть жестокие лица тех, кто с помощью насилия, без зазрения совести стремится к достижению своих личных целей... Реально правящий класс в Нью-Йорке почти подобен правителям страны Хинду, где туги правят большей частью страны путем насилия и шантажа, хотя мы и верим, что имеем правительство, избранное народом и для народа... Наши прокуроры, юристы, полицейские в основной своей массе выдвигаются и назначаются теми элементами, обезвреживать и наказывать которые им положено по долгу службы. Чиновники в Нью-Йорке, естественно, не решаются трогать тех, от кого зависит их существование. Нередко наши полицейские судьи... не имеют юридического образования и неграмотны настолько, что порой не могут правильно написать несколько слов... Политики приказывают освобождать преступников, признанных виновными... и зачастую арестованные покидают зал суда свободными людьми, хотя их приговорили к длительному тюремному заключению... У нас все возможно, но я никогда не поверю в возможность того, что может быть повешен один из наших миллионеров, какое бы убийство он ни совершил. Все те, кто был казнен, не имели ни денег, ни друзей среди политиков... Как нация мы имеем лучшую в мире форму управления, но наша система управления в Нью-Йорке меньше гарантирует безопасность гражданам, чем в большинстве



европейских, в том числе и русских, городов. Общественность в своей массе так запугана, что... в полицейском не видит больше защитника порядка, а... с полным основанием видит в нем врага общества... Единственная надежда на спасение в будущем заключается в том, что приличные слои общества, которым принадлежит духовное руководство им, проснутся, поймут всю опасность и положат конец злоупотреблениям и использованию гражданских прав в своих интересах всеми этими политиками, мошенниками, ворами и негодьями, засевшими в каждом отделе городского управления. Хватит нам этого господства хищников. Хотелось бы побыть под властью джентльменов...»

Слова Уоллинга были справедливы не только применительно к Нью-Йорку и его полиции того времени. Они были справедливы, в большей или меньшей степени, в отношении многих штатов, городов и учреждений этой бурлящей, несозревшей, огромной страны. Ее мыслящие, полные ответственности слои общества начали сознавать, что американский экстремистский идеал свободы для всех обернется опасностью для всех, потому что она станет свободой также и для политического, экономического и уголовного гангстеризма, в невиданном доселе объеме. Картина, какую являла нью-йоркская полиция, была лишь особенно ярким и наглядным примером того, что представляла собой вообще полиция в Новом Свете.

Над отношениями внутри полицейского аппарата тяготел пиратский дух, царивший в политике и экономике страны. А там пользовались старыми приемами — от мошенничества на выборах до шантажа — не только при распределении средств, полученных от налогоплательщиков, но и в борьбе за право контроля над полицией, чтобы беспрепятственно вести свои беззастенчивые спекуляции. Открыто или слегка завуалировано давали взятку полицейским чиновникам или подкупали их участием в доходах от азартных игр и проституции. Границы между правом и бесправием стирались арестами невиновных, устранением нежелательных свидетелей и жестокой расправой с неподкупными полицейскими. По-настоящему эффективная работа полиции была невозможна из-за своекорыстных интересов отдельных городов, графств и штатов. Избранные там шефы полиции были почти во всех случаях надежными представителями интересов своих партий, но значительно реже добросовестными полицейскими. Сотрудничество между полицейскими службами отсутствовало настолько, что преступнику для того, чтобы оказаться в безопасности, достаточно было переехать из одного штата в другой. И ко всему этому добавлялась полная беспомощность федеральных органов, включая и министерство юстиции в Вашингтоне, и отсутствие какого-либо серьезного центрального полицейского органа.

Только этим можно объяснить, что неподкупное частное детективное агентство Аллана Пинкертонна в середине XIX в. прославилось не только на территории между Атлантическим и Тихим океанами, но достигло мировой славы, а в глазах европейцев стало синонимом американской уголовной полиции.

Никто не предсказывал родившемуся в 1819 г. в Глазго сыну бедного ирландского полицейского Пинкертонна такое необыкновенное будущее. Прибыв в Новый Свет, он работал бондарем. Бондарем работал он и в Данди (штат Висконсин) до тех пор, пока случай в 1850 г. не вывел его на стезю криминалиста. Дотлевающие угли костра на соседнем острове навели его на след шайки мошенников. Он моментально приобрел репутацию великого детектива в государстве, где самое сильное управление полиции (в Чикаго) насчитывало одиннадцать весьма сомнительного вида полицейских. Аллан Пинкертон использовал свой шанс и тут же основал Национальное детективное агентство Пинкертонна. Эмблемой агентство избрало открытый глаз, а девизом слова: «Мы никогда не спим...»

Пинкертон и поначалу всего девять его сотрудников вскоре доказали правдивость избранного ими девиза. Они были блестящими деловыми людьми, но неподкупными и неутомимыми детективами. Беглых преступников они преследовали верхом на лошадях с такой же легкостью, как и на крышах поездов, кативших на Дикий Запад. Они были отличными психологами, прекрасными наблюдателями, асами маскировки, перевоплощения, отчаянными смельчаками и мастерами стрельбы из револьверов. За несколько лет «пинкертоны» превратились в наиболее успешно работающих криминалистов Северной Америки.

Славе Аллана Пинкертонна способствовал один случай. Переодетый биржевым маклером Аллан, идя по следу одной шайки фальшивомонетчиков, раскрыл в 1861 г. заговор против американского президента Линкольна. Но это был всего лишь эпизод на его полном приключений пути. То же самое относится к роли его агентства в период Гражданской войны в Америке, когда оно выступало как разведывательная организация Северных штатов. Однако полем деятельности самого Пинкертонна была и осталась криминалистика.

После Гражданской войны огромную популярность приобрели Западные штаты. Переселенцы тянулись туда в поисках золота и серебра, пастбищ и плодородных земель, и этот Запад стал поистине Диким Западом. Переселенцы попадали в страну, в которой десятилетиями господствовал один закон — закон сильного и того, кто стреляет первым. Повседневным явлением стали уличные ограбления, нападения на почтовые кареты и железнодорожные поезда, конокрадство, ограбления банков, наемные убийства. Были шерифы, занимавшие эти должности только потому, что убийство под прикрытием закона было более безопасным делом.

В этом мире «пинкертоны» вовсе пожинали свои лавры. Для железнодорожных компаний, постоянно находившихся под угрозой ограбления, они были единственной полицейской силой, на которую можно было положиться. Методы работы «пинкертонов» были методами своего времени. Правда, услуги доносчиков из преступного мира были у них не в чести. Зато сами они в сотнях обличий

проникали в самое логово крупных шаек, властвовавших в городах Дикого Запада.

В центре Сеймура, в цитадели банды Рино, совершившей 6 октября 1866 г. первое в Западной Америке нападение на поезд, поселился под видом бармена агент Пинкертона Дик Уинскотт. Через несколько недель он подружился с членами шайки Рино. Его же самого Уинскотт заманил на железнодорожную станцию Сеймура как раз в тот момент, когда туда небольшим специальным поездом прибыл Аллан Пинкертона с шестью помощниками. Джона Рино схватили, и поезд с арестованным отбыл прежде, чем остальные бандиты сообразили, что произошло.

К 1878 г. «пинкертоны» ликвидировали одно из опаснейших кровавых тайных обществ Пенсильвании — ирландское общество под названием «Молли Магвайрс». Это общество использовало социальные столкновения в угольном районе Пенсильвании для установления кровавого господства главарей банд. Один из лучших агентов Пинкертона, Мак Палэнд, стал членом общества и оставался им (постоянно находясь под угрозой смерти, так как за предательство неминуема была смерть) на протяжении трех лет, до тех пор, пока не смог выступить свидетелем против главарей «Молли Магвайрс». Многие сотрудники Пинкертона заплатили за свою деятельность жизнью: Джеймс Уичер проник в кровавую банду Джеймса, по следу которой «пинкертоны» шли тысячи миль, но был распознан и убит. Сам Джеймс Джеймс месяцами разыскивал в Чикаго своего врага номер 1 — Аллана Пинкертона, чтобы всадить в него пулю.

«Пинкертоны» чувствовали себя как дома не только на Диком Западе, но и в городах восточного побережья страны. Вероятнее всего, они были первыми в Америке, кто использовал фотографии в деле расследования преступлений. Когда в 1866 г. Дик Уинскотт получил задание уничтожить банду Рино, он взял с собой фотоаппарат. Во время одной попойки он убедил Фреда и Джона Рино сфотографироваться. Копии снимков он тут же тайно послал Аллану Пинкертоному. Это были первые фотографии Рино, и вскоре они появились в объявлениях о розыске, рассылавшихся Пинкертоном. Аллан Пинкертона создал первый в Америке альбом преступников. В другом альбоме содержались снимки и описания тысяч скаковых лошадей, для того чтобы иметь возможность во время скачек отличить их от подставных. Пинкертона и его сыновья заложили основу самой большой в мире специальной картотеки воров, занимавшихся кражами ювелирных изделий, и их укрывателей.

Когда в 1884 г. Аллан Пинкертона умер, его агентство продолжало возвышаться над хаосом, царившим в американской полиции, как непоколебимая скала.

Через четырнадцать лет, в 1898 г., внимание посетителей Международной выставки в Сент-Луисе привлек необычный аттракцион, привезенный из Лондона. Человек, демонстрировавший этот аттракцион, был полицейским — сержантом Ферье из Скотланд-Ярда. Впоследствии никто не мог вспомнить, кому пришла мысль послать сержанта Ферье в штат Миссисипи. Во всяком случае, само название «Скотланд-Ярд» привлекло толпу зрителей к стенду, на котором были размещены увеличенные фотографии отпечатков пальцев некоторых заключенных британских тюрем. При разъяснении нового феномена Ферье использовал все свои, правда пока еще скудные, познания в данной области. Суть аттракциона заключалась в том, что каждый желающий мог оставить свои отпечатки пальцев на памятной карточке.

Если цель миссии Ферье сводилась лишь к тому, чтобы пробудить интерес американской полиции к дактилоскопии, то следует

признать, что его усилия были напрасны. Ни один полицейский, даже ни один полицейский репортер, которые обычно ищут любых сенсаций, не признал дактилоскопию достаточно интересным объектом для того, чтобы заняться ею всерьез.

Почти никто не знал, что еще в 1882 г. в Нью-Мексико американский железнодорожный инженер Джильберт Томпсон, для того чтобы избежать подделок, ставил отпечаток своего большого пальца на ведомостях выдачи жалования рабочим. Точно так же почти никто не знал, что тремя годами позже жителям Цинциннати предложили ставить отпечаток большого пальца на железнодорожных билетах и что один фотограф в Сан-Франциско по имени Тейбор стал регистрировать китайских переселенцев при помощи отпечатков их пальцев. И только те из американцев, кто любил читать, могли бы вспомнить, что их знаменитый соотечественник Марк Твен написал в 1882 г. книгу «Жизнь на Миссисипи», где описал весьма любопытную историю одного человека по имени Риттер, жена и ребенок которого во время Гражданской войны были убиты солдатами-мародерами. Убийца жены, как повествует Марк Твен, оставил кровавый отпечаток своего большого пальца. С этим отпечатком Риттер, притворившись хиромантом, отправился искать убийцу. Он ходил от одного военного лагеря к другому и гадал по руке многим солдатам, изучая при этом узоры их большого пальца. Таким образом в конце концов он нашел убийцу. Свой метод Риттер объяснял так: «Когда я был молод, я знал одного старого француза, проработавшего тридцать лет тюремным сторожем. Он рассказывал мне, что у человека есть одна вещь, которая не меняется от колыбели до могилы,— это линии на внутренней поверхности большого пальца... Портреты не годятся потому, что маскировка может сделать их бесполезными. Большой палец — вот единственная истинная примета...»

Так никогда и не было выяснено, каким образом Марк Твен пришел к этой идее. Случайность ли это, плод вдохновения или интуиция художника, предвосхитившего открытие своего времени? Можно бесконечно долго гадать, как Марк Твен узнал об отпечатках пальцев,— а между тем Ферье из Скотланд-Ярда не заметил никакого интереса к дактилоскопии у полицейских Нового Света. Как сказал о них один английский репортер: «Эти в жилетах пользуются древними методами, они, как правило, необразованные, случайно выбранные люди, еще несколько недель тому назад торговавшие

лимонадом или жевательной резинкой». Тот же репортер добавлял: «В Америке надо вывернуться наизнанку, чтобы вызвать интерес к научным полицейским методам».

Все же с 1890 г. некоторые шефы и начальники американской полиции и тюрем пытались навести хоть какой-то порядок в этом всеобщем полицейском хаосе путем введения метода Бертильона. Когда в 1896 г. несколько дальновидных шефов полиции по собственной инициативе собрались в Чикаго для того, чтобы совместно разработать меры по преследованию кочующих из штата в штат уголовников, то выяснилось, что все же около 150 полицейских служб и тюрем имеют антропометрические кабинеты, в частности они были в двух больших тюрьмах — Синг-Синг и Ливенуорте.

Но все шефы полиции и начальники тюрем жаловались на сложность и неточность системы измерений. У них наблюдалась та же картина, что и в Южной Америке, и в Индии: когда измерения производились не под строжайшим надзором, а осуществлялись чужими, неопытными руками — сразу же рождалась масса ошибок. К тому же начальники тюрем Синг-Синг и Ливенуорт экономии ради поручали самим заключенным проводить обмеры и регистрацию. Заключенные, естественно, без большого энтузиазма относились к этой работе, направленной против их «собратьев», и пользовались любой возможностью, чтобы внести неверные данные в карточку измерений. Были, правда, начальники полиции и тюрем, которые в лучшую сторону отличались от своих коллег, но и они ничего бы не смогли изменить, если бы несколько лет спустя в Ливенуорте не произошел из ряда вон выходящий случай.

Весной 1903 г., то есть пять лет спустя после «высадки» Ферье в Миссисипи, начальник тюрьмы Ливенуорт Мак-Клаути получил от своего английского друга книгу Генри о дактилоскопии с приложенным к ней ящиком и прочим оснащением, необходимым для снятия отпечатков пальцев. Мак-Клаути, читая книгу Генри, экспериментировал с цинковой пластинкой и типографской краской, поначалу не понимая всей ценности открытия. Через несколько месяцев в тюрьму доставили негра по имени Уилл Уэст, которого привели в антропометрический кабинет. Когда его фотографировали и заносили данные измерений в карточку № 3246, тюремщик стал перебирать карточки, чтобы поставить вновь заполненную на соответствующее место, и вдруг, вытаскивая из ящика какую-то карточку, удивленно спросил: «Зачем это тебя второй раз измеряли?»

Чернокожий клялся, что до этого его никогда не измеряли, не говоря уже о том, что он впервые в этой тюрьме. Но тюремщик протянул ему карточки № 3246 и № 2626, находившуюся в ящике. «Уилл Уэст,— громко сказал тюремщик,— и Уилл Уэст! Дважды посмотри на фотографию. На этой снят ты и на этой — ты. И данные измерения практически совпадают. Ты под № 2626 уже восемь месяцев находишься в нашей тюрьме. Будешь лгать дальше? Или сознаешься, что придумал этот проклятый трюк для того, чтобы уклониться от работы?» У негра, как сообщалось потом в докладе, «глаза полезли на лоб». Действительно, на карточках стояла одинаковая фамилия и фотографии представляли явно одного и того же человека. И все же негр утверждал, что до сегодняшнего дня никогда не бывал в Ливенуорте.

Тюремщик тщетно грозил негру наказанием за отказ сказать правду. Тогда он связался с надзирателем и получил ответ, который лишил его речи: заключенный Уэст № 2626 в настоящее время находится в мастерской тюрьмы и, конечно же, не может быть только что обмеренным заключенным Уиллом Уэстом № 3246. Мак-Клаути, которому тут же сообщили о случившемся, немедленно явился в антропометрический кабинет. Он приказал привести к нему Уилла Уэста № 2626 для очной ставки с Уиллом Уэстом № 3246. Они были похожи, как близнецы. Мак-Клаути проверил обмеры обоих заключенных. Правда, не все 11 (как стали утверждать позже) показателей совпали, но различия находились в пределах, допустимых на практике, и Мак-Клаути под впечатлением случившегося воскликнул: «Это конец бертильонажа!» Незамедлительно Мак-Клаути приказал принести дактилоскопические принадлежности и отобрать отпечатки пальцев у обоих негров. Затем он сравнил полученные отпечатки. И хотя он не был специалистом по дактилоскопии, но в данном случае этого и не требовалось: различие отпечатков было абсолютно очевидным. Редко, возможно, даже никогда не было более убедительного доказательства превосходства дактилоскопии над бертильонажем. Уже на другой день Мак-Клаути полностью отказался от бертильонажа и ввел в Ливенуорте систему отпечатков пальцев, хотя судебные власти отпустили на приобретение дактилоскопических принадлежностей всего шестьдесят долларов.

История с двумя Уэстами сделала Ливенуорт объектом особого интереса всех шефов полиции. Системе Бертильона был нанесен смертельный удар, но дактилоскопия в Америке еще не вышла на широкий простор. Для этого Соединенным Штатам нужна была из ряда вон выходящая сенсация, крупные заголовки в популярных газетах, способные привлечь всеобщее внимание.

Такую сенсацию произвел лишь три года спустя один малоизвестный полицейский, работавший в маленьком чердачном помещении бюро идентификации на Малберри-стрит, 300, в штаб-квартире пользовавшегося скандальной репутацией главного полицейского управления Нью-Йорка. Детектив-сержант Джозеф Форо уже давно, но без особого успеха, мучился с измерениями преступников. Основная масса полицейских Нью-Йорка больше доверяла старым методам идентификации, предложенным человеком, которого нью-йоркские полицейские репортеры долгое время называли величайшим детективом Нью-Йорка, да и целой Америки, если не всего мира, чем создали ему легендарную славу. Это был детектив-инспектор Томас Бирнс.

Бирнс родился в Ирландии в 1842 г. в очень бедной семье и еще ребенком приехал с родителями в Нью-Йорк. Позднее он работал монтажником газопровода, потом рядовым полицейским. Когда же в

1896 г. ему в возрасте 54 лет после необыкновенного скандала, потрясшего привыкшую ко всему нью-йоркскую полицию, пришлось уйти в отставку, то оказалось, что он вовсе не такой уж скромный пенсионер с годовой пенсией в 3 тыс. долларов, а богатый человек, с огромным для полицейского состоянием. Он владел доходным домом на знаменитой Пятой авеню, стоимостью более чем в 500 тыс. долларов. Этот широкоплечий бородатый великан так и не смог справиться с английской грамматикой, и вообще уровень его знаний был невысок. Но как полицейский он с 1863 по 1880 г. досконально изучил самые мрачные кварталы Нью-Йорка: Сатане Сиркес, Хеллс Китчен, Файф Пойнтс, Бауэри и так называемый Уотерфронт. Кто перечислит все эти рассадники пороков и притоны бандитов, воров, взломщиков, грабителей и т. п., превративших Нью-Йорк после американской Гражданской войны в современную Гоморру? Бирнс знал парней из Бауэри и членов банды с Файф Пойнтс; знал имена и лица их главарей и всех их соучастников. Он знал районы, из трущобных щелей которых вылуплялось молодое поколение уголовников, вливавшееся затем в старые шайки; там с детства учили, что человека можно ценить только по тому, умеет ли он подчинять себе других. Бирнс точно знал квартиры, в которых политики собирали людей, чтобы купить их голоса на выборах; там же они вербовали мошенников, помогавших им грабить город и его пленников. Бирнс лично знал Ма-Мандельбаум, стодвадцатипятикилограммовую королеву скупщиков краденого, в неприметную лавчонку которой на Клинтон-стрит постоянно входили и выходили всякие типы — от подозрительных личностей до представительных особ. С 1864 по 1884 г. у нее сбыли краденых товаров почти на 10 миллионов долларов! Он знал о существовании специальной школы воров, которую содержала Ма-Мандельбаум, был в курсе того, каким образом Ма финансировала грабительские нападения таких известных мерзавцев, как Шенг-Дрейпер и Банджо Эмерсон. В самом начале их деятельности он познакомился с Большим Биллом — Хау и Крошкой Эмбом — Хамелом — дурной славы адвокатами, которые с 1869 г. под вывеской фирмы «Хау и Хамел» только тем и занимались, что с помощью изощренных трюков, подкупа свидетелей и шантажа спасали от заслуженного наказания тысячи убийц, воров, шулеров, укрывателей краденого, содержателей борделей, мошенников, фальшивомонетчиков и фальсификаторов да их закулисных покровителей — политиканов.

Когда в 1878 г. Бирнсу удалось арестовать в Манхэттене шайку грабителей сберегательных касс, он сменил форму полицейского на визитку и цилиндр и стал начальником сыскного отдела полиции Нью-Йорка, служащие которой влачили еще более жалкое существование, чем первые детективы Скотланд-Ярда. История этого отдела тесно связана с именем скончавшегося в 1850 г. старшего констебля Джекоба Хейса по прозвищу Старина Хейс, который в самые первые годы создания нью-йоркской полиции (в первой половине XIX в.) пытался организовать службу детективов и в 1836 г. приказал двенадцати полицейским, переодетым в гражданскую одежду, следить за ворами (а заодно и за полицейскими!). Хейс был героем всяческих историй. Убийство капитана одного корабля он раскрыл, устроив хозяину матросской гостиницы, в которой исчез убитый, «очную ставку» с трупом покойного капитана в морге. В ужасе убийца сознался. Одного взломщика Хейс нашел по старому костюму, который тот оставил на месте взлома. Хейс вспомнил, что видел этот костюм у человека, прибывшего две недели назад из Балтимора в Нью-Йорк. За несколько часов он нашел и арестовал преступника. Хотя все это были простейшие истории, легенды о Хейсе питали не одно поколение нью-йоркских детективов.

Бирнс, а этого не могли отрицать даже его враги, к 1880 г. сумел сформировать первый, по-настоящему успешно работающий сыскной отдел полиции Нью-Йорка с 40 штатными сотрудниками. Правда, первое же его достижение показало, что он решил использовать свои столь плохо оплачиваемые знания полицейского не только в служебных, но и в личных целях. Он точно знал, что Уолл-стрит, этот район финансистов и ювелиров, является излюбленным местом воров и взломщиков. Он усадил девять своих детективов в одно из помещений на Уолл-стрит, создав тем самым запретную зону, своего рода «мертвую полосу» для преступников. Затем издал приказ, по которому каждый преступник, шагнувший за эту «полосу», тут же арестовывался. Эта особая забота о крупных финансистах была небескорыстной. Бирнс получал за нее вознаграждение. Получение сумм за эту работу, которая и так была его служебным долгом, он ловко объяснял выигрышами на бирже. Но не только деньги интересовали Бирнса, он мечтал превзойти славу Сюртэ и Скотланд-Ярда. Поэтому он любил оценивать работу своих детективов по числу арестов и идентификацией преступников. Это было одной из причин того, что идентификации он уделял особое внимание. Бирнс проводил «утренние парады» на Малберри-стрит. Каждое утро в 9 часов перед сотрудниками Бирнса проходили все лица, арестованные за последние 24 часа. Детективы должны были научиться запоминать лица преступников и распознавать среди них тех, кто уже раньше попадался полиции. На Малберри-стрит Бирнс вел фотографирование преступников. Не желавшего фотографироваться преступника «успокаивали» мощные кулаки детективов. Бирнс любил показывать снимок, на котором была запечатлена такая процедура.

В 1886 г. Бирнс опубликовал сборник «Профессиональные преступники Америки», где поместил фотографии всех известных ему уголовников с описанием их «методов работы». Сборник, несомненно, был имевшей серьезное значение для Америки попыткой создать своего рода «справочник преступного мира», к тому же его издание способствовало росту популярности Бирнса. Напротив своего агентства он оборудовал большое помещение под своеобразный «музей», названный им «таинственной камерой». Обладая хорошим чутьем на рекламу, он приводил в свой «музей» и журналистов, и обычную публику. Стены этого «музея» были увешаны портретами преступников,

некогда арестованных сыскным отделом. В витринах лежали орудия взлома, отмычки, маски; с потолка свешивалась петля палача. С удовольствием использовал Бирнс свой «музей» для допросов, чтобы арестованный мог воочию убедиться в безвыходности своего положения.

Через четыре года после того, как его назначили начальником отдела, он заявил: «В течение четырех лет, предшествовавших организации моего сыскного отдела, полиция арестовала 1943 человека, осужденных в общей сложности к 505 годам тюрьмы. За четыре года работы отдела было арестовано 1324 человека и приговорены они в общей сложности к 2428 годам заключения». Когда Скотланд-Ярд не удалось поймать Джека Потрошителя, Бирнс довольно хвастливо заявил, что он-то уж наверняка поймал бы Потрошителя, появись тот в Нью-Йорке. В 1894 г., когда Бирнс оказался в водовороте упомянутого выше скандала, он приводил в свою защиту следующие аргументы: благодаря ему американские преступники приговорены почти к 10 1000 годам тюремного заключения. А это, конечно же, больше того, чего достигли Сюртэ и Скотланд-Ярд, вместе взятые.

А начало скандалу положила возмущенная проповедь одного нью-йоркского пресвитерианского священника, Паркхэрста, относительно участия полиции Нью-Йорка в доходах борделей и игорных домов. В результате в 1894 г. начала работу специально созданная для расследования независимая комиссия — одна из первых комиссий такого рода, которые в последующие десятилетия сыграли видную роль в борьбе «лучшей части Америки» против засилья преступного мира в политике и в полиции. Этой комиссии (названной «комиссией Лексоу») Бирнс все же сумел объяснить происхождение своего собственного необычного богатства. Но ему пришлось признать, что действительно в полиции кое-кто имеет долю в доходах притонов и борделей, а за это закрывает глаза на их существование и запрещает их только в том случае, если деньги перестают поступать в полицию. «Если Бирнс,— писала по этому поводу нью-йоркская газета «Уорлд»,— не знал, что годами происходило у него под носом, то, видимо, он недостаточно хороший детектив для того, чтобы идентифицировать лимбургский сыр, не попробовав его на вкус».

Бирнс — мастер саморекламы, шарлатан, умеющий «делать деньги», но, несмотря на все это, криминалист по призванию — вынужден был уйти со сцены. Его преемник капитан Мак-Клоски реорганизовал сыскной отдел, однако по-прежнему оставил в силе методы идентификации Бирнса, если не считать нескольких попыток восстановить бертильонаж. Но в 1904 г. новый шеф нью-йоркской полиции Мак-Аду, услышав о происшествии в тюрьме Ливенурт, решил поглубже ознакомиться с проблемой отпечатков пальцев, чтобы «Нью-Йорк не отставал от прогресса». Детектив сержант Джозеф Форо получил задание отправиться в Лондон, чтобы ознакомиться там с работой Скотланд-Ярда, куда он и прибыл весной 1904 г. Главный инспектор Коллинз оказался хорошим учителем. Но когда Форо вернулся в Нью-Йорк, Мак-Аду больше не был уже шефом полиции, а его преемник не интересовался «научными идеями». Он посоветовал Форо в его собственных интересах как можно скорее забыть об отпечатках пальцев. Но Форо на свой страх и риск стал экспериментировать. У всех арестованных, которых он регистрировал по странной системе, представляющей собой смешение приемов Бирнса и Бертильона, он снимал также отпечатки пальцев. И когда его перевели в наружную службу, он и там не забыл о своих лондонских впечатлениях. Форо создал свою частную коллекцию отпечатков пальцев. Так продолжалось вплоть до 1906 г.

16 апреля 1906 г. во время ночного патрулирования, около полуночи, Форо подошел к всемирно известному отелю «Уолдорф-Астория». Он решил проинспектировать помещение отеля. Поскольку там останавливались в основном богачи, то отель любили посещать воры и взломщики. То ли случай, то ли судьба привели Форо на третий этаж, где он столкнулся с человеком в смокинге, но босиком, выходящим из чужих апартаментов. Форо арестовал этого господина, несмотря на его бурные протесты, и доставил в полицию. Там задержанный продолжал протестовать. С явным английским акцентом он заверял, что его зовут Джеймс Джонс и он вполне благопристойный англичанин, искавший всего лишь любовных приключений. Он требовал встречи с британским консулом и угрожал Форо неприятными последствиями, если его тут же не отпустят.

Поведение этого господина было настолько самоуверенным, что коллеги Форо советовали ему во избежание неприятностей освободить задержанного. Но внутренний голос Форо подсказал ему, как он потом рассказывал, другой совет. Форо снял у Джонса отпечатки пальцев, вложил карточки с ними в конверт и, учитывая английский акцент Джонса, отправил отпечатки Коллинзу в Скотланд-Ярд. 17 апреля письмо Форо ушло в Лондон. После этого прошло 14 дней, полных сомнений и неуверенности.

Однако 1 мая Форо нашел на своем столе письмо из Лондона. В нем лежали отпечатки пальцев Джонса и фотография дактилоскопической карты из картотеки Скотланд-Ярда. В сопроводительном письме говорилось: «Отпечатки пальцев Джеймса Джонса идентичны зарегистрированным у нас отпечаткам пальцев Даниэля Нолана, он же Генри Джонсон, имеющего двенадцать судимостей за кражи в отелях, в настоящее время разыскиваемого по долгу о взломе в доме известного английского писателя в похищении у него 800 фунтов... Предполагается, что он сбежал в США». На прилагаемых двух фотокарточках был изображен арестованный Форо человек.

Предъявленный Джонсу лондонский материал прекратил его сопротивление, и он сознался, что действительно он и есть Генри Джонсон, или Даниэль Нолан. Впоследствии его судили и приговорили к семи годам тюремного заключения.

2 мая в нью-йоркских газетах появились первые сообщения о необычайном происшествии с Форо. Заголовки гласили: «Полицейская наука из Индии...» Впервые американские полицейские репортеры признали, что и отпечатки пальцев могут стать истинной сенсацией. Их сообщения дошли до Сан-

Франциско и Лос-Анджелеса, Сизтла и Нового Орлеана. И все же прошло еще четыре года, прежде чем в Нью-Йорке наступил перелом в отношении к дактилоскопии.

Форо, хоть он однажды и преуспел, оставался в полной боевой готовности. А полицейские репортеры постоянно домогались у него все новых «историй». И в 1908 г. они их получили. В одной из меблированных комнат верхнего этажа дома по 118 Ист-стрит был найден окровавленный труп красивой девушки со следами истязаний. Это была Нэлли Куинн — медицинская сестра из Уэлфар-Айленд. Когда Форо вошел в комнату убитой, там уже было множество репортеров. Так как в то время еще не существовало правила, согласно которому только полиция правомочна совершать какие-либо действия на месте преступления, то всю комнату уже основательно обыскали в поисках следов преступника. Большинство предметов было сплошь покрыто отпечатками пальцев журналистов. И только заглянув под кровать убитой, Форо обнаружил то, чего не заметили репортеры, — бутылку из-под виски. На ней имелись отпечатки пальцев.

Нэлли Куинн была дружна со многими молодыми людьми. У всех них Форо отобрал отпечатки пальцев. Но ни один из них не был идентичен отпечатку, найденному на бутылке. Форо искал дальше, пока не наткнулся на жестянщика Джорджа Крэймера. Когда Форо сравнил его отпечатки пальцев с отпечатками на бутылке, ему сразу стало ясно: Крэймер — именно тот, кто ему нужен. Крэймер был настолько поражен внезапным арестом, что в первые минуты страха сразу сознался, что убил девушку в приступе алкогольного буйства. На суде он не изменил своих показаний, так что громкого процесса не получилось и интерес журналистов к его «истории» сразу угас.

Но зато многие из них не забывали по любому случаю напомнить читателям об одном убийстве, происшедшем в грозовую ночь с 27 на 28 июля 1870 г. в аристократическом районе Нью-Йорка, на Двадцать третьей улице, так и оставшемся нераскрытым.

Тайна этого убийства, жертвой которого стал богатый банкир Бенджамен Натен, даже через сорок лет продолжала волновать многочисленных подписчиков газет из-за странных обстоятельств этого преступления. Ту ночь Б. Натен провел в своем городском особняке в обществе своих сыновей Фрэда и Вашингтона, а также экономки миссис Келли. Остальные члены семьи находились в загородном доме в Нью-Джерси. Оба сына вернулись домой очень поздно. Перед тем как они отправились в свои спальни на четвертом этаже, они в последний раз видели живым своего отца, спавшего на складной кровати в комнате третьего этажа. Рано утром они нашли отца убитым. Ему были нанесены многочисленные удары каким-то тяжелым металлическим предметом. Он был изуродован до неузнаваемости. Сейф взломан, деньги, драгоценности и золото — украдены. Парадная дверь открыта. На стенах комнаты, где произошло убийство, виднелось множество кровавых отпечатков пальцев и даже целой руки, измазанной кровью. Джон Джордан — суперинтендант нью-йоркской полиции тех лет — и Джеймс Кельсо, до Бирнса возглавлявший нью-йоркских детективов, прибыли на место происшествия. За обнаружение преступника было назначено большое вознаграждение. Со всех концов Америки поступали письма с советами и несуразными самообвинениями. Проверено было около 800 бродяг и других подозрительных лиц. Основным подозреваемым оказался Вашингтон Натен — второй, непутевый сын убитого, часто вращавшийся в сомнительном обществе. Но никаких доказательств против него не было. Когда Вашингтон должны были делать операцию, хирург дал согласие на его допрос под наркозом. Но Вашингтон вдруг отказался от хирургического вмешательства, и загадка убийства осталась неразгаданной.

Теперь, в 1908 г., репортеры снова вспомнили это дело в связи с «ящиком» для отпечатков пальцев. Был бы уже тогда Джозеф Форо с его ящиками, убийца наверняка был бы найден. В 1870 г. детектив Кельсо по поводу тех кровавых отпечатков мог лишь сказать: «Длинные, тонкие, женственные пальцы. Убийца был джентльменом». Только и всего. Теперь американцы узнали из газет, что подобные случаи повториться не могут, так как метод идентификации отпечатков пальцев открывает огромные возможности.

Однако дактилоскопии пришлось еще подождать дня своего окончательного признания. Ожидание это длилось до 1911 г. В мае того года перед судом в Нью-Йорке предстал взломщик Сесар Челла. Он обвинялся в краже, совершенной им ночью в салоне мод в центре города. Его друзья уплатили адвокату 3 тыс. долларов, так что защита представила пять свидетелей, которые подтверждали его алиби. Свидетели под присягой показали, что в ночь взлома Челла был на ипподроме, а затем лег с женой спать и не выходил из дома до утра. Все попытки обвинителя поймать свидетелей на противоречиях в их показаниях ни к чему не привели. Оставалось одно средство — изобличить самого Челлу. Свидетелем пригласили Форо. И вот достоянием суда стали такие подробности: на окне салона мод, через которое проник грабитель, Форо нашел и сфотографировал массу отпечатков грязных пальцев. Сравнив их с отпечатками в своей картотеке, он установил: это отпечатки пальцев Сесара Челлы! Впервые, теперь уже в Америке, отпечатки пальцев фигурировали в суде в качестве единственной улики обвинения, единственного «свидетеля» действий человека, который

не только все отрицал, но и располагал, казалось бы, непоколебимым алиби. Решение вопроса о доказательственной силе отпечатков пальцев в подобном деле зависело, как и девять лет тому назад в Англии, от судьи, который до этого дня слыхом не слыхивал о дактилоскопии, и от присяжных, знавших о ней столько же, сколько и судья. Как только Форо кончил давать свои показания, защитник тут же обрушил лавину насмешек на него самого и на дактилоскопию. Он хорошо знал присяжных и их отношение ко всему, что зовется наукой, а следовательно, и то, что они будут на его стороне. Возможно, пять лет тому назад Форо и сник бы под натиском такой атаки защитника. Но теперь он был

хорошо подготовлен. Как некогда Коллинз, он имел на руках увеличенные отпечатки пальцев и не позволил сбить себя с толку. Несмотря на это, когда он покидал свидетельское место, его мучили сомнения: удалось ли ему убедить присяжных? Вдруг он услышал возглас судьи: «Стойте!» — Затем судья, обращаясь к служащему суда, приказал: «Отведите этого человека (тут он указал на Форо) в мой кабинет и держите его под стражей». Форо увели.

Как только за Форо закрылись двери зала суда, судья (к сожалению, имя его до нас не дошло) пригласил пятнадцать посторонних человек из публики выйти вперед. Каждому из них он предложил оставить отпечаток своего пальца на оконном стекле и точно запомнить это место. Только одному из этих пятнадцати было предложено оставить отпечаток своего указательного пальца на стекле письменного стола. После этого в зал привели Форо. «Так,— прогремел судья,— а теперь покажите нам, какой из отпечатков пальцев на окне соответствует отпечатку на стекле письменного стола...»

Форо облегченно вздохнул, поняв, что это всего лишь испытание. Как говорится, «разинув рот» наблюдали присяжные, как Форо, взяв лупу, принялся за работу. Через четыре минуты он дал правильный ответ. Изумление овладело залом, словно после удачного фокуса. Потом зрители зааплодировали. Челла и его защитник, склонившись друг к другу, зашептались о чем-то. Через несколько минут Челла во всем сознался. Таким путем, как это принято в американском суде, обвиняемые в безнадежных случаях выторговывают себе более мягкий приговор. Да, он действительно лег спать, но ждал, пока жена уснет, затем покинул дом через окно. После взлома он тем же путем вернулся домой и лег спать рядом с. так и не просыпавшейся женой.

Да, это был исторический момент и истинная сенсация! В первый раз на американской земле судья признал в качестве доказательства отпечатки пальцев. Репортеры помчались в редакции. Газеты оповестили всю Америку, вплоть до последнего полицейского, об истории Форо и деле Челлы, тем самым привлекая всеобщее внимание к таинственному новшеству, прибывшему через океан из Европы.

Находились все же такие журналисты, что считали достижение Форо всего лишь результатом счастливого стечения обстоятельств. Они все еще пытались устраивать сержанту всяческие ловушки. Шутки ради репортеры нашли двух абсолютно неразличимых близнецов — Фрэнка и Чарлза Терри, выступавших в одном из нью-йоркских варьете. Как-то утром журналисты появились с Фрэнком Терри в бюро Форо. «Ну, Джо,— обратились они с той наглостью, на которую европейские полицейские тех лет среагировали бы полной растерянностью либо глубоким возмущением,— как обстоят делишки с отпечатками пальцев?.. Как вы думаете, вот этого человека вы узнали бы, если бы встретили его еще раз?» «Пусть он оставит отпечатки своих пальцев»,— ответил Форо и отобрал у Терри отпечатки пальцев, а затем спокойно продолжал свои занятия. После обеда репортеры вернулись. На этот раз они привели с собой Чарлза Терри и спросили, знает ли Форо этого человека. Форо очень недолго провозился с пальцами Чарлза Терри. Затем он сухо сказал:

«Нет, это не тот человек, которого вы приводили утром. У них разные отпечатки пальцев. Должно быть, это близнецы».

Вот вкратце об истории Джозефа Форо. Благодаря ему система отпечатков пальцев пробила себе путь в Нью-Йорк и в американскую полицию.

Однако события 1911 г. знаменовали собой лишь весьма скромное начало. Лучшие коллекции отпечатков пальцев в Нью-Йорке, Чикаго, Ливенуорте или Синг-Синг практически оставались бесполезными, а вся страна — незащищенной от преступлений, поскольку пока что большинство полицейских учреждений не располагало картотекой отпечатков пальцев и не существовало единой для всей территории Соединенных Штатов централизованной службы идентификации. Характерным для обстановки того времени было и то, что американские судьи становились на сторону известных преступников, когда те возражали против снятия у них отпечатков пальцев, считая это посягательством на личную свободу, и возбуждали иски против пользовавшихся дактилоскопией полицейских служб. (Так продолжалось вплоть до 1928 г., пока штат Нью-Йорк не принял закона о правомерности снятия отпечатков пальцев.) Больше десяти лет многие преступления все еще оставались нераскрытыми только потому, что отдельные полицейские учреждения либо не знали системы дактилоскопии, либо высмеивали ее, как и всякий иной научный метод. С другой стороны, появились дельцы, почуявшие значение дактилоскопии и сделавшие ее своей «специальностью». Они предлагали свои услуги полиции, прокурорам и адвокатам в качестве «экспертов по отпечаткам пальцев», хотя их познания в этой области, как правило, находились на самом примитивном уровне. Хуже того, бывали случаи, когда некоторые полицейские с помощью резиновых штампов фальсифицировали отпечатки пальцев на месте происшествия, роняя таким путем подозрение на неугодных им лиц.

На фоне достижений Форо положение дактилоскопии, как и общее состояние борьбы с преступностью, все же представлялось безнадежным до тех пор, пока не сбудутся надежды Джорджа Уоллинга на то, что «проснутся приличные слои общества, которым принадлежит духовное руководство Америкой», и выступят за независимые от политиков полицейские силы городов и отдельных штатов, а главное, за централизованную полицию для всей страны. Лишь тогда на подготовленной почве могла расцвести и дактилоскопия.

По всей вероятности, не было случайностью, что прежний шеф полиции Нью-Йорка, ставший к этому времени президентом Соединенных Штатов Теодор Рузвельт в 1905 г. предпринял первые попытки создать центральное учреждение, призванное контролировать соблюдение федеральных законов. За годы своей работы в Нью-Йорке он основательно изучил состояние американской полиции.

В 1901—1908 г., когда Теодор Рузвельт был президентом Соединенных Штатов, он повел ожесточенную борьбу с крупными дельцами, которые в союзе с государственными служащими приобретали огромные государственные земельные участки, а затем продавали их с миллионными прибылями. Но в аппарате министра юстиции, генерального федерального атторнея Чарлза Джозефа Бонапарта, не было ни одного служащего, которому можно было бы поручить расследование подобного рода крупных операций. После окончания Гражданской войны в федеральных учреждениях детективы были на службе только у почтового ведомства и казначейства, где они вели расследования почтовых ограблений и деятельности фальшивомонетчиков. Генеральный атторней пытался «одолжить» детективов у казначейства. Но лоббисты мошенников-дельцов обладали достаточной силой для того, чтобы оказать давление на конгрессменов и добиться введения закона, запрещающего судебным органам использовать детективов других служб.

Раздраженный Рузвельт бросил конгрессу обвинение в том, что тот потворствует преступникам, и в 1905 г. поручил Бонапарту создать свою собственную следственную службу, укомплектованную персоналом, имеющим подготовку в области криминалистики, с тем чтобы эта служба находилась в распоряжении лишь самого генерального атторнея. Служба была названа «Бюро расследований».

Почти целое десятилетие Бюро расследований оставалось источником постоянных разочарований. Казалось, в Вашингтоне нельзя найти людей, способных устоять перед коррупцией. А в годы после первой мировой войны Бюро и вовсе погрязло в трясине взяточничества, торговли должностями и беспомощности.

Махинации при распределении должностей и борьба за связи приводили к тому, что во главе службы стояли люди типа Уильяма Бернса, бывшего шефом детективного агентства сомнительной репутации, так называемого «Международного детективного агентства Бернса». Ни его самого, ни его друзей не тревожило то, что их нередко обвиняли в подкупе свидетелей и присяжных. Среди сотрудников Бернса был один из ужаснейших типов в галерее американских частных детективов того времени — Гастон Мине, человек, обвинявшийся в убийстве богатой вдовы по фамилии Кинг и подделке ее завещания. Мине готов был прибегнуть к любым средствам, если за хорошее вознаграждение кому-то нужно было убрать с дороги противника, неважно — политика или денежного магната.

Наконец в 1924 г. президент Кальвин Кулидж назначил на пост министра юстиции жителя Новой Англии Харленда Фиска Стоуна, снискавшего себе славу «неподкупного». Тот отстранил Бернса и поставил во главе Бюро расследований двадцатидевятилетнего адвоката Эдгара Гувера, не связанного ни с одним политиком. Полный решимости, Стоун приказал Гуверу не поддерживать никаких связей с политиками и уволить тех служащих, которые оказались в Бюро благодаря этим связям. На работу следовало принимать только юристов и экономистов; до этого каждого из них надо было тщательно проверить. Знание дела и «чистоплотность» должны были стать фундаментом, на котором отныне будет строиться работа Бюро.

Стоун сделал хороший выбор.

Гувер обладал достаточной решимостью, гибкостью и терпением для того, чтобы насаждать в государственном аппарате знания, трудолюбие, моральную чистоту, считавшиеся в этом мире смешными атрибутами прошлого. В итоге Гувер совершил чудо. Он вытаскил свое Бюро расследований из хаоса американской полиции и превратил его в четко действующий центр криминалистической службы. Он умел ждать, не торопился вмешиваться в ревниво охраняемую компетенцию полиции городов или отдельных штатов. Гувер работал медленно и многого достиг именно терпением. Он наблюдал внутреннюю консолидацию Соединенных Штатов, рождение сознающих свою ответственность верхних слоев общества, возмущение населения растущей преступностью и безуспешной деятельностью полиции. Гувер дождался, когда конгресс, в котором эти общественные изменения тоже стали ощущаться, принял закон, согласно которому Бюро расследований расширяло сферу своей деятельности, распространив ее на отдельные штаты. Через некоторое время ему было присвоено название «Федерального бюро расследований», сокращенно — ФБР. Все больше видов преступлений — от хищений до ограблений банка — объявлялись федеральными преступлениями, в результате чего их расследование оказывалось в компетенции ФБР.

Первым начинанием Эдгара Гувера, сразу же после назначения его шефом ФБР, было введение системы идентификации преступников. Прежде всего он положил конец раздробленности коллекций отпечатков пальцев, разбросанных по всей стране. Вначале перевели в Вашингтон коллекцию отпечатков пальцев из федеральных мест заключения, таких, как Ливенуорт. Это не представляло никаких трудностей. Сложнее обстояли дела с коллекциями оттисков, находившимися в распоряжении полиции отдельных городов и штатов, которые использовали дактилоскопию с 1911 г. Длительное время не удавалось преодолеть их враждебность ко всякого рода централизации. Только в 1930 г. конгресс дал официальное согласие на создание мощного, охватывающего все Соединенные Штаты Бюро идентификации.

В результате произошло удивительное: возникла служба идентификации такого масштаба и такой точности, которые европейцам, наблюдавшим за развитием американской полиции, представлялись недостижимыми. Соединенные Штаты стали огромным экспериментальным полем для дактилоскопии, и на этом полигоне идея о значении и эффективности отпечатков пальцев получила такое подтверждение, о каком пионеры этого метода не могли даже и мечтать.



15. 1924—1936 гг.— время испытаний дактилоскопии. Рост преступности. 1926 г.— двенадцать тысяч убийств. 1933 г.— миллион триста тысяч тяжких преступлений. От Аль Капоне до Диллинджера. Борьба преступников против «неизгладимой печати». 1934 г.— тревожное открытие: застреленный гангстер Клутас не имеет отпечатков пальцев; это дело неизвестного хирурга. Д-р Джозеф Моран. Диллинджер и попытки пластических операций на пальцах. Дело Гэса Уинклера. Эксперименты д-ра Анпдеграфа. 1941 г.— Питтс, или «человек без отпечатков пальцев». Десять трансплантационных рубцов на груди Питтса выдают его. Д-р Бранденбург. Папиллярные линии выходят победителями. 1956 г.— 141231713 дактилоскопических карточек в Вашингтоне. На пути к регистрации не только преступников, но и всего населения. Здравый смысл против либерализма.

Среди историков и социологов никогда не будет единодушия в ответе на вопрос, почему в 1924—1936 г. волна преступности захлестнула Соединенные Штаты. То, что происходило тогда в США, далеко превосходило любой разгул уголовщины, пережитый когда-либо в Старом и Новом Свете. Многим европейским наблюдателям объяснение этого феномена не казалось сложным. Первую причину они видели в утрированном понимании американцами либерализма, который имел своим последствием ярко выраженный эгоизм каждого индивида, приведший в свою очередь к взаимной борьбе по закону джунглей. Вторая причина, по их мнению, крылась в запрете употребления спиртного, в так называемом «сухом законе», принятом 16 января 1920 г. в целях наивно понимаемого американцами улучшения мира. Представление о том, что такую колоссальную страну, как США, можно «осушить» законодательным путем, было оторванным от жизни и настолько противоречащим естественным слабостям человеческой природы, что заранее следовало ожидать нарушений этого запрета. «Сухой закон» рождал соблазн и таил возможности его нарушения путем спекуляции и подпольного изготовления спиртных напитков, способствовал наживе в размере сотен, тысяч, миллионов и миллиардов долларов. И наконец, третья причина, как утверждали наблюдатели, заключалась в социальном и экономическом потрясении, переживаемом Северной Америкой после окончания первой мировой войны. Оно углубило пропасть между бедными, социально обездоленными гражданами и людьми имущими, которые придерживаются бессовестного принципа «хватай, где можешь», подавая тем самым дурной пример неимущим.

Аль Капоне, Фрэнк Костелло, Джон Диллинджер, Элвин Карпис — имена всех этих спекулянтов спиртными напитками, главарей банд грабителей, шантажистов, похитителей, убийц вдруг получили чуть ли не всемирную известность, какой до этого не добивался ни один преступник. Порой казалось, что пирамида Соединенных Штатов рухнула и преступный мир захватил власть в стране.

Происходящее в стране действительно было устрашающим. По далеко не точным и не полным данным, в 1926 г. статистиками было зарегистрировано более 12 тыс. убийств. Те же статистики в 1933 г. насчитали 1300 тыс. тяжких преступлений, ограблений и убийств, из которых две трети остались нераскрытыми. Каждый день совершалось в среднем два нападения на банки. В 1934 г. было зарегистрировано 46 614 ограблений, 190 389 краж со взломом, 142 823 крупные кражи, 380 тыс. случаев обычных краж. Наблюдатели утверждали, что число вооруженных преступников превысило число американских солдат, участвовавших в первой мировой войне.

Бутлегеры организовали производство, доставку и сбыт алкогольных напитков в огромном масштабе. Они подкупали не только полицейских и прокуроров, но и многочисленных агентов государственных организаций, которым по службе было положено осуществлять «сухой закон» и контролировать его выполнение. В конкурентной борьбе бутлегеры открыто, на глазах всего общества устраивали кровавые потасовки с пистолетной и пулеметной стрельбой, взрывами бомб. Длинные процессии за катафалками убитых гангстеров, дорогие гробы, бронзовые урны, цветы на тысячи долларов и десятитысячные толпы, собиравшиеся вдоль улиц во время такого шествия, были частым явлением. Наиболее хитроумные гангстеры — чаще всего эмигранты-итальянцы — находили все новые и новые пути, ведущие через преступление к богатству.

Широко распространился рэкет. Рэкетеры вмешивались в деятельность представителей многих легальных, полуполициальных и нелегальных профессий — от содержателей борделей и игорных домов до владельцев ресторанов и прачечных, сначала угрожая разрушением их заведений, чтобы затем предложить, конечно за определенное вознаграждение, услуги по защите от себе подобных. Таким образом, в их карманы регулярно текли миллионные контрибуции. В случае неуплаты «охраняемым» следовало сразу готовить себя к тому, что они потеряют имущество, а чаще всего и жизнь. Мало того, бутлегеры и рэкетеры взяли в свои руки торговлю наркотиками, принявшую невероятный размах.

Так, Аль Капоне, сын неаполитанского парикмахера, родившийся в 1899 г., начал рядовым членом банды «Файф Пойнтс» в Нью-Йорке. Затем в Чикаго он стал телохранителем рэкетера Колосимо, а в 1925 г. вошел в главари гангстерской империи, занимавшейся контрабандой алкоголя и наркотиков, жульничеством, шантажом и насилием. У него на жалованье находились алчные адвокаты и многочисленные полицейские. И таких, как он, было немало.

Банда Баркер—Карпис, долгое время руководимая женщиной по имени Кэт Баркер, приучавшей своих сыновей с детского возраста к преступным нападениям, с 1931 по 1936 г. путем грабежей и получения выкупа за похищенных людей обогатилась на семь миллионов долларов. Банда убила семь человек и оставила на месте своих преступлений, в первую очередь в Сен-Поле и Чикаго, большое количество искалеченных.

Джон Диллинджер и члены его банды, Нельсон по кличке Бэйби Фейс (детское личико), Гомер Ван-

Митер, Джон Гамильтон и другие, за короткое время — с сентября 1933 по 1934 г. — в ходе ограбления банков и других нападений совершили десять убийств. Много раз они бежали из мест заключения. 17 июля 1934 г. члены банды Фрэнка Нэша ради освобождения одного из своих «коллег» среди бела дня перед вокзалом в Канзас-Сити убили из пулеметов четырех полицейских и агентов ФБР.

Такой разгул преступности тревожил американскую общественность больше, чем сообщения о коррупции в полиции и в среде политиков. Это дало Гуверу возможность развернуть широкий фронт борьбы с преступностью. Но в этой борьбе, если какое-либо оружие и доказало свою эффективность, так это дактилоскопия и основанная на ней служба идентификации. В стране, где каждый мог назваться любым именем, ибо не существовало ни удостоверений личности, ни записей по месту жительства, ни регистрационных книг в отелях, преступники пользовались свободой перемещения, какой не знала Европа. В этих условиях отпечатки пальцев были единственным верным средством идентификации. Количество гангстеров, опознанных службой идентификации, вскоре стало выражаться в тысячах. Проверка отпечатков пальцев служащих государственных учреждений позволила разоблачить бесчисленное количество проникших в них преступников. С помощью отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления, удавалось привлекать к ответственности все большее число лиц, совершивших насильственные преступления. Никогда прежде дактилоскопия столь убедительно не доказывала свою ценность. Но вот в январе 1934 г. произошел случай, повлекший за собой ряд драматических событий.

Однажды во второй половине дня сержант чикагской полиции Хили и три агента ФБР засели в засаде в бунгало в Бэллвуде. Более четырех часов с готовыми к стрельбе автоматами они поджидали главаря одной банды, которому за короткий срок удалось стать обладателем 500 тыс. долларов и на совести у которого лежало множество убийств. Это был некий Джек Клукас по прозвищу Красавчик Джек. Клукас — бывший студент университета в Иллинойсе — специализировался на похищениях и шантаже представителей преступного мира. При этом он был полностью уверен, что те никогда не обратятся за помощью в ФБР. Но в начале января один из членов его банды, Джулиус Джонс, выдал место пребывания своего босса. Он назвал именно это бунгало, в котором теперь была организована засада. Сержант Хили и агенты ФБР не напрасно прождали четыре часа. К вечеру туда подъехал на машине Клукас. Когда он приблизился к двери своего бунгало, она распахнулась и Клукас увидел направленные на него полицейскими дула автоматов. Он сделал попытку вытащить свой пистолет, но Хили опередил его, и автоматная очередь сразила Клукаса намертво.

Уже стало правилом, что уголовная полиция снимала отпечатки пальцев и у мертвых гангстеров, чтобы точно знать, кого из преступников можно вычеркнуть из длинного списка живых. Когда, согласно правилам, стали снимать отпечатки пальцев Клукаса, кончики его пальцев показались работнику службы идентификации несколько необычными. Вскоре стало ясно: пальцы Клукаса не дают никаких отпечатков.

Вспомним, что в начале века, когда отпечатки пальцев только еще начинали прокладывать себе путь в европейскую полицию, их противники выдвигали аргумент, что преступники вполне могут изменить свои папиллярные линии или даже полностью их ликвидировать. Эти предположения были забыты, так как европейским преступникам не приходило в голову предпринимать что-либо в этом направлении. Так не нависла ли над дактилоскопией в эти январские дни 1934 г. страшная, неотвратимая опасность? И это именно сейчас, когда уже никто в мире больше не сомневался в надежности отпечатков пальцев. Не доказывает ли случай Джека Клукаса, что отпечатки пальцев действительно можно уничтожить? А может быть, все-таки есть люди, которые вопреки всем уверениям не имеют папиллярных линий?

Было послано срочное сообщение в Вашингтон — о случившемся уведомили Гувера. В большой тревоге он дал распоряжение поручить дерматологам Северо-Западного университета провести тщательное обследование пальцев убитого. С величайшим нетерпением ожидали в Вашингтоне результатов исследования.

Результаты прибыли через два дня и принесли всем большое облегчение. Оказалось, что неизвестный врач снял кожу с кончиков пальцев Джека Клукаса, чтобы таким образом тот в случае задержания мог избежать идентификации. Однако на молодой коже, вновь образовавшейся на месте ран, вырисовывались (как это десятилетия тому назад уже предвидели в Европе) пока еще слабо, но вполне различимо прежние папиллярные линии. Опасность, нависшая, казалось, над всем зданием дактилоскопии, рассеялась. Но надолго ли?

Спустя несколько месяцев, в мае 1934 г., банду Баркер — Карписа в районе Чикаго стали столь активно преследовать агенты ФБР, что Кэт Баркер решила вместе со своими телохранителями уйти в подполье. Члены банды разделились и разъехались в разные стороны; они перекрасили волосы, стали носить темные очки, как у слепых, и т. д. Но самым верным признаком того, что они видели в дактилоскопии угрозу для себя, было решение Карписа и Фрэда Баркера, помимо всего прочего, изменить поверхность кончиков своих пальцев.

Один их приятель-гангстер нашел хирурга, доктора Джозефа Морана, ранее примерного ученика Медицинского училища Тафта в Бостоне, отличного солдата в годы первой мировой войны, ныне в свои тридцать девять лет имевшего уже несколько судимостей. В погоне за деньгами он в 1928 г. в Спринг-Вэлли занимался подпольными абортами, на чем и попался. В тюрьме Джолион он отбывал наказание вместе с известным гангстером Олли Бергом и благодаря связям последнего в полиции вновь получил разрешение заниматься врачебной деятельностью. Под ее прикрытием он лечил

гангстеров, раненных в схватках с полицией или со своими конкурентами. Многих он спасал, а тех, кого спасти не удавалось, просто выбрасывали в чикагские сточные трубы или в озеро Мичиган. Моран получал высокие гонорары, но подорвал свое здоровье алкоголем и морфием до такой степени, что к 1934 г. стал полной развалиной. И несмотря на это, Карпис и Фрэд Баркер доверились ему. Моран без какой-либо анестезии срезал им кожу с кончиков пальцев, и они при этом громко кричали от боли. Кэт Баркер ухаживала за ними на законспирированной квартире и в течение четырех недель облегчала их страдания морфием. К своему ужасу они обнаружили, что страдания эти были напрасны. На заживленной ткани заново появились прежние папиллярные линии. Вскоре после этого доктора Морана, мертвецки пьяного, отвезли к озеру Мичиган и утопили.

В мае 1934 г. Джон Диллинджер тоже был вынужден скрываться. Но он был не в состоянии безвылазно сидеть в своем убежище. Для того чтобы иметь возможность спокойно посещать кино, страстным поклонником которого он был, Диллинджер решил изменить свою внешность. Но он понимал, что при первой серьезной полицейской проверке отпечатки пальцев неминуемо его выдадут, поэтому именно их изменение больше всего его заботило.

По его просьбе лишенный всякой совести адвокат Луи Пике за 5 тыс. долларов связался с двумя хирургами, согласившимися сделать Диллинджеру пластическую операцию. Это были доктор Уильям Лезер, по происхождению немец, и доктор Говард Кэсседи. 27 мая они прооперировали Диллинджера в помещении, которое им за 40 долларов в сутки предоставил некий Пробеско, бывший торговец алкоголем на черном рынке.

Во время операции Диллинджер был на волосок от смерти. Изменения, которые хирурги произвели на его лице, так не понравились гангстеру, что он в слепой ярости чуть было не пристрелил их. Теперь, уже осторожничая, доктор Лезер ограничился тем, что вытравил кончики пальцев кислотой, так, чтобы папиллярные линии не были видны. Но когда 22 июля 1934 г. агенты ФБР опознали Диллинджера перед входом в кинотеатр и застрелили при задержании, то его папиллярные линии вновь были отчетливо видны. Так было добыто еще одно доказательство того, что «неповторимая печать» оказалась воистину неизгладимой.

Однако события развивались дальше. В октябре чикагский полицейский во время патрулирования пригорода на одной из улиц наткнулся на изрешеченный пулями труп. Лицо убитого показалось полицейскому знакомым. Им оказался Гэс Уинклер, объявленный в розыске убийца и грабитель банков и почт. Угадать, каким образом он простился с жизнью, ничего не стоило. Просто его противник выстрелил раньше, чем он. Как и в случае с Клутасом, полиции, согласно правилам, следовало снять у убитого отпечатки пальцев и отправить их в идентификационное бюро. Тут-то и обнаружился сюрприз. Пальцы Уинклера оставляли отпечатки, но их узор резко отличался от отпечатков, сохранившихся со времен его прежних арестов. На среднем пальце левой руки у убитого был другой папиллярный узор, нежели на его карточке в картотеке. Но Уинклера слишком хорошо знали в полиции, чтобы допустить возможность ошибки и предположить, что убит кто-то другой. Во второй раз в Вашингтоне забили тревогу. Что же тут все-таки случилось?

Неужели нашелся способ изменения папиллярных линий и вся с таким трудом воздвигнутая система идентификации все же рухнула? Ответ из Вашингтона позволял понять, как были там взволнованы. Он содержал приказ держать происшествие в строжайшей тайне и, как в случае с Клутасом, привлечь для консультации хирургов и дерматологов.

На этот раз на исследование ушло значительно больше времени. Наконец одному из сотрудников службы идентификации пришла в голову верная мысль. На карточке с прежними отпечатками пальцев Уинклера отпечаток среднего пальца левой руки показывал два треугольника (две дельты). Теперь же на месте одного из треугольников виднелся шрам. Неизвестный врач или кто-то другой, осуществлявший операцию, ограничился лишь тем, что изменил совсем маленькую часть папиллярного узора, чем и достиг так всех встревожившего эффекта, причем большего, нежели те врачи, которые совсем снимали кожу с кончиков пальцев или обжигали их кислотой.

Загадка была решена: при подобных случаях в будущем следует обязательно обращать внимание на шрамы. Но примененный в данном случае метод изменения папиллярных линий был настолько изобретательным, что представители ФБР встретились в Лонг-Риде (Калифорния) с видными дерматологами и известными хирургами, имеющими опыт пересадки кожи, для обсуждения вероятных возможностей изменения папиллярных линий. Конференция проходила при закрытых дверях. Хирург, доктор Говард Аппдеграф из Ливанского госпиталя в Голливуде, провел многочисленные эксперименты. Они показали, что метод, использованный в случае Уинклера, дает лишь временный результат. В подобном случае узор папиллярных линий всегда восстанавливается. Есть только один способ изменить этот узор на длительное время, а именно: путем пересадки кожи ладоней на кончики пальцев. Но для этой операции можно использовать только кожу самого оперируемого человека. Пересадки и заживление длятся примерно четыре недели и относительно безболезненны. Однако и этот метод не сможет ввести в заблуждение службу идентификации, так как на пальцах остаются шрамы, а на папиллярных линиях — трещины, которые легко обнаружить, если тщательно разгладить кожу на кончиках пальцев. Так что оставалось лишь срочно предупредить работников службы идентификации о подобной возможности. Изменения в тех местах, откуда была взята ткань для трансплантации, могут служить доказательством хирургического вмешательства.

Время подтвердило предположения доктора Аппдеграфа, но ждать пришлось до 1941 г., когда открытый разгул дикого американского гангстеризма был побежден и уступил место менее громкому,

но более скрытому, выступавшему под вывеской экономического предпринимательства, организованному гангстеризму.

Это случилось 31 октября 1941 г. вблизи города Остин в штате Техас. В этот день полицейский патруль задержал высокого блондина интеллигентной внешности, назвавшегося Робертом Питтсом, у которого не оказалось при себе регистрационной карточки «Селектив сервис» (организации, призванной следить за проведением в жизнь закона о воинской повинности), хотя молодой человек был явно призывного возраста. Для выяснения личности его доставили в Остин. Сотрудник местного дактилоскопического бюро стал поочередно накачивать пальцы молодого человека на обычную сравнительную карточку: первый, второй, третий, четвертый, пятый палец. Затем проделал то же с другой рукой. Тут он растерянно взглянул на Питтса и заметил насмешливое выражение его лица. У человека, назвавшегося Питтсом, не оказалось и следа папиллярных линий на кончиках его пальцев!

Прошло семь лет с того момента, когда случай с Уинклером в последний раз напугал ФБР. Но теперь Вашингтон был во всеоружии. Данные дактилоскопии тотчас же обнаружили шрамы на пальцах, свидетельствующие о трансплантации кожи. Питтс тем временем был отправлен в федеральную тюрьму Рейли, где служителям поручили проверить наличие шрамов на теле Питтса. Всего через несколько часов результат обследования был готов: на обеих сторонах грудной клетки арестованного виднелись шрамы, по пять с каждой стороны. Не было никакого сомнения в том, что именно из этих мест были взяты кусочки кожи для пересадки на кончики пальцев Питтса.

Но кем же был Питтс на самом деле? Какой преступник скрывается под видом молодого человека, которому понадобилась такая сложная операция? Питтс молчал. Он был убежден, что найти пути к его прошлому никому не удастся.

Как его настоящее имя? Где он родился? Где пребывал 1 мая 1934 г., 15 июня 1934 г., 1 сентября 1939 г.? В ответ насмешливое молчание. Кто был хирургом, сделавшим эту операцию? Где он проживает? Где производили операцию? На все эти вопросы ответом был издевательский смехок.

ФБР проверило отчеты о различных преступлениях и списки преступников. Все нераскрытые взломы, нападения, убийства. Девять лет тому назад в Виргинии был арестован за кражу автомашины некий Роберт Дж. Филиппе, двадцати трех лет. Описание внешности, фотография и возраст соответствовали данным по Питтсу. Отпечатки пальцев, снятые тогда у Филиппса, в последующие годы повторялись у одного молодого человека, носившего различные фамилии, подвергавшегося арестам за вооруженные нападения и отбывавшего наказание в местах заключения в Атланте и Алькатразе. Дата последнего ареста — 28 марта 1941 г., место — Майами. Но тогда его пришлось отпустить. Если Питтс был тем самым человеком, то операции на пальцах он подвергся между 28 марта и 31 октября 1941 г. — днем его нынешнего ареста. Агенты ФБР допросили заключенных, отбывавших срок наказания с человеком, носившим различные фамилии, но имевшим одни и те же отпечатки пальцев. Один из заключенных наконец вспомнил, как однажды разговор зашел о враче, к которому в экстренном случае можно обратиться за помощью. Это был «док» Бранденбург. Предположительно он живет в штате Нью-Джерси. И действительно, нашли доктора Леопольда Уильяма Августа Бранденбурга в Юнион-Сити, штат Нью-Джерси. Это был чрезвычайно полный человек, с маленькими, заплывшими жиром глазами, носивший очки без оправы, с нездоровым цветом лица и прихрамывающей походкой. Уже не однажды он представлял перед судом: один раз за криминальный аборт, в другой — за участие в ограблении почты, при котором добыча преступников составила 100 тыс. долларов. Но всякий раз ему удавалось избежать наказания. Теперь же от ФБР ему уже было не отвертеться. На допросе он показал, что Роберт Питтс действительно является Робертом Дж. Филиппсом, который и обратился к нему в мае 1941 г. по поводу изменения кожи на кончиках пальцев. Трансплантацию кожи Бранденбург провел в своем доме, сперва на одну, потом на другую руку. Каждый раз проходило три недели, прежде чем пальцы в местах реплантации приживались к грудной клетке. Затем он отделял пальцы от грудной клетки вместе с приросшей к кончикам пальцев кожей и соответственно еще раз моделировал их. Питтс и его врач были приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

Дело Питтса осталось последним громким делом в истории отпечатков пальцев, в котором речь шла о попытках обмануть природу и дактилоскопию.

С этого времени дальнейшее развитие службы дактилоскопической идентификации ФБР пошло неудержимо быстро. Эта служба стала самой крупной и наилучшим образом технически оснащенной в мире. В 1956 г. картотека отпечатков пальцев в Вашингтоне насчитывала 141 231 713 карточек. Специальная картотека, в которой находятся карточки с отпечатками всех десяти пальцев, и каждого отдельно, позволяет идентифицировать личность по найденным на месте преступления отдельным отпечаткам верхушек пальцев и даже по частичным отпечаткам кончиков пальцев. С помощью вычислительных машин можно за несколько минут среди миллионов других карточек найти нужную. И опыт работы с этими миллионами карточек свидетельствует вновь и вновь, что каждый человек имеет свой собственный неизменный знак — узор на кончиках пальцев.

Но самым значительным, пожалуй, был тот факт, что Эдгару Гуверу удалось в больших масштабах осуществить то, о чем другие лишь тщетно мечтали. Именно в стране, где свободу отдельной личности возводят в принцип, благодарная терпеливости Гувера, его призывам к здравому смыслу и пониманию, проявленному многочисленными ведомствами, удалось достичь невероятного, а именно: из общего числа карточек с отпечатками пальцев, равного 141 231 713 в 1956 г., по меньшей мере 112096777 принадлежали не преступникам, а честным, ничем не опороченным гражданам, постоянно или

временно проживающим в Соединенных Штатах. Эта пусть еще и не всеобъемлющая, но необычайно большая картотека позволила службе идентификации использовать ее в целях, выходящих за рамки опознания арестованного или ранее судимого. Облегчая идентификацию отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления, она вместе с тем оказывает бесценные услуги и при опознании жертв несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий, войн.

*16. Красноречивый пример из Англии. 1948 г.— похищение Джун Девни из детской больницы в Блэкборне и ее убийство. Убийца оставил отпечатки своих пальцев. Тщетные розыски его с мая по август 1948 г. Знаменательное решение: снять отпечатки пальцев у всех жителей Блэкборна. 11 августа 1948 г.— обнаружение преступника. Питер Гриффит. Нерушимый фундамент.*

Казалось, будто сама история отпечатков пальцев пожелала доказать, какое значение имеет всеобщая дактилоскопическая регистрация населения при раскрытии преступлений. Для этого она снова избрала убийство. Место действия вновь переместилось по другую сторону океана — в Великобританию, где дактилоскопия столько раз прерывала свой долгий путь развития.

В ночь на 15 мая 1948 г. в городе Блэкборне в Ланкашире от руки убийцы погиб ребенок — Джун Энн Девни. Джун была четырехлетней милой девочкой, дочерью рабочего металлургического завода из Блэкборна. Несколько дней тому назад ребенок заболел воспалением легких и был отправлен в детское отделение больницы Куин-парк-госпиталь. Пневмония протекала в легкой форме, и 15 мая Джун должна была уже вернуться домой. Накануне вечером девочка спала в своей кровати в детском отделении, в палате № 3. Палата помещалась в цокольном этаже и одной своей стороной примыкала к кухне и ванной комнате детского отделения, другая же соседствовала с пристройкой, где в эркере находились туалеты с большими окнами, которые ради свежего воздуха никогда не закрывались. Вечером 14 мая они тоже были распахнуты.

Ночью, в начале двенадцатого, медицинская сестра Гвендолин Хэмфрис подошла успокоить плачущего ребенка, чья кровать стояла рядом с кроватью маленькой Джун. Она крепко и спокойно спала. Сестра снова ушла на кухню. В 23 часа 30 минут до нее донесся какой-то шорох и ей послышался детский голосок.

Выйдя в коридор, сестра обнаружила дверь, ведущую в парк, открытой. Так как на дворе было очень ветрено, сестра решила, что дверь распахнул сквозняк, и спокойно вернулась к своим делам.

Минут через пятнадцать она пошла в обход блока. Когда она вошла в детскую палату и подошла к кровати Джун, то обнаружила ее опустевшей. Сестра поспешила в туалет. Но Джун и там не оказалось. На обратном пути в палату сестра обратила внимание, что на свеженатертом полу виднеются какие-то пятна. Похоже было, что это следы ног, но не детских, а взрослого человека, пробежавшего по полу босиком или в тонких носках. След вел от одного из окон эркера к детским кроваткам и кончался рядом с кроватью исчезнувшего ребенка. Под кроватью лежала большая бутылка с дистиллированной водой, которая еще в начале двенадцатого находилась на тележке, стоящей в другом конце палаты. В полночь сестра подняла тревогу. Весь дежуривший ночью персонал стал искать ребенка. Куин-парк-госпиталь был расположен между большим парком и лугами. Когда к двум часам ночи Джун все еще не смогли найти, один из дежурных врачей сообщил о случившемся в полицию Блэкборна. Час спустя, в четвертом часу утра, в высокой траве около госпитального забора полицейский обнаружил труп Джун Девни. Стало ясно, что девочка была изнасилована, после чего преступник взял свою жертву за ножки и ударил головой о каменную стену забора.

Уже наступило утро, когда на место происшествия прибыли первые сотрудники ланкаширской полиции, среди них главный констебль Лумс и главный инспектор Кэмпбелл — сотрудник дактилоскопического бюро графства Ланкашир в Хьютоне под Престоном. Главный констебль, не откладывая, обратился за помощью в Скотланд-Ярд. Ребенок, перед трупом которого он стоял, за короткий промежуток времени стал уже третьей по счету жертвой одного или нескольких убийц. Два других убийства произошли в Лондоне и в Фэрнуорте (недалеко от Блэкборна). Жертвами были пятилетняя Эйлин Локкарт, задушенная в подвале разрушенного бомбами дома, и одиннадцатилетний Джон Смит, заколотый кинжалом. Оба преступления были все еще не раскрыты. Лумс прекрасно понимал, что после этого третьего случая общественность возмутится и потребует от полиции более решительных мер. Утром 15 мая прибывшие в Блэкборн главный инспектор Кэпстик и еще два сотрудника Скотланд-Ярда принялись за работу.

Всю территорию больницы оцепили. Никому не разрешалось покидать здание. Пока было ясно только одно: убийца проник в помещение между 23 часами 15 минутами и 23 часами 45 минутами через открытое окно эркера, сняв перед этим обувь. Судя по всему, он хорошо здесь ориентировался. Осторожно ступая, он подходил к различным детским кроваткам, пока не выбрал Джун, после чего вынул ее из кровати. Затем он вылез с ребенком через окно эркера, надел башмаки и потащил свою жертву к забору. Следы его ног в носках четко отпечатались на полу детской палаты. Бутылку, найденную под кроватью Джун, он, видимо, взял для того, чтобы использовать в случае необходимости как оружие. На одном из окон эркера было найдено несколько волокон ткани. Такие же волокна были обнаружены на трупе ребенка. Но эти находки мало продвинули дело, равно как и допрос служащих госпиталя.

Тем временем главный инспектор Кэмпбелл в поисках отпечатков пальцев занялся тщательным обследованием палаты. Он осмотрел все стены, стол, окна, кровати, стулья, бутылочки с лекарствами и детские игрушки. Повсюду были сотни отпечатков. Немедленно отпечатки пальцев были сняты у всех

работников госпиталя и всех посетителей, побывавших в детском отделении на протяжении последней недели. Выяснилось, что все обнаруженные отпечатки принадлежат врачам, сестрам, больным детям и их посетителям, за исключением отпечатков нескольких пальцев, а также большого пальца и целой руки, оставленных на бутылки под кроватью Джун.

Криминалисты пришли к выводу, что это отпечатки, оставленные убийцей ребенка. Но на всякий случай они составили список лиц, входивших в последние месяцы в детскую палату и имевших дело с бутылкой дистиллированной воды. Их отпечатки пальцев не совпадали с оставленными на бутылки. Отпечатки на бутылки явно принадлежали неизвестному убийце.

Кэмпбелл послал фотографии этих отпечатков в Скотланд-Ярд, а также разослал их во все местные дактилоскопические службы Великобритании. Но и сравнение с почти полуторамиллионной картотекой Скотланд-Ярда оказалось бесполезным. Тогда фотографии отпечатков разослали воздушной почтой в дактилоскопические службы за пределами Великобритании. Ведь существовала возможность, что преступником был какой-нибудь моряк или иностранец, оказавшийся проездом в Блэкборне. Но и эти усилия оказались тщетными и ни на шаг не приблизили к цели. В конце концов укрепилось предположение, что убийца был из Блэкборна либо из его окрестностей. В пользу этого говорило хорошее знание местности и привычек дежурных сестер госпиталя.

20 мая Кэмпбелл сделал необычное предложение, на принятие которого он и сам не очень рассчитывал. Он предлагал снять отпечатки пальцев у всех мужчин Блэкборна старше шестнадцати лет и у всех, кто приезжает в Блэкборн на работу. Город насчитывал 110 тыс. жителей, из них около 35 тыс. домовладельцев. Кэмпбелл рассчитал, что предстоит собрать почти 50 тыс. карточек с отпечатками пальцев для сравнения с оставленными на месте преступления. Он точно знал, что никто до него в Англии не предпринимал ничего подобного, равно как целых стран и континентов и одновременно помог преодолеть сопротивление такому дактилоскопированию.

После окончания дела Гриффита появились веские аргументы в пользу именно такого подхода. Если бы в Великобритании было введено всеобщее дактилоскопирование, убийца Джун Девни был бы найден в течение нескольких дней.

Но преодоление укоренившихся предрассудков, как учит история, требует времени. Осуществление столь далеко идущих планов — дело будущего, и независимо ни от чего оно будет знаменовать собой дальнейшее развитие дактилоскопии, возникновение и становление которой обусловлено естественнонаучными и техническими достижениями XIX и XX веков и их влиянием на мир криминалистики, мир «детektива».

## II. О чем рассказывают мертвые, или этапы развития судебной медицины

*1. Париж, 1889 г. Исчезновение судебного исполнителя Гуффэ. Горон — руководитель расследования. 13 августа 1889 г. — обнаружение «мертвеца из Мильери». Лионский морг. Первое вскрытие. Ошибочные версии. Сундук из Парижа и второе вскрытие. Лакассань.*

«Труп опознан!» — гласил заголовок на второй странице ежедневной парижской газеты «Энтрансижан» от 22 ноября 1889 г. Под этим заголовком были помещены рядышком две иллюстрации. На одной из них была изображена разложившаяся до неузнаваемости голова мужчины, умершего четыре месяца тому назад, на другой — лицо того же мужчины при жизни.

Чем, казалось, могла заинтересовать столичную публику история мелкого парижского судебного исполнителя по фамилии Гуффэ, который держал контору на улице Монмартр и чье преуспевание в делах было связано с многочисленными любовными похождениями? Однако к моменту появления статьи в «Энтрансижан» тайна исчезнувшего Гуффэ на время затмила даже триумфальный успех Парижской всемирной выставки. Столь необычайная популярность ожидала Гуффэ уже на следующий день после его внезапного исчезновения вечером 26 июля, а главное — после разоблачения его прямо-таки беспримерного усердия в постелях светских дам с Елисейских полей. Тщетность же попыток шефа Сюртэ Горона отыскать Гуффэ, как и поток различных слухов, доделали все остальное. Обнаружение же ставшего неузнаваемым трупа возле Лятур-де-Мильери близ Лиона привело к возникновению вопроса, а не идет ли здесь речь о пропавшем без вести Гуффэ? Дальнейшие события и позволили 22 ноября «Энтрансижан» оповестить своих читателей: «Это Гуффэ!»

Не только «Энтрансижан» — все парижские газеты сообщали о граничащем с мистикой методе, с помощью которого дотолпе едва известный широкой публике человек, профессор Александр Лакассань, патологоанатом и судебный медик Лионского университета, вырвал у разрушенных до неузнаваемости останков мертвеца из Мильери их тайну. «Пти журнал» оповещал о всех подробностях исследования трупа, как если бы это было событие огромного политического значения, а Мартэн Дюффю заключил свою статью такими волнующими словами: «Французская нация подарила миру Альфонса Бертильона — реформатора системы уголовного розыска. А снятие покрыва с тайны Мильери учит нас, что и французская медицина тоже в состоянии указать криминалистике путь, ведущий в будущее. Опознание трупа из Мильери является вехой истории».

Вечером 27 июля 1889 г., когда шурин Гуффэ — Ландри — сообщил в полицию округа Бон-Нуviel об исчезновении судебного исполнителя, дежурный комиссар Бриссо не придавал делу особого значения. Сам Ландри допускал, что Гуффэ, сорокадевятилетний вдовец, живший в одной квартире со своими дочерьми, поддерживал любовные связи по меньшей мере с двадцатью различными девицами и «мог быть втянут в какую-нибудь авантюру». Лишь 30 июля, когда Гуффэ все еще не был обнаружен,

дело попало в руки Горона и следственного судьи Допфэ. Для начала Горон посетил контору Гуффэ. На полу перед сейфом он обнаружил восемнадцать сгоревших спичек. Консьержка сообщила ему, что в тот вечер, когда исчез Гуффэ, какой-то мужчина открыл контору ключом, некоторое время находился там, а затем ушел. Когда он появился, она приняла его за Гуффэ, и лишь когда он уходил, она поняла, что это был посторонний. Горон заключил, что посторонний пробрался в контору Гуффэ со связкой ключей и пытался вскрыть сейф. Он приказал опросить завсегдаев бульвара Осман и знаменитого кафе «Англэ». Но хотя подчиненные Горона и опросили сотни тамошних девиц, им не удалось обнаружить ни малейших следов пропавшего. Финансовые дела Гуффэ были в порядке, поэтому бегство из-за денежных неурядиц исключалось. Если учесть жизнелюбие, присущее Гуффэ, то самоубийство тоже представлялось невероятным... Словесный портрет Гуффэ был разослан во все полицейские участки Франции. В нем указывалось, что рост пропавшего — 1 м 75 см; он был худым, элегантно одетым, имел густые каштановые волосы и ухоженную бороду. Горон также поручил нескольким сотрудникам просматривать все французские газеты, вплоть до самых мелких, в поисках сообщений об обнаружении трупов.

Однако до 16 августа Сюртэ не продвинулась ни на шаг. Гуффэ, казалось, провалился сквозь землю. Горон стал уже опасаться за свою репутацию и чуть ли не легендарную славу. И тут ранним утром 17 августа он нашел на своем письменном столе по экземпляру «Котидьен провансаль» и «Латерн». В обеих газетах были отмечены крестиком заметки, сообщающие, что жители одной деревушки вблизи Лиона обнаружили в мешке на берегу Роны труп мужчины. Еще не опознанный мертвец был переправлен в покойницкую лионского морга. Горон требовал от следственного судьи Допфэ немедленной отправки телеграфного запроса в Лион. Допфэ медлил: он опасался, что и этот след будет ложным, однако в конце концов все же уступил.

В ответе лионского следственного судьи Бастида сквозила явная провинциальная неприязнь к вмешательству из столицы.

Лионская полиция, сообщил он, почти уже раскрыла заинтересовавшее Париж дело. Но в любом случае не может быть и речи о том, что это — труп Гуффэ, так как его приметы не совпадают с приметами разыскиваемого. Допфэ считал вопрос исчерпанным, но Горон придерживался иного мнения. Он телеграфировал в редакцию «Латерн» и попросил местного репортера сообщить ему более подробные сведения. 20 августа Горон получил наиподробнее описание событий. С самого начала августа жители Мильери были поражены отвратительным запахом, исходившим из зарослей ежевики на берегу Роны. Наконец 13 августа дорожный смотритель Гоффи обнаружил в кустах большой мешок из джута. Когда он вспорол его своим ножом, оттуда вывалилась полуразложившаяся черноволосая мужская голова. Охваченный ужасом, Гоффи помчался в жандармерию. Через несколько часов из Лиона прибыли сотрудник прокуратуры Берар и врач, д-р Поль Бернар. Доктор Бернар принадлежал к числу тех врачей, какие с давних пор осуществляли во Франции функции судебных медиков и к услугам которых судьи и прокуроры обращались в тех случаях, когда приходили к выводу, что им необходимо «посоветоваться с медициной».

Поскольку было уже темно и света факелов было недостаточно для вскрытия трупа на месте обнаружения, мешок с мертвым телом переправили в Лион. 14 августа д-р Бернар произвел вскрытие трупа. Из его отчета следовало, что покойника засунули в мешок совершенно голым, головой вперед. Предварительно тело было завернуто в клеенку и обмотано шнуром длиной в семь с половиной метров. Рост покойного составлял 1 м 70 см, а возраст — от тридцати пяти до сорока лет. Волосы и борода были черного цвета. На гортани оказались два перелома, из чего Бернар сделал заключение, что неизвестный был задушен.

Доктор Бернар как раз заканчивал свое исследование, когда из Сен-Жени-Лаваль — соседней с Мильери деревни — в Лион пришло новое тревожное известие. Один крестьянин, собирая улиток на берегу Роны, набрал на необычные деревянные предметы. Посланный туда жандарм Тома выразил уверенность, что это части сундука, издающие «типичный трупный запах». Он посчитал это связанным с находкой трупа в Мильери и отправил найденные обломки в Лион. Здесь на крышке сундука обнаружили две этикетки французской железной дороги, на которых удалось прочесть: «Станция отправления: Париж 1231 — Париж 27.7,188... — Поезд-экспресс 3. Станция назначения: Лион-Перраш 1.

Последнюю цифру из обозначающих год, после 188, прочесть было трудно, но комиссар лионской уголовной полиции Ремонданс решил, что речь здесь идет о цифре 8 (1888) и, следовательно, сундук был отправлен в Лион больше года тому назад. А то, что сундук имел отношение к покойнику, выяснилось еще 16 августа, когда дорожный смотритель Гоффи нашел на месте, где лежал труп, ключ, который точно подходил к замку сундука.

Таково было сообщение репортера из Лиона. Однако у Горона сложилось впечатление (ни на чем конкретно не основанное), что он напал на след Гуффэ. Он знал многих судебных медиков и не очень-то доверял из выводов. Накануне вечером он с трудом вырвал у следственного судьи Допфэ разрешение отправить шурина Гуффэ, Ландри, с сотрудником уголовной полиции в Лион с тем, чтобы Ландри воочию убедился, Гуффэ ли этот мертвец или нет. И уже 21 августа бригадир Судэ вместе с Ландри держали путь на юг. В то, что эта поездка имеет смысл, Судэ верил так же мало, как и Допфэ. Прием, оказанный ему следственным судьей Бастидом, не способствовал улучшению его настроения. Лишь по долгу службы он настоял на том, чтобы осмотреть труп из Мильери. Происходило это поздно вечером. Лионский «морг» располагался на старой барже, стоявшей на якоре на Роне перед отелом

«Дье де Суфло». В летнюю пору она распространяла страшное зловоние, а зимой в ней было так холодно, что производившие вскрытие врачи роняли инструменты из закованных рук.

Сторож, папаша Деленю, чья борода и волосы свисали до пояса, грязный и постоянно сосущий трубку, провел Судэ и Ландри по деревянному трапу на баржу. Внутри на голых досках лежали несколько мертвецов. Папаша Деленю осветил фонарем труп из Мильери. Ландри, прижав к лицу носовой платок, только бросил взгляд на обезображенные останки того, кто мог быть когда-то Гуффэ, отрицательно качнул головой и в ужасе выбежал на палубу. Что касается Судэ, то он убедился, что волосы у покойника черные как смоль, а не каштановые, как у Гуффэ. На следующее утро от телеграфировал Горону о провале экспедиции. Кроме того, он узнал, что тем же утром какой-то кучер из Лиона сделал полиции сенсационное сообщение и только что был допрошен следственным судьей Виалем.

Кучер по фамилии Лафорж показал, что 6 июля он поджидал пассажиров на вокзале. Наконец появился какой-то мужчина и велел погрузить в его экипаж большой, очень тяжелый сундук. Вместе с хозяином сундука в экипаж уселись еще двое мужчин и велели ехать в направлении Мильери. Там они сгрузили сундук и попросили Лафоржа подождать. Спустя некоторое время они вернулись без сундука и велели ехать обратно в Лион. Лафорж опознал сундук по найденным частям, когда ему их показали. Когда же его ознакомили с альбомом лионских преступников, он указал на фотографии трех мужчин — Шатэна, Револя и Буване, и сказал, что это и были его пассажиры. Все трое, однако, еще 9 июля были арестованы по обвинению в совершении убийства с целью ограбления.

Виаль, который теперь взял на себя расследование дела Мильери, поручил Судэ известить своего начальника в Париже, что тот может не затруднять себя и в Лионе обойдутся без его вмешательства: обстоятельства дела выяснены, а труп на следующий день будет погребен на общинном кладбище Де ля Гийотьер.

Горон, как указывалось в одном отчете того времени, воспринял сообщение из Лиона «с крайним возмущением, ибо оно противоречило его упрямой убежденности в своей правоте». Поскольку в тот момент он не видел никакой возможности еще раз вмешаться в ход событий в Лионе, то с удвоенным рвением взялся за дальнейшие розыскные действия в столице. В сентябре он получил донесение своего агента, которое заставило его насторожиться. Оказывается, 25 июля Гуффэ видели в пивной Гутенберга с неким Мишелем Эйро, выдающим себя за коммерсанта и пользующимся сомнительной репутацией. Эйро находился там в сопровождении своей юной возлюбленной Габриэль Бомпар. Но это была лишь первая часть донесения; решающее же значение имела вторая: Эйро, как и Бомпар, бесследно исчез из Парижа с того самого 27 июля, когда Гуффэ был зарегистрирован как пропавший без вести. Весь октябрь Горон искал эту пару, но безрезультатно.

Тем временем парижские газеты все чаще помещали статьи о деле Гуффэ, и раздающаяся в них критика по адресу Горона становилась все более резкой. Статьи озлобляли привычного к успеху шефа Сюртэ. Но прежде чем решиться капитулировать, он — к безмерному удивлению окружающих — вернулся в начале ноября к своей старой идее о том, что мертвец из Мильери и есть Гуффэ. Горон так бурно наседали на скептически настроенного Допфэ, что в конце концов тот не выдержал и запросил Лион, как идет расследование «дела Мильери». Из письма Виалья он узнал, что задержанные там и опознанные кучером три преступника упорно лгут, будто не имеют никакого отношения ни к сундуку, ни к покойнику. Кучер Лафорж между тем продолжал свидетельствовать, что видел, как они бросили сундук в кустарник. Кучер также был взят под стражу, как пособник. Сломить упорство трех преступников и опознать труп, писал Виаль, лишь вопрос времени. Впрочем, закончил Виаль, он охотно воспользуется случаем, чтобы попросить Допфэ о помощи в проведении розыскных действий в Париже. Хотя сундук и был сдан в багаж в Париже более года назад, но, так как речь идет о совершенно необычном багаже, вероятно, существует возможность того, что какой-нибудь железнодорожный служащий вспомнит лиц, отправлявших этот багаж. Он лично предполагает, что речь в данном случае идет о человеке, который был умерщвлен ради завладения ценным содержимым сундука. К своему письму Виаль приложил этикетки, отклеенные с сундука.

Когда Допфэ передал это письмо Горону, тот приступил к внимательному изучению этикеток с надписью «Станция отправления: Париж 1231 — Париж 27.7.188... — Поезд-экспресс 3. Станция назначения: Лион-Перраш I». 27 июля — число, когда было зарегистрировано исчезновение Гуффэ, — слишком крепко засело у него в памяти, чтобы дата на этикетках не бросилась ему в глаза.

В первом же попавшемся экипаже Горон помчался на Лионский вокзал. Чиновник багажного отделения просмотрел реестр багажных перевозок за 1888 г.: 27 июля 1888 г. багаж за номером 1231 не сдавался. С понятным волнением Горон потребовал, чтобы был проверен реестр за 1889 г. Документация за этот год из-за проведения всемирной выставки была очень обширна. Однако в конечном итоге искомым документом нашелся. Запись гласила:

«27 июля 1889 г. Поезд № 3, 11 час. 45 мин. утра, № 1231. Станция назначения: Лион-Перраш 1. Одно место багажа весом 105 килограммов».

Горон поспешил к Допфэ. Нужны ли тут еще пояснения? Сундук, в котором перевозился мертвец из Мильери, покинул Париж 27 июля 1889 г. — на следующий день после исчезновения Гуффэ. Даже если бы Ландри сто раз кряду не узнал бы в мертвце из Мильери своего шурина, а судебный медик из Лиона тысячу раз уверял бы, что покойник не может быть Гуффэ, сам он, заявил Горон, все равно был бы убежден, что речь идет о Гуффэ, и ни о ком другом!

Следственный судья все еще был настроен скептически, но поразительное развитие событий



заставило его послать в Лион теперь уже самого Горона. 11 ноября в сопровождении инспектора Сюртэ Жом Горон прибыл в Лион и тут же яростно набросился на следственного судью Виалья. За что, неистовствовал Горон, Виаль несколько месяцев держит под стражей кучера Лафоржа, если сундук, в котором мертвец якобы был погружен 6 июля в экипаж Лафоржа, покинул Париж лишь 27 июля 1889 г.? Как же мог Лафорж везти этот сундук в Мильери уже 6 июля? Ведь это обманщик, один из тех шутов или идиотов, которых ему, Горону, приходилось встречать в бесчисленном количестве, расследуя самые разные дела!

Лафорж был доставлен из тюрьмы и признался, что всю свою историю он выдумал. Он боялся из-за какой-то маленькой провинности лишиться кучерской лицензии и полагал, что лионская полиция благодаря его рассказам настроится к нему более благожелательно. Возмущенный Горон потребовал, чтобы неизвестный покойник был немедленно эксгумирован и еще раз обследован. Он, Горон, докажет, что в Лионе похоронили Гуффэ.

Виаль и Берар противились этому, приводя самые различные возражения, но другого выхода у них уже не было. Под вечер Берар отдал распоряжение эксгумировать труп неизвестного на следующий день — 12 ноября 1889 г. Эксгумация и вскрытие трупа были поручены сорокашестилетнему Александру Лакассаню, который уже девять лет был профессором и руководителем кафедры судебной медицины Лионского университета.

## *2. Развитие судебной медицины до 1889 г. Морганьи, Левенгук, Девержи, Вирхов, Каспер, Бернт и другие пионеры судебной медицины начала XIX в.*

Эпоха Дарвина, Гальтона и Кетле вызвала бурный прогресс медицины новой, «естественнонаучной эры». Хотя история анатомии и насчитывала к тому времени уже около трех столетий, но лишь теперь она подошла к пониманию настоящих тонкостей строения организма. Уже на рубеже XVII и XVIII веков итальянец Морганьи начал вскрывать тела умерших, а изменения, обнаруженные им в отдельных органах, сравнивать с болезненными явлениями, приведшими данного человека к смерти. Он основал патологию — учение об изменениях в органах, которые характерны для определенных заболеваний. Но свой истинный подъем патология начала переживать лишь с середины XIX в. Правда, еще в XVII веке голландец Левенгук использовал изобретение микроскопа для изучения деталей человеческой мускулатуры, которые ни один анатом не мог рассмотреть невооруженным глазом. Но только в XIX веке началась действительно эпоха микроскопии, микроскопической анатомии, микроскопической гистологии и, наконец, микроскопической патологии.

Еще в первой половине XIX века во Франции, Германии и Австро-Венгрии можно было сосчитать по пальцам врачей, которые посвятили себя делу распространения достижений медицины, основанной на естественных науках, на судебную медицину. Это были Кромгольц и Попель из Праги, Фитц и Бернт из Вены и, наконец, те трое, которые в Берлине и Париже заложили основы «новой судебной медицины», — Иоганн-Людвиг Каспер, родившийся в Берлине в 1796 г., Матье Жозеф Бонавантюра Орфила, родившийся в 1787 г. на острове Менорка и ставший творцом науки о ядах, и Мари-Гийом-Альфонс Девержи, который появился на свет в 1798 г. во французской столице.

Их жизненные пути были столь же различны, как и условия, в которых они работали. Родило их одно: большинству ученых-медиков они представлялись пронырами, эксплуататорами истинной медицины либо поборниками второсортной науки, приютившейся под сенью преступлений и бедности, с которыми и обращались соответственно. Поборники классической медицины не давали им достаточно материала для исследований, всячески ограничивали их поиск. Так, Бернт, учитель судебных медиков, как и его последователь Длауди, был не более чем зрителем при вскрытиях, проводимых патологоанатомами. В 1830 г. их и их учеников пытались даже удалить из анатомического театра под тем предлогом, что среди этих учеников «могут находиться лица, подозреваемые в убийстве».

Каспер работал в Берлине в условиях, которые позднейшими поколениями воспринимались с ужасом: сначала в страшном покойницком подвале берлинской анатомички, которой к тому времени перевалило за сто лет. Затем его принудили убраться в один из подвалов Шарите — больницы для неимущих. Но через два года некоронованный король патологоанатомов Рудольф Вирхов изгнал его и оттуда в другой, смердящий, как чума, подвал на Луизенштрассе. Но тем не менее, когда вышли в свет «Теоретическая и практическая судебная медицина» Девержи (1835), «Судебные вскрытия трупов» Каспера (1850) и его же «Практическое руководство по судебной медицине» (1856), криминалистике открылось окно в новый, хотя и мрачный, мир.

К тому дню — 12 ноября 1889 г., когда в полдень Горон, Жом и Александр Лакассань ждали на общинном кладбище в Лионе, пока могильщик очистит дешевый деревянный гроб № 126, хранивший останки мертвеца из Мильери, со времени смерти Каспера прошло уже 25, Орфила — 36, Бернта — 47, а Девержи — Ю лет. Но судебная медицина все еще боролась со своей матерью — общей медициной, особенно с патологией, за отграничение и признание своей собственной сферы исследования. Многие завоеванные ранее позиции были утрачены. Однако ученики и последователи Каспера и Орфила, Бернта и Девержи продолжали их работу, накапливая ценный опыт, о значении которого общественность еще очень мало догадывалась.

*3. Вклад Лакассаня в разработку основных вопросов судебной медицины. Ролле. Судебно-медицинское учение о строении костей и идентификация Гуффэ.*

В четыре часа пополудни останки мертвеца из Мильери лежали на столе для препарирования в аудитории Лакассаня на медицинском факультете Лионского университета.

Пустым и покинутым выглядел обычно заполненный студентами зал. Лишь в самом верхнем ряду сидел инспектор Жом. Несмотря на насмешливые взгляды Лакассаня, он держался как можно дальше, как значилось в одном отчете того времени, «от того мира, в котором Лакассань был как дома». Возле Лакассаня и у противоположного края стола стояли Горон, Берар, шурин Лакассаня д-р Этьен Ролле, его ассистент д-р Сен-Сир, а также (с трудом скрывая нервозность) д-р Поль Бернар — врач, который в августе исследовал мертвеца из Мильери и первым вскрыл его.

Александр Лакассань был мужчиной среднего телосложения. Из-за густой выющейся бороды он выглядел много старше своих сорока шести лет. Но в нем пылала та страсть к судебной медицине, без которой ни один из ее пионеров не избрал бы это зачастую весьма мрачное поле деятельности. В то далекое время, когда холодильники были также неизвестны, как и резиновые перчатки, когда в Лионе даже разложившиеся трупы исследовали голыми руками и эти руки вряд ли можно было полностью избавить от трупного запаха, упомянутая страсть была столь же

необходимым качеством судебного медика, как и неукротимая пылливость. Лакассань был родом из Каора и окончил военное училище в Страсбурге. Позже он стал военным врачом в Северной Африке. Уже там он начал интересоваться судебным аспектом медицины. Среди солдат и мерзкого беспризорного сброда в преступных кварталах Туниса и Алжира были широко распространены татуировки. Они дали Лакассаню повод для обширного исследования, посвященного значению татуировки для идентификации. Но это было лишь начало. Лакассань интуитивно понял, что с внедрением судебной медицины открываются новые горизонты, которые в век промышленного развития и социальных трений со всеми сопутствующими им явлениями в области медицины и преступности прямо-таки требуют, чтобы их изучали. В 1878 г. вышел в свет его «Очерк судебной медицины», а когда в 1880 г. в Лионе была создана кафедра судебной медицины, Лакассань стал первым профессором судебной медицины, который работал в большом провинциальном городе. Его одухотворенное жизнелюбие, личное обаяние и широкая медицинская, биологическая и философская подготовка позволили ему за несколько лет стать одним из серьезнейших конкурентов парижской школы судебной медицины — детища Орфила и Девержи.

Лакассань внес существенный вклад в объяснение основных вопросов судебной медицины и гигиены. Он занимался разработкой методов установления факта смерти. Ведь ему было поручено наблюдать за моргами, где тянулись длинные веревки с колокольчиками, чтобы мнимые покойники, проснувшись, могли вызвать сторожей. Самые известные к тому времени «пробы на жизнь» все еще заключались в помещении зеркала или пухового перышка перед ртом и носом предполагаемого покойника, чтобы по запотеванию зеркала или колебанию перышка узнать, «имеется ли еще дыхание». Полная надежность установления факта смерти отнюдь еще не была достигнута: Девержи при случае прибегал к такому сомнительному способу, как сердечное сечение, при котором палец через разрез в теле опускался на сердце, чтобы ощутить, бьется ли оно еще. Лакассань также обогатил знания о феномене трупных пятен. После ряда наблюдений и опытов он объяснил их появление тем, что кровь после прекращения кровообращения стекала в наиболее низко расположенные части тела и придавала коже в этих местах серо-фиолетовую окраску. Криминалистическое значение трупных пятен нельзя было недооценивать. Отекание крови происходит в определенные промежутки времени. Начинается оно обычно через полчаса после смерти. В течение первых десяти — двадцати часов появляющиеся пятна можно устранить путем нажатия, ибо кровь в подкожных сосудах уступает этому давлению. Лишь позже пигмент крови проникает сквозь стенки сосудов в ткани и кожу, так что удалить пятна путем нажатия уже невозможно.

Из этого можно сделать выводы относительно момента наступления смерти в результате преступления или в каком-либо ином случае наступления смерти. По невыясненным причинам в течение нескольких часов после смерти трупные пятна могут даже перемещаться, если положение покойника изменится: кровь стекает в те части тела, которые оказываются в результате такого перемещения в самом низу. Но затем такая подвижность крови прекращается. Поэтому, если трупные пятна обнаружены в высоко расположенных частях тела, это свидетельствует о том, что мертвец в течение определенного периода времени неоднократно перемещался из первоначального положения. Лакассань старался как можно точнее определить этот период.

Нечто подобное происходило и в связи с проблемой окоченения умерших, которая в 1811 г. привлекла внимание уроженца Бельгии Пьера Нистэна. Он первым точно описал направление распространения и течение во времени этого мышечного оцепенения у покойников, которое на протяжении столетий давало повод для бесчисленных домыслов. Согласно Нистэну, оно начиналось с мускулатуры скул, затем охватывало шею и руки, с тем чтобы спустя более или менее продолжительный период исчезнуть в той же последовательности. Обычно оно кончалось на третий или четвертый день. Оказалось, что феномен трупного окоченения тоже важен для определения момента наступления смерти. Но Лакассань установил, что при этом надо учитывать и многочисленные отклонения от правил, и пришел к выводу, что начинается окоченение не с области скул, а с сердца.

Он столкнулся и с проблемой, над решением которой судебной медицине придется впоследствии

трудиться еще многие десятилетия. Вслед за вопросами о трупных пятнах и трупном окоченении он взялся в конце концов и за изучение вопроса о посмертном охлаждении тела. Еще великие пионеры судебной медицины пытались проследить ход этого охлаждения во времени, ибо это позволяло в случаях убийства или при несчастных случаях ретроспективно установить момент, в который наступила смерть. Эмпирическим путем было выведено правило, что температура тела в первые четыре часа после смерти снижается каждый час на один градус по Цельсию. Но и здесь имелось много неожиданностей, неопределенностей и зависимостей от окружающей температуры. Все это побудило Лакассаня высказать одну из главных своих заповедей: «Надо уметь сомневаться». Ведь именно загадки и неясности манили его и заставляли биться над их разрешением.

К началу работы над мертвецом из Мильери лицо Лакассаня пылало гневом, оснований для которого у него было предостаточно. К его наиболее известным заповедям принадлежат слова:

«Ошибки плохо проведенного вскрытия непоправимы». А ведь д-р Бернар был препаратором в его, Лакассаня, институте. Удастся ли сейчас, негодовал Лакассань, узнать больше того, что было установлено при первичном вскрытии? Каким же грубым было оно! Какие ненужные повреждения на шее! Какое варварское обращение с черепом и грудной клеткой! Черепная коробка совершенно разбита, большие части утеряны! Как безобразно сломано ребро! И это плоды его обучения? А то, что д-р Бернар не уничтожил, было разрушено в результате изменений, происшедших в трупе за три месяца. Не осталось ничего, что годилось бы для идентификации покойника, за исключением костей и волос. Но даже на костях Бернар оставил следы своей грубой работы. Впрочем, потребовалось не так уж много времени, чтобы гнев Лакассаня иссяк. Его задача — тайна идентификации, которую он должен вырвать у мертвеца — была сильнее гнева. И он приступил к работе.

То, что началось в эти поздние послеобеденные часы, было лишь первым актом виртуозного концерта, продлившегося почти одиннадцать дней. Так как, помимо костей и волос, не осталось ничего пригодного для патологоанатомического исследования, первые усилия Лакассаня были направлены на высвобождение скелета из разлагающейся массы. Целых шесть лет отделяли еще Лакассаня от открытия рентгеновских лучей, которым предстояло позже сыграть огромную роль в судебно-медицинском исследовании частей скелета. Пока же Лакассань вынужден был довольствоваться только тем, что видели его глаза. Но по его инициативе д-р Этьен Ролле несколько лет работал над решением проблемы того, как на основе имеющихся отдельных костных деталей определять размеры тела умершего, если вследствие разложения его нельзя уже было измерить обычным способом. Исследования Ролле к тому времени закончились, и 1889 год — год обнаружения мертвеца из Мильери — был вместе с тем годом опубликования сочинения Ролле «Об измерении длинных костей конечностей и их отношении к антропологии, клинике и судебной медицине». Ему было предназначено стать Исходным пунктом для работ, которыми и шестьдесят лет спустя все еще занимались многочисленные исследователи, в том числе американцы Дюпертуа, Хэдден, Троттер и Глезер. На основе изучения 50 покойников мужского и 50 — женского пола Ролле вычислил, что между общей длиной тела и длиной отдельных его костей имеется довольно точное соотношение. Так, верхняя плечевая кость длиной 35,2 см соответствует длине тела порядка 1 м 80 см. Конечно, замеры дают лишь приблизительные результаты, если в распоряжение эксперта имеются только суставные кости. Но чем больше костных частей, тем точнее будет результат. Если, к примеру, в наличии были обе плечевые кости, Ролле измерял длину обеих и выводил среднюю цифру, которую и брал за основу своих вычислений размеров тела. Если же в его распоряжении сверх того были верхние черепные кости, бедренные кости и кости голени, он получал на удивление точные данные. Он создал формулы и таблицы таких вычислений, которые даже впоследствии в своей основе не подвергались существенным изменениям.

Д-р Бернар определил размеры тела мертвеца из Мильери «на глазок». Теперь же Лакассань препарировал кости рук и ног покойника и тщательно измерял их. Вычисление размеров тела по костям рук дало результат, равный 1 м 76 см, по костям ног — 1 м 81 см, а путем выведения среднего арифметического из обоих чисел он получил рост в 1 м 78,5 см. Когда он сообщил об этом первом результате своих усилий Горону, то сначала вызвал у того, по всей видимости, горькое разочарование. Ведь согласно словесному портрету Гуффэ, составленному на основании сведений, полученных от его близких, рост Гуффэ был равен 1 м 75 см. Однако одержимость, с которой Горон шел по следу Гуффэ, заставила его связаться 15 ноября с военным ведомством Парижа. И тут оказалось, что во время прохождения военной службы с Гуффэ были сняты все необходимые мерки. Данные о росте в его военных документах свидетельствовали: 1 м 78 см! Потревожили и портного Гуффэ — Ошара. Его показания подтвердили вычисления Лакассаня.

А тем временем Лакассань проводил еще более важные для дела исследования. Во время препарирования костей правой ноги ему бросилось в глаза, что костные части, на которых у человека крепится мускулатура ног, подверглись странным изменениям. От самих мускулов вследствие разложения не осталось ничего такого, что дало бы возможность судить об их прежнем состоянии. Но явные изменения костей свидетельствовали о том, что мускулатура на правой ноге была слабее, чем на левой. Причем на голени это недоразвитие было выражено сильнее, чем на бедре. Лакассань пришел к выводу, что это результат какой-то болезни. Тщательно сравнив все части правой и левой ноги, он столкнулся с деформацией коленной чашечки в правом колене, которую он часто наблюдал в прошлом в случаях воспалительного процесса в колене. Сравнение костей стопы повело Лакассаня еще дальше. В голеностопном суставе правой ноги имелись изменения, характерные для людей,

перенесших в молодом возрасте туберкулезное воспаление суставов. Когда же Лакассань взвесил все кости правой и левой ног, то обнаружил маленькое, но примечательное различие. Левая, по видимости здоровая, опорная ножная кость весила 65 граммов, в то время как правая — только 55 граммов; различие же в общем весе костей правой и левой ноги достигало 39 граммов. Слишком многое указывало на то, что правая нога подверглась болезненным изменениям. Лакассань сообщил Горону, что мертвец из Мильери страдал, по всей вероятности, в молодости туберкулезом суставов правой стопы с последующим ослаблением мускулатуры правой голени и правого бедра. Вследствие этого его походка была слегка хромающей. По меньшей мере он слегка тянул правую ногу. А позже у него в колене развилась водянка.

Горон тотчас же связался с Парижем. Он навел справки у дочерей Гуффэ, у врача Гуффэ доктора Эрвье, у сапожника Гуффэ (просто мистика — сапожник носил фамилию Мильери!). Данные Лакассаня нашли поразительное подтверждение. Гуффэ действительно слегка хромотал, но из-за его болезненного самолюбия никто не смел даже упоминать об этой беде. Мускулатура его правой ноги была ослаблена. Отец Гуффэ и парижанка Луиза Доминик, зная Гуффэ с детства, подтвердили, что после падения на грудь камней он страдал воспалением суставов стопы, которое годами не хотел лечить. У доктора Эрвье Гуффэ лечился в 1885 г. по поводу водянки коленного сустава. Врач направил его для дальнейшего лечения к доктору Гийо. Гийо подтвердил не только заболевание колена, но и болезненное изменение всей правой ноги. Впервые Горон испытал чувство подлинного удовлетворения, если не триумфа.

А работа Лакассаня была еще далеко не кончена. При исследовании костей и хрящей рта и шеи он натолкнулся на переломы обеих верхних дуг щитовидного хряща. Он увидел в этом подтверждение вывода Бернара о том, что покойный скончался от насильственного удушения, но в противоположность Бернару считал более вероятным удушение руками, чем веревкой. Однако в первую очередь при исследовании останков головы им двигало стремление определить возраст умершего точнее, чем это сделал Бернар. В те дни методика установления возраста по зубам находилась еще в «раннем детстве», как и сама зубо врачебная наука. Даже три четверти века спустя определение возраста по зубам все еще относилось к наименее исследованным областям судебной медицины. Во времена же Лакассаня знания в этой области позволяли сравнительно надежнее определять возраст людей лишь до двадцать четвертого или двадцать пятого года жизни. Установление более позднего, среднего возраста представляло гораздо большие трудности.

И выдающейся заслугой Лакассаня в тех условиях было то, что к середине ноября, исходя из степени износа основного вещества зуба, зубной эмали, образования зубного камня на корнях и истончения этих корней, он сделал вывод, что покойник должен быть старше, чем установил Бернар. Лакассань определил его возраст словами «около пятидесяти лет». Если учесть, что Гуффэ было сорок девять лет, то понятно, почему Горон почувствовал еще большую уверенность в своей правоте.

Но Лакассань представил ему еще одно, последнее подтверждение. Одной из главных причин того, что следственный судья, а также Судэ и Ландри оспаривали тождественность Гуффэ с мертвецом из Мильери, была констатация Бернаром черного цвета волос трупа. Гуффэ же, по сведениям, полученным от его семьи, парикмахера и всех знакомых, имел волосы каштанового цвета. Однако Лакассань еще раньше ставил различные опыты, стремясь путем сравнения волос, найденных на месте преступления, с волосами подозреваемого получить улики, которые можно было бы использовать для расследования преступлений. Уже ряд лет он проводил исследования волос под микроскопом и побуждал химика из Лионского университета профессора

Югупанка к химическому исследованию волос. По указанию Горона сотрудник Сюртэ поспешил на квартиру Гуффэ и изъясил там его головную щетку, которую курьер привез в Лион. Лакассань нашел в ней достаточно волос, чтобы провести сравнительное исследование. Прежде чем сравнивать волосы трупа с волосами из головной щетки Гуффэ, он несколько раз промыл волосы покойника. Этого было достаточно, чтобы смог проступить их каштановый цвет. Однако, чтобы увериться в том, что ни Гуффэ, ни мертвец при жизни не красили своих волос, он решил подвергнуть волосы обоих химическому исследованию. Югупанк искал следы наиболее известных основных веществ, входящих в состав красителей для волос, — меди, ртути, свинца, висмута и серебра. Все анализы были отрицательными. Таким образом, Лакассань мог быть уверен в том, что обе пробы волос имеют свой первозданный цвет. Лишь после этого он измерил толщину волос под микроскопом и пришел к настолько глубокому убеждению об их тождественности, что 21 ноября, обращаясь к Горону и Жому, воскликнул с некоторой театральностью, что, кстати, было ему не чуждо: «Господа, я передаю вам месье Гуффэ!»

*4. Триумф в Париже. Преследование убийц Гуффэ: Мишеля Эйро и Габриэль Бомпар. Французская судебная медицина как предмет национальной гордости и глубокая вера в непогрешимость науки.*

Когда днем позже, 22 ноября, Горон вернулся в Париж, его встретили заголовки в «Энтрансижан»: «Труп опознан!», а также сообщения прессы, во всех деталях описывавшие работу Лакассаня: тем самым впервые судебно-медицинское исследование стало сенсацией дня. Старый служака был, наверно, раздосадован, что слава Лакассаня затмила его собственную. И это побуждало его во что бы то ни стало найти убийцу Гуффэ.

К 25 ноября по заказу Горона ремесленники изготовили копию сундука из Лятур-де-Мильери. Через день его выставили на всеобщее обозрение в парижском морге, а Горон обратился к публике с вопросом: «Где был изготовлен этот сундук и где он был продан?» В течение трех дней двадцать пять

тысяч человек прошествовало мимо сундука в морге, как будто бы речь шла о прощании со знаменитостью. 26 ноября один мастер с улицы Бафуа, занимающийся изготовлением сундуков, заявил, что данный сундук никоим образом не мог быть изготовлен и продан во Франции, ибо это английская продукция. Горон прислушался к его доводам, тем более что как раз в это время получил письмо Шевона — француза, живущего в Лондоне. Как утверждал Шевон, 24 июня 1889 г. одна француженка, тоже проживающая в Лондоне, мадам Веспрэ, прислала к нему приезжего из Парижа, желающего снять комнату. Этот приезжий, назвавший себя Мишелем, снял комнату для себя и своей дочери. Четыре дня спустя они приобрели у фирмы «Цванцигер» на Юстон-роуд большой сундук — точно такой же, как выставленный в парижском морге. В середине июля Мишель и его дочь уехали, забрав с собой сундук.

В тот же день Горон велел изготовить фотоснимки сундука и послал с ними в Лондон инспектора Сюртэ Юлье. Продавец фирмы «Цванцигер» опознал сундук. Никакого сомнения: он продал его 28 июня коротконогому французу лет примерно пятидесяти, которого сопровождала молодая дама. Да, он прекрасно помнит: у покупателя были необыкновенно большие руки и грубое, бородатое лицо. После этого Горон решил лично направиться в Лондон с остатками оригинала сундука, и 19 декабря он уже был в английской столице. В знаменитом полицейском суде на Боу-стрит «сундук смерти» был предъявлен продавцу фирмы «Цванцигер» Лаутербаху, а также обоим французским гражданам — месье Шевону и мадам Веспрэ. Все трое подтвердили под присягой, что это сундук Мишеля. И тогда Горон стал допытываться у мадам Веспрэ, была ли она знакома с Мишелем, откуда она его знала и что о нем знала, почему в Лондоне он обратился именно к ней?

Очевидно, мадам Веспрэ имела основание опасаться полиции. Во всяком случае, она выложила все, что знала о Мишеле и его дочери. Что касается дочери, то эту девушку она знала плохо. Впрочем, это определено была не дочь Мишеля, а его подруга по имени Габриэль Бомпар. Ну а Мишель? О, его она знала намного ближе. Четырнадцать лет тому назад, в Париже, она сама была его подругой. «Его фамилия? Какова его настоящая фамилия?» — допытывался Горон. Француженка колебалась, но затем выдала и фамилию: Мишель Эйро! В тот же момент Горону, как он говорил впоследствии, открылся «путь к окончательному раскрытию дела Гуффэ». Он вспомнил ту пару из окружения Гуффэ, которая исчезла из Парижа в тот же день, что и сам судебный исполнитель,— Мишель Эйро и Габриэль Бомпар.

Обратно в Париж Горон вернулся 22 декабря, полный решимости поймать убийцу. Еще до наступления рождества один из его агентов сообщил более точные подробности относительно Эйро:

Эйро был авантюристом и мошенником высшей марки. Несмотря на свои пятьдесят шесть лет, безобразную внешность и прикрытую париком плешь, он вплоть до своего исчезновения считался первоклассным героем-любовником. А его биография?! Он был родом из Сент-Этьена, но еще ребенком уехал с родителями в Испанию и поэтому бегло говорил по-испански. Позднее он обучался красивому ремеслу, удрал от своего мастера, потащился с французским экспедиционным корпусом в Мексику, но дезертировал оттуда. После амнистии 1869 г. он решил вернуться во Францию, женился на зажиточной женщине, промотал ее деньги, оставил жену с ребенком и подался в Южную Америку в качестве торговца мануфактурой. В 1882 г. Эйро снова объявился во Франции, объявляясь здесь спиртовым заводом, а затем мошенническим образом объявил о своем банкротстве. После этого он стал совладельцем другой фирмы, которая в свою очередь в июле 1889 г. оказалась на грани банкротства. С 1888 г. его подругой стала Габриэль Бомпар, уличная девица, сбежавшая из родительского дома, дочь разбогатевшего торговца из Лилля, которая уверяла, что в детстве ее загипнотизировали и под гипнозом изнасиловали. Она была двадцати лет, хорошенькая, испорченная изолгавшаяся, лишенная всякой совести, готовая на любое злодейство.

В голове Горона уже рисовалась картина преступления. Эйро, полагал он, был знаком с Гуффэ благодаря, видимо, распродаже с торгов его спиртового завода, в проведении которой принимал участие судебный исполнитель. Он определенно знал, что дела Гуффэ процветают, и столь же точно знал, какой ненасытной была страсть Гуффэ к молодым женщинам. Поручил ли он своей любовнице Габриэль выполнить роль приманки для Гуффэ? Устанавливал ли он сундук в пока еще неизвестной подпольной квартире и велел ли Габриэль заманить туда Гуффэ? А может, он умертвил его, надеясь найти ключ к сейфу, а труп поместил в сундук? И возможно, после краха своих планов ему пришлось в голову отправить сундук в Лион и выбросить его там в укромном месте на берегу Роны? Вопрос за вопросом! Но Горон чувствовал, что ответ на все эти вопросы один: «да». Да! Он отдал распоряжение искать Эйро и Габриэль Бомпар по их фотографиям. Что касается Эйро, то к началу января 1890 г. Горон уже располагал о нем необходимыми сведениями. Инспектор Гаррэ отыскал покинутую жену Эйро — Лауру Буржуа и нашел у нее несколько фотографий мужа. С ожесточенностью диктовал Горон письма во все французские посольства, миссии и консульства по обе стороны Атлантики, пересылая им фотографии и данные о личности Эйро с просьбой продолжить его розыск через соответствующие полицейские службы в Европе, Северной и Южной Америке. Во французских, а затем вскоре в английских и американских газетах стало появляться все больше новых сообщений о захватывающей охоте на Эйро.

И вот утром 16 января на стол Горона легло письмо, отправленное из Нью-Йорка 8 января. Прочитав фамилию отправителя, Горон подумал, что это розыгрыш, мистификация со стороны какого-нибудь психопата. Но, сравнив письмо с образцами, изъятыми его людьми в квартире Эйро, он убедился, что письмо из Нью-Йорка, без сомнения, написано самим Эйро! Оно насчитывало почти

двадцать страниц, полных жалоб на то, что во всем мире его обвиняют в убийстве. А ведь он бежал из Парижа, спасаясь от грозящего ему разорения: Габриэль Бомпар буквально обобрала его. Что же касается Гуффэ, то последний всегда был его другом. Если кто-нибудь и убил судебного исполнителя, так это Габриэль Бомпар. «Она,— утверждал Эйро,— вполне могла поручить кому-либо из своих многочисленных любовников покончить с Гуффэ».

Горон был еще занят выяснением мотивов, побудивших Эйро написать столь неожиданное письмо, когда 18 и 20 января он получил очередные послания Эйро из Нью-Йорка. Правда, самый большой сюрприз был еще впереди. Около полудня 22 января секретарша сообщила Горону о посетительнице, которая ждет в приемной. Ее зовут Габриэль Бомпар.

Разыскиваемая оказалась именно такой, как ее описывали: маленькая, изящная, элегантная. Но черты лица этой двадцатилетней особы искажали следы бурных любовных походов. «Ее чувственность и испорченность выпирают через кожу»,— констатировал Горон. Она пришла не одна, а в сопровождении субъекта, явно принадлежащего к «лучшим кругам прирожденных американцев», который представился как Джордж Герейнджер и тотчас приступил к рассказу. Горон узнал из него, что Герейнджер во время деловой поездки в Ванкувер познакомился с французским бизнесменом по фамилии Ванаэр, которого сопровождала его дочь Берта. Охваченный пламенной страстью к Берте, Герейнджер решил не учреждать совместной с Ванаэром фирмы, а когда тот попросил сопроводить его дочь в Париж, с восторгом согласился. По пути в Париж он сделался возлюбленным Берты и наконец узнал, что Ванаэр — это разыскиваемый через все газеты Эйро и что поездку Герейнджера в Париж он использовал для того, чтобы ликвидировать только что основанную совместную фирму и исчезнуть с капиталом Герейнджера. Понятно, узнал он и о том, что Берта — это в действительности Габриэль Бомпар. Но к тому времени страсть настолько овладела им, что он поверил своей возлюбленной, будто она является только жертвой Эйро. Сам же Эйро — обманщик и убийца. Он убил Гуффэ, а ее, ничего не подозревающую, использовал как приманку для судебного исполнителя. На улице Тронсон-Дюкдрей в Париже Эйро снял для нее маленькую квартирку. Туда-то она и пригласила Гуффэ на randevу 26 июля. А почему бы нет? Почему бы, господи боже, нет? Гуффэ был не единственным, кому она отдавалась по приказу Эйро, чтобы добыть денег, когда у него самого не оставалось больше ни сентима. А раз так, то почему бы и не Гуффэ? Но в вечер, предназначенный для того randevу, Эйро сообщил ей, будто Гуффэ занят чем-то другим, так что свидание не состоится, а когда она гораздо позже условленного времени пришла к себе домой, то застала там, кроме Эйро, рыжеволосого мужчину, который сразу же надел сюртук и исчез. Сундук из Лондона стоял в углу спальни. Наутро Эйро предложил ей отправиться в путешествие на юг. Сундук был отправлен по железной дороге. В Лионе Эйро нанял повозку, которой он правил сам, погрузил на нее сундук, и они поехали в направлении Мильери. Там снова появился рыжий незнакомец, который и забрал сундук. Эйро же сообщил, что ему предстоят крупные сделки, и отправился с ней в Америку.

Американец был убежден в невиновности Габриэль Бомпар. Сразу же по прибытии в Париж он уговорил ее явиться в полицию и таким путем самой положить конец всем ошибочным подозрениям в отношении нее. Габриэль Бомпар живо кивала в подтверждение каждого его слова. «Очевидно,— отметил про себя Горон,— она убеждена, что я столь же легковверен, как и ее американский ухажер».

Во всяком случае, у Горона сложилось иное представление о ходе событий. По его мнению, находясь, в Америке, Габриэль Бомпар поняла, что пора отмежеваться от Эйро и спасти собственную шкуру. Она использовала американца, чтобы найти внушающий доверие путь к Сюртэ и к «чистосердечному признанию». А Эйро между тем писал свои письма, чтобы опередить это «признание». На глазах растерянного американца Горон приказал арестовать Габриэль Бомпар и «прожарить ее в его прославленной кухмистерской». Он заставлял ее голодать, допрашивал день и ночь, подсаживал к ней в камеру провокаторшу. Он велел препроводить ее на улицу Тронсон-Дюкдрей. Квартирная хозяйка сразу же узнала арестованную, вспомнила она и о большом сундуке. Вспомнила и день 26 июля, но категорически отрицала, что в тот день Габриэль Бомпар поздно вернулась домой. Больше того, она встретила тогда одного господина, который по описанию внешности очень напоминал Гуффэ. Но самое главное:

25 июля Габриэль побывала у соседа-слесаря, чтобы заказать новые, более крепкие обручи для сундука. Габриэль Бомпар снова врала с той неутомимостью, которая свойственна только патологическим лгуньям. Но к началу февраля Горон по кусочкам вырвал у нее правду. Конечно, как созналась она в конце концов, Эйро решил ограбить Гуффэ и она знала об этом. Но тем не менее она была только его орудием. Изголовье софы в ее квартире граничило с альковом, который был закрыт занавесом. Эйро привинтил железное кольцо к потолочным балкам и протянул сквозь него веревку, на конце которой был крючок. Сам он спрятался вечером 26 июля за занавесом в то время, как она встречала Гуффэ, «уже дрожащего от страсти». Едва прикрытая пеньюаром, стянутым шнурком, она забралась к Гуффэ на софу, развязала шнурок и, ласкаясь к нему, обвила шнурком шею Гуффэ. Эйро воспользовался этим моментом, чтобы прикрепить оба конца шнурка к крючку на веревке и затянуть шнурок. Но Гуффэ стал кричать. Тогда Эйро схватил его за шею и задушил собственными руками — именно так, как и предполагал Лакассань. После этого Эйро завернул мертвеца в клеенку, зашнуровал ее и засунул тело в сундук. Трясаясь, по ее словам, от ужаса, Габриэль провела несколько часов наедине с мертвецом в той же комнате, в то время как Эйро пытался ограбить контору Гуффэ. Полный бешенства из-за своей неудачи, он, вернувшись, избил ее и сразу

вслед за тем повалился на нее «без всякого стыда, всего в нескольких шагах от мертвого». Потом

последовала транспортировка сундука на вокзал, путешествие в Лион, поездка в Мильери, сбрасывание мертвеца на берегу реки, наконец, вышвыривание обломков сундука — вот и вся история. Еще трижды ездил с ней Горон на улицу Тронсон-Дюкудрей. Там он обнаружил в потолочных балках части веревки, которой воспользовался Эйро.

С момента ареста Габриэль Бомпар весь Париж был охвачен лихорадочной сенсацией, Целые семьи — дедушки и бабушки, родители и дети устремились на улицу Тронсон-Дюкудрей, чтобы увидеть «дом убийства». Когда 7 февраля следственный судья Допфэ направил арестованную под конвоем двух инспекторов в Лион для проведения с ее участием осмотра места происшествия, они вынуждены были прибегнуть к помощи кавалерии, чтобы протиснуться сквозь людское море. Среди этих людей находились даже такие, которые движимые нередко встречающимся извращенным восхищением перед женщинами-убийцами — бросали Габриэль Бомпар цветы.

К 10 февраля следствие подошло к концу. Горон более не сомневался, что он досконально знает историю убийства Гуффэ, за одним, правда, исключением. Он был убежден, что Габриэль Бомпар была не принужденной к сотрудничеству жертвой, а сознательным соучастником преступления.

Во второй раз разослал Горон розыскные ходатайства во все французские представительства за океаном. Эти ходатайства еще не дошли до адресатов, когда Эйро вновь отозвался сам. Признание Габриэль Бомпар побудило его послать в «Энтрансжан» свои возражения, опубликование которых привело к новому взрыву истерии вокруг дела Гуффэ. Написанные на ужасном французском, продиктованные жаждой мести, фантастические до абсурда сообщения Эйро сваливали всю вину на Габриэль Бомпар и ее таинственного любовника. Единственное, что еще интересовало Горона в его посланиях, — это место, где они были сданы на почту.

В один из тех дней, когда «Энтрансжан» печатала последние части возражений Эйро, примерно 19 мая, Эйро был опознан в Гаване (Куба) одним из живущих там французов. На следующий вечер кубинская полиция арестовала его в тот момент, когда он покидал публичный дом. А уже 24 мая инспекторы Судэ и Гайяр плыли на почтовом пароходе «Бургонь» в направлении Гаваны, чтобы доставить Эйро оттуда в Париж. Когда же почтовое судно «Лафайет», на котором инспекторы с арестованным пересекли Атлантику в обратном направлении, прибыло 30 июня в Сен-Назер, на набережной его ожидала несметная толпа людей. Один мужчина даже принес с собой попугая, непрерывно выкрикивающего фамилию Эйро. Журналисты висели на ступеньках поезда, везшего Эйро в Париж.

В эти же дни какие-то продувные дельцы арендовали дом на улице Тронсон-Дюкудрей, чтобы составить себе капитал на демонстрации комнаты, в которой произошло убийство. Это был разгул самых темных и непостижимых инстинктов!

Наконец 16 декабря 1890 г. начался последний, самый бурный, еще раз приковавший к себе внимание всей Франции акт — процесс против Эйро и Бомпар в суде присяжных департамента Сена. Положение Эйро с самого начала было безнадежным. Габриэль Бомпар, напротив, играла, как и обычно, роль «без вины виноватой». Она нашла блистательного помощника в лице своего столь же беззащитного, сколь и склонного к фантазиям защитника Анри Робера. Он безудержно манипулировал заявлением обвиняемой, будто ее, еще полудитя, обесчестили под гипнозом, и представлял ее как посредника, который и на этот раз принял участие в преступлении лишь потому, что ее довели до гипнотического состояния. Он эксплуатировал расхождения во мнениях, возникшие как раз в те дни в такой специальной области медицины, как невропатология: спор шел о том, можно ли загипнотизировать человека до такой степени, чтобы он в этом состоянии совершил убийство? Невропатологи и гипнотизеры заполнили зал суда и тем самым внесли дополнительный элемент таинственности в заключительный акт этой драмы. 20 декабря спектакль закончился. Было девять часов вечера, когда председательствующий огласил приговор: «Смертная казнь для Эйро, двадцать лет каторги — для Габриэль Бампар». Через десять недель, 2 февраля 1891 г., голова Эйро пала с плеч на гильотине парижского судебного палача Дебле. А в это время торговцы продавали публике на бульварах маленькие сундучки с «трупом» внутри, отлитым из свинца. На сундучке стояла надпись: «Дело Гуффэ».

*5. 1882 г. Деревушка Тиса-Эслар в Венгрии. Исчезновение Эстер Шоймоши 1 апреля 1882 г. Обвинение еврейской общины деревни в «ритуальном убийстве христианской девушки». Арест Шварца, Баксбаума, Вольнера, Шарфа и других. Австро-Венгрия раскололась на два лагеря. 18 июня 1882 г.— обнаружение трупа неизвестной женщины на берегу Тиссы. Не идет ли речь об Эстер Шоймоши? Первое вскрытие. Эксгумация и второе вскрытие 7 декабря 1882 г.*

Дело Гуффэ привлекло внимание общественности к пионерам судебной медицины и показало значение этой новой науки. Но оно не было единственным делом такого рода. Еще в 1882 г. состоялся сенсационный процесс, который расколол население австро-венгерской монархии на два враждующих лагеря и привлек внимание к другой колыбели судебной медицины — к Австро-Венгрии.

Ареной событий на этот раз стала маленькая венгерская деревушка Тиса-Эслар в области

Саболеш, расположенная на берегу Тиссы неподалеку от Ньиредьхазы. Тиса-Эслар делилась на три части: «новую деревню» — Уйфалу, «словацкую деревню» — Тотфалу, и «старую деревню» — Орфалу. Население ее состояло из христиан (католиков и протестантов) и евреев.

На пасху, 1 апреля 1882 г., четырнадцатилетняя домработница-христианка Эстер Шоймоши вышла из дома своей хозяйки в Уйфалу и направилась в Тотфалу купить у торговца Кольмайера краску. Покупку Эстер сделала. На обратном пути домой ее видела ее старшая сестра София. Но в Уйфалу Эстер так и не вернулась. Хозяйка Эстер, ее мать — вдова Шоймоши и родственники искали Эстер до самого вечера, но не обнаружили никаких ее следов. Пробегая мимо синагоги, мать Эстер встретила служителя этого храма Йозефа Шарфа с женой. Вдова плакала, Шарф пытался ее утешить: Эстер, говорил он, обязательно вернется. Вот, несколько лет назад из деревни Нанаш тоже исчез ребенок. Тогда обвиняли евреев, что они якобы убили ребенка, а он всего лишь заблудился в степи и вернулся к матери целым и невредимым.

Когда же и 8 апреля Эстер все еще не вернулась, полицейский комиссар из Надьфалы Речки объявил розыски по всей округе, но и они оказались безрезультатными. В начале мая по деревне поползли первые слухи, по которым Самуэль Шарф, пятилетний сын синагогального служки, будто бы рассказал: «Отец зазвал Эстер в дом, вымыл ее и повел в храм, где резник ее заколол. Я и мой брат Мориц видели, как кровь стекала в тарелку...»

Так никогда и не выяснилось, каким образом возник этот слух. Уезд, в который входила деревня Тиса-Эслар, представлял в венском парламенте депутат Оноди — ярый антисемит венгерского покроя. Он любил повторять одно из самых злобных измышлений, порожденных средневековьем для обоснования тогдашних еврейских погромов, о том, что евреи нуждаются для своих ритуальных целей в христианской крови и потому умерщвляют христианских детей, чтобы на их крови готовить тесто для мацы.

Скорее всего, вдова Шоймоши вспомнила, как 1 апреля Йозеф Шарф говорил с ней о заблудившемся ребенке из Нанаша, ответственность за исчезновение которого пытались свалить на евреев. У этой столь же ограниченной, сколь и мнительной женщины родилось подозрение: должно быть, у Шарфа была нечиста совесть, раз он заговорил с ней о той истории, когда евреев обвинили в злодеянии. Она сообщила о словах Шарфа полицейскому комиссару Речки, а тот в свою очередь передал их Оноди. Депутат же попросил некоторые семьи в Тиса-Эсларе выпытать все что можно у Самуэля Шарфа, завлечь его сладостями и вложить в уста пятилетнего ребенка слова, значение которых он просто не в состоянии был понять.

Как бы то ни было, а 19 мая в Тиса-Эслар из Ньиредьхазы прибыли следственный судья Бари с писарем Пижеем, полицейские комиссары Речки и Пай, а также несколько их подручных — конных полицейских, чтобы начать следствие по делу об исчезнувшей девушке. Бари, ограниченный, склонный к насилию карьерист и последователь Оноди, уже заранее был твердо убежден, что именно евреи умертвили Эстер Шоймоши и его главная задача — вывести их на чистую воду. Он опросил маленького Самуэля Шарфа и запротоколировал показания, которые якобы (или на самом деле) дал безудержно фантазирующий малыш.

Истории, которые рассказывал ребенок, были до того противоречивы, что будь это не Бари, а другой следственный судья, он вряд ли стал бы продолжать расследование, основываясь на таких «уликах». Бари же приказал доставить Йозефа Шарфа и его четырнадцатилетнего сына Морица в так называемый «замок Каллаи» в Тиса-Эсларе, где он устроил свою «штаб-квартиру».

Йозеф Шарф, сравнительно образованный человек, объяснил, что все сказанное Самуэлем — плод детской фантазии, умышленно введенной в заблуждение. Мориц также отрицал, что видел какое-либо из событий, описанных его младшим братом. Но Бари, тем чутьем к человеческим слабостям, которое обычно присуще многим тупым натурам, уловил неустойчивый в своей основе, легко поддающийся влияниям психопатический характер Морица. 21 мая он передал Морица писарю Пижею и полицейскому комиссару Речки. Им предписывалось изолировать его от родителей и перевезти в Ньиредьхазу, чтобы там «получить от него сколько-нибудь пригодное признание». По пути решили переночевать в доме Речки в Надьфале, где и заперли Морица в темный чулан, угрожая, что он проведет там остаток своей жизни, если только не сознается, что был свидетелем умерщвления Эстер Шоймоши. Если же он сознается, ему ничего не будет. В конце концов к полуночи его довели до такого состояния, что он был готов дать любые показания, которые от него потребуют. Служанка в доме Речки, оказавшаяся очевидцем происшествия, рассказала об этом некоторым соседям. За это по приказу Речки ее пороли до тех пор, пока она не поклялась, что больше не проронит ни слова о том, что случилось в ночь с 21 на 22 мая.

В ту же ночь Пижей послал кого-то из своих подручных в Тиса-Эслар, чтобы срочно известить следственного судью Бари о готовности Морица дать показания. На рассвете Бари прибыл в Надьфалу и с удовлетворением занес в протокол признание Морица Шарфа, которое гласило: «Мой отец, синагогальный служитель Йозеф Шарф, зазвал Эстер Шоймоши с улицы в дом. Живущий у нас нищий еврей Вольнер повел ее в синагогу, повалил там на землю и раздел до сорочки. При этом, кроме моего отца и Вольнера, присутствовали резники Шварц, Буксбаум и Браун, а также Адольф Юнгер, Абрахам Браун, Самуэль Лустиг, Лазарь Вайсштейн и Эмануэль Тауб. Браун и Буксбаум держали Эстер, а резник Шварц перерезал ей ножом горло. Кровь стекала в горшок. Я смотрел через



замочную скважину и мог все это видеть и слышать... Эстер Шоймоши, которую я знал давно, несла в руках завернутый в старый желтый платочек галицкий камень (краску, которую девушка перед этим купила)... Мой брат Самуэль не видел ничего. Это я ему все рассказал...»

Бари сам был настолько убежден в существовании кровавого еврейского ритуала, что счел вполне достоверным все то, что описал Мориц. Он велел доставить паренька в Ньиредьхазу и поместить в доме тамошнего тюремного стражника Гентера, которого обязал изолировать Морица от окружающих и каждый день напоминать ему о том, что он тут же попадет в тюрьму, если осмелится изменить свои показания. После этого Бари в различных местах уезда арестовал всех, кого назвал Мориц.

Они уверяли, что не знают ничего об этих якобы имевших место событиях. Шварц, Буксбаум и Браун приехали в Тиса-Эслар 31 марта, чтобы попытаться устроиться на освободившуюся там должность резника. Утром 1 апреля они посетили богослужение, длившееся до 10 часов утра, после чего покинули синагогу и больше туда не входили. Вольнер был нищим, который 31 марта случайно нашел кров в доме Шарфа. Переночевав, он тоже посетил утром богослужение и поплелся дальше. Йозеф Шарф также находился в синагоге во время богослужения, а затем отправился домой. Там в 12 часов он отобедал с тремя своими сыновьями, в том числе с Самуэлем и Морицем. По окончании богослужения он лично запер синагогу, и больше туда никто не входил. Шарф упорно отказывался верить, что Мориц действительно дал показания, с которыми его ознакомили. Остальные арестованные также показывали, что сразу после окончания богослужения пошли домой, а это было, как известно, в то время, когда Эстер Шоймоши еще находилась на пути к Тотфалу. Члены их семей подтвердили эти показания, но Бари не принял этого во внимание.

Ввиду широко распространенного в тогдашней Австро-Венгрии антисемитизма уже первые сообщения из Тиса-Эслара упали на подготовленную почву. Газеты были полны сообщений и комментариев. По всей стране евреи подвергались жестокому обращению, еврейские дома — разграблению, прислуга из христиан покидала еврейские дома из опасения быть убитыми. Бари получал бесчисленные послания, укреплявшие его в сознании своей правоты. Незнакомые лица пересылали ему мнимые еврейские рецепты того, как «наилучшим образом приготовить еду с кровью христианских девиц». Бари подшивал эти рецепты к материалам расследования. Его подручные перерыли участок вокруг синагоги, взломали подвалы в домах всех арестованных, даже разбили в поисках трупа Эстер Шоймоши находящиеся там винные бочки.

Вот как обстояли дела, когда 18 июня 1882 г. произошло событие, затмившее своей сенсационностью все ранее случившееся. В предобеденную пору этого ужасно жаркого июньского дня полевой сторож деревни Тиса-Дада вытащил из Тиссы труп девушки. В левой руке погибшей был крепко зажат платок, в который была завернута светло-голубая краска. Полевой сторож, как и все, знал, что Эстер Шоймоши в день своего исчезновения покупала краску. Весть о том, что Эстер нашли, но на ее шее никаких порезов, распространилась быстро.

Бари помчался в Тиса-Даду. Если эта покойница действительно Эстер Шоймоши, если на мертвом теле не будет обнаружено никаких повреждений, все возведенное им здание обвинения рухнет как карточный домик. Он велел доставить в Тиса-Даду мать девушки и всех ее соседей и родственников. Вдова Шоймоши подтвердила, что на покойнице такое же платье, какое было на Эстер. Но к облегчению Бари, она заявила, что покойная не может быть ее дочерью. Свое мнение она ничем не обосновала, но Бари ее об этом и не спрашивал. Некоторые соседи согласились с ней. Другие же показали, что, по их мнению, это Эстер. 19 июня Бари направил к месту обнаружения трупа хирургов Трайтлера и Киша, а также кандидата на врачебную должность Хорвата. Им было поручено установить, является ли покойная вообще девушкой четырнадцати лет и могла ли она пролежать в воде с 1 апреля, то есть со дня исчезновения Эстер Шоймоши.

Трайтлер и Киш были практикующими в сельской местности врачами, которым не часто приходилось вскрывать трупы. А Хорват еще даже не закончил медицинского образования. 20 июня они представили следственному судье свой протокол. По существу, он содержал следующие выводы:

1) относительно покойной речь с определенностью идет «об индивиду, достигшем по меньшей мере восемнадцати, а более вероятно — двадцати лет от роду». Доказательством тому служило «общее развитие тела, состояние зубов и тот факт, что срослись передние швы лобной кости»;

2) половые органы покойной настолько расширены, как если бы она очень часто совокуплялась с мужчинами;

3) «найденная» могла умереть самое большее десять дней назад: ее кожа бела, нет никаких следов гниения, внутренности хорошо сохранились;

4) сердце и вены покойной совершенно обескровлены — она умерла от потери крови;

5) кожа покойной очень нежная, особенно кожа рук и ног. Ногти также выглядят весьма ухоженными. Покойная никогда не ходила босиком, больше того — ее ноги всегда были обуты, и она, несомненно, принадлежала к людям, не занимающимся никакой тяжелой работой.

Ни один из этих выводов не подходил к Эстер Шоймоши. Ей было всего четырнадцать лет, она не страдала малокровием, не имела половых сношений с мужчинами, у нее были загорелая кожа и привычные к труду руки, и она всегда ходила босиком. Кроме того, исчезла она не десять дней, а более двух с половиной месяцев тому назад.

Бари увидел в этом подтверждение правильности своих действий. Однако этого ему было мало. Присушие ему подозрительность и ненависть к евреям заставили его предположить наличие связи между обнаружением трупа и тиса-эсларскими евреями. Тот факт, что утопленница была в платье

Эстер Шоймоши, сжимала в руке ее платок с краской, возбудил в нем подозрение, что друзья арестованных специально «нарядили» чей-то труп, чтобы создать впечатление, будто Эстер утонула, и таким путем спасти своих единоверцев от обвинения в убийстве. Его подозрения окрепли, как только он подучил написанное каким-то неизвестным, которому, очевидно, пришла в голову такая же мысль, анонимное письмо. В этом письме сплавщик леса по Тиссе еврей Янкель Смилович обвинялся в том, что он участвовал в подбрасывании неизвестного трупа. Автор письма утверждал, что идея подбросить труп исходила от Амзеля Фогеля из Тиса-Эслар. Двое каких-то евреев будто бы привезли труп в вагоне на станцию Тиса-Сент-Мартон и передали его Смиловичу. Другой же сплавщик — еврей Давид Гершко — переправил его затем под своим плотом в Тиса-Эслар. Там неизвестная еврейка принесла платье, такое же, какое носила Эстер, и узелок с краской. Труп был переодет при помощи еще одного сплавщика — подкупленного венгра по имени Игнац Матей. Бари велел арестовать Фогеля, Смиловича, Гершко и доставить их в «замок Каллаи». Все они отрицали свою вину. В ответ на это полицейский комиссар заставил Фогеля литрами пить холодную воду до тех пор, пока он не скорчился от боли. Затем его заставили бегать по кругу до тех пор, пока он не свалился. В конце концов он признался во всем, что от него требовали. Признался и Смилович — из страха, что и его будут также мучить. Но поскольку он был не в состоянии назвать имена тех двух евреев, которые якобы передали ему чужую покойницу на станции Тиса-Сент-Мартон, то еврейских жителей Тиса-Эслара заставили выстроиться в шеренги перед муниципалитетом и Бари потребовал от Смиловича показать среди них обоих неизвестных. Перепуганный Смилович показал на тех, кто стоял в самом начале шеренги, — Мартина Гросса и Игнаца Клейна. Их избили и заставили пить воду, пока они не закричали: «Прикажите, что я должен сказать, я все скажу!»

Гершко после избиения заставили подписать протокол, составленный на венгерском языке, которого он не понимал. Матей, единственный из названных анонимом, избежал ареста, но зато получил столько ударов по пяткам, что признался, будто оказывал помощь при переодевании неизвестной покойницы. Когда арестованных переводили в тюрьму Ньиредьхазы, депутат Оноди сказал тюремным стражникам: «Прогоните этих еврейских ублюдков перед моей усадьбой, чтобы моя жена и слуги потешились».

Дальнейший ход этого дела привел к дикому разгулу страстей и ожесточенным дискуссиям далеко за пределами Австро-Венгрии. Тиса-эсларское дело стало предметом парламентских дебатов в Будапеште и Вене. Прокуратура в Будапеште не видела иного выхода, как назначить перепроверку всего дела под ее контролем, которая была поручена прокурору Сейферту. Одновременно с этим несколько наиболее известных венгерских адвокатов, в том числе и депутат имперского парламента Карл фон Этвёш, предложили свои услуги для защиты интересов арестованных.

Когда в октябре 1882 г. Этвёш закончил изучение материалов дела и поговорил с некоторыми арестованными, он пришел к убеждению, что никаких доказательств «убийства в синагоге» нет любых дельных медицинских познаний само по себе вытекает их применение для судебных нужд». За шесть лет он создал фундамент, на котором его последователи Краттер, Дитрих, Ипсен и Майкснер построили в Инсбрукском университете один из главных учебных центров судебной медицины в Австрии.

Когда в 1875 г. Гофман переехал в Вену на должность профессора судебной медицины, он застал прославленную в первой половине XIX века венскую кафедру судебной медицины совершенно запущенной. В борьбе с венскими патологами он окончательно отвоевал для Института судебной медицины, который уже во время его пребывания был переведен в здание покойницей при венской общедоступной больнице, право проводить все вскрытия для целей судебного следствия, а также все вскрытия в целях санитарно-полицейского надзора в Вене в случаях смерти при невыясненных обстоятельствах.

К тому времени, когда в июне 1883 г. он взялся за экспертизу по тиса-эсларскому делу, рядом с покойницей общедоступной больницы уже выросло новое здание с большой учебной аудиторией судебной медицины, которой через несколько лет было суждено стать своего рода Меккой для многочисленных студентов из Европы и остального мира.

В научных вопросах Гофман был педантичным человеком, и его лекции зачастую были несколько нудными, ибо он не оперировал ничем, кроме фактов. Поэтому никто не заметил возбуждения, охватившего его 20 июня 1883 г., когда он держал в руках экспертное заключение Трайтлера, Киша и Хорвата, содержащее как раз то, против чего он боролся уже полтора десятилетия, — ошибочную уверенность в том, что любой врач будто бы способен провести судебно-медицинское обследование. Переданное ему экспертное заключение ужасающим образом воплощало в себе эту ошибку.

И все же не в правилах Гофмана было судить о том, чего он не наблюдал сам. Единственным, на что он мог опереться, были протоколы будапештских профессоров, которые, во всяком случае, отличались чрезвычайной тщательностью и научной точностью. Ошибочность же выводов врачей из Тиса-Дады была настолько очевидной, их невежество во многих вопросах настолько чудовищным, что Гофману не было нужды убеждаться во всем этом воочию. Ему нужно было лишь обратиться к своему опыту, накопленному при исследовании трупов утопленников в Праге и Вене, чтобы доказать, что экспертное заключение из Тиса-Дады является сплошным заблуждением, содержащим ошибку за ошибкой, и что эти сельские врачи не обладали даже простейшими познаниями в судебной медицине.

Взять хотя бы вопрос о возрасте утопленницы из Тиссы. Хирурги в Тиса-Даде опирались в своих выводах на «общее впечатление», беглое обследование зубов и заращение лобного шва. Гофман, как

и Лакассань, имел в своем распоряжении минимум сведений по вопросу о возрастных изменениях скелета — эту проблему предстояло разработать лишь в будущем. Но даже того, что он знал, было в этом случае достаточно. Если врачи из Тиса-Дады утверждали, что зарращение лобного шва у покойной являлось признаком ее более старшего возраста, то это только показывало их невежество. Тысячи раз был доказан тот факт, что лобный шов человека срастается уже на втором году жизни. Из состояния зубов — как оно было зарегистрировано будапештскими профессорами — вытекало, что налицо были все постоянные зубы; лишь зубы мудрости у покойной еще не полностью прорезались. Задние коренные зубы, которые появляются между двенадцатым и тринадцатым годом жизни, были у нее вполне развиты. Следовательно, покойница уже перешагнула этот возраст. Так как зубы мудрости появляются обычно где-то между шестнадцатым и семнадцатым годами жизни, а в данном случае они отсутствовали, то можно было заключить, что покойная еще не достигла указанного возраста. Значит, ее возраст лежал где-то между двенадцатью и семнадцатью годами. Правда, поскольку было известно, что в отдельных случаях зубы мудрости прорезываются лишь к двадцати четырем — двадцати пяти годам, Гофман не ограничился обследованием только зубов. Он изучил описание всего скелета покойной, точнейшим образом составленное Бэлки. Врачи же из Тиса-Дады вообще не упоминали о скелете. Согласно опытным данным, в хрящевых частях лопаток детей ядра окостенения образуются лишь по достижении ими четырнадцатилетнего возраста. У утопленницы же их еще не было. Соответственно три части подвздошной кости срастаются лишь между шестнадцатым и восемнадцатым годами жизни. У покойной же они еще не слились в одно целое. Множество других особенностей развития скелета свидетельствовало о том, что возраст покойной явно скорее равнялся тринадцати, чем восемнадцати годам. Что же касается специально отмеченной величины половых органов умершей, то по многочисленным случаям из практики Гофман знал, что вода способна ослабить тканевые части тела настолько, что они намного превышали свои обычные размеры. Гофман пришел к выводу, что в случае утопленницы из Тиса-Дады речь идет о юной девочке возраста Эстер Шоймоши.

После этого Гофман приступил к проверке утверждения врачей из Тиса-Дады о том, что покойница будто бы пролежала в воде не более десяти дней. Гофман часто имел дело с трупами утопленников, которые после целых недель и месяцев пребывания в воде все еще выглядели удивительно сохранившимися. Причем в этих случаях речь всегда шла не о тех трупах, которые, как это часто случается, всплывают через несколько дней после утопления на поверхность воды, а о тех, которые чем-нибудь задерживались под водой. В то время как утопленники, всплывавшие на поверхность воды, разлагались под воздействием воздуха, с трупами, остававшимися под водой, прежде всего с теми, которые лежали в холодной проточной воде, этого не происходило, вода сохраняла их внутренние органы и придавала белизну их коже. Связь между эпидермисом и лежащим под ним кожным слоем ослаблялась. Через несколько недель поверхностный слой кожи рук и ног поддавался отделению или сам отделялся под воздействием течения. Отпадали довольно большие участки эпидермиса. Из не защищенного кожей тела выходила кровь, и тело становилось абсолютно бескровным.

Именно это и соблазнило тиса-дадских врачей сделать поражающие по своей некомпетентности выводы. То, что труп не разложился, привело их к выводу, что утопленница умерла не раньше, чем несколько дней назад. Обескровленность трупа привела их к утверждению, что покойная погибла от малокровия, в то время как Эстер Шоймоши всегда была здоровой девушкой. Но самым примечательным был их вывод о том, что покойная при жизни никогда не занималась физическим трудом и никогда не ходила босой, как Эстер, а такая кожа на руках и ногах, а также ногти могли быть только у холеной дамы. Трайтлер, Киш и Хорват дали обмануть себя тонкой, такой нежной на ощупь коже. Ногтевые ложа, на которых уже давно не было никаких ногтей, они приняли за заботливо ухоженные ногти, отсутствие которых сразу же заметили медики из Будапешта. Заканчивая свою экспертизу, Гофман сказал: «Мир судебной медицины имеет свои тайны. Они жаждут своего познания и исследования. События в Тиса-Даде кажутся мне ярчайшим примером того, какие ошибки грозят правосудию из-за широко распространенного пренебрежения необходимыми специальными познаниями...»

Когда в июле 1883 г. Гофман передал Карлу фон Этвёшу свое окончательное заключение, он не дерзнул утверждать, что утопленница была Эстер Шоймоши; он писал лишь, что речь идет о юной девушке в возрасте Эстер, пролежавшей в водах Тиссы несколько месяцев. Пока его обширное сочинение своим путем шло в Ньиредьхазу, процесс по тиса-эсларскому делу, начавшийся 13 июня, был в разгаре.

Зал суда в Ньиредьхазе представлял собой арену трудноописуемой борьбы между разумом и ненавистью, между трезвым суждением и свирепой слепотой. Применявшиеся Бари методы расследования были разоблачены. Писарь Пижей был изобличен как бывший убийца и каторжник. Не оставалось никаких сомнений, что Морица Шарфа склонили ко лжи под угрозой расправы. Ни предубежденность судей, ни слабость председательствовавшего судьи Корниса, ни рев расвирепевшей публики, ни безудержные нападки депутата Оноди на прокурора Сейферта не помешали разорвать хитросплетения из слухов, лжи и шантажа. Они не смогли воспрепятствовать и тому, чтобы профессора из Будапешта, чья экспертиза первоначально была изъята из материалов дела, выступили в качестве свидетелей как раз в те дни, когда Этвёш уже имел на руках заключение Гофмана. Экспертиза Гофмана с его вескими аргументами стала последним камнем в семичасовой защитительной речи Карла фон Этвёша. 3 августа 1883 г. суд оправдал всех обвиняемых.

Хотя Гофман, выросший в атмосфере терпимости, с удовлетворением приветствовал данный приговор, самым значительным для него оставался все же тот факт, что события в Тиса-Эсларе подтвердили перед всеми правильность одной из самых главных целей его деятельности: необходимости специального обучения каждого врача, намеревающегося заниматься судебно-медицинской экспертизой. Гофман, никогда не знавший настоящего отдыха, умер летом 1897 г. в своем поместье Игле от сердечного приступа, немного не дожив до своего шестидесятилетия. Смерть пришла к нему слишком рано. Его цель — не только осуществить, но и закрепить отделение судебной медицины от общей медицины и патологии — не была достигнута. Его же ученик Альбин Габерда показался руководству Венского университета слишком молодым для того, чтобы стать преемником Гофмана. Поэтому на должность Гофмана был приглашен специалист по общей патологии Колиско, и тем самым все вернулось на круги своя. Такое положение просуществовало до тех пор, пока руководство венской школой судебной медицины не перешло в 1916 г. к Альбину Габерде, который предоставил ей выходящее далеко за рамки патологии поле деятельности.

Несмотря ни на что, Гофман остался великой личностью, ибо он не только создал славу венской школе судебной медицины, но и вошел в историю как борец за самостоятельность судебной медицины.

*7. Лондон, 1910 г. — начало дела Криппена. Находка в подвале дома на Хиллдроп-Кресцент. Д-р Огастес Пеннер. Положение судебной медицины в Англии. Главный патологоанатом Скотланд-Ярда и министерства внутренних дел. Борьба за идентификацию Кору Криппен. Операционный шов. В дело вступает Бернард Спилсбери.*

Октябрем 1910 г. датируется применение новых микроскопических методов получения доказательств по одному необычному уголовному делу — путем обнаружения мельчайших, невидимых простым глазом изменений, происшедших в тканях человеческого организма.

История Хоули Харви Криппена, убившего в ночь на 1 февраля 1910 г. в Лондоне свою жену Кору, содержит все предпосылки для того, чтобы стать классическим примером детективной истории.

Внимание широкой публики привлекло романтически-авантюрное бегство убийцы с его переодетой мальчиком любовницей, равно как и тот факт, что арестовать Криппена на борту парохода «Монтроуз» удалось благодаря новому тогда открытию — беспроводному радиотелеграфу. Из-за такого детективного фасада долгое время почти не замечали того, как сильно повлияло дело Криппена на развитие судебной медицины в Англии.

Началось дело Криппена 30 июня 1910 г., когда мужчина по фамилии Нэш попросил Скотланд-Ярд заняться судьбой его приятельницы-актрисы, которая исчезла без следа еще 1 февраля. В артистическом мире она была известна под псевдонимами Кора Тернер или Бель Эльмор. Ее настоящее имя — Кора Криппен. Она была супругой американского врача д-ра Криппена, который с 1900 г. жил в Лондоне, являясь представителем американской фирмы медицинских патентов «Муньонз-Ремедиз» и зубоврачебной фирмы «Туз специалистс».

История, которую Нэш поведал старшему инспектору Уолтеру Дью, выглядела следующим образом. Криппен занимал небольшой дом в Северном Лондоне по адресу Хиллдроп-Кресцент, 39. Здесь вечером 31 января он и Кора принимали своих друзей — артистов Мартинелли. Мартинелли распрощались с хозяевами около половины второго ночи. И с тех пор Кора Криппен исчезла. Нэш охарактеризовал ее как веселую, здоровую женщину не старше 35 лет.

3 февраля в ансамбль «Мюзик-холл Лэдис Гулд» поступили два подписанных ее именем письма. В них Кора сообщала, что ввиду болезни она вынуждена уехать к близким родственникам в Калифорнию. Письма были написаны не рукой Кору. Мартинелли и другие друзья Кору обратились к Криппену за более подробными сведениями. Но вместо того, чтобы дать им эти сведения, он появился на балу со своей секретаршей Этель Ли Нив. Все были еще больше шокированы, когда юная дама стала носить меха и драгоценности Кору, а 12 марта и вовсе переехала жить в дом Криппена. Но 24 марта Криппен сообщил друзьям своей жены, что она умерла в Лос-Анджелесе от воспаления легких.

8 июля старший инспектор Дью направился на Хиллдроп-Кресцент. Там он обнаружил только Этель Ли Нив — невзрачную, но симпатичную девушку примерно двадцатилетнего возраста. Сам же Криппен работал на Оксфорд-стрит. Там Дью и нашел его — занятого удалением зубов.

Криппен оказался маленького роста, чуть старше 50 лет от роду мужчиной с выпученными за стеклами очков в золотой оправе глазами и большими усами. Он не выказал ни малейшего удивления, а заявил инспектору: «Я полагаю, что лучше всего рассказать вам правду... Истории, которые я рассказывал о смерти моей жены, не соответствуют действительности. Насколько я осведомлен, она еще жива». Правда, продолжал он, состоит в том, что жена покинула его с одним преуспевающим джентльменом. Историю же ее смерти он придумал лишь затем, чтобы не вызывать насмешек в качестве обманутого мужа.

Криппен с готовностью сообщил об обстоятельствах своей жизни, которые подтвердили и его знакомые: родом Криппен из штата Мичиган, получил диплом врача, стажировавшись в Нью-Йоркском офтальмологическом госпитале, затем занимался врачебной практикой в Детройте, Сант-Яго, Филадельфии, а в 1892 г. женился в Нью-Йорке на шикарной семнадцатилетней красавице, которая была известна под именами Кору Тернер и Бель Эльмор и чье настоящее имя было Кунигунда Маккамоцки. Кора была наделена «небольшим голосом», но большим пристрастием к театру. Ослепленный любовью, Криппен оплачивал многочисленные уроки пения, которые она брала, и даже

переехал в Лондон, ибо Кора полагала, что в британской столице карьеру можно сделать быстрее, чем в Нью-Йорке. Однако и в Лондоне Кора не смогла пробиться дальше нескольких выступлений в дешевых мюзик-холлах. Раздражительная по натуре, она сделала Криппена козлом отпущения за свои несбывшиеся мечты, завела целую свиту более или менее сомнительных поклонников и заставила Криппена вести домашнее хозяйство и обслуживать ее гостей. И Криппен ни разу не терял терпения и никогда не заявлял протеста. В последнее время Кора дарила свою благосклонность, по мнению Криппена, американцу по фамилии Миллер.

Такова была предыстория. Криппен провел Дью в свой дом на Хиллдроп-Кресцент, 39, открыл двери во все помещения и предложил помочь полиции в розысках его жены. Дью остался удовлетворен беседой с Криппеном. Он составил протокол, которым думал закончить дело. Однако во время составления этого протокола ему понадобилось уточнить некоторые данные, но когда 11 июля он заглянул для этого на Оксфорд-стрит, то узнал, что 9 июля Криппен в страшной спешке покинул Лондон в неизвестном направлении. Дью тотчас поспешил на Хиллдроп-Кресцент и обнаружил, что дом Криппена пуст. Вместе с Криппеном исчезла и Этель Ли Нив. Лишь теперь у Дью зародились какие-то подозрения. Он приступил к основательному обыску всего дома и 13 июля обнаружил в полу подвала место, где кирпичный пол был расшатан. Когда же он вынул кирпичи и удалил слой глины, то наткнулся на останки какого-то тела — кровавое месиво, в котором нельзя было отличить ни головы, ни конечностей, а, пожалуй, лишь остатки деталей одежды, в том числе дамскую нижнюю сорочку.

Инспектор помчался в Скотланд-Ярд и сообщил о находке Мелвиллу Макнэтену. На следующий день около 11 часов утра на Хиллдроп-Кресцент появился д-р Огастес Джозеф Пеппер, хирург и патологоанатом госпиталя Святой Марии, чтобы исследовать страшную находку.

В 1901 г. Пепперу по делу об убийстве на ферме Моут в графстве Эссекс удалось не только идентифицировать жертву — Камиллу Холэнд, которая три года пролежала в заполненной водой могиле, но и по имевшимся у неё повреждениям установить, что Камилла вопреки утверждению подозреваемого не покончила жизнь самоубийством, а была умерщвлена. Два других громких дела (Дрюса и Деверю) также привлекли внимание общественности. Чистая, тщательная работа Пеппера пробила таким образом первую брешь в традиционной стене недоверия к патологии («бесовской науке»), и в особенности к судебной патологии. В 1908 г. Пеппер ушел с должности главного патологоанатома госпиталя Святой Марии, уступив ее одному из своих учеников — тридцатитрехлетнему Бернарду Спилсбери, но сохранил за собой место главного патологоанатома английского министерства внутренних дел.

Примерно так обстояло дело с развитием судебной медицины в Англии в то утро 14 июля 1910 г., когда Пеппер появился в подвале дома Криппена на Хиллдроп-Кресцент, чтобы подвергнуть осмотру найденные здесь человеческие останки. Он очень быстро понял, что тут поработал человек, хорошо знакомый с анатомией. Убийца не только отделил голову от туловища, но также извлек из своей жертвы все кости и уничтожил либо спрятал их в другом месте, чтобы сделать невозможной идентификацию тела по скелету. Все части тела, по которым можно было определить пол жертвы, были удалены, исчезли все мускульные части и кожный покров. Пеппер велел со всей осторожностью извлечь останки из земли и перевезти их в морг Ислингтона. 15 июля он предпринял их осмотр, длившийся несколько часов. Между частями тела он обнаружил остатки пижамы, на воротнике которой была фирменная этикетка «Ателье сорочек братьев Джонс Холлоуэй». Эта при данных обстоятельствах о многом говорящая находка вселила в Пеппера надежду, что убийца, несмотря на всю свою осмотрительность, мог допустить и другие оплошности. Из состояния частей тела можно было заключить, что они пролежали под полом подвала не более восьми недель. Внутренние органы, которые можно было распознать (серце, легкие, пищевод, желудок, печень, почки и поджелудочная железа), не несли на себе признаков какого-либо органического заболевания. Пеппер дал Уилкоксу частицы этих органов для проверки на содержание в них яда. Дальше этого он пока не продвинулся. То, что лежало перед ним, представляло собой не поддающуюся идентификации мешанину мяса, жира, кожи и нескольких волосков. По длине обнаруженных волос и нижней сорочке можно было бы сделать вывод, что речь идет о трупе женщины. Но такого рода выводы не могли служить доказательствами.

Между тем утром 15 июня руководство дальнейшим расследованием взял на себя Ричард Мьюир, уже известный нам по истории дактилоскопии.

Он ждал результатов со свойственной ему твердостью и непреклонностью. Мьюиру было совершенно ясно, что из «случая Криппена» никогда не получится «дела Криппена», если ему не удастся доказать, что труп, найденный в подвале, действительно является трупом Кору Криппен.

Подруги Кору опознали нижнюю сорочку: она принадлежала Коре Криппен. Но даже это едва ли могло быть доказательством. После полудня 15 июля Пеппер все еще был не в состоянии дать Мьюиру какую-нибудь надежду на успех. Лишь после долгой, утомительной работы он обнаружил большой лоскут кожи размером примерно 14 на 18 сантиметров, на краю которого еще сохранилось несколько волос, которые выглядели как лобковые волосы. Речь могла идти о лоскуте кожи с нижней части живота. Особый интерес Пеппера возбудило одно специфическое изменение на поверхности кожи. Оно могло быть названо и образованием после смерти складок на коже. Но одна деталь изменений на коже напомнила Пепперу, десятилетиями работавшему хирургом, операционный шрам. Мьюир тотчас же опросил друзей Кору Криппен. В результате выяснилось, что исчезнувшая подверглась в Нью-Йорке серьезнейшей гинекологической хирургической операции.

Примерно в это же время Скотланд-Ярд издал циркуляр о розыске Криппена и Этель Ли Нив с точным описанием их внешности. Этот приказ был доставлен также на все отплывающие суда. Один из его экземпляров попал в руки капитана британского пассажирского парохода «Монтроуз», который 20 июля прибыл в Антверпен, где взял на борт среди прочих некоего мистера Джона Фила Робинсона и его сына Джона. На второй день плавания капитану Кендаллу бросилось в глаза, что младший Джон Робинсон проявляет за общим столом явно женские манеры. Дальше — больше: он пришел к выводу, что своим поведением Робинсоны скорее напоминают влюбленную пару, чем отца с сыном. О своем подозрении он сообщил по радио владельцу судна в Англию. 23 июля старший инспектор Дью и сержант Митчелл поднялись на борт морского экспресса «Лаурентик», а 31 июля настигли «Монтроуз» возле Квебека и арестовали Робинсонов, оказавшихся Криппеном и Этель Ли Нив<sup>1</sup>. Когда 10 августа они вернулись вместе с обоими арестованными, то даже и не подозревали о том, что Пеппер за два дня до этого напал на «патологический след», который должен был привести в конечном итоге к идентификации трупа.

В течение почти трех недель возился Пеппер с лоскутом кожи, привлечшим его внимание 15 июля. Был ли это лоскут кожи с передней стороны лобка? Соответствует ли шрам тем шрамам, которые возникают при операциях подчревной области живота, подобных той, которая была сделана Коре Криппен? Ответить на эти вопросы оказалось настолько трудно, что он обратился за консультацией к своему бывшему ученику Спилсбери. С 1889 г. Спилсбери по рекомендации Пеппера посвятил себя исследованию микроскопии тканей, и прежде всего проблеме образования рубцов. Рубцеванием тканей как средством идентификации и как доказательством в отношении особо застарелых телесных повреждений занимался еще Девержи. Он предложил, например, тереть или поколачивать старые участки кожи, на которых больше не заметны прежние рубцы, до тех пор, пока рубцы не выступят как бледные участки на покрасневшей коже. Он также занимался вопросом о различии между шрамами, образовавшимися вследствие болезни, и шрамами от причинения телесных повреждений.

Но лишь с введением усовершенствованных гистологических методов появилась возможность для более основательных выводов. Эта область исследования переживала еще свое детство, когда Пеппер и Спилсбери изучали кусок кожи из подвала дома Криппена. Предположительная идентификация волос на этой коже в качестве лобковых все же не говорила ничего определенного о месте расположения этого куска кожи на теле. Можно было считать доказанным только то, что на коже имелась мускульная и сухожильная ткань, характерная для брюшной стенки живота между половым органом и пупком. В первую очередь речь шла о ректус-мускуле брюшной стенки, о некоторых расширенных сухожилиях, или апоневрозах, а также о меньших мускулах, связанных с ректус-мускулом. В ходе многодневных препарирований, изучения имеющегося материала под микроскопом и сравнения его со срезами нормальной брюшной стенки Спилсбери смог доказать, что данный лоскут кожи покрывал среднюю часть подчревной области живота. Но это вновь выдвигало на первый план проблему шрама. На первый взгляд речь здесь шла о подковообразном изменении поверхности кожи. Однако исследование среза ткани со шрама под микроскопом показало, что обе «ножки» этого подковообразного изменения кожи по природе своей очень разнятся.

Применительно к одной речи явно шла о явлении, возникшем вследствие сморщивания кожи во время лежания в подвале. Кожа внутри такого сморщивания имела столь же нормальную структуру, как и кожа вокруг него. Видны были корешки волос и прежде всего сальные железы, в то время как на операционных шрамах их никогда не бывает, ибо там образуется плотная, лишенная волос и желез ткань. Контур, возникший на коже вокруг исследуемой части, полностью соответствовал узору ткани на нижней сорочке Коре Криппен. Она была, видимо, защемлена в складке кожи, и таким образом ее узор был перенесен на кожу. Целиком и полностью отличной от этого была другая, десятисантиметровая «ножка» подковообразного изменения кожи. Она представляла собой твердую светло-окрашенную узкую полосу, которая несколько расширялась книзу. Такое расширение часто наблюдается на операционных шрамах, которые проходят от пупка вниз; направленное также вниз давление внутренностей часто приводит к расширению нижней части шрама. Доказывалось же наличие операционного шрама следующим образом: под микроскопом любое поперечное сечение кожи, кроме поверхности самого шрама, содержало нормальные волосяные мешочки и сальные железы. Отсутствие этих мешочков и желез было характерным признаком хирургического рассечения кожи и последующего образования рубцовой ткани, в которой нет ни волосяных мешочков, ни желез. Лишь в одном фрагменте шрама Спилсбери обнаружил под микроскопом остатки желез и малых жировых частиц. Но Пеппер как опытный хирург знал, что при зашивании операционных ран самый верхний слой кожи зачастую загибается и что тогда этот самый верхний слой с остатками желез часто врастает в шов. Он знал также, что в многочисленных случаях образования шва отверстия от иголки при зашивании операционной раны со временем полностью исчезали или после них оставались лишь слабые следы. Фактически Спилсбери обнаружил под микроскопом лишь крошечные их приметы. К 15 сентября после почти восьминедельных трудов Пеппер и Спилсбери пришли к убеждению, что лоскут кожи, который они исследовали, относится к нижней брюшной стенке и что шов на нем по положению и характеру разреза совпадал с теми, которые обычно образуются при хирургическом удалении частей больших женских половых органов. Пока Пеппер и Спилсбери путем утомительной

---

<sup>1</sup> Криппен проклял капитана Кендалла во время ареста. Это проклятие сбылось ! См. Лев Скрягин - Тайны морских катастроф. Мжно найти в библиотеке Ершова <http://vgershov.lib.ru>

кропотливой работы шли к этим выводам, Уилкоккс и его помощник Лафф тоже не сидели сложа руки. Методами, которыми нам предстоит заняться при ознакомлении с токсикологией, Уилкоккс 20 августа пришел к выводу, что найденные части трупа содержали смертельную дозу растительного яда гиосцина. Одновременно сотрудники Скотланд-Ярда установили, что 17 или 18 января Криппен приобрел у фирмы «Льюис энд Бэрроуз» пять гранов гиосцина — количество, которое явно не требовалось ему для работы. Наконец, выяснилось, что Криппен имел две пижамы, подобные найденной с остатками трупа. Фирма «Братья Джонс» поставила Криппену в январе 1909 г. три таких пижамы. 15 сентября цепь улики оказалась замкнутой благодаря взаимодействию судебной медицины и органов расследования. Направление, которое должно было избрать обвинение в лице Ричарда Мьюира и Трейверса Хеффри, было ясным, и миллионы людей замерли в ожидании начала процесса против Криппена, назначенного на 18 октября 1910 г.

Адвокат Криппена Артур Ньютон принадлежал к числу самых беспардонных лондонских солиситоров<sup>1</sup> тех дней. Стратегия доказывания, которую, как он предвидел, изберет обвинение, оставляла ему лишь одну линию защиты: утверждать, что части трупа из подвала Криппена не относятся к Коре Криппен, а были закопаны там еще до того, как Криппен арендовал этот дом на Хиллдроп-Кресцент 21 декабря 1905 г. Ньютон полагался на такую именно тактику защиты Криппена с тем большей уверенностью, что он, как и Альфред А. Тобин, взявший на себя представительство интересов Криппена в суде, разделял широко распространенное пренебрежение к судебной медицине.

Тобин был убежден, что путем столкновения экспертов ему удастся посеять так много сомнений относительно выводов Пеппера и Спилсбери, что присяжные не придадут никакого доказательственного значения идентификации на основе исследований шрама. Благодаря этому как он надеялся, была бы уже выиграна важнейшая часть битвы в суде.

Ньютон был знаком с директором института патологии Лондонского госпиталя Хьюбертом Мейтлендом Торнболлом и его бывшим ассистентом Уоллом. Он спросил обоих, не захотят ли они как-нибудь однажды обозреть пресловутую кожу с пресловутым шрамом Кору Криппен. Возможность для этого он им предоставит. Ньютон знал, что среди патологоанатомов Лондонского госпиталя существует определенное раздражение против ставших знаменитыми их коллег из больницы Святой Марии. Он рассчитывал, что при осмотре кожи Торнболл и Уолл, высказываясь в частном порядке, могли бы оспаривать выводы Пеппера и Спилсбери. А после этого он прижал бы их к ногтю за эти высказывания так, чтобы они не смогли отвертеться, и представил бы их суду в качестве контрэкспертов против Пеппера и Спилсбери.

И вот 9 сентября оба врача осмотрели кожу и шрам на ней. После беглого изучения они сказали Ньютону, что лоскут кожи взят не с брюшной стенки, а с бедра и что пресловутый шрам ни при каких обстоятельствах шрамом быть не может, а является лишь складкой кожи. Под тем предлогом, что их показания послужат лишь доверительной информацией для защиты, Ньютону удалось их уговорить изложить свое мнение в письменном виде. Лишь когда Торнболл понял, что в действительности замыслил Ньютон, ему стала ясна вся поверхностность проведенной им в данном случае работы. За день до начала процесса — 17 октября — он попросил дополнительный срез для микроскопии и с ужасом обнаружил, что ни в коем случае нельзя было заявлять, будто кожа взята с бедра, а его аргументы относительно того, что не может быть и речи о шраме, очень слабы. Но было уже поздно. Он уже связал себя данной адвокату информацией и полагал, что на карту будет поставлена вся его репутация, если только он признается в ошибке.

Когда 18 октября началось слушание дела Криппена, никто еще не знал, что подлинным победителем из него выйдет молодой человек, чья карьера сделает его имя в конечном итоге знакомым каждому англичанину, который читал или слышал о судебной медицине, — Бернанд Спилсбери.

19 октября Пеппер, а за ним Спилсбери дали показания на суде в качестве экспертов обвинения. Они демонстрировали при этом законсервированный в формалине лоскут кожи. А 21 октября на том же месте появились Торнболл и Уолл, принужденные оспаривать выводы Пеппера и Спилсбери. Наспех собранные аргументы, представленные ими, сводились к следующему.

1. Данный кусок кожи не относится к нижней части живота. На ней отсутствуют так называемые «*inscriptiones tendineae*», то есть сухожилия, которые в рассматриваемой области живота связывают большие, проходящие вертикально от груди до таза мускулы у каждого человека. Далее, совсем не просматривается «*linea alba*», которая должна проходить от груди к лобковой кости через интересующий нас участок кожи. Наконец, не обнаружены некоторые сухожилия, апоневрозы, которые также типичны для нижней области живота.

2. Что касается пресловутого шрама, то о нем в данном случае не может быть и речи. Не обнаружено никаких мест прокола от хирургической иглы. Зато налицо части сальных желез и жировых телец, которых на шрамах не бывает. Поэтому речь в данном случае идет о складке кожи, возникшей вследствие спрессовывания с нижней сорочкой.

Защитник Тобин добавил к этому, что во время исследования останков Пеппер уже знал об операции нижней части живота у Кору. Шрам, который он хотел найти, был не чем иным, как плодом его предвзятого воображения.

---

<sup>1</sup> Одна из двух категорий адвокатов в Англии (другая — барристеры). Обычно они ведут досудебную подготовку дел, в самом же процессе выступают барристеры. — *Прим. перев.*

В тот момент, когда Тобин выдвигал эти обвинения, он был как никогда уверен в своей правоте. Он был убежден, что все сведется лишь к борьбе мнений, которая не вызовет у присяжных ничего, кроме замешательства. Его уверенность возросла, когда Пеппер, сам отошедший на задний план, заявил, что решающие исследования под микроскопом проводил его ученик Спилсбери, который и будет один держать речь и отвечать на вопросы. Спилсбери? Что значит для присяжных молодой, абсолютно никому не известный человек?

Первый раз 19 октября, а во второй — 21 октября Бернард Спилсбери давал показания перед судом Олд-Бейли. Тридцати трех лет, высокий, худой, с благообразным, вызывающим симпатию и доверие лицом, он ничем не напоминал человека, проводящего большую часть своего времени в анатомическом театре Среди мертвых. Тщательно одетый, с гвоздикой в петлице, говорящий отчетливым, полновзвучным голосом — таким восприняли его в первый раз судьи, защитники и присяжные.

Когда Тобин охарактеризовал его как ученика Пеппера, который, само собой разумеется, должен присоединиться к Мнению маэстро, он услышал в ответ: «Тот факт, что я работал вместе с д-ром Пеппером, не имеет никакого отношения к тому мнению, которое я здесь выражаю. А тот факт, что я читал в газетах об операции у Бель Эльмор (Коры Криппен), не повлиял на мои выводы... У меня независимая позиция, и я отвечаю исключительно за мои собственные данные, полученные мною на основе моей личной работы».

Затем на Торнболла и Уолла посыпался удар за ударом. Относительно «inscriptiones tendineae» разве не известно экспертам защиты, что эти сухожилия не пронизывают всю кожу, а расположены, как раз в тех частях мускулов, которые убийца вырезал? А «linea alba»? Торнболл должен был знать, что она показывается только там, где под кожей встречаются определенные связки сухожилий между отдельными частями брюшной мускулатуры. В данном же случае соответствующие куски мускулов вместе с местами прикрепления сухожилий были удалены. А что касается особенно типичных сухожилий, или апоневрозов, которых Торнболл и Уолл не обнаружили, то он охотно покажет им эти апоневрозы на данном лоскуте кожи. Спилсбери поднял сухожилие пинцетом вверх и показал его присяжным.

Судья — лорд Элверстоун — с удивленным лицом подался вперед. Он допытывался у Торнболла, что тот скажет по этому поводу? Торнболл всячески увиливал. Но Элверстоун был безжалостен: «Прошу вас четко ответить на мой вопрос: видите вы там сухожилие или вы его не видите» В безвыходном положении Торнболл ответил: «Да».

В столь же безвыходной ситуации оказался и Уолл, который вынужден был изменить свое мнение о происхождении лоскута кожи. «Теперь мое мнение таково,— заявил он тихо,— что он может относиться к коже живота».

Правда, и после этой первой встречи со Спилсбери Торнболл и Уолл все еще отказывались признать, что на лоскуте кожи действительно имеется шрам. Спилсбери отвечал на это хладнокровно и невозмутимо: «У меня есть при себе все микроскопические срезы, и я велю тотчас принести сюда микроскоп».

Принесли микроскоп, и Спилсбери объяснил присяжным, собравшимся возле него, каждый срез с ткани рубца, показывал им расположение волосяных мешочков и сальных желез, сделал им понятной миграцию отдельных остатков желез по ходу хирургического шва. Торнболл исчерпал все аргументы. Тогда он прибегнул к личным нападкам — вроде того, что не следует полагаться на молодых людей, не обладающих еще достаточным опытом работы с микроскопом. Но Мьюир при всеобщем одобрении заставил его замолчать, сказав: «Мы говорим не о тех людях, которые ничего не понимают в микроскопии, а о таких людях, как мистер Спилсбери».

22 октября, посоветовавшись лишь 27 минут, присяжные вынесли свой вердикт: «Виновен».

Четыре недели спустя — 23 ноября — Криппен был повешен. Но метод доказывания, использованный Спилсбери, дал материал не только для броских заголовков британской прессы. В Англии он послужил поворотным пунктом в отношении общественного мнения к судебной патологии. Спилсбери и процесс Криппена довершили в этом отношении то, что было начато Пеппером. а поворот общественного мнения ознаменовал начало нового периода развития судебной патологии, который почти три десятилетия был связан с именем Бернарда Спилсбери.

*8. Лондон, январь 1915 г. Артур Фаулер Нил и раскрытие дела Джорджа Джозефа Смита. Судбно-медицинская проблематика смерти в воде. Методы ее констатации, существовавшие до первой мировой войны. 13 июля 1912 г.— смерть Бесси Уильяме в ванне. 12 декабря 1913 г.— смерть Элис Смит в ванне. 18 декабря 1914 г.— смерть Маргарет Элизабет Ллойд в ванне. Арест Смита. Эксгумация умерших, осуществленная Спилсбери. Смерть от утопления без внешних признаков насилия. Разгадка, предложенная Спилсбери. Эксперименты Нила. Смит осужден к смертной казни. Дальнейшие исследования вопроса разграничения случаев насильственного и ненасильственного утопления.*

Менее чем через пять лет, в один январский вечер 1915 г. инспектор Артур Фаулер Нил просматривал сообщения, которые ежевечерне поступали из центрального диспетчерского пункта в Скотланд-Ярде на полицейские посты в различных частях Лондона. Нил в то время нес службу в районе Кентиштаун.

Среди сообщений оказался листок с надписью: «Подозрительные случаи смерти. К вашему сведению». К нему были прикреплены вырезки из ряда газет. Одна из них была из широко



распространенного еженедельника «Ньюс оф зе Уорлд». В ней говорилось: «Коронером<sup>1</sup> в Ислингтоне сегодня расследовались особенно печальные обстоятельства, приведшие к смерти тридцативосьмилетней Маргарет Элизабет Ллойд из Холоуэя. Ее супруг заявил, что они собирались поехать в Ват, но после прибытия в Лондон его жена пожаловалась на головную боль... Он повез ее к врачу. На следующий день, в день ее смерти, она с утра чувствовала себя лучше. Ее муж отправился на прогулку... Он был уверен, что по возвращении застанет ее в их комнате. Не обнаружив там никого, он осведомился у квартирной хозяйки, где его жена. Вдвоем они направились в ванную комнату, где было совершенно темно. Он зажег газовый свет и увидел свою жену захлебнувшейся в ванне, заполненной водой на три четверти... Д-р Бэйтиз (врач, лечивший умершую) пояснил, что смерть произошла от утопления. Она болела гриппом. Грипп и воздействие горячей ванны, вероятно, привели ее к обмороку...»

Вырезка из газеты датировалась недавним числом. Расследование, о котором она сообщала, имело место 22 декабря 1914 г.; умерла же Маргарет Элизабет Ллойд 18 декабря. Дом по адресу Хайгейт, Бисмарк-роуд, 14, в котором закончилась ее жизнь, находился на участке Нила.

Вторая газетная вырезка была более ранней. Она относилась к 14 декабря 1913 г. и содержала отчет о ходе коронерского расследования, проведенного в Блэкпуле (на берегу Ирландского моря). В ней сообщалось: «Внезапная смерть молодой женщины. После приступа захлебнулась в горячей воде. Миссис Смит из Портсмута, Кимберли-роуд, 80... умерла внезапно в пансионе в Блэкпуле. Ее супруг... познакомился с ней три месяца назад и женился шесть недель назад. Оба прибыли в Блэкпул в предыдущую среду и сняли несколько комнат в доме по Риджентс-Роуд, 16. Во время путешествия жена жаловалась на головную боль. Поскольку после приезда она все еще чувствовала себя недостаточно хорошо, они с мужем обратились к врачу. В ночь с пятницы на субботу она принимала горячую ванну. Муж позвал ее, но не получил ответа. Он вошел в ванную комнату и нашел свою жену лежащей мертвой в воде. Д-р Биллинг (лечивший миссис Смит) придерживается мнения, что горячая ванна вызвала сердечный приступ или обморок и, находясь в беспомощном состоянии, миссис Смит захлебнулась». Кроме газетных вырезок, инспектор Нил обнаружил письмо из Блэкпула от некоего Джозефа Кросли, владельца пансиона, в котором 12 декабря 1913 г. скончалась миссис Смит. Он случайно, примерно через год, прочитал в «Ньюс оф зе Уорлд» заметку о судьбе Маргарет Элизабет Ллойд и рекомендовал полиции выяснить, нет ли связи между смертью в ванной в Хайгейте и такой же смертью в Блэкпуле.

Сходство обоих происшествий было и в самом деле настолько поразительным, что Нил решил лично разобраться в этом деле. На следующий вечер он направился на Бисмарк-роуд, 14. Дом принадлежал миссис Блэтч. В его верхнем этаже находилась спальня. Ванная располагалась посередине, между верхним и нижним этажами, у лестницы. 17 декабря 1914 г., как сообщила квартирная хозяйка, Ллойд снял у нее спальню с ванной и с правом пользоваться гостиной. Причем ей бросилось в глаза, что он обстоятельно осмотрел ванную, прежде чем заключить договор о найме. Миссис Блэтч описала Ллойда — среднего роста, худощавый, мускулистый, лет сорока—пятидесяти, с невыразительным лицом и острым взглядом. Вечером 17 декабря Ллойд справлялся насчет врача — его жене, мол, нехорошо.

Миссис Блэтч направила его вместе с женой к доктору Бэйтизу. На следующий день миссис Ллойд почувствовала себя лучше. Перед послеобеденной прогулкой она заказала ванну на вечер. Когда она и ее муж около 7 часов 30 мин. вечера вернулись с прогулки, ванна была готова. Миссис Блэтч пошла на кухню. Позже она слышала плеск воды в ванне. Вскоре после этого из гостиной раздалась игра на фисгармонии. Играть мог только Ллойд, который, очевидно, оставался в гостиной, пока его жена купалась. Еще чуть позднее позвонили в дверь дома. Снаружи стоял Ллойд. Он объяснил, что ходил покупать к ужину несколько помидоров и забыл ключ от входной двери. В заключение он осведомился, в гостиной ли уже его жена. А так как в гостиной никого не было, он поднялся по лестнице. И сейчас же вслед за этим позвал на помощь. Когда миссис Блэтч преодолела ступеньки, Ллойд как раз вытаскивал из ванны верхнюю часть тела своей жены. Он крикнул, чтобы тотчас же позвали доктора Бэйтиза. Но Бэйтиз уже не мог ничем помочь. Миссис Ллойд захлебнулась. Ллойд уладил формальности, связанные с погребением, а затем уехал. Куда? Этого миссис Блэтч не знала.

Нил осмотрел ванную комнату, в которой стояла железная ванна, в нижней своей части имеющая длину 1 м 25 см, а в верхней — 1 м 65 см. Ему показалось странным, что взрослый человек мог утонуть в такой ванне. Затем Нил посетил доктора Бэйтиза, тот подтвердил, что лечил миссис Ллойд. Во время визита к нему она только безучастно сидела, и то, чем она страдает, объяснял ему ее муж. Бэйтиз считал, что ее лихорадит. и назначал ей средства против лихорадки. Когда вечером 18 декабря его вызвали к больной, было уже довольно поздно. Нет никакого сомнения, что миссис Ллойд захлебнулась. Когда он прибыл на место, на ее губах было немного белой пены. Наверняка она утонула вследствие наступления беспомощного состояния. Нил осторожно осведомился, не заметил ли доктор каких-либо следов применения к покойной насилия, на что Бэйтиз ответил отрицательно. Правда, когда он по поручению коронера производил вскрытие, ему бросилась в глаза крошечная ссадина над левым локтем. Но никто не может утверждать, что она возникла в результате применения какого-то насилия. Она могла явиться и следствием судорожного движения при сердечном приступе, расследование закончилось однозначной констатацией: «Смерть в результате несчастного случая».

<sup>1</sup> Коронер — должностное лицо, расследующее дела о случаях смерти при подозрительных обстоятельствах, о предполагаемых убийствах, когда не найден труп, и самоубийствах.— *Прим. перев.*

Ничего большего Бэйтиз сказать не мог. Тем не менее его поразило одно: Ллойд не выказывал никаких намеков на траур и выбрал самый дешевый гроб. Нил попросил, чтобы ему немедленно дали знать, если д-р Бэйтиз услышит что-нибудь еще от Ллойда или о Ллоиде.

Покинув врача, Нил встретил детектива-сержанта Деннисона. Узнав, что Нил интересуется случаем с Ллойдом, Деннисон захотел кое-что сообщить. Он знает некую мисс Локкер, которая держит пансион в Хайгейте. Первоначально Ллойд хотел снять жилье у мисс Локкер и осмотрел ее комнаты. Больше всего его интересовала ванна, да, именно ванна. В этой квартире ванна показалась ему сначала слишком маленькой, и он в первую очередь решил убедиться в том, «может ли в ней кто-либо лежать». Мисс Локкер нашла поведение Ллойда настолько странным, что выпроводила его из дому.

Нил вернулся на свой пост и приказал сотрудникам своего подразделения приступить к поискам Ллойда. Примерно через сутки, 10 января, поступили первые сообщения. В суде по наследственным делам хранилось завещание Маргарет Элизабет Ллойд, урожденной Лофти, которое было составлено пополудни 18 декабря — за три часа до смерти. В нем устанавливалось, что единственным наследником является супруг — Джордж Джозеф Ллойд. В тот же час миссис Ллойд появилась в сопровождении супруга и в сберегательной кассе при почтовом отделении Мазуэлл-хилл, чтобы закрыть их общий счет. Еще в одном сообщении говорилось, что в начале января Ллойд обратился в контору поверенного У. Т. Дэвиса на Оксбридж-роуд и передал ему завещание своей умершей жены «для дальнейшего урегулирования».

Двумя днями позже — 12 января — д-р Бэйтиз попросил инспектора Нила принять его. Он представил Нилу запрос «Йоркшир иншуренс Компани» (Йоркширской страховой компании) из Бристоля. Компания осведомлялась об обстоятельствах смерти миссис Ллойд в результате несчастного случая. Дело в том, что 4 декабря 1914 г. Маргарет Ллойд, тогда еще Маргарет Элизабет Лофти (но уже обрученная с Ллойдом), заключила договор страхования жизни на сумму в 700 фунтов стерлингов, которая в случае ее смерти должна была быть выплачена единственному ее наследнику. Нил попросил врача помедлить с ответом на запрос. Он был уверен, что напал на след необычного случая.

Еще до истечения того же дня он переслал в уголовную полицию Блэкула доклад о проводимом им расследовании. Он приложил к ней вырезку из блэкулской газеты и просил проверить эти сведения на месте.

Уже 21 января поступил ответ из Блэкула. Он содержал больше того, на что инспектор отваживался надеяться. Вечером 11 декабря 1913 г. в Блэкуле в пансионе мистера и миссис Кросли на Риджентс-роуд остановился Джордж Джозеф Смит из Портсмута со своей двадцатипятилетней, полноватой, но миловидной женой Элис, урожденной Барнхэм. Смит заходил сначала в другой пансион, который держала миссис Марден, но, узнав, что у миссис Марден нет ванной, отказался от ее услуг и направился к чете Кросли. Правда, остановился он у них лишь после того, как и тут осмотрел ванну. Она была установлена в бельэтаже, как раз над кухней. В тот же день, ближе к ночи, Смит осведомился у миссис Кросли насчет врача. Он сказал, что его жена неважно чувствует себя после дороги и у нее болит голова. Врач — доктор Джордж Биллинг — при обследовании больной расслышал легкие, но не имеющие серьезного значения шумы в сердце. Он прописал ей немного героина и кофеина. На следующее утро миссис Смит произвела впечатление вполне здоровой и долго гуляла вместе со своим мужем. Наконец, в 6 часов вечера она заказала вечернюю ванну. Через два часа супруги Смит отправились в спальню. Чета Кросли оставалась в кухне. Вскоре они заметили на потолке кухни сырое пятно. Пока они обсуждали это необычное явление, зазвенел колокольчик у входа в дом. Снаружи стоял Смит. Он объяснил, что выходил из дому купить яиц на завтрак. Когда же Кросли показали ему пятно на потолке, он помчался по лестнице вверх и сразу же закричал: «Позовите врача... Позовите доктора Биллинга... Он знает ее». Биллинг прибыл через несколько минут. Он застал Смита в ванной удерживающим голову своей жены над водой. Вода доходила ей до груди. Так как жена была довольно тяжелой, Смицу и Биллингу с большим трудом удалось вынуть ее из ванны и уложить на полу. Биллинг не обнаружил никаких следов применения насилия, хотя, по правде говоря, обследованием занимался недолго. Позднее он не смог уже вспомнить, в каком конце ванны находилась голова покойной. Коронер, которому предстояло разбирать еще и другие случаи смерти, очень торопился. Констатировав «остановку сердца в ванне», он записал, что покойная утонула в «результате несчастного случая». Смит успел поспорить с супругами Кросли о размере платы за жилье, а затем исчез.

Доклад о расследовании, проведенном блэкулской полицией, не содержал сведений о нынешнем местопребывании Смита, зато приводил некоторые примечательные факты о заключении им брака с Элис Барнхэм. Он познакомился с ней в Саутси, где она в качестве медсестры ухаживала за одним пожилым человеком. Она располагала наличностью в 27 фунтов стерлингов, кроме того было известно, что она в свое время ссудила своему отцу Чарлзу Барнхэму 100 фунтов стерлингов. Через несколько дней после первой встречи, в сентябре 1913 г., Смит обручился.

Элис Барнхэм, а 30 октября они поженились в Саутси. За день до свадьбы невеста заключила договоры страхования жизни на 500 фунтов стерлингов, а непосредственно после свадьбы Смит потребовал от Чарлза Барнхэма, своего тестя, возратить данные ему займы 100 фунтов стерлингов вместе процентами. Как велико должно было быть влияние Смита на его жену, свидетельствует то, что та угрожала своему отцу обратиться к адвокату, если он не вернет ей долг. За два дня до свадебного путешествия в Блэкул Элис Смит составила в Портсмуте завещание в пользу своего мужа. Четырьмя

днями позже она лежала мертвой в ванне в доме супругов Кросли.

Инспектор Нил 23 января посетил сэра Чарлза Мэтьюза — директора службы публичного обвинения, и заявил ему, что, по его убеждению, в случаях Ллойда и Смита речь идет об одном и том же лице — мужчине, убивающем по определенной схеме женщин, чтобы завладеть их состоянием.

Мэтьюз возразил: «Мне представляется невероятным, чтобы мужчина умертвил двух женщин в ванне. Ни разу за всю мою жизнь я не слышал о такой смерти». Тем не менее он оставил Нилу свободу действий для дальнейшего расследования и для задержания Ллойда, если он сможет его обнаружить.

Час спустя Нил попросил доктора Бэйтиза дать «Йоркшир иншуренс Компани» не вызывающую подозрений справку о смерти миссис Ллойд. Он рассчитывал, что Смит, или Ллойд (или как он еще там называется), свяжется с поверенным Дэвисом, у которого хранилось завещание его жены, как только узнает, что страховое общество готово с ним рассчитаться. Контора же Дэвиса была взята под наблюдение. И вот 1 февраля 1915 г. ко входу в нее приблизился мужчина, похожий по описанию на Ллойда-Смита. Нил подошел к нему. Состоялся следующий диалог: «Я инспектор Нил. Вы — Джордж Ллойд?» — «Да». — «тот самый Джордж Ллойд, жена которого в ночь на 18 декабря утонула в ванне дома на Бисмарк-роуд в Хайгейте?» — «Да». — «Я имею основание предполагать, что вы также Джордж Смит, чья жена в 1913 г. утонула в ванне в Блэкуле через несколько недель после свадьбы». — «Смит? Я не знаю никакого Смита — моя фамилия не Смит». — «В таком случае я должен арестовать вас за сообщение властям ложных данных о своей личности».

Арестованный резко повернул к Нилу свое угловатое, костлявое лицо и сказал: «О, если вы из-за этого устраиваете такую серьезную сцену, то в этом случае я могу вам сказать, что я Смит».

Нил был уверен, что видит стоящего перед ним насковзь. Он почувствовал, что убийца опасается разоблачения и потому с такой легкостью признается в меньшем зле. Как бы то ни было, Нил достиг своей первой цели. Ллойд-Смит очутился под арестом за сообщение ложных данных, а Бернард Спилсбери получил задание «заняться медицинской стороной таинственного случая».

4 февраля Спилсбери поехал на кладбище в Ислингтоне, чтобы участвовать в эксгумации тела Маргарет Элизабет Ллойд, урожденной Лофти. Он должен был попытаться выяснить, утонула ли молодая женщина или ее утопили.

Проблема разграничения «утонувшего» и «утопленного» принадлежит к числу старейших в судебной медицине. Внешними признаками смерти в воде или иной жидкости являются наличие пузыристой пены на губах и у носа, а также гусиной кожи у покойного; к внутренним же признакам относится прежде всего тугое заполнение легких воздухом, так называемая вздутая эмфизема легких, причина, которой все еще является предметом споров. Австрийский исследователь Пальтауф из Праги обнаружил, кроме того, кровавые выделения, экстрavasаты, под висцеральной плеврой, которые, очевидно, возникали из-за разрыва легочной альвеолы. Гортань и большие восходящие ветви бронхов при этом были заполнены пеной.

Но самыми важными представляются три показателя:

1. Вода и другие «жидкости, в которых можно утонуть», проникают на пути к легким в легочные вены, а оттуда — в левый желудочек сердца. Дальше поглощенная жидкость, по-видимому, не проникает, ибо циркуляция крови в результате смерти прекращается. Но в левом желудочке сердца кровь оказывается разбавленной проникнувшей в него жидкостью. Если разбавление констатируется, то это не только доказывает факт наступления смерти из-за того, что жертва захлебнулась, но и то, что жертва погрузилась в воду еще живой, то есть с бьющимся сердцем. Однако надежного способа для определения разбавления крови в левом желудочке сердца в то время не было.

2. В воде содержатся, как правило, мелкие живые организмы, которые можно различить только под микроскопом. В первую очередь это разновидности водорослей. До 1904 г. немецкий исследователь Ревенсторф под своим микроскопом в 95% всех случаев с утопленными и утонувшими обнаружил в легочных тканях скелеты диатомовых водорослей. Правда, оказалось, что и у тех умерших, которые были брошены в воду после смерти, вода и водоросли тоже могут проникать в легкие. Однако они, по всей вероятности, никогда не достигают более глубоких их областей. Следовательно, если у какого-нибудь мертвеца в глубинных областях легких обнаружены водоросли, можно с уверенностью считать, что он попал в воду живым и там захлебнулся.

3. В желудке утонувшего тоже находится вода. Если она прозрачная, то это не является безусловным доказательством того, что мы имеем дело с захлебнувшимся. Здесь также существуют некоторые трудности. Независимо от возможного наличия водорослей в желудке утонувшего образуется водно-пено-воздушная смесь, которая возникает вследствие судорожной деятельности мышц живота, кашля и глотания. Опыты свидетельствуют, что и у того, кто попал в воду уже мертвым, вода проникает в желудок. Но лишь у тонущих живыми, у которых происходят бурные сокращения желудка и кишечника в борьбе со смертью, вода проходит дальше — вплоть до двенадцатиперстной кишки. Еще в 1890 г. финский исследователь Фагерлунд в русском тогда Гельсингфорсе указал на это обстоятельство; оно было перепроверено в самых различных странах и всегда подтверждалось.

Таким образом, относительно установления смерти, происшедшей в воде, удалось создать множество диагностических возможностей для тех случаев, когда смерть наступила сравнительно недавно. Намного сложнее было установить, был ли покойный еще живым насильственно брошен в воду, или насильственно под водой удерживаем. Можно было констатировать смертельные повреждения на теле потерпевшего, если его сбрасыванию в воду предшествовало убийство. Но при насильственной смерти путем утопления расследование сталкивалось с особыми проблемами. Здесь

имелось лишь одно облегчающее диагноз обстоятельство: жертвы насильственного утопления защищаются необычайно бурно. Они заставляют своих убийц крепко повозиться, чтобы сломить отчаянное сопротивление, в результате чего на их телах остаются ссадины и царапины. Во всяком случае, даже самоубийцы при прыжке в воду или при запоздалых попытках спастись или за что-нибудь ухватиться причиняют себе повреждения. Однако подчас различить насильственное утопление от ненасильственного невозможно. Здесь может помочь только учет всех внешних обстоятельств. но все-таки при насильственном утоплении следует ориентироваться на возможность отыскания следов насилия.

Когда Спилсбери осматривал останки Маргарет Ллойд, он тщетно исследовал их дюйм за дюймом в поисках признаков каких-либо насильственных действий. Кроме совершенно незначительных ссадин на локте, о которых уже говорил доктор Бэйтиз, он обнаружил всего лишь две крохотные затекшие кровью точки на тыльной стороне левой руки. Невооруженным глазом они были неразличимы и не могли служить доказательством применения какого-либо насилия. Спилсбери безрезультатно обследовал все тело в поисках хотя бы малейших симптомов заболевания сердца или органов кровообращения, которым можно было бы объяснить внезапное прекращение в ванне циркуляции крови у потерпевшей. Для большей уверенности он взял пробу внутренних органов для исследования их на содержание яда.

С другой стороны, нельзя было недооценивать признаков удушья вследствие захлебывания, даже если они были не сильно выражены и скорее позволяли предполагать почти мгновенную смерть. Проблема того, как в ванне и в тесной ванной комнате можно утопить человека без следов применения насилия, занимала Спилсбери даже тогда, когда он возвращался вместе с Нилом домой. Прежде чем они расстались, он предложил изъять ванну, в которой умерла Маргарет Элизабет Ллойд, для проведения ряда экспериментов. В тот же вечер эта ванна была перевезена с Бисмарк-роуд в отделение полиции в Кентиштауне.

Нил и Спилсбери пытались провести эксгумацию по возможности незаметно. Но репортеры в последние годы привыкли неотступно следовать по пятам Спилсбери. Первые газеты уже 5 февраля сообщили о таинственном вскрытии в Ислингтоне, а 7 февраля историю об обоих убийствах в ванне можно было найти во всех газетах Лондона и Блэкпула. Несмотря на вести, ежедневно поступающие с фронтов первой мировой войны, заголовки типа «Новобрачные в ваннах» пробились на первый план. Начальник полиции из Хэрн-Бэя прочитал несколько сообщений в лондонских газетах и направил Нилу рапорт о смертельном случае, происшедшем 13 июля 1912 г. в Хэрн-Бэе. Этот случай смерти обнаруживал столь явное сходство с уже известными, что начальник полиции в Хэрн-Бэе просил Нила проверить, нет ли между ними какой-нибудь связи.

Вот содержание его рапорта: 20 мая 1912 г. мужчина по имени Генри Уильяме снял для себя и своей жены односемейный дом на Хай-стрит. Через несколько дней — Уильяме — на вид ему было от сорока до пятидесяти лет — и его более молодая жена Бесси въехали в него. А через семь недель, 9 июля 1912 г., Уильяме приобрел в магазине скобяных товаров ванну.

В нанятом им доме ванны не было, и Уильяме объяснил торговцу, что его жена не желает больше жить без ванны. На следующий день Уильяме появился с женой в приемной доктора Френча. По его утверждению, жена его страдала эпилептическими припадками. Сама же она жаловалась только на головную боль, и Френч прописал ей бром. 12 июля, среди ночи, Френча разбудили и попросили прибыть на Хай-стрит. Уильяме объяснил, что у его жены снова был припадок. Френч предположил, что эпилептический припадок был вызван жарой. В третьем часу дня он вновь заглянул к больной и нашел Бесси Уильяме бодрой и здоровой. Поэтому он был страшно удивлен, когда рано утром 13 июля, примерно в 8 часов, снова последовал срочный вызов. Ему передали записку, в которой Уильяме писал: «Можете ли Вы сейчас же прийти? Я боюсь, что моя жена умерла». Френч застал Бесси Уильяме лежащей в ванне на спине, ее голова была под водой. В правой руке был зажат кусок мыла. Ноги были вытянуты, ступни торчали из воды у нижнего края ванны. Френч уложил тело на пол и стал делать искусственное дыхание. Все оказалось бесполезным. Бесси Уильяме была мертва. Френч не обнаружил на ее теле никаких следов насилия. Коронер — адвокат из Дувра, удовлетворившись заявлением доктора Френча об эпилептических припадках у покойной, произвел беглое расследование и констатировал «смерть в результате несчастного случая вследствие погружения под воду в ванне во время эпилептического припадка».

Когда поступило сообщение из Хэрн-Бэя, Нил как раз собрался ехать в Блэкпул, чтобы подготовить там намеченное Спилсбери вскрытие трупа второй супруги Смита-Ллойда — Элис Смит, урожденной Барнхэм. Поэтому он поручил послать в Хэрн-Бей прежде всего несколько фотографий Смита-Ллойда и попросил предъявить их на предмет опознания всем лицам, которые входили в контакт с мнимым Уильямсом. Нил и Спилсбери встретились в Блэкпуле 10 февраля. Спилсбери работал ночью, чтобы обмануть репортеров. Исследование внутренних органов Маргарет Элизабет нительно недавно. Намного сложнее было установить, был ли покойный еще живым насильственно брошен в воду или насильственно под водой удерживаем. Можно было констатировать смертельные повреждения на теле потерпевшего, если его сбрасыванию в воду предшествовало убийство. Но при насильственной смерти путем утопления расследование сталкивалось с особыми проблемами. Здесь имелось лишь одно облегчающее диагноз обстоятельство: жертвы насильственного утопления защищаются необычайно бурно. Они заставляют своих убийц крепко повозиться, чтобы сломить отчаянное сопротивление, в результате чего на их телах остаются ссадины и царапины. Во всяком случае, даже

самоубийцы при прыжке в воду или при запоздалых попытках спастись или за что-нибудь ухватиться причиняют себе повреждения. Однако подчас различить насильственное утопление от ненасильственного невозможно. Здесь может помочь только учет всех внешних обстоятельств. Но все-таки при насильственном утоплении следует ориентироваться на возможность отыскания следов насилия.

Когда Спилсбери осматривал останки Маргарет Ллойд, он тщетно исследовал их дюйм за дюймом в поисках признаков каких-либо насильственных действий. Кроме совершенно незначительных ссадин на локте, о которых уже говорил доктор Бэйтиз, он обнаружил всего лишь две крохотные затекшие кровью точки на тыльной стороне левой руки. Невооруженным глазом они были неразличимы и не могли служить доказательством применения какого-либо насилия. Спилсбери безрезультатно обследовал все тело в поисках хотя бы малейших симптомов заболевания сердца или органов кровообращения, которым можно было бы объяснить внезапное прекращение в ванне циркуляции крови у потерпевшей. Для большей уверенности он взял пробу внутренних органов для исследования их на содержание яда.

С другой стороны, нельзя было недооценивать признаков удушья вследствие захлебывания, даже если они были не сильно выражены и скорее позволяли предполагать почти мгновенную смерть. Проблема того, как в ванне и в тесной ванной комнате можно утопить человека без следов применения насилия, занимала Спилсбери даже тогда, когда он возвращался вместе с Нилом домой. Прежде чем они расстались, он предложил изъять ванну, в которой умерла Маргарет Элизабет Ллойд, для проведения ряда экспериментов. В тот же вечер эта ванна была перевезена с Бисмарк-роуд в отделение полиции в Кентиштауне.

Нил и Спилсбери пытались провести эксгумацию по возможности незаметно. Но репортеры в последние годы привыкли неотступно следовать по пятам Спилсбери. Первые газеты уже 5 февраля сообщили о таинственном вскрытии в Ислингтоне, а 7 февраля историю об обоих убийствах в ванне можно было найти во всех газетах Лондона и Блэкпула. Несмотря на вести, ежедневно поступавшие с фронтов первой мировой войны, заголовки типа «Новобрачные в ваннах» пробились на первый план. Начальник полиции из Хэрн-Бэя прочитал несколько сообщений в лондонских газетах и направил Нилу рапорт о смертельном случае, происшедшем 13 июля 1912 г. в Хэрн-Бэе. Этот случай смерти обнаруживал столь явное сходство с уже известными, что начальник полиции в Хэрн-Бэе просил Нила проверить, нет ли между ними какой-нибудь связи.

Вот содержание его рапорта: 20 мая 1912 г. мужчина по имени Генри Уильямс снял для себя и своей жены односемейный дом на Хай-стрит. Через несколько дней — Уильямс — на вид ему было от сорока до пятидесяти лет — и его более молодая жена Бесси въехали в него. А через семь недель, 9 июля 1912 г., Уильямс приобрел в магазине скобяных товаров ванну.

В нанятом им доме ванны не было, и Уильямс объяснил торговцу, что его жена не желает больше жить без ванны. На следующий день Уильямс появился с женой в приемной доктора Френча. По его утверждению, жена его страдала эпилептическими припадками. Сама же она жаловалась только на головную боль, и Френч прописал ей бром. 12 июля, среди ночи, Френча разбудили и попросили прибыть на Хай-стрит. Уильямс объяснил, что у его жены снова был припадок. Френч предложил, что эпилептический припадок был вызван жарой. В третьем часу дня он вновь заглянул к больной и нашел Бесси Уильямс бодрой и здоровой. Поэтому он был страшно удивлен, когда рано утром 13 июля, примерно в 8 часов, снова последовал срочный вызов. Ему передали записку, в которой Уильямс писал: «Можете ли Вы сейчас же прийти? Я боюсь, что моя жена умерла». Френч застал Бесси Уильямс лежащей в ванне на спине, ее голова была под водой. В правой руке был зажат кусок мыла. Ноги были вытянуты, ступни торчали из воды у нижнего края ванны. Френч уложил тело на пол и стал делать искусственное дыхание. Все оказалось бесполезным. Бесси Уильямс была мертва. Френч не обнаружил на ее теле никаких следов насилия. Коронер — адвокат из Дувра, удовлетворившись заявлением доктора Френча об эпилептических припадках у покойной, произвел беглое расследование и констатировал «смерть в результате несчастного случая вследствие погружения под воду в ванне во время эпилептического припадка».

Когда поступило сообщение из Хэрн-Бэя, Нил как раз собрался ехать в Блэкпул, чтобы подготовить там намеченное Спилсбери вскрытие трупа второй супруги Смита-Ллойда — Элис Смит, урожденной Барнхэм. Поэтому он поручил послать в Хэрн-Бей прежде всего несколько фотографий Смита-Ллойда и попросил предъявить их на предмет опознания всем лицам, которые входили в контакт с мнимым Уильямсом. Нил и Спилсбери встретились в Блэкпуле 10 февраля. Спилсбери работал ночью, чтобы обмануть репортеров. Исследование внутренних органов Маргарет Элизабет Ллойд на предмет обнаружения яда дало отрицательные результаты, косвенно подтвердив тем самым, что она утонула. Тело Элис Смит изменилось гораздо сильнее, чем у ее подруги по несчастью. Несмотря на это, Спилсбери смог прийти к некоторым выводам. Важнейшими из них были следующие: не имелось ни малейших указаний на применение насилия и лишь совсем незначительные признаки утопления. Смерть, должно быть, наступила еще быстрее, чем у Маргарет Элизабет Ллойд. Обследуя органы кровообращения, он обнаружил лишь легкое изменение сердечного клапана, которое нередко остается после ревматических заболеваний суставов. Но оно было столь же незначительно, как и у большинства людей, считающихся здоровыми, и никак не могло быть причиной смерти во время купания.

Еще сильнее, чем в первый раз, занимал Спилсбери вопрос о том, как можно осуществить

насильственное утопление без того, чтобы после него не осталось следов насилия и отчетливых следов удушья? Он очень тщательно измерил тело покойной и распорядился, чтобы Нил перевез в отделение полиции в Кентиштауне также ванну из Блэ KPUла. Когда они добрались до полицейского участка в Блэ KPUле, Нила ожидал там телефонный разговор с Лондоном, из которого он узнал, что из Хэрн-Бэя сообщили, что Уильямс, вероятно, идентичен Смиуту и Ллойдуту. Все свидетели опознали его на фотографиях.

Когда Нил вслед за двумя своими сотрудниками 18 февраля прибыл в Хэрн-Бэй, обстоятельства, сопутствующие третьему убийству в ванне, были уже собраны. Его предыстория была абсолютно такой же, как и двух более поздних убийств. Недоставало лишь одного — заключения договора страхования. Но в этом у Уильямса-Смита-Ллойда в данном случае не было нужды: женщина, на которой он женился, имела вполне достаточное собственное состояние. Летом 1910 г. он познакомился в Клифтоне, предместье Бристолья, с тридцатилетней Бесси Манди. Ее отец оставил после себя состояние в 2700 фунтов стерлингов, которым управляли родственники. Бесси же не смела расходовать основной капитал, а получала из процентов лишь 8 фунтов стерлингов в месяц. Весь остаток процентов откладывался на черный день.

К 1910 г. этот остаток вырос до 138 фунтов стерлингов и был в любое время к услугам Бесси Манди. Сам же капитал только в случае смерти переходил к ее наследникам. 26 августа 1910 г. Уильямс женился на Бесси Манди и уже в день свадьбы потребовал 138 фунтов стерлингов. Получив их, он исчез и написал своей жене письмо, в котором утверждал, будто она заразилась венерической болезнью и он не желает ее больше видеть. Бесси не поняла, что случилось. Она снова зажила уединенной жизнью одинокой молодой, малопривлекательной женщины. В феврале 1912 г. она находилась в пансионе в одном городке. Там, на улице она встретила беглого мужа. Кажется непостижимым, но в течение нескольких часов она все ему простила и последовала за ним в Хэрн-Бэй. 2 июля Уильямс осведомился у юриста, действительно ли состояние его жены может попасть в его руки только после ее смерти. Шесть дней спустя жена назначила его своим единственным наследником. А еще через двадцать четыре часа — 19 июля — Уильямс купил дешевую ванну, в которой 13 июля 1912 г. и умерла Бесси.

Из-за войны Хэрн-Бэй был окружен полевыми укреплениями и колючей проволокой. Между ними находилось кладбище. Поэтому перевозка Бесси Уильямс в морг была связана с некоторыми хлопотами. Спилсбери прибыл в Хэрн-Бэй 19 февраля. Несмотря на прогрессирующие трупные изменения, он обнаружил симптом, часто встречающийся при смерти от утопления: гусиную кожу. И все другие признаки, которые он еще смог установить, указывали на очень быструю смерть в результате утопления. Сердце сохранилось хорошо и позволяло, как и состояние других органов кровообращения, сделать вывод, что никаких нарушений кровообращения не было. Он снова не нашел ни малейшего следа телесных повреждений, насильственных захватов или борьбы. Спилсбери тщательно измерил тело и потребовал, чтобы ванна, в которой скончалась Бесси Уильямс, тоже была привезена в Лондон. 23 февраля в Кентиштаун прибыла ничем не примечательная, слегка поржавевшая ванна.

Сотрудники Нила шаг за шагом выяснили, кто такой в действительности Уильямс-Смит-Ллойд, откуда он родом и не умертвил ли он и ограбил еще большее число женщин. Они выяснили, что его настоящая фамилия была Смит — Джордж Джозеф Смит, 1872 года рождения, сын страхового агента; с девятилетнего возраста воспитанник исправительного дома, мошенник, аферист, вор, частый обитатель многих обычных и каторжных тюрем. Постепенно напали на след, а потом и нашли женщин, у которых он выманивал все сбережения, чтобы затем немедленно исчезнуть. Видимо, 2700 фунтов стерлингов Бесси Манди, которые он не мог получить от нее другим способом, побудили его к убийству в первый раз. Однако, сколько бы материалов ни собрали Нил и его люди, ни один свидетель не видел Смита в момент умерщвления им своих жертв. Не было никого, кто бы мог заявить суду: «Это — убийца». А если уж не было очевидцев преступления, то обвинение обязано было по крайней мере объяснить, каким образом Смит топил своих жертв, не оставляя на них следов насилия. Ни один суд присяжных не осудил бы Смита, не получив прежде удовлетворительного ответа на этот вопрос. Спилсбери в первой половине марта ежедневно появлялся в помещении отделения полиции в Кентиштауне, где были установлены ванны. Он носил при себе листок с записанными размерами тел и веса потерпевших. Среди оставленных им после себя бумаг позже нашлись записи, которые показывали, каким путем он шел к тому, чтобы воссоздать ситуацию, в которой эти женщины умирали.

Решение Спилсбери нашел на исходе первой недели марта, когда он еще раз изучал все положения, которые могла принять женщина размеров и веса Бесси Уильямс в случае, если у нее действительно случился эпилептический припадок в ванне. Первая жертва Смита была ростом 1 м 70 см, а ванна была длиной всего в полтора метра. Ножной ее край был крутым, а головной — скошенным. Длина дна ванны составляла несколько больше метра. Первая стадия эпилептического припадка состоит в вытягивании всего тела. Невероятно, чтобы при этом купающаяся с головой ушла под воду. Напротив. С учетом ее роста и малых размеров ванны верхняя часть ее тела должна была бы выдвинуться вверх по скошенному головному краю ванны или ее боковых краев. Вторая стадия эпилептического припадка заключается в бурных движениях конечностей, которые при этом то притягиваются к телу, то снова отталкиваются от него. Опять же трудно себе представить, как при этом тело, ягодицы которого в тот момент покоились на дне ванны, могло оказаться под водой. Еще меньшая возможность этого имеется при третьей стадии припадка — общем засыпании и разрядке

организма. Несоответствие между размерами тела жертвы и ванны было просто огромно. Так как доктор Френч заявил, что голова покойной находилась под водой, но ноги были вытянуты, так что стопы торчали из воды у нижнего края ванны, то Спилсбери не находил никакого объяснения тому, как могла Бесси Уильямс принять такое положение... И в этот момент решения ясно встало перед глазами Спилсбери.

Имелась лишь одна возможность: Уильямс должен был — инсценируя влюбленное поддразнивание — схватить ничего не подозревающую купальщицу за ноги, приподнять их и затем внезапно резко потянуть на себя через нижний край ванны. В тот же момент верхняя часть тела его жертвы вынужденно соскользнет под воду, внезапное проникновение которой в нос и рот вызовет шок с моментальной потерей сознания. Отсюда и отсутствие признаков борьбы, отсюда и неотчетливость признаков утопления и удушья.

Спилсбери поспешил в свой кабинет и стал изучать имеющуюся литературу относительно случаев внезапной смерти от утопления. Почти никто не занимался проблемой того, может ли внезапное проникновение воды в полости носа или глотки оказать какое-то воздействие на работу сердца или центральную нервную систему. Имелась лишь отдельные наблюдения такого рода. Но Спилсбери был убежден, что решение найдено.

Когда об этом узнал Нил, он пригласил нескольких привычных к нырянию пловчих, соответствовавших по росту и весу жертвам Смита, дабы на практике проверить выводы Спилсбери. Он испробовал самые различные ситуации, при которых голова и верхняя часть туловища могли бы быть погружены под воду путем применения насилия. Это оказалось невозможным, ибо происходило в ожесточенной борьбе. Даже внезапный насильственный наклон головы не мог помешать тому, чтобы руки утопающей цеплялись за край ванны или хватали самого виновного. Однако, когда Нил схватил одну пловчиху за ноги и вдруг дернул их на себя, ее голова и верхняя часть туловища соскользнули под воду так быстро, что ее руки не успели даже ни за что уцепиться. Через несколько секунд Нил к своему ужасу заметил, что его подопытная больше не движется. Он выдернул верхнюю часть туловища юной женщины из ванны и с испугом увидел, что ее голова шатко клонилась в сторону. Полчаса боролись Нил, сержант и врач за то, чтобы вернуть потерявшую сознание к жизни. Придя в себя, она вспомнила только одно: когда она соскользнула под воду, вода полилась сверху через ее нос. И в тот же момент она потеряла сознание — у нее наступил шок, хотя она, в отличие от жертв Смита, ожидала нападения и, опять-таки в отличие от жен Смита, прекрасно умела плавать и нырять. Нил немедленно прекратил все дальнейшие эксперименты. Опасно экспериментируя на грани неосторожного убийства, он подтвердил, сам того не подозревая, правильность выводов Спилсбери способом, который позднее заставил содрогнуться многих присяжных.

22 июня 1915 г. Джордж Джозеф Смит предстал перед судом Олд-Бейли. Никогда прежде не видело это старое, почтенное здание такого наплыва женщин. Это были они — те одинокие, физически или духовно ущербные, изголодавшиеся по любви, из числа которых выбирал Смит своих жертв. После длившегося всего двадцать минут совещания присяжные 30 июня признали его виновным, а судья Скэрттон осудил его к смертной казни через повешение.

Как ни препятствовали события первой мировой войны тому, чтобы необычные обстоятельства дела Смита стали известны за пределами Англии, после войны оно оказало значительное воздействие на возобновившиеся исследования в области судебной медицины. Его семена взошли отчасти в новом ответвлении медицинских и судебно-медицинских исследований, которое из области анализа смерти от утопления, констатируемой на основе органических данных, продвинулось в весьма таинственную область нервной регуляции человеческого организма. Она позволяет познать или по меньшей мере догадаться о нервных рефлексах, которые неожиданным образом могут приводить к смерти. Существует особая связь лицевых нервов или нервов глазного яблока с дыхательным и сосудодвигательным центрами, и раздражение этих зон может вызывать внезапную смерть. Имеется также своеобразная связь между раздражением, воздействующим на орган обоняния, и случаями внезапной смерти в воде. Впрочем, возможности доказывания насильственного и ненасильственного утопления претерпели такую же эволюцию, как и другие области судебной медицины. Опыт десятилетий учит, что прежние представления о том, будто проникновение зеленых и кремнистых водорослей в малые бронхиальные ветви уже доказывает, что человек попал в воду живым и потом захлебнулся, далеко не всегда оказывается верным. При сильном течении воды и у людей, попавших в воду мертвыми, водоросли проникают до легочной альвеолы. Лишь если ее находят в мускулатуре сердца или в печени, это является абсолютным доказательством того, что утопленник действительно захлебнулся. Доказывание наличия водорослей в сердечной мышце или в тканях печени требовало разрушения этой ткани кислотами, которые не могут растворить силикатный панцирь кремнистых водорослей, которые после всего этого можно было рассмотреть через микроскоп.

И для решения проблемы разбавления крови водой в левом желудочке сердца тоже были найдены новые доказательственные возможности с помощью микрохимии и физической химии. Именно в этой области в 1921 г. гражданин США одним из первых предложил использовать новые методы. Он исследовал содержание соли в крови сердца у людей, утонувших в соленой морской воде близ Нью-Йорка, и установил, что ее содержание в левом желудочке сердца было повышенным по сравнению с естественной нормой. У того же, кто утонул в пресной воде, наоборот, наблюдалось снижение содержания соли. Этим исследователем был Александр О. Джеттлер, химик и токсиколог службы Главной медицинской экспертизы города Нью-Йорка. Его метод в Европе остался либо неизвестным,

либо отрицался и оспаривался.

*9. Германия, 1929 г.— исследования Рихарда Коккеля. Дело Тецнера. Вскрытие Коккелем обугленного трупа. Судебно-медицинское объяснение одного случая убийства ради получения страховой суммы. Проблема жировой эмболии. Сажа и окись углерода. Разоблачение и осуждение Тецнера.*

В ходе своей истории судебная медицина не раз достигала наиболее высокого уровня то в одной, то в другой стране, и к концу 1929 г. в этой области вновь явно выдвинулась на передний план Германия. На этот раз достойным представителем этой развивающейся науки стал Рихард Коккель, который за три десятилетия, прошедшие со времени его скромных начинаний в Лейпциге, вырос в ведущую фигуру германской судебной медицины.

Коккель подчеркивал необходимость одновременного полицейского и судебно-медицинского осмотра места преступления и тесного сотрудничества между судебной медициной и полицией. Он также ратовал за использование в судебной медицине чрезвычайно важных для криминалистики достижений в области естественных наук и техники. Вероятно, из-за того, что он обладал недюжинными техническими способностями. Коккель избрал путь, выходящий за пределы чистой медицины.

Он был приверженцем такой судебной медицины, которая использовала бы самые различные естественнонаучные и технические средства при раскрытии преступлений. Конечно, у Коккеля были противники, которые не хотели выходить за границы традиционной судебной медицины, но у него имелось и достаточно сторонников, и он мог быть уверен, что не только ближайшее, но и отдаленное будущее принадлежит им...

Человеком в духе Коккеля был берлинский судебный медик профессор Курт Штраух — популярнейшая фигура в берлинской уголовной полиции между двумя мировыми войнами, — который убедил полицейского начальника Эрнста Генната (известного тем, что он весил почти полтора центнера) в том, что место судебных медиков не только в моргах или лабораториях, но и на месте совершения преступления. Профессор Штраух мог, пренебрегая белым халатом, работать в старом сюртуке и (подобно Спилсбери) грубыми инструментами; даже самых обычных служащих берлинской уголовной полиции он знакомил с миром судебной медицины и ее возможностями. То же самое было характерно для более молодого Вальдемара Ваймана, который создал в конце 20-х годов (в то время, когда в берлинской уголовной полиции, как и в лондонской и парижской, появились прославленные криминалисты) врачебный чемодан для автомашин Берлинской комиссии по расследованию убийств, содержащий все, что необходимо судебному медику при осмотре места преступления.

На таком фоне и развернулись события, начавшиеся 30 ноября 1929 г. в институте судебной медицины Лейпцигского университета. Около полудня там появился агент крупной германской страховой компании «Нордштерн». Он попросил Коккеля переговорить с ним по конфиденциальному и действительно неотложному делу, ибо в капелле на Южном кладбище Лейпцига уже был установлен гроб с телом Эриха Тецнера, коммерсанта, 26 лет, чье погребение должно было состояться через час. Из данных полиции и прокуратуры Регенсбурга явствовало, что Тецнер 27 ноября во время служебной поездки в своем зеленом «опеле» у дома № 8 по Ландштрассе на небольшой скорости налетел на дорожный столб. Удар был не сильным, но автомобиль все же загорелся, и тело Тецнера вытащили с водительского места полностью обуглившимся. Прокуратура Регенсбурга дала распоряжение о его захоронении.

Для страховой компании проблема состояла в том, что Тецнер застраховался от несчастного случая не только у «Нордштерн», но еще и у страховых компаний «Фатерлендишен» и «Альянц», причем на невероятную, если учитывать его материальное положение, сумму в 145 тыс. имперских марок. Договоры страхования вступили в силу всего несколько недель назад. Вдова Тецнера — Эмма Тецнер, урожденная Георги, — сразу после смерти мужа предъявила претензии на страховые суммы.

Многое в этих обстоятельствах казалось подозрительным. Представитель страховой компании пояснил, что существует, правда, вероятность того, что у Тецнера было большое сердце и вследствие сердечной слабости он наехал на дорожный столб. Но нельзя исключать и самоубийства. Во всяком случае, после неприятных объяснений он добился у вдовы разрешения на вскрытие тела покойного и теперь просил Коккеля от имени «Нордштерн» произвести его. Так как уже нет никакой возможности перевезти труп в институт Коккеля, то вскрытие может быть проведено только в капелле на Южном кладбище.

Как и у большинства судебных медиков, у Коккеля с годами развилось отличное чутье на случаи, в которых пахло убийством. Поэтому он немедленно согласился и поехал с представителем «Нордштерн» на Южное кладбище. В гробу лежал, как писал он позднее, «страшно обугленный торс, к которому прилепились: шейный отдел позвоночника вместе с основанием черепа, верхняя половина обоих бедер, нижний конец сустава правого бедра и части рук. Кроме того, на трупе сохранилась часть головного мозга размером с кулак. Сколь ни безнадежным при только что описанном состоянии трупа казалось его вскрытие, оно тем не менее было проведено... О том, что применительно к торсу речь шла об останках мужчины, установить было сравнительно легко. Правда, мужской половой орган был обуглен, но еще хорошо сохранился. Волосистой покров головы исследовать было нельзя, ибо вся ее подволосная часть отсутствовала».

Кусок головного мозга был в поразительно свежем состоянии, чего Коккель не мог объяснить. В полости рта, в гортани, в сохранившихся частях трахеи он не нашел никаких отложений сажи. В сердце



было немного сгустков крови. Правая нижняя доля легкого хорошо сохранилась. Коккель поместил кровь из сердца и долю легкого в колбы, которые положил в свой карман. При исследовании сохранившихся костей он насторожился. Они были необычно слабы и до такой степени напоминали легкую костную структуру женщины, что вызывали сомнение насчет того, действительно ли в данном случае речь идет о мужском скелете. Удивление Коккеля возросло, когда он распилил хорошо сохранившуюся суставную головку левого плеча. Без труда он узнал остатки хрящевых планок, которые имеются только у подростков на стыках суставов длинных трубчатых костей, но исчезают к двадцати, самое позднее — к двадцати трем годам жизни. Коккель еще раз осведомился у своего спутника, сколько лет было Тецнеру. И услышал в ответ:

«Двадцать шесть». — «А какого он был сложения?» Служащий страховой компании заглянул в свои бумаги и ответил: «Очень крепкого, рост один метр семьдесят сантиметров, широкоплечий, коренастый, немного грузноват».

До слуха уже доносились приглушенные голоса собравшихся проститься с покойным, когда Коккель покинул капеллу через заднюю дверь. У выхода с кладбища он неожиданно спросил, убежден ли представитель страховой компании, что покойный действительно является Эрихом Тецнером? Страховой служащий поначалу не понял. Он сам хотел бы знать мнение Коккеля по этому поводу. Коккель ответил, что, пожалуй, он сможет сделать какие-то выводы, но окончательно выскажется по этому поводу лишь вечером.

К тому времени судебная медицина уже около ста лет занималась исследованием ожогов и смерти от них. Одним из нашумевших в прошлом случаев была смерть в Дармштадте графини Герлиц, которая 13 июня 1847 г. была найдена сгоревшей в своих покоях. Кроме гессенского окружного врача Граффа, этим загадочным случаем убийства занимался такой прославленный ученый, как химик Юстус Либих. Этот эпизод породил долгие дискуссии о возможности «самосожжения».

Под ним понималось возгорание, которое могло возникнуть внутри человека после обильного употребления им алкоголя при приближении пламени к выдыхаемому воздуху и в дальнейшем поддерживаться подкожным жиром. Такое представление о самосожжении принадлежало к числу басен старой судебной медицины. Либих, правда, исключил возможность самосожжения, но ни он, ни другие эксперты не смогли с помощью медицинских аргументов доказать, что графиня была задушена лакеем и лишь затем сожжена, чтобы замести следы преступления. Только признание лакея привело к раскрытию этого преступления.

Ужасная гибель в пламени большого числа людей во время пожара венского Ринг-театра в 1882 г. побудила, в частности, Эдуарда фон Гофмана заняться не только проблемой идентификации сгоревших, но и специально последствиями ожогов. С тех пор судебная медицина вновь и вновь сталкивалась с проблемой ожоговых повреждений и смерти от огня; с одной стороны — при проведении экспертизы по делам, связанным с выплатой страховых сумм, а с другой — при расследовании преступлений. Перечень трудов о случайной смерти от ожогов, об убийстве путем сожжения или о случаях, когда убийца (как в деле Герлиц) пытается путем пожара скрыть следы совершенного преступления, становился все более обширным. Задача точного установления различия между этими случаями стала одной из важнейших.

Большую роль при этом сыграло открытие, что люди, попавшие в огонь еще живыми, вдыхают сажу, которую можно обнаружить в гортани, трахеи и в легочных альвеолах. Все более решительно высказывалось мнение, что и моноокись углерода, возникающая во всех случаях горения, тоже должна вдыхаться жертвой огня, а следовательно, и содержаться в крови у заживо сгоревших.

Чудовищное количество смертей от несчастных случаев и самоубийств, последовавшее после введения в середине XIX века освещения газом, содержащим окись углерода, научило судебную медицину, как искать следы окиси углерода в крови погибших. Между окисью углерода и пигментом красных кровяных телец — гемоглобином — существует необычная «сила притяжения». Она сильнее, чем связь между пигментом крови и жизненно необходимым организму кислородом. Окись углерода вытесняет, так сказать, кислород из гемоглобина и, если этот ядовитый газ воздействует на организм длительное время, приводит к смерти вследствие внутреннего удушья. На основе этого судебная медицина создала свои методы распознавания окиси углерода в крови. Так, красная окраска гемоглобина, содержащего окись углерода, будет более стойкой, чем красная окраска гемоглобина, насыщенного кислородом. Если кровь, которую хотят подвергнуть анализу на содержание окиси углерода, поместить в определенные химикалии, то нормальный, насыщенный кислородом гемоглобин быстро примет буроватую окраску, и гемоглобин, содержащий окись углерода, останется красным.

Но все же гораздо важнее химических проб стал спектральный анализ крови. Гемоглобин, насыщенный кислородом, и гемоглобин, содержащий окись углерода, четко выражаются в спектроскопе различными линиями. Если к обоим видам гемоглобина добавить определенные химические реагенты, то спектр линий гемоглобина, содержащего кислород, изменится, а спектр линий гемоглобина, насыщенного окисью углерода, не изменится. Правда, для того чтобы ядовитый газ можно было обнаружить при спектральном исследовании, исследуемая кровь должна была содержать не менее 20 процентов окиси углерода. Лишь в 1921 г. австрийскому исследователю В. Шварцахеру удалось спектрофотометрическим путем констатировать наличие окиси углерода при гораздо более низком проценте ее содержания в крови.

Исследования подобного рода были еще в разгаре, когда Коккель 30 ноября 1929 г. около 3 часов дня возвратился в свой институт. Там он тотчас приступил к исследованию взятой из сердца крови

(которую принес с собой в колбе) на содержание в ней окиси углерода. Он применял всевозможные химические и спектроскопические методы, но все они дали отрицательный результат. Коккель видел, что его подозрение о том, что покойник на Южном кладбище не Эрих Тецнер, еще раз подтверждается. Ибо если в дыхательных путях нет сажи, а в крови — окиси углерода, то мнимый Тецнер был уже мертв в тот момент, когда автомобиль запылал. А что, если Тецнер убил кого-нибудь другого и сжег его в своем автомобиле, чтобы его сочли погибшим и выплатили его жене страховые суммы?

Коккель попытался установить, не стал ли неизвестный покойник жертвой чьего-либо насилия до того, как сгорел. Тем самым он вклинился в другую обширную область судебной медицины, о которой мы уже неоднократно упоминали, но изучение которой именно в 30-е годы стало объектом целенаправленных усилий многих судебных медиков — от Курта Вальхера в Германии до Пьедельевра во Франции и Кернбаха в Румынии, от Балотты и Доменичи в Италии до Оршоша в Венгрии. Целью их было более основательно, чем до сих пор, исследовать, каким образом отличить повреждения, полученные человеком при жизни, от тех, которые сознательно или случайно причинены ему после смерти. Когда Коккель изготовил микроскопический срез той части легкого, которую он принес с собой с Южного кладбища, и положил этот срез под микроскоп, он увидел, что части самых мельчайших сосудов легкого были закупорены светлыми, как вода, каплями, по форме напоминающими колбаски. Иначе говоря, он наблюдал так называемую жировую эмболию — закупорку кровеносных сосудов. в особенности сосудов легкого, телесным (аутогенным) жиром. Уже десятилетия назад хирурги и патологоанатомы обратили внимание на то, что в ряде случаев, прежде всего под воздействием ударов по телу человека тупым предметом, вследствие переломов костей, повреждений черепа, садистских пыток, подчас даже при обычных сотрясениях тела, жир из жировой ткани проникает в кровеносные сосуды. С потоком крови он попадает в правый желудочек сердца, а оттуда — в легкое. В результате наступает закупорка мелких сосудов легких, что в большинстве случаев ведет к прекращению кровообращения и к смерти. Если кровообращение было достаточно сильным, то оно гонит частицы жира вместе с кровью в другие части тела, в том числе в почки и в мозг. Иногда жировая эмболия развивается в течение считанных секунд, но она всегда является следствием внешнего насилия в той или иной форме. Однако еще в 1898 г. итальянский исследователь Марко Каррара указывал на то, что и при ненасильственной смерти от ожогов тоже может наблюдаться проникновение в легкие жира, который от жары расплавляется и становится текучим. Даже у лиц, попавших в огонь уже мертвыми, можно наблюдать, как возникающее давление пара как бы впрессовывает расплавленный жир в легкие. Но большинство судебных медиков было уверено, что такого рода «жировое вторжение» можно отличить от настоящей жировой эмболии и что настоящая жировая эмболия в легких всегда служит признаком тяжкого, причиненного тупым предметом повреждения, в данном случае нанесенного потерпевшему до того, как он оказался в огне. Потому-то Коккель и пришел к заключению, что покойник, захороненный на Южном кладбище, по всей вероятности, был убит прежде, чем сгорел в огне.

Хотя уже наступил вечер, но Коккель тем не менее решил немедленно информировать лейпцигскую уголовную полицию. В ходе своей работы (в соответствии с ее целями) он всегда поддерживал тесные взаимоотношения с полицией. Поэтому он разыскал заместителя начальника лейпцигской уголовной полиции советника фон Кригерна, с которым был особенно тесно связан.

Со свойственной ему убедительностью Коккель выложил Кригерну свои сомнения, которые сводились к следующему: 1. Покойник не является Тецнером. 2. Речь идет о неизвестном лице, которое было сначала убито, а затем сожжено. 3. Убийца был, вероятно, Тецнер, задумавший страховое мошенничество. 4. Исключается уничтожение в огне тех частей тела, которых не хватало туловищу покойника, похороненного на Южном кладбище (верхней части головы, голени и стоп). Недостающая часть головы была удалена, очевидно, потому, что на ней были видны смертельные повреждения. Другие части тела убийца отсек, возможно, из-за того, что на них были какие-нибудь характерные признаки, свидетельствующие о том, что это не Тецнер. Вероятно, их можно было бы найти, если бы на место происшествия сразу же был вызван судебный медик. Во всяком случае, необходимо еще раз осмотреть всю территорию вокруг места происшествия в поисках отсутствующих частей тела. 5. Тецнер, скорее всего, где-то прячется и при благоприятном для него развитии событий попытается войти в контакт со своей женой.

В ту же ночь Кригерн распорядился установить наблюдение за квартирой Эммы Тецнер. Когда 1 декабря он узнал, что Эмма Тецнер удивительно часто пользуется телефоном соседей, он отдал распоряжение прослушивать данный телефонный номер; Одновременно с этим он выслал на место несчастного случая полицейских. Но все усилия были напрасны. Полицейские доставили только сообщение о том, что жандармский комиссар Пфайфер, первым оказавшийся на месте пожара, обнаружил ту самую хорошо сохранившуюся часть головного мозга, наличие которой констатировал Коккель при производстве вскрытия, не в сгоревшем автомобиле, а в стороне, в полутора метрах от той дверцы автомобиля, которая находится напротив места водителя.

Кригерн передал столь удивительную подробность Коккелю, который принял это к сведению, но проворчал: жаль, что с судебно-медицинским обследованием места происшествия запоздали.

Вскоре после этого Кригерн получил донесение из уголовной полиции Ингольштадта. В больнице этого города с 22 ноября находился подмастерье слесаря Алоиз Ортнер. Он рассказал, что 21 ноября его нагнал в дороге зеленый «опель», водитель которого предложил ему место в машине. Не доезжая до Ингольштадта, он сказал, что повреждена передача, и попросил Ортнера залезть под машину и

подтянуть некоторые гайки. Когда же Ортнер вылез из-под машины, он получил два удара по плечам и голове. Все же ему удалось подняться, и он увидел, что напал на него столь дружелюбный вначале водитель автомашины. Ортнер стал отбиваться, в конце концов вырвался и убежал в лес. С учетом того факта, что у Тецнера тоже был зеленый «опель», перед Кригерном встал вопрос — не был ли этот водитель автомашины Тецнером? Может быть, он выбрал Ортнера для осуществления своего плана, но его нападение провалилось только потому, что Ортнер оказался слишком сильным?

В 8 часов утра 4 декабря сотрудник полиции, которому было поручено прослушивать телефон соседей фрау Тецнер, услышал, что для междугородного разговора со Страсбургом к аппарату приглашается Эмма Тецнер. Звонивший назвал Зранелли. Служащий включился и сказал, что фрау Тецнер нет дома, она будет лишь в шесть часов вечера и Зранелли может при желании позвонить ей в это время и тогда уж наверняка сможет с ней поговорить. Было быстро установлено, что разговор велся из переговорной кабины с Главного почтамта Страсбурга. Кригерн попросил Сюртэ установить наблюдение за почтамтом, а сам вылетел специальным самолетом в Страсбург и прибыл туда как раз вовремя, чтобы арестовать незнакомца, назвавшего себя Зранелли, когда последний около 6 часов вечера входил в телефонную кабину.

Удивление Зранелли было так велико, что он признался, что на самом деле его имя Эрих Тецнер. Тем же вечером он дал показания. Еще в сентябре 1929 г., как было записано в протоколе, у него возник план добыть большую сумму денег путем страхового мошенничества, для чего он намеревался сжечь вместо себя какого-нибудь незнакомца. Дело в том, что после своей женитьбы в 1927 г. он поначалу держал кафе в Ошаце, но разбогатеть таким путем не смог. В 1929 г. кафе было продано. Тецнер с женой переехали в Лейпциг, где истратили большую часть суммы, вырученной от продажи кафе. Поиск денег и привел его к идее страхового мошенничества.

Заклучив несколько страховых договоров, он начал охотиться за своей будущей жертвой. Тецнер признался, что 21 ноября он заманил в свой автомобиль подмастерье Ортнера и пытался его убить. Когда же 26 ноября он собрался на охоту за новой жертвой, то обстоятельно проинструктировал свою жену. В случае если план на этот раз удастся, она получит телеграмму, в которой будет описана одежда его жертвы. Эту одежду при осмотре трупа ей предстоит опознать как его собственную. Следующей ее задачей будет получение страховых сумм. Через определенные промежутки времени он будет под чужой фамилией звонить ей и в конечном итоге назначит место встречи за границей. 27 ноября на шоссе, ведущем в Регенсбург, он увидел путника. Правда, путник не был на него похож. Незнакомец был тщедушным малым и притом намного моложе его. Но после случая с Ортнером он предпочел выбрать жертву слабее себя. По пути в Регенсбург парень заснул. Тогда Тецнер осторожно наехал на столб, а проснувшегося на миг попутчику объяснил, что произошла небольшая заминка. Вслед за этим он облил автомобиль бензином из запасной канистры и бросил горящую спичку на подножку машины. Как только яркое пламя охватило машину, он удрал.

Кригерн обсудил все это с Коккелем. Тот заявил, что считает признание Тецнера ложным. Обнаружение жировой эмболии свидетельствовало против его показаний. Коккель продолжал утверждать, что неизвестный погиб не в огне, а еще до этого, в результате насилия. О том свидетельствовали не только медицинские данные, но и материалы расследования, проведенного полицией. Как, к примеру, мог покойный оказаться на сиденье шофера, если он уснул на соседнем месте, где, следовательно, и должен был сгореть?

Снова и снова Кригерн допрашивал Тецнера. Но лишь в апреле 1930 г., когда было готово письменное экспертное заключение Коккеля и Кригерн дал Тецнеру время ознакомиться с ним, тот внезапно изменил свои первоначальные показания. Очевидно, после некоторого размышления Тецнер понял, что феномен жировой эмболии является фактически самым веским доказательством против него, ибо в начале мая попросил препроводить его к следственному судье. Последнему он заявил следующее: «Мое прежнее признание было ложным». И затем продолжил, что ночью в темноте под Байрейтом он на машине сбил какого-то парня-рабочего. Увидев его лежащим на дороге в бессознательном состоянии, он перенес его в машину, где тот вскоре скончался. В этот момент ему в голову пришла идея использовать незнакомца в целях своего мошеннического плана. Он усадил его за руль и поджег автомобиль.

Новые показания Тецнера были, несомненно, хорошо продуманы. Они давали объяснение факту жировой эмболии и подрывали доказательства того, что Тецнер сначала убил свою жертву. Убийство по неосторожности представляло собой менее тяжкое преступление, чем преднамеренное убийство.

Чтобы убедиться в том, как мало значит судебно-медицинская теория вне связи с реальностями конкретного события, достаточно поставить лишь несколько вопросов. Если жертва Тецнера заживо сгорела в автомобиле, то как попал на бетонное полотно дороги свежий кусок головного мозга из черепа покойного, как мог он отлететь на полтора метра от закрытой машины, да еще оказаться на противоположной от сиденья шофера стороне дороги? Где находятся те части тела, которых недостает в трупе, но которые не могли быть полностью уничтожены огнем? Может ли быть найдено иное объяснение всему этому, чем то, которое напрашивается в связи с обнаружением жировой эмболии: жертва была убита после применения насилия вне автомашины, а части тела, выдающие преступника (как, например, разбитая крышка черепа), устранены — вот тогда-то Тецнер и потерял кусок мозга.

И вот 17 марта 1931 г. в Регенсбурге начался процесс против Эриха и Эммы Тецнер. «Подсудимый,— настаивал Коккель,— сжег человека, которого он перед этим тяжело ранил и

изувечил. Вероятно, этот человек умер при обстоятельствах, которые выставили бы Тецнера в еще более ужасном свете, чем сожжение человека заживо».

Несколько дней спустя суд приговорил Тецнера за умышленное убийство к смертной казни. А 2 июня, после отклонения ходатайства о помиловании, Тецнер сознался, по крайней мере отчасти, в том, как совершил преступление в действительности. Парня он подобрал на дороге еще в Райхенбахе. Когда тот неподалеку от Нюрнберга пожаловался, что зябнет, Тецнер так крепко завернул его в плед, что парень стал беспомощным, и Тецнер смог задушить его. Но и в этом признании не хватало еще какой-то доли правды.

А закончил свою исповедь Тецнер словами: «Пока шел судебный процесс, я все время думал, что профессор Коккель совершенно прав».

#### *10. Утверждение судебной медицины во всем мире.*

В 1840 г. один из самых первых журналов по судебной медицине опубликовал список наиболее именитых специалистов в этой области. Он включил двадцать две фамилии — фамилии людей, которые жили во Франции, в германских землях, в Италии, в Австрии, в Шотландии, то есть в Европе — центре тогдашнего мира. Сто лет спустя, на пороге второй половины XX столетия, многие судебно-медицинские журналы опубликовали новые списки, в которых пытались охватить институты судебной медицины и судебных медиков всего мира. Но теперь им это уже не удалось. Их списки охватывали тысячи фамилий, а «мир» не означал больше только Европу. И тем не менее эти списки никак нельзя было назвать полными. Пусть страны, бывшие в свое время колыбелью судебной медицины, все еще проводят самую большую часть научных и практических исследований, пусть Париж, Лион или Лилль, Берлин, Лейпциг, Мюнхен, Гейдельберг, Кёльн, Эрланген или Гамбург, Вена, Грац или Инсбрук, Милан, Рим, Неаполь или Палермо, Эдинбург или Глазго по-прежнему являются обителями судебно-медицинских исследований международного класса,— все же они уже стали только частями разросшегося мира судебной медицины.

Без сомнения, за столетие судебная медицина стала мировой наукой. Но эта пространственная широта — лишь один аспект проблемы. Важнее другое: ее постоянные старания приспособиться ко все более расширяющемуся и быстро текущему развитию криминалистических и социальных проблем, с одной стороны, и сферы медицины — с другой. С самого своего зарождения судебная медицина научилась двум вещам: бороться и развиваться. Там, где судебная медицина сама не в состоянии более быть резервуаром всего накопленного опыта, она становится на путь ограничения своих исследований чисто «медицинской» сферой, которая, несмотря на это ограничение, столь широка, что ее вряд ли охватишь взглядом. К тому же ее закон провозглашает сотрудничество с другими судебно-криминалистическими науками, которые отчасти произросли из ее лона, отчасти возникли самостоятельно и будут рассмотрены нами в дальнейшем.

### **III. ЯД, ИЛИ ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ПУТИ СУДЕБНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ**

*1. 1840 г.— дело Мари Каппель-Лафарж, или дебют токсикологии. Предыстория одного поразительного убийства с помощью яда. Ле Гландье, мышьяк и смерть Шарля Лафаржа.*

В начале 1840 г. лишь немногие знали имя молодой двадцатичетырехлетней француженки Мари Лафарж.

А через несколько месяцев оно было на устах у каждого, причем не только в Париже, Лондоне, Берлине, Вене или Риме, но даже в Санкт-Петербурге и Нью-Йорке. Мари Лафарж, обвиняемая в отравлении своего мужа Шарля Лафаржа, обрела всемирную известность.

Может показаться странным, что в данном случае, как и во многих других, смерть самого обыкновенного человека (каким был Шарль Лафарж) в заброшенном местечке французской провинции — в Ле Гландье — взбудоражила весь мир. Может быть, дело в загадочной личности молодой женщины, привезенной Ла-фаржем из Парижа в Ле Гландье? А может быть, в том факте, что с незапамятных времен отравительницы воспринимались окружающими как злобные, сеющие повсюду смерть колдуньи? Либо же причину следует искать исключительно в том, что процесс по делу Лафарж позволил тогдашнему миру узнать о новой науке — науке о ядах, или токсикологии? Миллионы людей впервые узнали о выступающих перед судом врачах и химиках, которые пытаются вырвать у трупа тайну погубившего его яда. Новая наука, вызванная к жизни общим взлетом химической науки, казалась столь же таинственной, как и чреватый смертельной опасностью предмет ее исследования. Можно говорить об их взаимном воздействии. Отталкивающе-манящее впечатление, вызванное отравление и отравительницей, наложило на новую науку своего рода жуткий глянец, притягивающий взоры всех. Именно токсикология в конце концов оказалась в центре всемирного по тем временам внимания к делу Мари Лафарж и столь же широких по своему размаху, ожесточенных дискуссий, порожденных им.

Но изложим события по порядку. Шарль Лафарж был грубоватым молодым человеком лет тридцати, сыном не слишком «отесанного» литейщика, который соорудил на территории бывшего монастыря свои плавильные печи и достиг таким путем некоторого благополучия. Когда отец умер, Шарль Лафарж женился на дочери зажиточного м-сье Бофора и употребил ее приданое на то, чтобы расширить литейную мастерскую. Пока шло это расширение, жена его умерла. С начала 1839 г. плавильные печи не работали. Лафаржа осаждали кредиторы. Единственный выход из своего

отчаянного положения он видел в новой женитьбе на богатой. Поэтому он поручил одному брачному маклеру из Парижа подыскать ему подходящую невесту. Методы его сватовства, как и вся его натура, не отличались излишней щепетильностью. Он выдавал себя за промышленника и владельца аристократического поместья в провинции. В результате в августе 1839 г. он установил контакты с приемными родителями двадцатичетырехлетней сироты по имени Мари Каппель.

Мари Фортюнэ Каппель была дочерью не очень обеспеченного, но болезненно гордого и тщеславного полковника, который служил еще при Наполеоне. После кончины его и его жены приемные родители Мари — состоятельные, но отнюдь не богатые парижские буржуа — посылали девочку в самые хорошие школы, где она общалась с дочерьми аристократов и денежных тузов. Исполненная нездоровой гордости и тщеславия своего отца, она путем всевозможной лжи и обмана окружающих стала изображать, будто происходит из знатной семьи, чтобы выглядеть равной с остальными. После окончания школы она все глубже погружалась в этот мир обмана и самообмана. А так как она не была ни красивой, ни достаточно богатой, чтобы сделать в Париже блестящую партию, то вынуждена была лишь наблюдать с возрастающей горечью, как ее подруги выходили замуж за дворян и обживали их замки. Незадолго перед тем, как Шарль Лафарж появился в Париже, она сопровождала одну из своих школьных подруг в замок виконта де Леото, с которым та была помолвлена. Во время их пребывания там у подруги пропали драгоценности, и виконт де Леото попросил шефа Сюртэ Аллара провести расследование. В ходе последнего Аллар пришел к выводу, что воровкой может быть только Мари Каппель. Такое подозрение показалось виконту настолько невероятным, что он удержал Аллара от ареста Мари и позволил ей беспрепятственно вернуться в Париж, где приемные родители встретили ее вестью, что нашелся богатый жених.

Когда Мари впервые увидела Шарля Лафаржа, он показался ей вульгарным и отталкивающим. Но разъяснения, что у него есть замок, оказалось достаточно, чтобы она смогла подавить свои истинные чувства. Без колебаний согласилась она на немедленный брак. Сразу после его заключения неравная пара в сопровождении Клементины, служанки Мари, покинула Париж. По дороге в Ле Гландье Мари мечтала о том, что наконец она станет владелицей замка и сможет достойно принимать у себя школьных подруг.

Ее разочарование было безграничным: Ле Гландье — это унылый ландшафт, грязные улицы, а вместо замка — полуразрушенное монастырское строение, где все мрачно, сыро, грязно до запустения и загажено крысами, которые даже днем шныряли по комнатам. Мари столкнулась с родственниками мужа, которые внушали ей отвращение своей деревенской бескультурностью и которые со своей стороны встретили незнакомку из Парижа с глубоким недоверием. Вместо вождельного богатства ее ожидала пугающая тяжесть долгов. В первую ночь по прибытии Мари заперлась с Клементиной в одной из убогих спален и написала своему мужу письмо, где со словами отчаяния заклинала его немедленно дать ей развод, иначе она примет мышьяк, который привезла с собой. Это письмо было следствием столкновения мира ее мечты с реальным миром. Лишь через несколько дней она вроде бы успокоилась. Лафарж, осаждаемый кредиторами, был готов на любые жертвы, только не на развод. Он обязался не искать с ней близости, а также обещал привести в порядок дом, приобрести верховую лошадь и нанять слуг.

В течение последующих недель Мари написала своим родным и подругам письма, которые, если учесть истинную ситуацию, могли вызвать лишь изумление: она с воодушевлением расписывала счастье, которое нашла в Ле Гландье. Казалось, что она смирилась с судьбой и снова занялась своей прежней игрой в обман и самообман. Совершенно неожиданно она перевела на Лафаржа часть своего небольшого состояния и написала рекомендательные письма, с которыми он поехал в Париж, чтобы добыть денег и окончательно выбраться из своего все еще отчаянного положения. Перед отъездом Лафаржа в декабре 1839 г. Мари внезапно и по непонятным мотивам завещала ему все свое имущество и потребовала, чтобы Лафарж в порядке взаимности завещал ей свое, в частности поместье в Ле Гландье. Лафарж исполнил ее желание, но одновременно без ее ведома составил другое завещание, по которому то же самое поместье отказал своей матери.

Пока Шарль находился в Париже и рассылал там все новые рекомендательные письма за подписью Мари, последняя писала ему письма, полные страстной любви. Как знак этой любви она послала ему свой портрет, нарисованный молодой обитательницей их дома в Ле Гландье Анной Брэн. Наконец, она попросила свою свекровь испечь маленькие рождественские пирожки, чтобы Шарль в Париже не остался на праздники без домашних сладостей. В письме она сообщила мужу о посылке ему пирожков и написала, что в знак преданности ему она будет есть на праздники такие же пирожки.

Посылка с пирожками была отослана из Ле Гландье 16 декабря, а 18 декабря она была уже у Лафаржа в отеле «Юнивер», Правда, в посылке не было обещанных маленьких пирожков, испеченных матерью Лафаржа, а был лишь один большой пирог, однако Лафарж не обратил на это внимания и съел кусок. Вскоре после этого у него начались судороги, рвота и понос. Целый день он пролежал в постели, подавленный, с ужасной слабостью в конечностях. Поскольку похожие на холеру случаи рвоты с поносом были в те времена обыденным явлением, Лафарж не обратился к врачу. Испорченный, по всей видимости, пирог он выбросил.

Вернувшись 3 января в Ле Гландье, Шарль чувствовал себя все еще слабым и больным. Но он достал в Париже 28 тысяч франков, и мысль о том, что он сможет оплатить самые неотложные долги, помогла ему забыть о недомогании. Мари сердечно встретила его, уложила в постель и угостила дичью и трюфелями. Сразу после еды у него снова началась «парижская болезнь». Его рвало, и он

мучился от ужасных спазм. В ту же ночь вызвали домашнего врача Барду, который признал холеру. У него не вызвало никаких подозрений и то, что Мари попросила его выписать рецепт на мышьяк. Яд был нужен, по ее словам, для уничтожения крыс, которые ночью мешают спать больному.

На следующий день состояние Лафаржа ухудшилось. Судороги икроножных мышц и страшная жажда изводили его, но все, что ему давали пить или есть, вызывало у него рвоту. Все домашние и много родственников собрались возле него: Мари и ее служанка Клементина, мать Лафаржа, его сестры, юная кузина Лафаржа Эмма (единственная из всей семьи, кто встретил Мари с симпатией и даже с восхищением), Анна Брэн, художница, и Дени, секретарь и слуга Шарля. Мари давала больному питье и медикаменты, в особенности лекарство гуммиарабикум, которое она сама якобы охотно употребляла и постоянно носила с собой в маленькой малахитовой шкатулочке. И это ни у кого еще не вызвало подозрений, хотя силы Лафаржа быстро иссякали. 10 января был вызван второй врач — Массена. Он тоже признал в данном случае холеру и прописал для укрепления организма яйца, взбитые с молоком. Когда Мари приготавливала это питье, Анна Брэн заметила, что она взяла из своей малахитовой шкатулочки белый порошок и всыпала его в молоко. На вопрос художницы, что подмешала Мари в лекарство, последовал ответ, что это флердоранжевый сахар. Чуть позже Анна Брэн нашла стакан, из которого больной сделал только один глоток, и заметила белые хлопья, плававшие на поверхности молока.

Ей показалось странным, что сахар не растворился. Движимая пока еще не осознанным подозрением, она показала хлопья доктору Барду. Тот попробовал их на язык, почувствовал какой-то привкус, но беззаботно объяснил, что это, вероятно, известка, упавшая с потолка в стакан с молоком. Однако это объяснение показалось художнице настолько неправдоподобным, что она заперла остатки этого молока в шкаф. С этого момента она наблюдала за Мари, где только могла. Она заметила, что Мари тайком подмешала белый порошок в постный суп, сваренный матерью Лафаржа. Попробовав его, больной вскричал: «О Мари, что ты мне дала? Жжет, как огонь!» Анна Брэн спрятала остатки этого супа и в конце концов сообщила о своих подозрениях матери Лафаржа, его сестрам и его кузине Эмме.

Вечером 12 января у старых стен Ле Гландье бушевал леденящий вихрь. Выли волки. В окна барабанил дождь. Трудно сейчас представить себе то настроение, какое воцарилось в старом доме с момента, когда к опасениям за жизнь больного прибавилось жгучее подозрение, что он оказался жертвой собственной жены. Мать Лафаржа и его сестры столпились возле больного, а кузина Эмма тем временем поспешила к Мари, чтобы сообщить, какое чудовищное подозрение высказано против нее. Недоверие возросло, когда слуга Лафаржа Дени рассказал женщинам, собравшимся в комнате больного, что Мари послала 5 января садовника Альфреда, а 8 января — его самого в Люберсак к аптекарю Эйсартье за мышьяковой отравой для крыс. Альфреду она дала для этого с собой рецепт доктора Барду, у самого же Дени рецепта не было, но ему удалось все же достать в Бриве шестьдесят четыре грана мышьяка. Яд он отдал Мари. Услышав это, мать Лафаржа упала на колени у постели сына, умоляя и заклиная его не принимать больше никакой еды из рук жены.

Единственным, кто в этой атмосфере страха и растерянности, казалось, не потерял самообладания, была Мари Лафарж. С высоко поднятой головой вошла она в комнату больного. Она велела позвать садовника Альфреда. Тот подтвердил, что и мышьяк, купленный им самим, и мышьяк, который Дени раздобыл в Бриве, Мари передала ему для изготовления ядовитой пасты против крыс. Пасту он сделал, а остатки яда находятся пока у него. Недоверие вроде бы рассеялось. Но когда на следующий день, 13 января, сестра Лафаржа Алина нашла белый осадок в стакане со сладкой водой, которую Мари приготовила для больного, оно возникло вновь. В бурю и дождь, после ужасной скачки по разбитой дороге в Ле Гландье в ночь с 13 на 14 января прибыл третий врач — Леспинас. Описание симптомов болезни Лафаржа убедило Леспинаса, что больной отравлен. Только мышьяк, объяснил он, способен вызывать такие симптомы. Но спасти умирающего было уже слишком поздно. Через несколько часов, ранним утром 14 января, Шарль Лафарж скончался.

Неописуемое возбуждение охватило жителей Ле Гландье. И опять-таки лишь один человек сохранял в этой обстановке достоинство и спокойствие — Мари Лафарж. В то время как в округе ширился слух, что она отравила своего супруга, Мари в своей комнате вместе с Клементиной занималась своим туалетом. Она оделась во все черное, разобралась в своих бумагах и... послала своему нотариусу завещание Лафаржа (не ведая, что оно недействительно). Кузина Эмма была единственной из всей семьи, кто искал встречи с Мари и получил доступ в комнату. Раздираемая сомнениями, девушка сообщила ей, что шурин Лафаржа отправился в Брив, дабы заявить на нее мировому судье и приданным ему жандармам. Мари все еще восхищалась ее. Вместе с тем Эмма опасалась, не содержится ли в обвинениях против Мари хотя бы зернышка правды. Улучив момент, она унесла к себе малахитовую шкатулочку Мари, боясь, что в ней хранится мышьяк и обнаружение его отягчит участь Мари. Это было проявлением необдуманного порыва молодости. Одновременно с этим садовник Альфред, охваченный паникой, закопал имевшиеся у него остатки мышьяка в дальнем углу сада.

Таково было положение дел, когда мировой судья Моран прибыл 15 января из Брива в Ле Гландье в сопровождении своего писаря Викана и трех жандармов. Мари Лафарж предстала перед этим дельным человеком, но по сравнению с парижанкой все же наивным провинциалом, в состоянии такого глубокого горя, что поначалу им овладело чувство, будто он имеет дело с несправедливо обвиненной молодой женщиной. С некоторым недоверием выслушивал он обвинения со стороны родных покойного и собирал доказательственный материал, сохраненный Анной Брэн, — яйца, взбитые с молоком,

постный суп, сладкую воду и, наконец, рвотную массу больного, машинально упаковывая все в коробку. Альфред после недолгого допроса указал место, где закопал остатки мышьяка. Больше того, он рассказал теперь, что получал от Мари Лафарж мышьяк для изготовления пасты против крыс не только 5 января, но и в середине декабря — после того, как она побывала в Люберсаке. Впрочем, крысы игнорировали приготовленную для них ядовитую пасту. Ее все еще можно было найти всюду, где она когда-то была положена. Моран велел собрать пасту и послал одного из жандармов в Люберсак допросить аптекаря Эйсартье.

Жандарм возвратился с известиями, заставившими Морана полностью изменить свое отношение к Мари Лафарж. Дело в том, что 12 декабря 1839 г. Мари действительно купила довольно большое количество мышьяка. Но ведь через несколько дней в Париж была отправлена посылка с пирогом, после получения которой Лафарж так внезапно заболел! Более того, 2 января 1840 г. Мари снова побывала в Люберсаке и просила дать ей мышьяк «против крыс». 2 января — то есть за день до возвращения Лафаржа из Парижа!

Заинтригованный Моран вызвал к себе врачей, лечивших Лафаржа. Лишь к полудню 16 января Барду, Массена и Леспинас прибыли наконец в Ле Гландье. Моран поручил им вскрыть труп Лафаржа и выяснить причину смерти. Однако при этом он поразил их заявлением, что узнал от друзей, будто в Париже в последнее время нередко удавалось обнаружить мышьяк химическим путем не только в пище, но и в трупе умершего. Удивительных достижений в этой области достигли парижские профессора Девержи и Орфила. Он осведомился, знают ли господа лекари об этом и в состоянии ли они применить соответствующие химические способы исследования по делу Лафаржа. Было заметно, что Барду, Массена и Леспинас смутились, но слишком велика была их гордость, чтобы признаться в своем неведении. После торопливого совещания трех медиков Леспинас ответил, что они, само собой разумеется, готовы провести в Бриве все необходимые исследования. Они лишь считают, что следует привлечь их коллег Лафоса и Д'Альбея, имеющих большой опыт проведения химических исследований.

Так — в указанный выше час и указанным выше образом — на сцене появилась токсикология, которой предстояло привлечь к себе внимание миллионов людей по обе стороны Атлантики.

## *2. Состояние токсикологии на январь 1840 г. Матье Жозеф Бонавантюр Орфила в Париже. Джеймс Марш и его аппарат.*

Чтобы описать ситуацию, в которой находилось в тот исторический момент то, что называлось «токсикологией», нам следует вернуться немного назад.

«Вырвите яд из-под покрывала тайны, покажите его, и виновная будет повешена!» — воскликнул лет за сто до того Генри Филдинг — человек, создавший в Лондоне учреждение боу-стрит-раннеров (сыщиков при полицейском суде на Боу-стрит). Это восклицание относилось к случаю, когда одна вдова была обвинена своими соседями в том, что отравила своего мужа. Но боу-стрит-раннеры не обнаружили в доме вдовы ни яда, ни доказательств того, что обвиняемая когда-нибудь его приобретала. Оставалось лишь одно — найти следы яда в мертвом теле ее мужа. Однако никто из врачей, к которым обращался Филдинг, не был в состоянии этого сделать.

В те дни как раз минуло тридцать лет с тех пор, как знаменитый нидерландский клиницист Герман Бёрхааве установил, что различные яды, «сгорая или испаряясь», издают столь же различные, специфичные для каждого из них запахи. Поэтому он предложил класть вещества, в которых подзревают наличие яда, на пылающие угли и проверять затем их по запаху. Бёрхааве считается первым из тех, кто попытался решить проблему обнаружения яда химическим способом. Если вообще до него и предпринимались попытки доказать наличие яда, то лишь судебными медиками в ходе производимых ими вскрытий трупов. Эти попытки, однако, были еще далеки от обескураживающих выводов XIX и XX веков о том, что, за редким исключением, нельзя с точностью констатировать отравление на основе одних лишь данных патологоанатомического обследования. Редкие исключения из этого касались только едких ядов, например кислот, вызывающих очевидные разрушения тканей, а также воспалительных ядов (таких, как, например, опасное любовное зелье — порошок «шпанская мушка»), которые приводили к явным изменениям в организме, в частности к разрушению почек.

О мышьяке же всем было известно, что он не имеет особого запаха, и легко может быть подмешан в супы, тесто и напитки. Почти каждый знал также, что симптомы отравления мышьяком мало чем отличаются от симптомов одной из самых распространенных в ту пору болезней — «холера нострас», а у полиции и судей не было средства, чтобы неоспоримо установить, умер ли потерпевший вследствие отравления мышьяком, если только виновный сам не выдавал себя слишком откровенным приобретением яда или если свидетели воочию не наблюдали процесс отравления.

Примерно в 1775 г. принципиальное в этом отношении наблюдение сделал уроженец Штральзунда Карл Вильгельм Шееле, работавший аптекарем в шведском местечке Кёпинг. Шееле установил, что белый мышьяк под воздействием добавленного в него хлора или «царской водки» преобразуется в мышьяковистую кислоту. Если эта кислота приходит в соприкосновение с металлическим цинком, то получается чрезвычайно ядовитый, пахнущий чесноком газ. Тем самым Шееле открыл газообразный мышьяковистый водород, которому вскоре предстояло сыграть решающую роль в токсикологии. Лет через десять Самуэль Ханеман, всемирно известный впоследствии создатель гомеопатии, сделал открытие, что в жидких веществах, где предполагается наличие мышьяка (в том числе — ив содержимом желудка), последний выпадает в виде желтоватого осадка в случае добавления соляной

кислоты и сероводорода. Так сероводород стал необходимым реагентом для обнаружения металлических ядов.

В 1787 г. Иоганн Даниэль Мецгер столкнулся с примечательным явлением. Когда он раскалял на древесном угле вещества, в которых предполагалось наличие мышьяка, и держал над возникающими при этом парами медную пластинку, последняя при наличии мышьяка покрывалась беловатым слоем мышьяковистого ангидрида. Если же наполнить этим ангидридом стеклянную пробирку, добавить в нее древесный уголь и нагревать пробирку до тех пор, пока уголь не воспламенится, то пары мышьяковистого ангидрида при прохождении через уголь снова превращаются в мышьяк, который оседает на верхних, более прохладных участках пробирки в виде черных или черно-коричневых металлических пятен, так называемых бляшек.

Это были первые попытки проникнуть в мир ядов, необъятность которого никто еще не представлял, да и не мог представить. Но один немецкий исследователь — Валентин Розе, ассессор Берлинского медицинского общества, — в 1806 г. предпринял первые шаги по выявлению следов мышьяка в человеческом организме, в частности в кишках и стенках желудка, даже в том случае, когда таких следов в содержимом желудка уже не было, ибо яд был уже «ресорбирован стенками желудка». Розе разрезал на куски желудок отравленного и варил его в дистиллированной воде. Полученную кашичу он многократно фильтровал. Затем обрабатывал ее азотной кислотой, ибо последняя казалась ему способной разрушить «органическую материю», то есть самый желудок, и дать искомую субстанцию яда в чистом виде. При этом Розе с помощью углекислого калия и раствора извести получал осадок, который высушивал и по примеру Иоганна Даниэля Мецгера помещал вместе с древесным углем в пробирку. При наличии в этом осадке мышьяковистого ангидрида на стенках пробирки образовывались в результате длительного накаливания металлические бляшки — признаки мышьяка.

Спустя несколько лет путь развития науки приводит нас из Германии во Францию, где жил человек, завоевавший почетный титул «родоначальника токсикологии», — Матье Жозеф Бонавантюр Орфила, который прославился не только своими опытами и открытиями, но в гораздо большей степени своим вкладом в упорядочение и перепроверку проводившихся в самых разных местах экспериментов. Когда двадцатилетний Орфила опубликовал в 1813 г. первую часть своего двухтомного труда «Трактат о ядах, или Общая токсикология», он привлек к себе внимание врачей, юристов и полицейских, занимавшихся этой проблемой. Его труд был первым произведением международного значения, охватившим все, что было известно в ту пору о ядах.

Орфила родился в 1787 г. на острове Менорка и согласно воле своего отца должен был пойти служить в испанский торговый флот. Но он рано увлекся химией и медициной и обучался поначалу в Валенсии и Барселоне. Проштудировав работы таких ученых, как Лавуазье и Бертолле, он почувствовал вскоре, что превзошел своих испанских учителей, которые все еще провозглашали давно отжившие тезисы о четырех основных элементах мира: огне, земле, воздухе и воде. Его влекло в Париж, где в 1811 г. он стал доктором медицины. Лишенный средств, но влекомый жгучей страстью к тайнам химии, Орфила оборудовал в своей квартире на улице Круа-де-Пти-Шан лабораторию и с головой ушел в изучение ядов. В двадцатичетырехлетнем возрасте он основал частные курсы по химии ядов, которые благодаря проведению на них экспериментов с животными стали своего рода сенсацией. Такую же сенсацию произвела и упомянутая выше его книга, второй том которой появился в 1815 г. В 1817 г. вышел второй его труд — «Элементы прикладной химии в медицине и в искусстве». К 1819 г. Орфила стал уже профессором медицинской (позднее — судебной) химии Парижского университета. В 1821—1823 гг. вышло еще одно его произведение — «Лекции по судебной медицине». С тех пор он считался первым экспертом Европы по ядам, хотя одновременно с этим занимался и судебной медициной, будучи одним из самых великих ее пионеров. Слава Орфила привела его на высокий пост декана медицинского факультета Парижского университета.

Понятно, что существенная часть работ Орфила была посвящена мышьяку. Орфила выискивал и перепроверял все, что было известно о мышьяке во Франции и за ее пределами. Экспериментируя на собаках, он показал, что из желудка и кишечника мышьяк проникает в печень, селезенку, почки и даже в нервы. Следовательно, если в желудке яда уже не было, следы его можно было искать в печени, селезенке и иных органах. Орфила усовершенствовал метод Валентина Розе. Он обрабатывал азотной кислотой ткань человека или животного до тех пор, пока она полностью не обугливалась. Чем полнее удавалось разрушить материю, впитавшую в себя яд, тем легче было доказать наличие в ней мышьяка. Это относилось и к исследованию содержимого желудка и кишечника, где было подчас так много белковых и жировых частиц, что они не давали выделить мышьяк в чистом виде. Метод Ханемана здесь не годился. Сероводород не мог заставить мышьяк выпасть в виде желтого осадка. Более того, некоторые компоненты желчи выпадали под воздействием сероводорода в виде желтого, растворимого в аммиаке осадка, который можно было принять за мышьяк, хотя там его вовсе не было.

Во избежание чудовищных ошибок Орфила требовал, чтобы при доказывании наличия мышьяка каждый желтый осадок, даже если он растворялся в аммиаке, подвергался повторной проверке. Он считал, что говорить о наличии мышьяка можно лишь тогда, когда желтый осадок в нагретой колбе образует металлическую бляшку и когда с помощью реактивов удается доказать, что эта бляшка действительно состоит из мышьяка.

Но как ни велики были достижения Орфила, он постоянно натывался на препоны, которые не мог преодолеть, и на загадки, которые не мог разрешить. Так, у некоторых животных, которых он на глазах



своих учеников отравлял мышьяком, ему, несмотря, на все усилия, не удавалось при вскрытии обнаружить яд нигде. Почему? В чем тут причина? Преобразовывался ли яд в теле? Или же в ряде случаев из-за рвоты и поносов яд перед смертью выделялся из организма так сильно, что оставшиеся незначительные его следы невозможно было обнаружить существующими методами? Значит, надо искать иные методы, с помощью которых можно было бы обнаружить даже самые мельчайшие следы мышьяка.

Очевидно, из-за того, что Орфила был лишь великим компилятором и экспериментатором, но первооткрывателем, в сущности, не являлся, новый метод открыл не он, а малоизвестный английский химик, ставший в отчаянии от своей нищеты пьяницей, служащий Британского королевского арсенала в Вулидже, под Лондоном, Джеймс Марш.

В библиотеке арсенала Марш натолкнулся на труды Карла Вильгельма Шееле (умершего за сорок семь лет до этого аптекаря из города Кёпинга), посвященные процессу возникновения мышьяковистого водорода. Выводы, к которым пришел после их изучения Марш, были слишком просты, чтобы прийти в голову людям типа Орфила. Если в содержащую мышьяк жидкость добавить немного серной или соляной кислоты и сверх того цинк, то в результате химической реакции появится водород, который соединялся с мышьяком (и с любым его соединением), образуя газообразный мышьяковистый водород. Когда его пропускали через горячую трубку, он снова распадался на водород и мышьяк и металлический мышьяк можно было уловить и собрать. Марш велел изготовить для него стеклянную трубку подковообразной формы, один конец которой был открыт, в то время как другой заканчивался острым концом стеклянным соплом. В той части трубки, которая заканчивалась соплом, он укрепил кусочек цинка, а в открытый конец трубки наливал проверяемую жидкость (подозрительный раствор или экстракт содержимого желудка), обогащенную кислотой. Когда жидкость достигала цинка, достаточно было даже невообразимо малых следов мышьяка, чтобы образовался мышьяковистый водород, который улетучивался через сопло. Улетучивавшийся газ Марш поджигал, держа против пламени холодное фарфоровое блюдце. Металлический мышьяк оседал на нем в виде черноватых пятнышек на фарфоре. Этот процесс можно было продолжать до тех пор, пока весь мышьяк не удалится из жидкости и не будет собран в блюдце. Данный способ, как оказалось впоследствии, был настолько чувствительным, что даже количество мышьяка порядка одной тысячной доли миллиграмма, введенное в исследуемую жидкость, было заметно на блюдце невооруженным глазом в виде бляшек.

Когда в октябре 1836 г. Джеймс Марш опубликовал в «Эдинбургском философском журнале» статью о своем открытии, он и сам не предполагал, что изобрел способ, который завоюет всю токсикологию, а в качестве метода обнаружения мышьяка станет попросту непреходящим.

Орфила (при всей склонности к суеверности, честолюбию и тиранству) был достаточно дальновиден, чтобы первым признать значение аппарата Марша. В Париже разгорелось соперничество за открытие все новых тайн мышьяка с помощью этого аппарата. Врачи и химики, такие, как, например, Девержи, Оливье, Баррюэль и Распай, соревновались с Орфила, который первым устранил некоторые трудности, возникшие при исследовании способом Марша экстрактов желудка, печени, селезенки или иных органов. Такого рода органические экстракты, не очищенные от белка, жира и «другой материи», пенились и тем самым препятствовали образованию газа. Орфила дополнил этот метод обугливанием при помощи азотной кислоты, которая разрушала даже самые стойкие органические соединения и обеспечивала исследуемому материалу высочайшую «чистоту».

Всеобщее возбуждение охватило химиков Парижа, когда в 1838 г. обнаружилось, что аппарат Марша в ходе экспериментов с опытными растворами, не содержащими мышьяка, тем не менее показывал его наличие. Распай и Орфила нашли этому объяснение. Они установили, что в цинке и серной кислоте, с которыми они работали, содержалась некоторая примесь мышьяка. Таким путем предупредила о себе огромная распространенность мышьяка повсюду в природе — феномен, которым токсикологи будут продолжать заниматься и через сто лет и который задаст им еще не одну загадку. Стало очевидным, что во избежание роковой ошибки, прежде чем проводить исследование на яд, необходимо проверить на содержание мышьяка применяемые для этого химические реактивы. Бывали и другие драматические ситуации, когда в ходе экспериментов с помощью аппарата Марша мышьяк все чаще обнаруживали там, где меньше всего ожидали. Химик Куэрд исследовал кости покойников, которые, без всякого сомнения, не подвергались отравлению мышьяком, и обнаружил... мышьяк. Он сделал тревожное заявление, что мышьяк (пусть даже в незначительных количествах) так распространен в природе, что в качестве естественного компонента содержится даже в человеческом организме. Орфила вынужден был сразу же подтвердить это заявление, однако говорил, что речь идет о следах мышьяка, обнаруженных лишь в костях, но это не относится к обнаружению яда в других органах. Вместе с тем возник вопрос, является ли мышьяк естественным компонентом костей человека или же он появляется в них вследствие посмертных химических процессов?

Не менее напряженная ситуация возникла и при исследовании земли на содержание мышьяка. Аппарат Марша показывал, что во многих местах земля содержит мышьяк, и прежде всего на некоторых кладбищах Парижа. Но если кладбищенская земля содержит в себе этот яд, то не может ли он из нее проникать в захороненные там трупы и при эксгумации по подозрению в отравлении приводить к опасным ошибочным выводам? Не порождал ли аппарат Марша, изобретенный для изобличения убийц-отравителей, одно заблуждение за другим? Не давал ли он, наконец, убийцам и их адвокатам предлог, с помощью которого они могли бы оспаривать наличие яда в теле их жертв?

Со всей своей энергией и честолюбием Орфила взялся за работу, чтобы внести ясность в эти вопросы. Из больницы Сен-Луи, из парижских моргов доставляли ему его ученики кости умерших, и Орфила находил новые подтверждения тому, о чем говорил Куэрб. Существовало что-то вроде «естественного» мышьяка. Но это не удовлетворяло Орфила. А может быть, это тот мышьяк, которым пациентов, впоследствии умерших в больнице Сен-Луи, лечили от рака или венерических заболеваний? Или покойники при жизни ели хлеб, изготовленный из зерна, которое опрыскивали мышьяком? А может быть, речь идет вовсе не о естественных компонентах человеческого организма, а просто о том, что в природе так много мышьяка, что люди невольно впитывают в себя частицы этого яда и со временем он скапливается у них в костях, не приводя ни к мучениям, ни к смерти от отравления? Орфила раздобыл кости умерших из департамента Сомма, где посевы пшеницы обычно обрабатывались мышьяком, и начал новые, обширные эксперименты. С еще большим пылом он занялся и проблемой кладбищенской земли. Он обнаружил мышьяк в земле кладбища Монпарнас, в земле пашен, на которых пшеница обрабатывалась мышьяковистым ангидридом. Но везде мышьяк превращался в окисленную им известь, нерастворимую в воде и, следовательно, вряд ли способную проникнуть в трупы из влажной почвы кладбищ. Поэтому Орфила пришел к заключению, что мышьяк из кладбищенской земли не может проникнуть в захороненные трупы, тем более если их гробы не повреждены. Он не мог предвидеть, что и более чем через сто лет эта проблема все еще не будет разрешена окончательно, но свое исследование он завершил очень важным для того времени выводом, который доказывает его дальновидность. Перед лицом загадок природы, с которыми мы сталкиваемся повседневно, заявил он, следует рекомендовать в каждом случае исследовать на мышьяк землю вокруг могилы. Если в ней найдут мышьяк, то для решения вопроса о том, мог ли он попасть оттуда в труп, важное значение имеют состояние гроба и возможность соприкосновения трупа с землей, а также величина бляшек мышьяка, появляющихся в воде химического исследования земли и органов покойника. Если бляшка, осевшая из почвы, большая, а осевшая из трупа — маленькая, то нельзя исключить возможность проникновения мышьяка из земли в труп. Только учет всех обстоятельств, а не одних лишь данных химического исследования может обеспечить успех. Таково было состояние токсикологии, когда 16 января 1840 г. следственный судья Моран в Ле Гландье поручил врачам обнаружить тот мышьяк, от которого два дня назад скончался Шарль Лафарж. Настал час, когда изобретению Марша суждено было достичь мировой славы, а токсикологии оказаться в центре внимания мировой общественности.

*3. Первый акт драмы Лафарж: врачи и химики из Брива ищут яд в теле покойного. Арест Мари Лафарж. Процесс в Тулле. Второй акт: мэтр Пайе доказал, что эксперты не знают о существовании аппарата Марша. Новое исследование на яд, проведенное химиками из Лиможа. Аппарат Марша дает отрицательный результат. Третий акт: обвинитель Деку требует проведения совместного исследования тела умершего врачами и химиками из Брива и Лиможа. Торжество «лафаржистов». Вызов Орфила из Парижа. Орфила обнаруживает яд. Не попал ли мышьяк в тело покойного из кладбищенской земли? Вынесение обвинительного приговора Мари Лафарж. Достоверна ли токсикология?*

Не много сообщают хроники об обстоятельствах, при которых доктора Д'Альбей, Массена, Барду, Лафос и Леспинас приступили в Бриве к поискам яда. Но доклад, который они передали следственному судье 22 января 1840 г., освещает эту историю следующим образом.

Доктора ограничились тем, что изъяли из трупа Лафаржа желудок и перевязали его затем с обоих концов толстым шнуром, чтобы не вытекло содержимое. После этого останки покойного были захоронены на Рэйнакском кладбище. Кроме желудка, врачи исследовали и те вещества, которые следственный судья Моран изъял в Ле Гландье. Хотя с 1836 г. прошло четыре года, весть об изобретении Джеймса Марша еще не достигла французской провинции. Все, что почтенным докторам удалось найти в нескольких старых книгах, где речь шла о выявлении мышьяка, сводилось к описанию методов, в основном предложенных много десятилетий назад Ханеманом и Розе.

При добавлении в молоко со взбитыми яйцами, в постный суп и сладкую воду раствора сероводорода образовывался крупный желтый осадок, который растворялся в аммиаке. Следовательно, решили врачи, здесь содержится значительное количество мышьяка. Что касается рвотной массы покойника, то она при добавлении сероводорода приобрела легкую желтую окраску. Из этого был сделан вывод, что количество мышьяка в ней слишком незначительно, чтобы его можно было обнаружить. Часть содержимого желудка и часть измельченного желудка врачи Массена и Леспинас обработали азотной кислотой, добавили раствор сероводорода и получили известный уже нам желтый осадок. Этот осадок они поместили вместе с углем в пробирку и стали ее нагревать.

Доклад врачей об этом эксперименте заканчивался словами: «...произошел взрыв, ибо по неосмотрительности пробирка была герметически закупорена, и мы не смогли поэтому получить никакого результата.» Тем не менее они утверждали, что содержавшаяся в желудке жидкость и сам желудок «показывали мышьяковистую кислоту» и что «смерть Шарля Лафаржа наступила в результате отравления мышьяковистой кислотой». Проверка ядовитой пасты против крыс и мышьяка, спрятанного садовником Альфредом, принесла сюрприз. В обоих случаях вообще не было обнаружено никакого мышьяка; вместо него был тоже белый, но безвредный порошок каустической соды.

У следственного судьи было уже столько оснований подозревать Мари Лафарж, что доклад врачей лишь еще больше убедил его в ее вине. Особое внимание он обратил на тот факт, что изготовленная Альфредом паста против крыс не содержала мышьяка. Не следует ли предположить, что Мари

Лафарж настоящая мышьяк использовала для умерщвления своего мужа, а ничего не подозревавшему садовнику передала для камуфляжа каустическую соду и муку?! Даже если у Морана еще оставались какие-то сомнения, то 24 января они исчезли полностью. В этот день в его руки попала малахитовая шкатулочка, в которой Мари Лафарж якобы хранила безвредный порошок гуммиарабикум. Кузина Лафаржа Эмма после нескольких дней внутренней борьбы с собой решилась передать жандармам шкатулку, которую она в свое время забрала к себе, чтобы защитить обожаемую ею Мари. Леспинас раскалил часть содержимого шкатулки на пылающих углях. Появился резкий чесночный запах. Это убедило Леспинаса, что в шкатулке хранится мышьяк.

25 января в Ле Гландье прибыли жандармы, арестовали Мари и препроводили ее вместе со служанкой Клементиной в Бривскую тюрьму. На следующий день все французские газеты впервые опубликовали обширные сообщения о совершенном в Ле Гландье убийстве путем отравления. Приемные родители Мари, исполненные ужаса, пригласили одного из ведущих парижских адвокатов того времени мэтра Пайе, поручив ему всеми средствами защитить Мари от казавшегося им непостижимым обвинения в убийстве.

Но еще до того, как Пайе и его ассистент Бак приступили к работе, произошла новая неожиданность. Виконт де Леото, прочитав сообщения газет, вспомнил о краже бриллиантов в его замке. Подозрение, выдвинутое тогда в отношении Мари шефом Сюртэ Алларом, не казалось ему теперь столь уж абсурдным. Он потребовал обыскать дом в Ле Гландье, а найти там пропавшие бриллианты не составило особого труда. Поставленная перед этим фактом Мари Лафарж снизошла до признания, что драгоценности хранились у нее. Но, заявила она, виконтесса де Леото сама вверила ей эти бриллианты для продажи, ибо остро нуждалась в деньгах, чтобы откупиться от шантажирующего ее тайного любовника по имени Клаве. Эта история, как оказалось вскоре, была одной из тех выдумок Мари Лафарж, которые уже давно стали ее второй натурой. И уже во время приготовлений к процессу по обвинению ее в отравлении своего мужа Мари в начале июля предстала перед бривским судом по обвинению в краже. Она так убедительно притворилась безвинно преследуемой, что многие газеты приняли ее сторону и обвинили во всем виконтессу де Леото. Суд не поддавался на эти уловки и приговорил Мари за кражу к двум годам тюрьмы. Это событие — по существу второстепенное — привело к тому, что дело Лафарж стало известным далеко за границами Франции и задолго до начала процесса об убийстве, который должен был состояться не в Бриве, а в Тюлле, где все места в гостиницах этого города и его окрестностей были распроданы. Со всей Европы съехались журналисты и любопытные, чтобы посмотреть, как будут судить Мари Лафарж.

3 сентября 1840 г., в нестерпимо жаркий день, рота солдат окружила здание суда, чтобы сдержать людскую толпу. Те, кого впустили в зал, с любопытством пожирала глазами обвиняемую, которая, несмотря на жару, вошла в зал суда во всем черном, держа в руках флакончик с нюхательной солью. На первый взгляд она являла наблюдавшим столь трогательную картину невинности, что зрители разделились на два лагеря, из которых один был убежден в невинности Мари Лафарж еще до того, как началось слушание дела.

Речь представителя обвинения Деку раскрыла большую драму.

Мотивы, побудившие Мари Лафарж к убийству своего мужа, были для него ясны. Прimitивный человек, который еще в Париже произвел на нее столь отталкивающее впечатление, ее муж стал для нее невыносимым бременем, когда она узнала истинное положение хозяйственных дел в Ле Гландье. Если ей не хотелось всю жизнь прозябать в Ле Гландье и отказаться от всех своих гордых замыслов, то она должна была от него освободиться. Уже через несколько дней после приезда она приступила к подготовке убийства. Она разыгрывала перед Лафаржем и его окружением постепенно растущую к нему любовь, чтобы избежать подозрений в будущем. Обоюдное завещание представляло собой ход конем ради захвата Ле Гландье после смерти Шарля, чтобы сделать из него солидное поместье и раздобыть себе затем знатного мужа.

«К счастью,— заключил Деку,— благодаря развитию химической науки расследованию отравлений в самое последнее время была оказана помощь прямо-таки революционного значения. По всей вероятности, обвиняемая не предстала бы перед данным судом, если бы наука удивительным образом не создала возможность устанавливать наличие яда даже там, где до сего дня это для нас исключалось, а именно: в его жертвах, в покойниках». Пришло новое время, закончил Деку, новая пора в расследовании преступлений. Представители этого нового времени — врачи из Брива, знающие химию,— предстанут перед господами судьями и присяжными и помогут восторжествовать справедливости.

Несмотря на эти слова представителя обвинения, дело Лафарж, вероятно, не стало бы еще драматической премьерой токсикологии, если бы и тут случай не сыграл свою роковую роль. Случай же состоял в том, что мэтр Пайе, главный защитник Мари, был одновременно и адвокатом Орфила, прозванного к тому времени в Париже «королем токсикологии».

Пайе очень быстро понял, что против его клиентки имеется много улик, но фактически самая большая опасность состояла в возможности обнаружения яда в теле Шарля Лафаржа. Если судьи и присяжные удостоверятся в наличии яда в теле покойного, тогда Мари почти не на что надеяться. Но если бы удалось поколебать достоверность доказательств наличия яда, Мари, видимо, была бы спасена.

Как только в руках Пайе оказались уточненные данные о химических исследованиях в Бриве, он направился к Орфила за советом. И Орфила дал ему оружие, применить которое на практике так

жаждал теперь Пайе. Орфила было нетрудно это сделать. Разве невежество и поверхностность врачей из Брива не сквозили в каждой строке их заключения? Желтый, растворимый в аммиаке осадок? Орфила продемонстрировал Пайе в своей лаборатории желтые осадки, в которых не было ни малейшего следа мышьяка. Он показал ему, что даже выпадение металлических бляшек в колбах еще ни о чем не говорит, если эти пятна не подвергнуть дальнейшей проверке на мышьяк. В Бриве колба, как известно, взорвалась прежде, чем образовались бляшки мышьяка. Кто же при таких обстоятельствах решится утверждать, что там был мышьяк? Такое утверждение считалось бы ересью даже в ту пору, когда знаменитый аппарат Марша еще не был изобретен. Но ныне, в 1840 г., ничего не зная об аппарате Марша и без его помощи пытаться доказать наличие мышьяка было уже просто наглостью. Позже Орфила в письменной форме изложил свою критику экспертизы, проведенной в Бриве, и предоставил это свое заключение в распоряжение Пайе. Д'Альбей и Массена недолго имели возможность наслаждаться вниманием публики, которая не без легкого содрогания впервые узнала о том, как разрезали желудок Лафаржа и «выделяли» из него яд.

Пайе выслушивал их почти с наслаждением. Едва они кончили давать показания, как он вскочил и забросал их, совершенно обескураженных, вопросами. Знают ли они об Орфила? Разумеется, они читали его работы. «Ах, так,— вскричал Пайе,— какие же именно работы? Уж не те ли, что вышли более двадцати лет назад? А не заметили ли господа врачи, что за это время произошла настоящая революция? И слышали ли господа хоть раз о Джеймсе Марше, да-да — о Джеймсе Марше и его аппарате для обнаружения мышьяка?»

Судьи, присяжные и публика с удивлением взирали, как побледневший Массена признался, что фамилия Марша ему неизвестна. И тут Пайе огласил, подчеркивая каждое слово, заключение Орфила, в котором врачи из Брива обвинялись в невежестве и небрежности. Пайе потребовал вызвать в Тюль Орфила.

На какой-то момент воцарилась гнетущая тишина, затем раздались оглушительные аплодисменты.

Председатель суда де Барни с большим трудом восстановил порядок. Случилось то, о чем ранее говорил обвинитель: проблема научных методов обнаружения яда оказалась в центре всего процесса, правда иначе, чем ожидал сам Деку. Бледный от волнения, Деку предложил сделать перерыв в судебном заседании. Когда же оно возобновилось, Деку уже овладел собой. У обвинения, заявил он, так мало сомнений в вине Мари Лафарж, что оно полностью согласно на проведение нового химического исследования на основе методов Орфила и Марша. Но вместе с тем обвинение не считает необходимым беспокоить ученого из Парижа. Он, Деку, позволил себе вызвать из Лиможа обоих аптекарей Дюбуа (отца и сына) и химика Дюпюитрена. Все трое готовы немедленно приступить к исследованию по новым методам.

Пайе тщетно протестовал, снова и снова требуя пригласить Орфила, поскольку провинция уже в достаточной мере доказала свою несостоятельность. Суд тем не менее удовлетворил ходатайство обвинителя. Оба Дюбуа и Дюпюитрен были приглашены, и им было поручено производство новых анализов. «Хорошо же,— воскликнул Пайе,— тогда любопытно было бы узнать, возвратили ли господа Д'Альбей и Массена хотя бы часть переданного им на исследование материала, как того требует во всех случаях исследований на яд Орфила, чтобы оставить возможность для проведения последующих анализов? Вероятно, они все израсходовали?»

Массена, в котором еще бушевало раздражение из-за понесенного поражения, возмущенно протестовал против нападок Пайе. Он велел принести в зал суда ящик, в котором находились все материалы, как «проверенные», так и «оставленные для последующих проверок». Но к вящему удовлетворению Пайе, Массена вынужден был признаться, что он не в состоянии показать, в каких сосудах находятся еще не использованные части содержимого желудка. Он был вынужден призвать на помощь Барду и Леспинаса. Лишь после долгих пререканий они смогли передать обоим Дюбуа и Дюпюитрену соответствующие сосуды. После чего эксперты из Лиможа, не теряя ни минуты, отправились восвояси. Процесс продолжался. Но было ясно, что сейчас внимание всех сосредоточилось на дальнейшем ходе химических исследований. Публика с нетерпением ждала результатов новых экспериментов.

Наконец, 5 сентября оба Дюбуа и Дюпюитрен вернулись в Тюль. Когда они вошли в зал суда, никто еще не подозревал, что они, как говорилось в одном газетном репортаже, «принесли с собой сенсацию». Старый Дюбуа, наряженный в несколько провинциальную черную пару, извлек урок из провала бривских врачей. В качестве первого шага он передал суду половину отданного им на исследование материала «на случай, если понадобятся новые эксперименты». Затем он огласил заключение. В Лиможе, как явствовало из него, сосредоточились на исследовании желудка и его содержимого. Дюбуа прочел довольно длинную лекцию об аппарате Марша, чью потрясающую чувствительность он восхвалял (при этом он, правда, умолчал, что он и его коллеги сами построили такой аппарат по описанию и пользовались им в первый раз, то есть не имея даже малейшего опыта).

После такого вступления Дюбуа с торжественным, многообещающим лицом обратился к присяжным. «Мы,— возвестил он,— применили многие виды анализов, прежде всего те, которые указываются в работах господина Орфила». Он описал затем, как они обугливали исследуемую ткань, точно по рецепту Орфила получали экстракты и помещали их в аппарат Марша. Затем торжественным голосом он продолжил: «Хотя мы с величайшим вниманием исследовали все до мельчайших деталей, мы тем не менее не добились положительного результата...» Они не достигли положительного результата, хотя экстракты желудка и его содержимого не меньше часа обрабатывались в аппарате

Марша, а сам аппарат беспрестанно охватывало огнем. «В итоге,— подчеркнул Дюбуа,— выяснилось, что предложенный нам для исследования материал не содержит даже малой частицы мышьяка!»

В судебном протоколе об этом моменте сказано так: «Эти заключительные выводы вызвали в аудитории возбуждение, не поддающееся описанию... Мадам Лафарж, молитвенно сложив руки, воздела глаза к небу». Нарочные с вестью о результатах исследования поспешили на ближайший телеграф в Бордо. Токсикология стала, бесспорно, главным объектом газетных заголовков. Пайе «плакал слезами триумфатора».

Однако торжествовать Пайе было еще рано. Для обвинителя поражение было, конечно, неожиданным, но в дни, предшествовавшие заседанию суда, он потратил немало усилий на ознакомление с трудами Орфила и Девержи, чтобы быть во всеоружии. Он знал о том, что при некоторых случаях отравления мышьяком яд удается обнаружить не в желудке, а в печени и других органах. И прежде чем Пайе, охваченный победным настроением, сообразил, в чем дело, Деку несколькими вопросами вовлек старого Дюбуа в спор с проводившими первое исследование экспертами из Брива, чья профессиональная гордость во второй раз была задета заключением Дюбуа. Некоторые реплики Дюбуа раздражали Массена, и наоборот. Это оказалось для обвинителя достаточным поводом, чтобы воскликнуть: «Мы ищем здесь истину, а не удовлетворения самолюбия. Наука нам нужна исключительно в целях правосудия...» Известно ли экспертам, спросил он далее, что в Париже, не обнаружив яда в желудке и его содержимом, ищут его затем в печени и других органах? Независимо от того, известен был этот факт Массена и Дюбуа или нет, ни один из них не был готов в этом признаться. Поэтому, когда Деку с мастерством психолога предложил, чтобы эксперты из Брива и из Лиможа вместе поработали над исследованием других органов Шарля Лафаржа и тем самым предприняли третью попытку отыскать истину, те тут же согласились. Как заявил Деку, он все еще верит, что они в состоянии эту истину найти и что нет нужды обращаться за помощью в Париж. Правда, для этого надо было бы эксгумировать труп Лафаржа, изъять все еще не проверенные органы и передать их экспертам.

Пайе попытался воспрепятствовать обвинителю, но было слишком поздно. «К чему нужна новая экспертиза?»— возражал он и пытался убедить суд, что результаты первого и второго экспериментов лишь внешне противоречат друг другу. Если бы, мол, у врачей из Брива не взорвалась колба, они бы, без сомнения, подобно господам из Лиможа, тоже установили, что никакого мышьяка нет. Однако аргументы Пайе произвели обратное действие, и председатель суда принял решение в пользу ходатайства Деку.

«Лавина новых наук,— писал в тот день корреспондент из Парижа,— пришла в движение. Она не остановится до тех пор, пока истина не выйдет наружу...»

Пока эксперты отправились в Ле Гландье, процесс в буквальном смысле слова медленно пополз дальше. Суд пытался выяснить, каким образом отравленный пирог попал в посылку, отправленную в Париж, и почему в малахитовой шкатулке подсудимой оказался мышьяк. Мари Лафарж заверяла суд в своей невиновности, но не могла дать никакого объяснения насчет того, каким образом, если только не благодаря ей самой, отравленный пирог попал в Париж, а мышьяк — в ее малахитовую шкатулку. Бурные же аплодисменты она сорвала тогда, когда голосом страдальцы уверяла, что, конечно, у нее на этот счет есть некоторые подозрения, но она их не станет высказывать, ибо не хочет никому причинять тех страданий, которые приходится переносить ей самой, после того как ее обвинили по чьему-то недомыслию. Но в принципе все ожидали только исхода третьей экспертизы.

Врачи из Брива тоже извлекли урок из своего прошлого опыта. Каждый орган, изъятый из трупа Шарля Лафаржа, они укладывали на этот раз в «чистые сосуды». Они спешно изучили самую последнюю публикацию Орфила и не забыли взять пробы земли с кладбища и описать состояние гроба.

8 сентября они вернулись в Тюль и внесли в зал два обвязанных веревкой ящика, чтобы «суд убедился в надлежащем состоянии материалов». Судебный протокол отмечал: «Стол с ящиками окружили дамы, и даже самым мужественным из них лишь едва удалось скрыть ужас, охвативший их в момент вскрытия ящиков, но непреодолимое любопытство все же победило. По ходатайству экспертов было решено, что химические анализы частично будут проводиться за пределами дворца юстиции — в ротонде. Оба входа в нее находятся под охраной...» Результаты анализов ожидалось 9 сентября.

Еще день и ночь! А что, если новые эксперименты подтвердят выводы аптекарей из Лиможа: нет никакого мышьяка? Значит, Мари Лафарж признают невиновной? Все еще пекло солнце, облака пыли стояли на улицах Тюлля... Наконец утром 9 сентября в зале появились врачи и аптекари, предводительствуемые Дюпюитреном. «Глубокая тишина,— отмечалось в судебном протоколе,— обостряла внимание присутствующих. Все взоры были устремлены на Мари Лафарж, которая сохраняла полнейшее спокойствие. Месье Дюпюитрен огласил заключение...»

Объединенными силами врачи и химики обуглили печень Лафаржа и осуществили все необходимое для того, чтобы получить жидкий экстракт. Дюпюитрен подолгу останавливался на описании отдельных процессов. Но затем пришла очередь фразы, которая всколыхнула представителей обвинения, судей, присяжных, защитников и зрителей: «Мы поместили указанную жидкость в аппарат Марша, но не обнаружили никаких следов мышьяка...»

Обратимся к судебному протоколу, чтобы описать воздействие этой фразы: «Всеобщее волнение... длительные аплодисменты. Мадам Лафарж улыбаясь склонилась к своему защитнику, который владел собой хуже, чем она сама; его лицо было мокрым от слез».

После этого Дюпюитрен и его коллеги подвергли части селезенки, легких, сердца, кишечника и мозга обычным манипуляциям и поместили в аппарат Марша. Дюпюитрен повторил: «Мы не нашли никаких следов мышьяка», а Массена добавил: «Сегодня я работал по новому методу с аппаратом Марша, и, подобно моим коллегам, полностью убедился, что яда нет...» Ввиду таких результатов эксперты вообще отказались от исследования проб земли на яд. Пайе вскричал с неопишным удовлетворением: «Итак, весь труп подвергся анализу, и не найдено ни одного атома мышьяка. Ни одного атома мышьяка! К этому итогу можно было бы прийти много месяцев назад, и никогда бы не было процесса Лафарж». Новость сразу же стала известна на улице. Раздались крики одобрения. На телеграф помчались новые нарочные. Все, исключая Пайе, находились под таким сильным впечатлением от новых результатов, что совсем забыли, по-видимому, о яде, который при первой экспертизе был обнаружен в напитках, которые Мари Лафарж приготовила своему мужу. Но представитель обвинения об этом яде не забыл. И в тот момент, когда его поражение уже казалось свершившимся фактом, он вернулся к данному вопросу. Было ли это вызвано желанием хоть чем-то прикрыть свое отступление или же убежденностью в своей правоте и упорной, непоколебимой верой в виновность подсудимой, но он потребовал, чтобы напитки и содержимое малахитовой шкатулки Мари Лафарж тоже «подверглись эксперименту с помощью аппарата Марша». Пайе согласился на это с легким сердцем. Только что пережитый триумф привел его в состояние эйфории, и он не сомневался, что обвинитель движется навстречу полному поражению. Ему казалось невозможным, чтобы эксперты из Брива, только что признавшие свои ошибки, ошиблись снова при анализе напитков и содержимого малахитовой шкатулки. Они ведь уже находили мышьяк там, где его не было! Так как для нового исследования не требовалось таких длительных приготовлений, как для анализов органов, то оно могло быть проведено за несколько часов. Оба Дюбуа принялись за работу. Судебное разбирательство на это время было прервано, а в протоколе отмечено следующее: «Очень растроганная мадам Лафарж удалилась с очаровательной улыбкой, как бы желая поблагодарить собравшихся за столь явную симпатию, проявленную по отношению к ней.»

Опять последовала короткая фаза напряженного ожидания. Но эта напряженность не шла ни в какое сравнение с напряженностью предыдущих дней. Какое-то подобие опьянения охватило «лафаржистов». После обеда суд собрался снова, чтобы заслушать экспертов.

Они вошли в зал с необычайно мрачными лицами. Дюбуа, самый старший из них, тянул время, не приступая к докладу. Затем он заговорил неуверенным голосом, и то, о чем он сказал, позволило понять, откуда у него такая неуверенность: он и его коллеги всюду обнаружили мышьяковистый ангидрид. В одном лишь взбитом молоке с яйцами его было столько, что, как подавленно признал Дюбуа, им «можно было бы отравить по меньшей мере десять человек».

Представитель обвинения стремительно вскочил со своего стула. «Этот результат,— воскликнул он,— доказывает правильность моей настойчивости!» Первые же «лафаржисты», к которым вернулось хладнокровие, встретили его слова враждебными выкриками. Но Деку не дал сбить себя с толку. Он снова чувствовал почву под ногами и продолжал: «Я остаюсь при своем убеждении, что эта женщина убила своего супруга». Но так как научный путь исследования привел к противоречивым результатам, сказал он, то суд обязан теперь использовать последнюю возможность для установления истины. И он потребовал пригласить из Парижа Орфила и предложить ему дать окончательное заключение. Защита, мол, сама много раз мучительно добивалась привлечения Орфила к делу, так что теперь она не будет, видимо, возражать против его вызова.

Пайе и вправду ничего не оставалось, как согласиться. Но сделал он это в твердом убеждении, что Орфила, чьим методам последовали в конце концов эксперты из Брива и Лиможа, не обнаружившие следов мышьяка в трупе, тоже придет к негативным результатам. Мало того, он надеялся, что Орфила даже скорректирует необъяснимые данные относительно яда в напитках. В общей суматохе конный нарочный покинул Тюль. Он торопился в Бордо, чтобы оттуда пригласить по телеграфу Орфила прибыть в Тюль. 12 сентября Орфила сообщил, что приедет на следующий день.

Он действительно приехал утром 13 сентября экспрессом. Орфила потребовал, чтобы все эксперты, участвовавшие до него в деле Лафарж, присутствовали при его экспериментах на правах свидетелей. Кроме того, он принял материал исследования и реактивы из рук прежних экспертов, чтобы не возникло подозрение будто он привез с собой из Парижа реактивы, содержащие мышьяк. Во время его работы в одном из залов Дворца юстиции все здание было заперто и охранялось стражей.

Всю ночь с 13 на 14 сентября Орфила проводил эксперименты. Ни одна весть об их ходе не просочилась наружу. Напряжение выливалось даже в протесты перед зданием суда. Наконец к вечеру 14 сентября Орфила появился в судебном зале. Оба Дюбуа, Дюпюитрен и врачи из Брива следовали за ним с опущенными головами.

«Мы пришли,— заявил Орфила,— отчитаться... перед судом». Затем после некоторых предварительных замечаний последовали фразы, заставившие застыть всех в зале: «Я докажу, во-первых, что в теле Лафаржа есть мышьяк; во-вторых, что этот мышьяк не мог попасть в него ни из реактивов, которыми мы пользовались, ни из земли, окружавшей гроб; в-третьих, что найденный нами мышьяк не относится и к тем частицам мышьяка, которые являются естественными компонентами человеческого организма...»

Пайе схватился за голову, просто не в силах постичь, что этот смертельный удар нанес ему Орфила — «его» Орфила. Лишь с трудом воспринимал он дальнейшие слова. Орфила превратил все, что еще оставалось от желудка и его содержимого, в экстракт и поместил его в аппарат Марша. Через

короткий промежуток времени стали четко видны бляшки мышьяка. Проба с окисью серебра показала, что налицо действительно мышьяк. Следующим был исследован экстракт, приготовленный из всех еще сохранившихся частей остальных органов — от печени до мозга. На этот раз аппарат Марша показал незначительное число бляшек, но состояли они, без сомнения, из мышьяка. Наконец, Орфила произвел обугливание с помощью азотной кислоты всех остатков, образовавшихся в фильтрах при изготовлении предыдущих экстрактов. Из полученного при этом нового экстракта ему опять удалось получить мышьяк, притом в двенадцать раз больше, чем при предыдущих экспериментах.

Исследование проб почвы не привело к обнаружению мышьяка, так что последний никак не мог попасть в труп из кладбищенской земли. А поскольку естественно содержащийся в человеческом организме мышьяк может быть обнаружен лишь в костях, но не в других органах, то он, как заявил Орфила, никакой роли в деле Лафарж не играет.

В заключение Орфила коснулся результатов, полученных до него врачами и аптекарями из Брива и Лиможа. Что касается первой экспертизы, то она проводилась устаревшими методами. Аппарат же Марша, примененный при следующей экспертизе, является настолько чувствительным прибором, что неопытные лица вначале нередко получают на нем отрицательные результаты. Ведь достаточно, как это случилось у его предшественников, слишком резко зажечь пламя под форсункой, чтобы мышьяк не осел, а улетучился оттуда в виде газа.

Председатель суда де Барни задал единственный вопрос: считает ли Орфила, что размер обнаруженных им бляшек мышьяка достаточен для умерщвления человека? Орфила ответил, что на этот вопрос всегда следует отвечать только с учетом всех иных обстоятельств — симптомов заболевания, факта покупки яда и наличия отравленных напитков. Во всяком случае, при таком подходе ответить на него было бы легче.

Было около семи часов вечера, когда Орфила покинул зал. Де Барни опасался нападений на Орфила «лафаржистов» и поэтому приказал нескольким жандармам охранять его вплоть до отъезда в Париж. Однако шок, вызванный показаниями Орфила, произвел на всех его противников парализующее действие. В судебном протоколе отмечалось: «Такое новое и губительное развитие этой драматической истории, видимо, повергло всех присутствующих в глубокое изумление». Пайе был не в состоянии дать какие-либо объяснения тому, что произошло. Мари Лафарж впервые потеряла самообладание: ее удалось под ободряющие возгласы публики отвести назад в тюрьму, но там силы совсем оставили ее, так что процесс пришлось прервать на два дня.

Поскольку Пайе считал бессмысленным апеллировать еще к каким-нибудь экспертам, чтобы посеять сомнение в выводах Орфила, которого он сам же расхваливал как самого большого авторитета, то местный адвокат Лашо, помогавший Пайе в качестве второго ассистента, спешно, по собственному почину послал из нежного сострадания к Мари Лафарж нарочного в Париж. Он просил Франсуа Распая, который был не только химиком, но и политиком, часто скрещивавшим как либерал клинки с консерватором Орфила и не избегавшим дискуссий с «королем токсикологии», немедленно приехать в Тюль. Это был бесполезный акт. Распай, правда, откликнулся на призыв, но, когда он выехал из Парижа, шла уже заключительная фаза процесса.

Пайе в отчаянной защитительной речи пытался доказать, будто Мари Лафарж настолько благородная натура, что в ее душе не могла зародиться мысль об убийстве. Пока с улицы в зал доносились неистовые требования дожидаться приезда из Парижа Распая, судьи и присяжные вечером 19 сентября удалились для совещания. Через час присяжные признали Мари Лафарж виновной, а за полчаса до полуночи суд вынес приговор, гласивший: «Пожизненная каторга».

Как раз в это время в Тюль прибыл Распай.

Его ожидала толпа «лафаржистов». Они угрожали нарочному расправиться с ним за то, что тот слишком поздно доставил Распая. Самому Распаю не оставалось ничего другого, как осмотреть фарфоровую тарелку с бляшками мышьяка, которую ему с готовностью показали, и вернуться назад в Париж, не оказав никакого влияния на судьбу Мари Лафарж.

Король Луи-Филипп заменил ей каторгу пожизненным тюремным заключением. В октябре 1841 г. она была переведена в тюрьму Монпелье. Там она пробыла десять лет и написала мемуары. Наконец ввиду тяжелого легочного заболевания она была выпущена на свободу, а через несколько месяцев умерла, до последнего вздоха настаивая на своей невинности. Между тем Бак, ассистент ее защитника Пайе, долгое время сам веривший в ее невинность и делавший все, чтобы ее спасти, бросив после этого ретроспективный взгляд на драму Мари Лафарж, заявил: «Думайте о ней так плохо, как только можете. Но даже и тогда, вероятно, это не будет для нее чересчур».

В первые годы после процесса далеко не все верили в объективность приговора. Борьба между «лафаржистами» и «антилафаржистами» продолжала бушевать. Во Франции и в различных странах Европы были опубликованы многочисленные памфлеты и книги. Их заглавия свидетельствовали, с какой ожесточенностью противники сталкивались между собой. У одних значилось: «Ловкая похитительница бриллиантов и подлая отравительница», у других: «Мари Лафарж невиновна».

Так как суть судебного процесса были доказательства наличия или отсутствия яда и новая наука токсикология, то естественно, что они оказались и в центре последующей борьбы. Там, где в ходе процесса их значение не дошло до сознания общественности, они привлекли к себе внимание именно благодаря этой борьбе. В дни великих поисков неизвестного и неразведанного, чем как раз и была отмечена первая половина XIX в., взоры многих врачей, химиков и фармацевтов обратились к новой, пока еще такой таинственной области, ставшей ареной жарких споров,— к науке о ядах. Молодые

химики устремились в Париж, чтобы стать учениками Орфила и других французских токсикологов. Наступил век научной судебной токсикологии.

*4. Открытие ядовитых растительных алкалоидов. От морфия до атропина. 1850 г.— первые реактивы, помогающие в обнаружении алкалоидов. Скептицизм Орфила.*

В ту пору, когда широкое развитие судебной токсикологии только начиналось, исследователи ядов уже в какой-то степени почувствовали неумолимость закона, которому эта наука подчинена (пожалуй, еще больше, чем судебная медицина) и останется подчинена даже спустя столетие. Они научились понимать, что хотя каждый шаг вперед приносил успех и проливал свет на неразгаданные ранее тайны, но за то время, пока они раскрывали загадку одной группы ядов, их собственные учителя — естественные науки открывали все новые яды либо даже создавали их.

Еще Орфила, исследуя в основном металлические и минеральные яды, обратил внимание на некоторые растительные яды, известные человечеству если не несколько тысячелетий, то по крайней мере несколько веков. Но пока шла борьба за разработку методов обнаружения мышьяка и (примерно в то же самое время) обнаружения сурьмы, свинца, ртути, фосфора, серы и многих других металломинеральных ядов, которая привела к эпохальным успехам, небольшая вначале группа известных растительных ядов разрослась до размеров огромного, окутанного тайной мира.

Начало изучению этих ядов положил немецкий аптекарь Зертюнер, когда в 1803 г. выделил из опиума морфий. В последующие десятилетия естествоиспытатели и фармацевты выделяли — в первую очередь из экзотических растений — постоянно растущее число ядов. Так как эти яды имели единый для всех них базисный характер — были подобны щелочам, то они получили общее название алкалоидов. Все растительные алкалоиды оказывают воздействие на нервную систему человека и животных: в малых дозах действуют как лекарство, в более значительных — как смертельный яд. В 1818 г. Каванту и Пелетье выделили из рвотного ореха смертоносный стрихнин. В 1820 г. Десос нашел хинин в коре хинного дерева, а Рунге — кофеин в кофе. В 1826 г. Гизекке открыл кониин в болиголове. В 1828 г. Поссель и Райман выделили никотин из табака, а Майн в 1831 г. получил атропин из белладонны. Своего открытия еще ждали примерно две тысячи различных растительных алкалоидов — от кокаина, гиосциамин, гиосцина и колхицина до аконитина. Прошло некоторое время, пока первые алкалоиды пробили себе дорогу из небольших еще лабораторий и кабинетов ученых к врачам, химикам и аптекарям, а затем и к более широкому кругу людей. Само собой получилось так, что поначалу не только их целебными, но и ядовитыми свойствами воспользовались именно врачи. Но довольно скоро эти яды оказались и совсем в других руках, что повлекло за собой постоянный рост числа совершаемых при их помощи убийств и самоубийств. Однако каждое убийство и самоубийство лишней раз доказывало, что растительные яды приводят к смерти, не оставляя, в отличие от мышьяка и других металломинеральных ядов, никаких следов в организме умершего, которые можно было бы обнаружить.

Правда, к 1850 г. токсикологам удалось найти некоторые химические реактивы, с помощью которых можно было доказать наличие алкалоидов, если они были в виде чистого вещества или относительно «чистых растворов». Дубильная кислота, сулема и другие реактивы образовывали в таких растворах осадки или вызывали некоторое их помутнение. После большого числа опытов были открыты реактивы, вызывающие в присутствии алкалоидов характерные изменения окраски. Стоило, например, добавить несколько капель азотной кислоты в раствор морфия, как он тотчас же окрашивался в красный цвет. Но где и когда при подозрительных случаях смерти можно было встретить в чистом виде вещество примененного для убийства растительного яда? Где и когда обнаруживали этот яд в напитках или им подобных растворах? Почти всегда растительные алкалоиды оказывались спрятанными глубоко в теле мертвеца, «утопленными» в его органах, в «животной материи», как часто говаривал Орфила. И всякий раз снова специалисты сталкивались с невозможностью выделить из этой материи растительные яды, что удавалось сделать с мышьяком и другими металломинеральными ядами. Если разрушали «животную материю», подобно тому как это делали, скажем, с мышьяком, то вместе с ней разрушались и растительные алкалоиды.

Еще в 1847 г. стареющий Орфила после бесчисленных экспериментов на животных, которым были введены растительные алкалоиды, жаловался, что, видимо, никогда нельзя будет разгадать тайну смерти тех, кто стал жертвой растительных ядов. Он не мог тогда знать, что лишь три года отделяют его и его современников от открытия, которое революционизирует токсикологию еще больше, чем аппарат Марша, и тем самым приобретает непреходящее значение.

*5. 1850 г.— убийство, совершенное Бокармэ, и открытие способа обнаружения растительных алкалоидов. Туманные обстоятельства смерти Гюстава Фуньи. Следственный судья из Монса едет в Брюссель. Жан Сервэ Стас открывает метод выделения из человеческого организма алкалоидов. 1851 г.— Стас доказывает, что Гюстав Фуньи был отравлен растительным алкалоидом — никотином. Сенсационный процесс Бокармэ. Признание вины и приговор.*

Вечером 21 ноября 1850 г. к пастору общины Бюри, расположенной между бельгийскими городами Моне и Турнэ, явилась необычная группа посетителей — три девушки и один молодой человек. Пастор узнал их сразу же, как только на них, робких и взволнованных, упал свет его лампы. Это были кучер Жиль, горничная Эммеранс Брикур и две няни — Жюстина Тибо и Виржиния Шевалье. Все они принадлежали к прислуге близлежащего замка Битремон. Мучимые угрызениями совести, они пришли



к пастору за советом. Накануне, 20 ноября после полудня, в старом, защищенном стенами замке произошли напугавшие их всех события.

То, что поведала Эммеранс Брикур, говоря от имени всех, было довольно-таки необычно — необычно даже для замка Битремон, обитатели которого уже давно считались в округе образчиками беспутной жизни. Многочисленные окрестные жители недаром верили в рассказы о том, что ныне едва достигший тридцати лет хозяин замка граф Ипполит Визар де Бокармэ в юности был вскормлен львицей и вместе с ее молоком к нему перешла вся звериная дикость кормилицы.

Бокармэ был сыном нидерландского наместника на Яве и его жены-бельгийки. Родился он в открытом море, на борту фрегата «Эурибус Маринус», когда тот пробивался сквозь шторм в Восточную Азию. Последовавшее затем пребывание в Соединенных Штатах, где его отец занимался разведением табака и охотой, привело к тому, что он порядком одичал. По возвращении в Старый Свет он с большим трудом научился читать и писать. Но в конце концов молодой Бокармэ заинтересовался естественными науками, сельским хозяйством и взял в свои руки управление замком Битремон.

Чтобы улучшить свое материальное положение, Бокармэ в 1843 г. женился на Лидии Фуньи, располагавшей, по его предположениям, большими денежными средствами. Отец Лидии — аптекарь в Перувелье — был эгоистичным неудачником, который обоих своих детей — дочь Лидию и болезненного сына Гюстава — воспитал в «уважении к высшему обществу», в особенности к благородным титулам. Лишь после свадьбы графа Бокармэ с Лидией выяснилось, что состояние Фуньи было в значительной мере переоценено. Новоиспеченная графиня обладала только ежегодной рентой в 2000 франков, которых заведомо не хватало для чрезмерных запросов молодой графской четы.

Через несколько лет хозяйство замка пришло в упадок, а дикие кутежи, оргии, охотничьи забавы и целая толпа челяди породили все возрастающее бремя долгов. Раздоры между графом и графиней сменялись приступами безумной страсти, а затем вспыхивали вновь. Правда, после смерти старика Фуньи рента графини поднялась до 5 тыс. франков в год, но и от этого было не больше толку, чем от капель воды, пролитых на раскаленный камень. Только кое-какие доходы от поместья давали возможность покрывать самые срочные долги. Но в 1849 г. и эта возможность была исчерпана. Положение стало настолько отчаянным, что Бокармэ занимал деньги у прислуги. Последнюю свою надежду графская чета возлагала на смерть брата Лидии Гюстава, которому в свое время досталась основная часть наследства отца: если он умрет холостым, наследницей его состояния станет графиня.

В свое время Гюставу ампутировали голень, и он продолжал тяжело болеть. Передвигаться он мог только на костылях. Поэтому расчеты на его быстрый конец были небеспочвенными. Но весной 1850 г. вдруг распространился слух, что Гюстав собирается жениться. И в самом деле, оказалось, что он купил у обедневшей дворянской семьи замок Гранмец и помолвлен с его владелицей мадемуазель де Дюдзеш. К началу ноября стало совершенно ясно, что вот-вот состоится их бракосочетание — и тем самым крах всех надежд супругов Бокармэ заполучить состояние Гюстава Фуньи.

Но в тот вечер 21 ноября, когда пастор из Бюри слушал рассказ Эммеранс Брикур о невероятных и ужасных событиях, Гюстава Фуньи уже более двадцати четырех часов не волновала предстоящая свадьба. Ему было не до женитьбы — он был мертв.

Со второй половины 20 ноября голый труп его лежал в комнате Эммеранс, с порезами на щеках и сожженным до черноты ртом.

История, поведанная Эммеранс, выглядела следующим образом: утром 20 ноября посыльный известил супругов Бокармэ, что к обеду в замок прибудет Гюстав, дабы сообщить родственникам о своей предстоящей свадьбе. После этого произошли несколько необычные события. Графских детей, которые обычно вместе с бонной обедали в большой столовой, в этот день накормили на кухне. По прибытии Гюстава графиня сама подавала блюда на стол. Вскоре после раннего в эту пору наступления темноты до Эммеранс из столовой донесся какой-то шум — как будто кто-то свалился на пол. Вслед за этим раздался приглушенный вскрик Гюстава Фуньи: «Ах-ах, пардон, Ипполит...» Эммеранс поспешила в столовую, но при входе в нее столкнулась с графиней, которая быстро закрыла за собой дверь. Графиня побежала на кухню и вернулась в зал с сосудами, полными горячей воды. И сразу же стала звать на помощь Эммеранс и кучера Жилия. «Гюставу вдруг стало плохо,— объясняла она,— идите, помогите нам. По-моему, он мертв. Его хватил удар».

Слуги застали Гюстава лежащим на полу столовой без признаков жизни. Граф Бокармэ, напротив, находился в состоянии чрезвычайного возбуждения. Он вымыл свои руки, которые были в крови. Затем велел Жилию принести из особой бочки в подвале винный уксус и снять одежду с умершего. Стаканами лил он уксус в рот Гюстава и распорядился, чтобы все его тело тоже полили уксусом. Графиня отнесла одежду брата в домашнюю прачечную и бросила ее в кипящую мыльную воду. Все это время от Жилия требовали, чтобы он снова и снова поливал покойника винным уксусом. Позже Жиль перенес труп в комнату Эммеранс и положил на ее кровать.

Полночи графиня занималась тем, что с мылом мыла пол в столовой — в том месте, где умер Гюстав; она также помыла, а затем сожгла его костыли. Ранним утром появился граф с ножом и принялся скоблить доски пола. Эта возня продолжалась до полудня. Лишь затем совершенно обессиленная графская чета улеглась в постели, а слуги, собравшись с духом, отправились в Бюри. И вот они здесь и спрашивают пастора: «Ради Христа, скажите, что нам делать?»

К большому облегчению пастора, ему не пришлось отвечать на этот вопрос. Не успела Эммеранс закончить свой рассказ, как появился общинный писарь и сообщил, что следственный судья из Турнэ

обещал приехать завтра. До Турнэ, видимо, дошли слухи, что Гюстав Фуньи умер насильственной смертью. Правда, следственный судья не верил им, но решил исполнить свой долг и провести быстрое расследование.

Под вечер 22 ноября в Бюри прибыл следственный судья Эгебэр с тремя жандармами, хирургами Марузе, Зудом и Коссом, а также писарем. Сомнения Эгебэра в правдивости слухов были столь велики, что жандармов он оставил в Бюри и отправился в замок лишь в сопровождении писаря и врачей. Однако там его сомнения очень быстро сменились глубокими подозрениями. Бокармэ хитрил. Прошло много времени, прежде чем он появился. Камин столовой был забит пеплом, в котором еще можно было различить остатки сгоревших книг и бумаг. На полу столовой валялись соскобленные с него стружки.

Эгебэра неохотно подпустили к покойнику. Графиня отказывалась открыть занавески, затемнявшие комнату. Следственный судья сам отдернул их и сразу же увидел израненное лицо Гюстава Фуньи. Бокармэ тщетно пытался скрыть кровоподтеки и раны на своих руках. «Мне будто что-то ударило в голову»,— признался позже следственный судья. Он приказал врачам тут же произвести вскрытие трупа и установить, умер покойник естественной смертью или нет.

Врачи велели отнести Гюстава Фуньи в каретный сарай и через два часа сообщили результаты проведенного ими исследования. Мозг Гюстава они нашли в совершенно здоровом состоянии. Поэтому не могло быть речи о том, что с ним случился удар. Рот, язык, горло и желудок умершего, наоборот, претерпели столь сильные изменения, что врачи пришли к выводу, что Гюстав Фуньи скончался вследствие вливания ему внутрь едкой жидкости. Они допускали, что при этом была применена серная кислота.

«Смерть,— заявили они,— наступила в результате продолжительных и очень сильных болей, вызванных выжиганием рта и глотки».

Эгебэр распорядился изъять все органы умершего, которые могли понадобиться для химического исследования примененных кислот. Он сам наблюдал, как врачи укладывали в сосуды язык и гортань, желудок и кишечник с их содержимым, а также печень и легкие покойного, а затем залили все это чистым спиртом и запечатали сосуды. Судебному писарю и одному из жандармов поручили незамедлительно доставить сосуды в Турнэ. Два других жандарма взяли под арест графа и графиню Бокармэ.

Сразу же по возвращении в Турнэ Эгебэр нанял экипаж с быстрыми лошадьми, погрузил объекты исследования и помчался с ними в Брюссель, в Военную школу, где с 1840 г. преподавал химию один профессор, фамилию которого следственный судья узнал случайно — при чтении химического журнала. Его звали Жан Сервэ Стас.

Стасу было тридцать семь лет, когда Эгебэр возложил на него задачу, выполнение которой сулило ему непреходящую славу. Фламандец по происхождению, Стас сначала изучал медицину и химию в своем родном городе Левене. Вскоре, однако, знаний тамошнего профессора химии ему стало недостаточно. И он устроил на чердаке родительского дома крохотную лабораторию, приборы для которой изготовил сам. Среди них были примитивные весы из металла, стекла и сургуча, на которых можно было взвешивать миллиграммы. До конца долгой жизни Стас хранил эти весы как талисман. В той чердачной лаборатории он и стал первооткрывателем флюорина. Это достижение дало великому шведскому химику Берцелиусу повод заметить: «Надо обратить внимание на химика, который дебютирует такой работой». В 1835 г. Стас, как и многие его современники, направился в Париж к таким ученым, как Гей-Люссак, Араго, Дюма и Орфила. Он заинтересовал Дюма, и именно Дюма он должен быть благодарен за то, что, почти лишенный средств, смог около четырех лет работать в лабораториях, в которых ему открылся удивительный мир химии. Именно здесь он решил поправить даже Берцелиуса, который в свое время неправильно определил атомный вес углерода.

В тот день, когда Эгебэр прибыл в Брюссель, Стас еще работал на Рю-де-Шан. Именно здесь ему удалось в период с начала декабря 1850 г. по конец февраля 1851 г. сделать второе эпохальное открытие в токсикологии: разработать метод обнаружения растительных ядов — алкалоидов в телах умерших.

Когда Стасу были переданы дня исследования материалы из Битремона, никто даже не подозревал, что Гюстав Фуньи мог быть умерщвлен с помощью какого-нибудь растительного яда. Эгебэр сообщил Стасу о серной кислоте как возможном орудии убийства.

Так как едкие яды были к тому времени достаточно исследованы, Стас без труда смог установить, что в данном случае не может быть и речи об отравлении серной кислотой. Подобно большинству своих современников и коллег, он за неимением других возможностей обнаружения химикалиев и их паров тысячекратно пробовал их на запах и вкус. Если верить чувствительности его носа, то в лучшем случае здесь применялась лишь одна кислота — уксусная. Когда Стас высказал это предположение, Эгебэр сообщил ему, что покойника омывали и поливали винным уксусом. Тогда впервые у Стаса возникло подозрение, что использование больших количеств уксуса должно было скрыть признаки действия другого яда. И все же в первую очередь он направил свои усилия на то, чтобы обнаружить уксусную кислоту во рту и в органах пищеварения покойного. Но возникшее у него подозрение заставило его действовать с такой осмотрительностью, которую последующим поколениям даже трудно себе представить. Он слишком часто убеждался на собственном опыте, как легко разлагаются яды под действием жары и воздуха, прежде чем их обнаружат. Чтобы не утратить и не разрушить ничего из присланного ему материала, он проводил большинство выпариваний и перегонки в сложных

закрытых аппаратах.

Переданное ему содержимое желудка, кишечника и мочевого пузыря, смешанное со спиртом, состояло из черновато-серой кашицы. Половину ее Стас отделил для возможных экспериментов в будущем. Другую же половину он смешал с водой, которую использовал для промывания желудочно-кишечного тракта, затем неоднократно профильтровал этот раствор, подогрел и дистиллировал его. Таким путем он получил жидкость красновато-коричневого цвета. Ее он разделил на несколько порций для проб. Одну из этих порций он выпарил до состояния сиропа, издававшего неимоверно острый уксусный запах. Разбавив две другие пробные порции едким кали, Стас вдруг прервал работу. От обеих проб исходил слабый запах, напоминавший запах мышиной мочи. Но с этим запахом химик встречались всякий раз, когда имели дело с конином — ядовитым алкалоидом болиголова. Подозрения Стаса, что уксусная кислота послужила лишь для маскировки убийства при помощи какого-то гораздо более таинственного яда, усилились.

А что, если Гюстав Фуни убит с помощью растительного яда? Что, если в теле умершего один из тех ядов, которые до сих пор никогда не удавалось обнаружить в мертвом теле? Что, если случай навел его здесь на след алкалоида?

С этого момента Стас дни и ночи проводил в своей лаборатории, не спуская глаз со своих реторт, тиглей, реактивов и пробирок.

Следующую пробную порцию он разбавил большим количеством спирта, профильтровал, слил, добавил воды, снова профильтровал и дал фильтрату испаряться до тех пор, пока раствор не приобрел клейкую консистенцию. Тогда он добавил к нему раствор кали, и вдруг вновь появился тот особенно запомнившийся, быстро проходящий запах. Но на этот раз он был более острым, более едким и более одурманивающим. К тому времени были известны только два растительных алкалоида, которые при случае распознавали по их запаху: конин и никотин (чрезвычайно ядовитый компонент табака, 50 миллиграммов которого достаточно, чтобы человек умер в течение нескольких минут). А летучий, едкий запах, который уловил Стас,— разве он не напоминал отчетливо запах того же никотина?

Обозначившаяся возможность правильного решения поначалу показалась Стасу такой новой, а само решение таким необычным и смелым, что он от него отмахнулся. Но исключить не смог. Все же не никотин ли это? Не от никотина ли умер Гюстав Фуни?

Стас поместил часть пробного экстракта в бутылку и добавил туда чистый эфир. Взболтав все это, он дал полученной эмульсии отстояться до тех пор, пока эфир не отделился; Затем он отлил половину эфира и дал ему испариться с маленького блюдца. На доньшке блюдца осталось тонкое коричневатое кольцо с едким, хорошо узнаваемым запахом табака. Когда крошечное количество этого вещества Стас попробовал на язык, он почувствовал жгучий привкус табака, который распространился по всему рту и держался в течение многих часов. После повторных «взбалтываний» частей исследуемого вещества с эфиром, которые все время давали тот же результат, он смешал исходный раствор массы из содержимого желудка, кишечника и мочевого пузыря с едким кали. В ставший от этого щелочным раствор он добавил такое же количество эфира и взбалтывал все до образования эмульсии. Но на этот раз он напрасно ждал отделения эфира. Лишь когда Стас догадался, что в растворе еще находятся остатки «животной материи», и устранил их путем промываний водой и спиртом и фильтрования, произошло отделение эфира. Так как, по всей видимости, именно эфир поглощал вещество со жгучим запахом табака, то Стас шесть раз повторил взбалтывание исходного материала с эфиром, чтобы избежать возможных ошибок. Каждый раз путем испарения он получал маслянистое вещество с характерным для никотина запахом и вкусом.

Чтобы удостовериться, что получен именно никотин, Стас подверг маслянистое вещество действию химических реактивов, которые со времени открытия никотина были испытаны различными фармакологами на чистом веществе алкалоида. Если, например, стеклянную палочку, смоченную в соляной кислоте, приближали к никотину, то образовывались сильные белые пары. При соприкосновении же с азотной кислотой никотин превращался в густую желтую массу. Стас не удовлетворился известными уже реактивами. Он смешивал чистый никотин с самыми различными химикалиями, констатируя осадки, образование кристаллов, изменения в цвете, и сравнивал их с действием, которое те же химикалии вызывали в маслянистом веществе, полученном им из содержимого внутренностей Гюстава Фуни. В каждом случае все полностью совпадало.

Лишь только после этого Стас наполнил своим маслянистым экстрактом колбу и, снабдив ее надписью: «Никотин из органов Гюстава Фуни», переслал Эгебэру в Турнэ. В сопроводительном письме он рекомендовал следственному судье проверить, не занимались ли когда-либо граф и графиня Бокармэ специально никотином, а также не приобретали ли они никотин, и просил уведомить его о результатах проверки.

Эгебэр получил посылку Стаса 30 ноября. Он тотчас помчался с несколькими жандармами в Битремон, велел обыскать там все помещения и предпринял новый допрос прислуги. В ходе допроса садовник Деблики, кстати человек весьма ограниченный, сообщил, что летом и осенью 1850 г. он помогал графу в изготовлении одеколона. Для этой цели Бокармэ купил большое количество табачных листьев и переработал их в оснащенной множеством аппаратов лаборатории, устроенной в бане замка.

«Табак для изготовления одеколона?» — переспросил Эгебэр. «Да, табак,— заверил его Деблики,— много табачных листьев». Оказывается, граф главным образом в период с 28 октября по 10 ноября изо

дня в день, а иной раз и ночью работал в бане, чтобы из табачной жижи экстрагировать одеколон. Ю ноября он запер одеколон в столовой в шкафу. На другой день из бани исчезли все аппараты для перегонки и стеклянные колбы, которые он использовал во время работы. Граф, должно быть, сам увез их куда-то, ибо ни садовнику, ни кому-либо другому из челяди это не поручалось. Обыск всего замка жандармами и Эгебэром сам по себе сначала не привел к обнаружению хоть каких-то следов лабораторных приборов. Зато следственный судья получил важные сведения от кучера Жилья: в феврале 1850 г. Бокармэ ездил в Гент к какому-то профессору химии. Больше Жилья ничего об этом не знал. Эгебэр тотчас поехал в Гент. Он опросил всех химиков, которые жили в этом городе, и наконец натолкнулся на профессора Лопперса, преподававшего в Гентском индустриальном училище. Лопперс вспомнил, что начиная с февраля текущего года его неоднократно посещал некий господин из Бюри, по описанию внешности совпадавший с Бокармэ. Правда, он представился как Беран и под той же фамилией переписывался с Лопперсом. Все его письма касались исключительно проблемы извлечения никотина из табачных листьев.

Когда Бокармэ-Беран в феврале нанес свой первый визит Лопперсу, он объяснил, что приехал из Америки. Его тамошние родственники очень страдают от нападений индейцев, отравляющих свои стрелы растительными ядами. Он, Беран, хотел бы изучить все известные растительные яды, чтобы по возможности быть полезным своим родным. Он хотел бы также знать, правда ли, что растительные яды не оставляют в теле отравленного никаких следов, которые можно было бы обнаружить? Получив от Лопперса утвердительный ответ на этот вопрос, Беран распрощался, но в том же месяце опять вернулся в Гент.

На этот раз он сказал Лопперсу, что индейцы изготовляют экстракт из табачных листьев, который убивает в течение нескольких минут. В Европе этот экстракт называют никотином. Он хотел бы попытаться сам сделать такой экстракт, чтобы изучить его действие. Лопперс продемонстрировал ему метод получения никотина и рекомендовал медика Ванденберге и аптекаря Ванбенкелера в Брюсселе как поставщиков необходимых сосудов и аппаратов. Ванденберге и Ванбенкелер подтвердили следственному судье, что за период до ноября они отправили в Бюри сто двадцать различных химических аппаратов и сосудов. В мае Бокармэ в третий раз приехал в Гент, чтобы показать Лопперсу первую полученную им пробу никотина. Это был еще не чистый экстракт. Но к октябрю Бокармэ добился такого значительного прогресса, что показал Лопперсу первую порцию чистого никотина и сообщил, что ему удалось отравить им кошек и уток.

Пока Эгебэр в течение нескольких дней носился из Бюри в Турнэ, Брюссель, Гент, обратно в Бюри и, наконец, 2 декабря приехал опять в Брюссель, чтобы о результатах своих поисков информировать Стаса, последний и сам ни минуты не терял даром. Он уяснил себе принцип метода, с помощью которого ему впервые удалось обнаружить растительный алкалоид во внутренностях убитого человека. Затем он сосредоточился на отыскании никотина также и в самих органах Фуны, в частности в его печени, легких, языке и гортани. Метод Стаса можно теперь, когда он уже открыт, легко объяснить.

Все растительные яды растворимы как в воде, так и в спирте. В противоположность этому почти все субстанции человеческого организма — от белков и жиров до целлюлозы содержимого желудка и кишечника — не растворимы ни в воде, ни в спирте, ни в них обоих вместе. Если смешать органы человека (после того как они измельчены и превращены в кашу) или их содержимое с большим количеством спирта, в который добавлена кислота, то такой подкисленный спирт способен проникнуть в массу исследуемого материала, растворяя растительные яды — алкалоиды — и вступая с ними в соединения.

Именно в таком виде случайно оказался переданный Стасу на исследование материал вследствие его хранения в спирту и вследствие переувлажнения трупа уксусной кислотой. Если подвергнуть пропитанную спиртом кашу фильтрации и дать спирту стечь, то он унесет с собой, помимо сахара, слизи и других веществ человеческого организма, растворенных в спирте, и ядовитые алкалоиды, оставив только те вещества, которые в нем нерастворимы. Если же неоднократно смешивать этот остаток веществ со свежим спиртом и повторять фильтрацию до тех пор, пока спирт не станет больше ничего из него впитывать, а будет стекать чистым, то можно быть уверенным, что подавляющее большинство ядовитых алкалоидов, находившихся в каше из измельченных органов умершего, перешло в спирт. Если затем выпаривать спиртовой фильтрат до сиропообразного состояния, обработать этот сироп водой и полученный таким путем раствор неоднократно профильтровать, то на фильтре останутся те компоненты человеческого тела, которые не растворимы в воде, например жир и т. п., в то время как алкалоиды вследствие своей растворимости в воде стекут вместе с ней. Чтобы получить еще более чистые, свободные от «животных» субстанций растворы искомого яда, можно и нужно (как вскоре стало ясно Стасу) полученный водянистый экстракт выпаривать повторно и заново обрабатывать спиртом и водой, пока наконец не образуется продукт, который полностью будет растворяться как в спирте, так и в воде. Но этот раствор все еще остается кислым и кислота связывает в нем растительные алкалоиды. Если же добавить в него подщелачивающее вещество, скажем каустик или едкий кали, алкалоиды высвободятся.

В тот момент, когда Стас разбавил свои пробные растворы едким кали, он впервые уловил запах улетучивающегося алкалоида, а позже — типично острый запах никотина. Чтобы выманить «ставшие свободными» растительные яды из щелочного раствора, потребовался, наконец, растворитель, который бы при взбалтывании с водой образовывал на время эмульсию, а отстоявшись, снова бы

отделился от воды. Смекалка Стаса привела его в поисках такого растворителя к эфиру, который, придя из Америки, завоевал как средство для наркоза операционные во всем мире. Эфир легче воды, он смешивается с ней при взбалтывании, а затем снова от нее отделяется. Но при этом эфир абсорбирует ставшие свободными растительные алкалоиды. Дистиллируя эфир с большой осторожностью или позволяя ему испаряться на блюдце, мы в итоге получим экстракт, содержащий искомый нами алкалоид,— если, разумеется, он вообще содержался в растворе.

Это содержащее алкалоид вещество можно очищать еще дальше, и тогда возможно с помощью химических реактивов или иных средств установить вид искомого растительного яда.

К концу ноября — началу декабря 1850 г., когда Стас обдумывал этот свой метод, он еще не мог знать, что его метод позволит токсикологам выделять и обнаруживать все основные растительные алкалоиды (а позднее и иные яды) — от атропина из белладонны до дельфинина из шпорника. Он не мог предполагать, что посредством незначительного дополнения к его способу (путем добавления нашатыря в последней фазе и применения хлороформа и амилового спирта вместо эфира) можно выделить из человеческого организма также важнейший алкалоид опиума — морфий.

Когда 2 декабря Эгбэр с новыми важными известиями вошел в лабораторию Стаса, ученому как раз только что удалось обнаружить в «плотных» органах человека, а именно в печени и языке Гюстава Фуньи, яд никотина. Там было столько никотина, что его вполне хватило бы для убийства нескольких человек.

Все, что следственный судья сообщил об изготовлении никотина графом Бокармэ, явилось для Стаса подтверждением его собственного успеха. Оставалось проделать *лишь* некоторую дополнительную работу, впрочем весьма важную и перспективную с точки зрения дальнейшего сотрудничества науки с практикой в области чисто криминалистического расследования.

Эгбэр передал Стасу одежду убитого и семь дубовых паркетных досок, на которые замертво упал в столовой Гюстав Фуньи. Исследование одежды закончилось безрезультатно, ибо она была очень тщательно выстирана. Но на паркетинах, как было бесспорно установлено, имелись следы никотина. 7 декабря Стас исследовал брюки садовника Деблики, которые он носил, помогая графу Бокармэ в изготовлении так называемого «одеколона». На них были пятна от никотина. 8 декабря Эгбэр и его жандармы наткнулись в саду замка на погребенные останки кошек и уток, на которых Бокармэ испробовал ядовитое действие полученного никотина. Исследование этих останков показало наличие в них «улетучивающегося алкалоида со всеми признаками никотина». 27 февраля 1851 г. Стас предпринял последнюю серию экспериментов. Он умертвил собаку, введя ей в пасть никотин. Другая собака была умерщвлена таким же способом, но сразу же после смерти ей в пасть залили уксусную кислоту. Первый эксперимент показал, что никотин не дал никаких химических ожогов. Второй же эксперимент, напротив, вызвал появление таких же черноватых выжженных мест, которые были у Гюстава Фуньи.

Граф, по всей вероятности, столкнул Гюстава на пол и удерживал его там, пока графиня вливала яд в рот своему брату. Последний защищался более отчаянно, чем ожидалось. Это привело к телесным повреждениям и к тому, что никотин забрызгал все вокруг. Это обстоятельство заставило супругов Бокармэ снять с мертвеца одежду и выстирать ее, но прежде всего — применить уксусную кислоту, чтобы скрыть наиболее видимые следы яда.

Через несколько дней после последнего эксперимента Стаса жандармы Эгбэра нашли в потолочных перекрытиях замка Битремон столь долго разыскиваемые аппараты, которыми граф Бокармэ пользовался при производстве никотина.

Когда через три месяца, 27 мая, в суде присяжных в Монсе начался процесс против графа и графини Бокармэ, представитель обвинения де Марбэз был твердо уверен в том, что дело для подсудимых заведомо проиграно. Так как оба супруга перед лицом имеющихся доказательств их вины не могли отрицать, что убили Гюстава Фуньи с помощью никотина, то окружающим представилось зрелище двух стравленных зверей, сваливающих вину друг на друга. Графиня призналась, что помогала в подготовке и осуществлении убийства своего брата. Но всю вину она сваливала на мужа, грубому давлению которого она, по ее словам, вынуждена была подчиниться. Граф признался, что занимался ядами, но пытался спасти себя, заявив, что получаемый им никотин он собирал в винную бутылку, чтобы взять ее с собой, когда поедет в Северную Америку. А его жена 20 ноября по недосмотру перепутала бутылки, когда захотела угостить Гюстава Фуньи после обеда вином. Но все попытки защищаться от обвинения подобным образом были бесплодны. Присяжным понадобилось не больше часа, чтобы вынести в отношении графа обвинительный вердикт. И если графиня — к возмущению присутствующих — вышла из зала суда на свободу, то лишь потому, что присяжные не решились послать «даму» на гильотину.

Вечером 19 июля 1851 г. при свете факелов Ипполит Визар де Бокармэ кончил жизнь на эшафоте в Монсе.

Дело Бокармэ получило свое логическое завершение. А Жан Сервэ Стас, открыв метод обнаружения никотина, завоевал себе бессмертие в царстве химии и токсикологии.

*6. Борьба за разграничение отдельных алкалоидов. Открытие цветковых реакций, выдающих наличие того или иного алкалоида. 1863 г.— загадочная смерть молодой вдовы де Пов. Анонимное письмо шефу Стуртэ. Амбруаз Гардьё. Опыты с алкалоидами на животных. Смертельный яд — дигиталин. Гениальная догадка Лашо.*

Бессмертие? Что ж, Стас в самом деле обессмертил свое имя. Пусть его способ подвергся

усовершенствованиям и дополнениям, пусть возможности применения этого метода были расширены — в первую очередь немецким исследователем Фридрихом Юлиусом Отто, профессором химии из Брауншвейга,— несмотря на это, даже в середине XX столетия способ Стаса все еще оставался основным методом «распознавания» ядовитых алкалоидов.

Когда после окончания процесса по делу Бокармэ открытие Стаса получило широкую известность, начался новый этап в развитии токсикологии. Поскольку появилась универсальная возможность обнаружения алкалоидов, стало необходимым найти методы точного определения того, какой конкретно яд содержится в экстракте, полученном по способу Стаса. Многие химики в Германии, Франции, Англии, России, Швеции и не в последнюю очередь в Италии включились в начавшийся уже несколько ранее поиск более или менее типичных химических реакций для отдельных видов растительных ядов. Тысячи экспериментов, проводившихся в течение десятилетий, привели к открытию большого числа реактивов, которые, входя в соприкосновение с определенными алкалоидами, дают характерную только для того или иного алкалоида окраску.

Пионерами этого направления в токсикологии были такие ученые, как Драгендорф, Хуземан, Марки, Фреде, Оливье, Мекке, Майер, Вагнер, Зонненштайн, Эрдман, Келлер, Мэрк, Витали и Пеллагри.

Некоторые из этих имен дали названия определенным реактивам или определенным пробам, которые выполняются с помощью этих реактивов. Вскоре заговорили о «реактиве Мекке», «реактиве Марки», «реактиве Фреде» или «реактиве Манделена», подразумевая под этим соответственно реакции селена с серной кислотой, формалина с серной кислотой, молибдена с серной кислотой и ванадия с серной кислотой. Если добавить, например, реактив Мекке к полученному по методу Стаса экстракту, который содержит морфий, то вначале все соединение приобретает оливково-зеленую окраску, которая затем превратится в голубовато-фиолетовую, а позже — снова в оливково-зеленую, но с красной каймой. Обработка такого же экстракта, содержащего героин, реактивом Мекке даст светло-голубую окраску с зеленоватой каймой, переходящую впоследствии в оливково-зеленую.

Реактив Марки дает при наличии в экстракте морфия, героина, кодеина фиолетовую окраску, то есть позволяет определить таким образом целую группу растительных ядов. Другая группа ядов обнаруживает свое присутствие при проведении пробы, вошедшей в историю токсикологии под названием «пробы Витали». Экстракт, приготовленный по способу Стаса, смешивали с серной кислотой, выпаривали и полученное сухое вещество смешивали с углекислым калием. Если при этом возникала фиолетово-голубая окраска, она, безусловно, свидетельствовала о наличии атропина, гиосциаминина или гиосцина. Для доказательства наличия того или иного конкретного алкалоида этой группы в свою очередь появились специальные пробы. Лаборатории стали местом, где всю игру играли краски.

Для доказательства наличия одного лишь морфия существовала по меньшей мере дюжина реакций. Пожалуй, самая важная из них носила имя ее первооткрывателя Пеллагри. При этой пробе морфий обнаруживал себя ярко-красным цветом, появлявшимся, как только исследуемое вещество растворяли в дымящейся соляной кислоте, смешивали с несколькими каплями концентрированной серной кислоты и выпаривали. Если же позже туда добавляли разбавленную соляную кислоту, углекислый натрий и настойку йода, то красный цвет перешел в зеленый.

Происходящие при этих реакциях процессы поначалу не удавалось объяснить. Лишь через столетие, когда была изучена сложная химическая структура отдельных алкалоидов, стало возможным хотя бы догадываться о таких объяснениях. Но тысячи опытов и контрольных опытов научили токсикологов распознавать закономерности в многоцветье игры красок. Только небольшое число растительных алкалоидов не поддавалось идентификации с помощью цветных реакций. К ним относился и аконитин, который можно было определить лишь попробовав на язык, ибо он вызывал жаляще-парализующее ощущение столь своеобразного характера, что его нельзя было спутать ни с каким другим растительным ядом. Некоторые же другие алкалоиды нельзя было обнаруживать даже таким путем. Пробел в способах идентификации таких алкалоидов, а также других растительных ядов заставлял искать все новые методы.

Через тринадцать лет после открытия Стаса, в 1863 г., Париж времен императора Наполеона III стал ареной первого большого процесса по делу об отравлении, на котором наличие растительного яда было доказано с помощью новых методов. Тут и начинается новый драматический раздел нашего повествования.

Имена молодой француженки вдовы де Пов и молодого врача д-ра Кути де ля Поммерэ, жертвы и убийцы, с декабря 1863 по июнь 1864 г. были во Франции у всех на устах. А вместе с ними и имя сорокоилетнего в то время профессора судебной медицины из Парижа Амбруаза Тардьё.

«У меня всего лишь холера в легкой форме. Доктор де ля Поммерэ сказал мне, что через двадцать четыре часа я снова буду здорова». Это были последние слова, сказанные мадам де Пов утром 17 ноября — в день ее смерти, во всяком случае последние слова, которые смогли передать свидетели. Через несколько часов она была уже мертва — умерла от быстротечной болезни, внезапно начавшейся в ночь на 17 ноября с болей в желудке и рвоты. Затем наступила «ужасная слабость в мышцах». Соседи, застав большую обливающейся потом, вызвали участковых врачей Бласа и Годино.

Они в первую очередь обратили внимание на состояние сердца у больной. Пульс был бурный, прерывающийся, а порой и вовсе не прощупывался. Годино предполагал прободение желудка. Но мадам де Пов попросила этих врачей оставить ее и потребовала вызвать д-ра де ля Поммерэ.

После этого оба врача покинули ее дом. Вскоре туда явился Поммерэ, видный и элегантный

мужчина двадцати восьми лет, и остался с больной наедине. Соседи и любопытствующие столпились перед домом. Большинство из них знало молодого врача. Некоторое время тому назад, примерно до 1861 г., он частенько бывал там. В то время, приехав из Орлеана, он обосновался в Париже в качестве врача-гомеопата и лечил смертельно больного мужа де Пов. Вскоре после кончины мужа вдова, оставшаяся без средств, стала любовницей Поммерэ. Позже Поммерэ из финансовых соображений вступил в брак с мадемуазель Дубичи и покинул мадам де Пов. Однако через несколько месяцев они снова стали часто видеться у нее. В общем, история как история, ничего необычного. Мужчина имел любовницу, женился на богатой даме и спустя какое-то время вернулся к любовнице. В высшей степени будничное явление. Что к этому добавить? Как раз прошлым вечером де ля Поммерэ долго пробыл в квартире вдовы. Простилась она с ним в хорошем настроении, проводила до дверей.

Вскоре после трех часов дня Поммерэ с опущенной головой вышел на улицу и сообщил ожидавшим, что мадам де Пов только что скончалась от холеры. Свидетельство о смерти он уже составил и позаботился о похоронах. Все дальнейшее произошло без свидетелей, как обычно хоронят небогатых людей на Южном кладбище.

Никогда мадам де Пов и Поммерэ не попали бы в книгу регистрации знаменитых уголовных процессов, не получи шеф Сюртэ Клод утром 20 ноября анонимное письмо. Неизвестный автор письма посоветовал Клоду заняться вопросом, не был ли некий доктор де ля Поммерэ заинтересован в смерти вдовы де Пов из финансовых соображений.

Клод поручил чиновнику полиции навести справки о Поммерэ. Это было чисто формальное поручение. Но когда Клод ознакомился с результатами проверки, речь шла уже не о формальности. Покойная была застрахована в нескольких парижских страховых обществах, причем на необычно высокую сумму — 550 тыс. франков.

Больше того, де ля Поммерэ только что предъявил страховым обществам завещание покойной, в котором указывалось, что страховая сумма в случае ее смерти должна быть выплачена молодому врачу, дабы он мог позаботиться о ее детях. Что касается личности де ля Поммерэ, то хотя он и создал себе за короткое время довольно приличную практику, но слыл хвастуном, авантюристом и игроком, постоянно нуждающимся в деньгах. «Де ля» перед фамилией он присвоил себе сам. Его теща, мадам Дубичи, настолько не доверяла ему, что держала под своим контролем принадлежащую ее дочери часть имущества. Однако через два месяца после того, как Поммерэ справил свадьбу, мадам Дубичи, поужинав у своего зятя, сразу заболела и через несколько часов умерла. Освободившееся благодаря этому имущество его жены спасло Поммерэ от грозившего ему банкротства. Тем не менее к середине 1863 г. он снова оказался в затруднительном финансовом положении и снова стал навещать свою прежнюю возлюбленную. Вскоре после этого были заключены договоры о страховании жизни. Поммерэ уплатил по ним первые взносы и вместе со своей любовницей явился к адвокату, чтобы составить завещание от имени вдовы де Пов, по которому в случае ее смерти все страховые суммы выплачивались Поммерэ.

Среди врачей, которые обследовали состояние здоровья мадам де Пов перед окончательным заключением с ней договоров страхования, были такие знаменитости того времени, как Нелатон и Вельпо. Еще в конце лета 1863 г. они засвидетельствовали прекрасное состояние здоровья застрахованной. Но сразу же после заключения договоров страхования соседи услышали ночью, как мадам де Пов упала на лестнице. На следующее утро вдова не могла встать с постели и жаловалась на сильные боли «где-то внутри». Вызванные Нелатон и Вельпо не смогли обнаружить, как они выразились, «никаких повреждений». Это дало им повод познакомиться с Поммерэ. Тот обратил внимание удивленного Нела-тона на то, что ему следовало бы подготовить страховые общества к тому, что у мадам де Пов развивается тяжелое заболевание внутренних органов. Нелатон отнес это утверждение за счет его молодости и неопытности. Поправилась мадам де Пов на удивление быстро и оставалась здоровой вплоть до той ночи на 17 ноября, когда началась болезнь, приведшая ее к смерти.

Клода заинтересовал этот необычный случай, и он решил сам заняться его расследованием. Но прежде чем он пришел к такому решению, его посетила 26 ноября мадам Риттер, сестра умершей, которая заявила, что не может дольше скрывать кое-что из того, что ей было известно.

После того как мадам Пов упала с лестницы, обеспокоенная сестра тут же поспешила к ней. Но к безграничному удивлению мадам Риттер больная призналась ей, что она вовсе не больна. Ее дружок Поммерэ сбросил с лестницы набитый мешок, чтобы соседи потом подтвердили, что слышали шум падения. Поммерэ, мол, изобрел гениальный план, который обеспечит ей достаток на всю оставшуюся жизнь. Он помог ей заключить несколько крупных договоров о страховании жизни. Теперь она с его помощью должна симулировать серьезное, опасное для жизни заболевание. Как только страховые общества в достаточной степени убедятся, что у нее неизлечимая болезнь, они пойдут на то, чтобы заменить возможную выплату всей страховой суммы пожизненной пенсией, что обеспечит ей получение пятисот франков каждый месяц. Общества с облегчением согласятся на это, ибо по опыту знают, что лучше выплачивать в течение короткого, по всей вероятности, срока пенсию, чем огромные страховые суммы по случаю смерти. Значит, как только устроится дело с пожизненной пенсией, она весело заживет, пожиная плоды своей материальной обеспеченности.

Мадам Риттер безуспешно пыталась отговорить сестру от таких махинаций. Отчаяние ее возросло, когда она узнала о завещании. Она умоляла свою сестру подумать о том, что Поммерэ может помочь ей стать не только больной, но и мертвой, чтобы завладеть наследством. Но сестра целиком

находилась под влиянием Поммерэ.

В ноябре 1863 г. Клод даже не подозревал, что токсикология со временем станет незаменимой помощницей в повседневной работе криминалистов, настолько незаменимой, что через полвека во Франции возникнет одна из первых в мире химических полицейских лабораторий. Но в деле де ля Поммерэ он действительно оказался, подобно Эгбэру, провозвестником грядущего тесного сотрудничества криминалистов с наукой. Сразу после визита мадам Риттер он убедил следственного судью Гонэ в необходимости эксгумировать труп покойной и установить, не умерла ли она вследствие отравления ядом. Проведение анализа на яд поручили Амбруазу Тардьё.

Тардьё и его ассистент Руссэн приступили к делу 30 ноября 1863 г., на тринадцатый день после смерти вдовы Пов. Они не нашли у нее никаких внутренних повреждений. Все органы, в частности сердце, были без аномалий. Ни холера, ни прободение желудка не могли стать причиной смерти. Тогда Тардьё принялся за поиски следов яда. Пока он искал следы мышьяка, сурьмы и других металлических или минеральных ядов, Клод неожиданно для Поммерэ приказал арестовать его и обыскать его дом. В ходе обыска были обнаружены небезынтересные любовные письма вдовы к врачу, а также — и это главное — необычно обширный для гомеопата набор ядов и ядовитых медикаментов, как-то: мышьяк (в большом количестве), сулема, стрихнин, аконитин, атропин и другие ядовитые алкалоиды, а также цианистый калий, синильная кислота, дигиталин и истолченные в порошок листья наперстянки.

Клод лично передал 10 декабря Тардьё коллекцию ядов Поммерэ и изъятые письма. Уже десять дней тщетно ждал он результатов анализов на яд. Растущее беспокойство и стремление добиться ясности в этом деле заставили его поехать к Тардьё. Он застал Тардьё и его ассистентов в лаборатории Парижского университета среди дымящихся сосудов и реторт. Настроение у них было подавленное. Они применяли все известные методы обнаружения минерально-металлических и летучих ядов, но не добились успеха. Несколько последних дней они были заняты проведением проб на растительные алкалоиды. Тардьё изготовил множество экстрактов Стаса и подверг их всем известным цветовым реакциям. Вытяжки были подозрительно горькими на вкус, но сами реакции не дали даже малейших указаний на присутствие какого-либо растительного яда. Только горечь была столь явной, что Тардьё не мог избавиться от мысли, что почти наверняка имеет дело с растительным ядом, но, возможно, с таким, для которого еще не найден реактив, вызывающий цветовую реакцию.

Тардьё посетовал на то, что Сюртэ, не говоря уже о других боте токсикологов. В противном случае она бы не довольствовалась только передачей трупов токсикологам и ожиданием от них чуда. Лучше бы ей более основательно искать на месте преступления следы, пригодные для токсикологических исследований. Его собственная работа была бы в тысячу раз легче, если бы ему во всех случаях предоставляли в распоряжение рвотную массу умерших или следы рвоты, оставшиеся на полу. Ведь они всегда содержат больше яда, чем внутренние органы покойников.

Когда Клод, еще более расстроенный безрезультатностью анализов, попрощался с Тардьё, последний еще совершенно не знал, что ему следует предпринять. Первое обследование коллекции ядов де ля Поммерэ не особенно помогло ему. В ней было такое количество алкалоидов, что можно было предложить использование любого из них.

На переданные ему любовные письма Тардьё вначале не обратил внимания, ибо они казались ему не имеющими никакого отношения к его работе, а Клод в атмосфере общей подавленности просто забыл указать ему на некоторые места в письмах, могущие заинтересовать токсиколога.

Лишь два дня спустя, 12 декабря, после крушения всех других начинаний Тардьё решил ввести частицы экстракта, полученного из органов покойной, «прямо в кровоток большой, сильной собаки и выяснить, последует ли вообще какой-нибудь отравляющий эффект». Тардьё вспомнил, что еще Стас предпринимал подобные эксперименты, правда только для подтверждения тождества алкалоидов, установленных уже иным путем. Из различных экстрактов Тардьё изготовил смесь и, сделав собаке инъекцию пяти гранов этой смеси, стал скрупулезно контролировать все ее реакции.

Вначале сердце собаки билось нормально и в течение двух с половиной часов с ней ничего не происходило — ровным счетом ничего. Затем внезапно у собаки началась рвота, и, изможденная, она свалилась на пол. Сердцебиение у нее было неровным, временами прерывалось. Через шесть с половиной часов пульс упал до сорока пяти ударов в минуту. Дыхание стало неглубоким и затрудненным. Такое состояние длилось двенадцать часов. А затем собака начала приходить в себя.

Итак, действие экстракта не было смертельным. Но Тардьё не сомневался, что в нем содержится яд, который поражает сердце. Но сильнее всего его взволновало совпадение с симптомами, наблюдавшимися у вдовы де Пов во время болезни, которая свела ее в могилу.

Тардьё вторично обследовал «аптеку» де ля Поммерэ. При ознакомлении со списком ядовитых веществ его взгляд задержался на названии «дигиталин». Речь шла об экстракте красной наперстянки, целебное действие которой при сердечных заболеваниях открыл в 1775 г. английский сельский врач Уитринг. Правда, применять его разрешалось лишь в мельчайших дозах. Если же брали более значительные дозы дигиталина, то после начального возбуждения сердечной деятельности наступали паралич сердечной мышцы и смерть. Налицо вновь была параллель с симптомами смертельной болезни вдовы. Тардьё еще более укрепился в своих подозрениях, когда узнал, что 11 июня 1863 г. Поммерэ приобрел грамм, а 19 июня — еще два грамма дигиталина. От этого количества ко дню обыска в доме Поммерэ оставалось лишь пятнадцать сотых грамма дигиталина — одна двадцатая часть. Когда же Тардьё пробежал глазами содержание писем, которым он сперва не уделил никакого



внимания, его подозрение переросло в почти полную уверенность. Теперь он сообразил, зачем Клод передал их ему. В письмах были некоторые фразы, где речь шла о дигиталине. В последние недели перед смертью вдова де Пов, между прочим, сообщала своему возлюбленному, что по совету своего знакомого, не медика, она приняла дигиталин, чтобы «приободриться». Это было очень странно, ибо ни в одном другом письме не было ни слова о медицинских делах.

После краткого раздумья Тардьё ввел часть оставшегося дигиталина из «аптеки» Поммерэ в кровь другой подопытной собаке. Теперь за поведением собаки наблюдали еще напряженнее, чем в первый раз. Ровно через двенадцать часов она умерла: симптомы — рвота, беспокойство, мышечная слабость, неритмичность, а в конечном итоге — паралич сердечной деятельности. Теперь Тардьё был убежден, что вдова де Пов умерла от отравления дигиталином и что Поммерэ выбрал именно этот растительный яд, потому что, по всей вероятности, знал, что обнаружить его пока невозможно.

Помимо этого, Тардьё заподозрил, что Поммерэ под каким-нибудь предлогом побудил свою ослепленную чувством возлюбленную написать ему в письме о приеме дигиталина. Он, видимо, рассчитывал подстраховаться на тот случай, если вопреки ожиданиям все-таки удастся обнаружить в трупе яд. Письма должны были доказать, что мадам де Пов легкомысленно и без его ведома употребляла ядовитое лекарство.

Однако Тардьё обладал достаточным опытом, чтобы понимать, что его личная убежденность еще не являлась доказательством. Экстракты из органов покойной не смогли убить подопытную собаку. «Значит,— стал бы комментировать это де ля Поммерэ,— яд не смог бы убить и мадам де Пов». Поэтому Тардьё решил повторить свои эксперименты на лягушках, ибо фармакологи пришли к выводу, что лягушечье сердце лучше всего подходит для испытания сердечных средств и получения примерных результатов об их действии на человеческий организм.

Но прежде чем он успел начать новые эксперименты, произошло событие, которое вновь позволяет нам поставить вопрос о роли случая или рока. Поздним вечером 12 декабря от Клода прибыл служащий Сюртэ с несколькими запечатанными пакетами. Открыв их, Тардьё обнаружил: 1) дощечки паркета из спальни мадам де Пов — с того места, где была рвота умершей и где до сих пор еще остались пятна от нее; 2) соскобы следов рвотной массы с других мест пола спальни. Таким образом Клод отреагировал на сетование Тардьё относительно роли полиции, высказанное Ю декабря. Он еще раз тщательно обследовал комнату, где умерла вдова, и нашел путь добыть для Тардьё то, чего тот требовал.

В ту же ночь Тардьё исследовал новые вещественные доказательства. Он надеялся, что даже высохшие остатки рвотной массы содержат намного большую концентрацию яда, чем экстракты, полученные им из органов умершей. «Исходя из того,— значилось потом в его заключении,— что оказавшиеся на полу нечистоты скапливаются в основном в щелях между досками, эксперты тщательно выскоблили с обоих краев досок засевшую там, отчасти еще сыроватую массу и добавили этот соскоб к тому, что было соскоблено с поверхности досок. Полученное смешали с тем соскобом, который уже был предоставлен экспертам ранее». В эту смесь Тардьё добавил чистый спирт, профильтровал и выпарил ее, получив в результате жидкий экстракт.

Тардьё разрезом обнажил сердца у трех лягушек и оставил их в привычной влажной среде. Число ударов сердец у них было примерно одинаково и составляло от 40 до 42 в минуту. С первой лягушкой ничего больше не делали, а второй впрыснули под кожу шесть капель раствора, состоящего из одной сотой грамма чистого дигиталина и 5 гранов воды. Третья лягушка получила 5 гранов экстракта, полученного из рвотной массы.

Происшедшее устранило у Тардьё последние сомнения. В то время как сердце контрольной лягушки продолжало ритмично биться еще в течение получаса, сердце лягушки, которой ввели дигиталин, и той, которой был введен экстракт рвотной массы, вели себя одинаково: через шесть минут после инъекции сердцебиение замедлилось до 20—30 ударов, через десять минут удары обоих сердец стали неритмичными, а через 31 минуту оба сердца остановились.

Для полной уверенности Тардьё повторил эти эксперименты, проработав над ними еще две недели. Наконец, 29 декабря 1863г. он попросил Клода предоставить ему для исследования еще один материал из комнаты, в которой умерла потерпевшая. На этот раз речь шла о тех частях пола, на которые ни при каких условиях «не могла попасть рвотная масса», то есть о досках, находившихся под кроватью. С них был сделан соскоб, из которого Тардьё изготовил экстракт. Цель его состояла в том, чтобы предупредить возражение, будто краска пола могла содержать смертельный яд, действующий так же, как дигиталин. Данный экстракт не оказал ни малейшего воздействия на лягушек, после чего Тардьё вручил следственному судье Гонэ заключение, в котором утверждал, что вдова де Пов, безусловно, умерла от отравления. При этом добавил: «Все говорит о том, что вдова де Пов скончалась от отравления дигиталином».

Тардьё предвидел, что его заключение даст повод защитнику де ля Поммерэ, столь же умному, сколь и ловкому мэтру Лашо, самым решительным образом оспаривать ценность физиологических доказательств наличия растительного яда, полученных путем опытов на животных. Если бы Тардьё сумел заглянуть в будущее — хотя бы лет на семьдесят, он бы мог спокойно ожидать нападок Лашо, ибо последующий опыт подтвердил правильность его выводов.

Так, в 1938 г. в Брюсселе предстала перед судом и была приговорена к пожизненному тюремному заключению пятидесятидевятилетняя вдова Мари Александрин Беккер, отравившая дигиталином одиннадцать человек. Анализы на яд у многочисленных ее жертв производили видные токсикологи,

фармакологи и физиологи под руководством брюссельского судебного медика Фирки. Они могли использовать все достижения, накопленные со времени работы Тардьё.

Такие ученые, как, например, Генрих Килиани, который в 1863 г. был еще ребенком, посвятили большую часть своей жизни изучению тайн дигиталина. Быстрота процессов разложения чрезвычайно затрудняла возможность выделения дигиталина из тела отравленного, а это лишний раз подтверждало, что самым надежным способом обнаружения этого яда остается исследование рвотной массы, то есть тот самый метод, который помог достичь успеха Тардьё. Именем Килиани была названа и открытая им химическая цветовая реакция. Но окраска — от синей (цвета индиго) до сине-зеленой — возникала при этой реакции лишь тогда, когда применялись очень большие дозы дигиталина, а поскольку даже мельчайших его доз было достаточно для наступления смерти, то неудивительно, что в большинстве случаев цветовая реакция не наступала. Поэтому, когда эксперты докладывали суду о результатах своих анализов, они опирались не на химические реакции, а на результаты таких же «физиологических экспериментов на лягушачьих сердцах», какие предпринял Тардьё еще в декабре 1863 г.

Весной же 1864 г., когда начался процесс над Кути де ля Поммерэ, Тардьё был еще в одиночестве. И он не обманывался, ожидая резких нападков защиты. Лашо атаковал методы Тардьё со всей яростью на которую был способен. Где тот яд, который якобы убил мадам де Пов? Где хотя бы миллиграмм этого яда? Где его можно увидеть, почувствовать? Где демонстрировалась хотя бы единственная из тех цветовых реакций, по которым токсикологи судят о наличии растительных ядов? Ничего этого не было. Тардьё, как заявил Лашо, знает, что он не может и никогда не сможет продемонстрировать суду ни одной цветовой реакции. Но его тщеславие не дает ему покоя. На какой же обманчивый путь ступил Тардьё, решая вопрос о виновности или невиновности, о жизни или смерти! Какая нужна самоуверенность, чтобы по лягушкам — да, по лягушкам — делать выводы о человеческом естестве! Какое пренебрежение к многогранности и разнообразию природы! Тардьё может убивать гекатомбы подопытных животных, но ни одно мыслящее существо он не убедит в том, что сердце лягушки можно ставить наравне с человеческим сердцем. Он может изготавливать сотни своих «экстрактов» из несчастных умерших и впрыскивать их своим лягушкам. Но и этим ему не удастся убедить ни одного судью и ни одного присяжного в том, что в теле тех или иных покойников имеется какой-то яд вроде таинственного дигиталина. Затем, повысив голос, Лашо произнес:

«Наука, если я правильно информирован, придерживается взгляда, что растительные яды обязаны своим возникновением распаду растительного белка. Не допускает ли господин Тардьё хоть на одну секунду мысль, что и у таких покойников, как мадам де Пов, тоже происходит распад белка и что в результате гниения могут появиться яды, не имеющие ничего общего с дигиталином, но убивающие его лягушек? Об этом Тардьё, как видно, не думал. Но суд и присяжные сделают это вместо него!»

Бурная атака Лашо не спасла де ля Поммерэ ни от обвинительного приговора, ни от казни, состоявшейся 9 июня 1864 г. Лашо потерпел поражение потому, что Тардьё получил смертоносный яд не из трупа, а из рвотной массы, извергнутой еще живым человеком. Лашо потерпел поражение потому, что (как вскоре окажется) гениальнейшая догадка в его речи — мысль о естественном возникновении в трупе ядов, похожих на растительные, — казалась в те времена, когда шел процесс, настолько нелепой, что никто не оценил ее по достоинству. Эта мысль выглядела выдумкой, порожденной фантазией адвоката, отчаянно ищущего любую возможность облечь участь своего подзащитного. В действительности же все обстояло не так. Хотя догадка Лашо не имела ничего общего с новыми методами обнаружения ядов физиологическим путем и их принципиальным значением для всего будущего, она тем не менее была предвестником того, что произошло потом в действительности — в действительности, ввергшей токсикологов по вопросу о растительных ядах в тяжелый кризис и глубокую пучину сомнений.

*7. Поиски метода обнаружения кристаллов. Новый акт драмы: создание искусственных алкалоидов. Спектральный анализ. Рентгеноструктурный анализ. Русский ученый Цвет и история бумажной хроматографии.*

В течение двух первых десятилетий XX века со всей определенностью выяснилось, во-первых, что многие сообщения относительно несостоятельности методов обнаружения трупных алкалоидов объясняются отсутствием чистоты проведения исследований или поверхностным наблюдением цветовой реакции; во-вторых, что совершенно исключено наличие любых алкалоидов животного происхождения в экстрактах, которые получены при

правильном применении метода Стаса; в-третьих, что использование по меньшей мере шести цветовых реакций и — при необходимости — дополнительных физиологических проб абсолютно исключает всякую возможность принять растительный алкалоид за трупный.

Но важнее было то, что токсикология сделала первые шаги по пути поиска абсолютно безупречных методов обнаружения ядов, который к середине XX столетия привел к поразительным успехам.

Первым шагом на этом совершенно новом пути были поиски метода определения ядов по их кристаллам. Правда, еще Стас пытался осуществить идентификацию никотина посредством кристаллообразования, а американец Уормли в 1895 г. сообщил о проведении подобных же опытов, но лишь в 1910 г. этот способ привлек к себе повышенное внимание. Заинтересованная общественность впервые узнала еще об одном новом способе, основанном на том, что алкалоиды после кристаллизации плавятся. Причем процесс плавления начинался у каждого алкалоида при точно

определенной температуре, проходил в типичных только для него температурных пределах, что позволяло идентифицировать яды по температуре точки их плавления либо по его характеру. Этот метод предложил Уильям Генри Уилкоккс.

Напряженная работа в течение пяти следующих десятилетий привела к открытию таких способов обнаружения алкалоидов, о которых не могли мечтать не только первооткрыватели цветковых реакций, но и сам Уилкоккс. В немалой степени этому способствовало развитие фармацевтической химии и фармацевтической промышленности, которое началось во второй четверти XX века с того, что по мере исследования натуральных растительных алкалоидов были созданы искусственные синтетические продукты, похожие как по своему терапевтическому, так и по отравляющему эффекту на растительные алкалоиды или даже превосходящие их.

Итак, известные растительные яды пополнил настоящий поток «синтетических алкалоидов». Он еще больше усилился, когда в 1937 г. во Франции были выпущены первые антигистамины — искусственные активные вещества против аллергических заболеваний всех видов — от астмы до кожной сыпи. За несколько лет их число перевалило за две тысячи, и из этого количества по крайней мере несколько дюжин быстро приобрели широкую популярность как лекарства (и потенциальные яды). Они тоже являлись «искусственными алкалоидами», и им не было числа. Все это заставило судебных токсикологов стать наконец участниками постоянной борьбы между изготовлением новых ядов и открытием новых методов их обнаружения.

Открытый Стасом способ обнаружения алкалоидов был усовершенствован, а это во многих случаях привело к тому, что чистота экстрактов достигла неслыханной, даже во времена Уилкоккса, степени. Цветовые реакции тоже не потеряли своего значения.

Их число соответственно бурному увеличению числа ядов намного возросло.

Идентификация алкалоидов на основе определения точки их плавления получила дальнейшее развитие благодаря таким ученым, как Остеррайхер, Фишер, Брандштетер и Раймерс, а также не в последнюю очередь благодаря Людвигу Кофлеру, умершему в 1951 г. профессору фармакологии в Инсбруке. Кофлер создал аппарат для определения точки плавления, который позволял наблюдать плавление исследуемого вещества под микроскопом и одновременно засекал на термометре точку плавления этого вещества.

В этот же период в деле идентификации алкалоидов на основе их кристаллизации был достигнут совершенно явный прогресс. Англичанин Э. Кларк создал в Лондоне коллекцию не менее чем из пятисот кристаллических форм различных алкалоидов, чтобы сделать возможным быстрое сравнение с ними под микроскопом кристаллов неизвестных объектов исследования. Было опробовано около двухсот химических реактивов, с помощью которых можно было проводить кристаллизацию алкалоидных растворов.

Однако самый решительный прогресс связан с наукой, которая с середины XX столетия стала завоевывать себе все больше места в токсикологии, — с физикой. Немецкими учеными Робертом Вильгельмом Бунзеном и Густавом Кирхгофом в 1859 г. было положено начало тому направлению, которое привело к спектральному анализу при помощи видимых и невидимых лучей и к применению его в судебной медицине. С тех пор прошло более ста лет.

В 50-е годы XX в. такие токсикологи, как датчанин Т. Гаунг или бельгиец Лакруа, обратили внимание на чрезвычайное значение для токсикологии рентгеноструктурного анализа. Он сделал возможным простое и быстрое распознавание многих алкалоидных кристаллов и через них — самих алкалоидов. Американцы У. Барнз, Б. Марвин, Габарино и Шепард возглавили это направление и изучили характерные признаки, которые позволяли идентифицировать значительное число алкалоидов с помощью рентгеноструктурного анализа.

Но это было еще, пожалуй, не самое значительное достижение.

Более важное открытие носит довольно странно звучащее название «колоночной» или «бумажной хроматографии». Англичанин А. С. Кэрри в первую очередь помог этому методу триумфально вступить в область токсикологии.

В 1906 г. русский ботаник Цвет занялся изучением водных растительных экстрактов, содержащих различные натуральные красители. Какой-нибудь из этих экстрактов он пропускал через наполненную измельченным мелом стеклянную трубку — «колонку». При этом мел втягивал в себя красящее вещество из экстракта. На верхнем конце меловой «колонки» возникал пестрый слой, в котором были соединены все красящие вещества, в то время как с нижнего конца «колонки» стекал чистый водянистый раствор растительного экстракта. Но затем происходило нечто совсем удивительное. Когда русский ученый подливал сверху в «колонку»-трубку воду, то пестро окрашенная зона на верхнем конце ползла вниз. Но ползла она не как единое целое. Красящие вещества отделялись друг от друга и оставались «висеть», четко разделенные между собой, на различных уровнях меловой начинки. Если же вторично добавляли воду, они смещались вниз и вытекали порознь.

Цвет открыл тем самым метод разделения простым способом смеси различных веществ и разложения их на составные части. Этот метод разделения получил название «хроматографический анализ» — от греческих слов «хрома» («цвет») и «графо» («пишу»). Открытие это находилось в забвении до тех пор, пока немецкий исследователь Рихард Кюн из Гейдельберга не открыл в начале 30-х годов этот метод заново. Оказалось, что самые различные химические вещества можно путем хроматографии разложить на составные части и что подобным же образом отдельные составные части можно идентифицировать. Если эти составные части бесцветны, то их местоположение в

«колонке» можно распознать с помощью ультрафиолетовых лучей или реактивов, которые, как и при токсикологических анализах, ведут к образованию определенной окраски.

Наконец, оказалось, что «колонка» может быть заменена фильтровальной бумагой, на которой составные части исследуемых веществ отделяются друг от друга аналогичным образом. Между 1950 и 1960 гг. новый способ взяла себе на вооружение и токсикология. Бумажная хроматография в области обнаружения алкалоидов стала, во всяком случае по признанию англичанина Кларка, «самым значительным событием со времен Стаса».

Когда бумажная хроматография укоренилась в токсикологии, охота за растительными алкалоидами и множеством их синтетических преемников имела уже более чем столетнюю историю. И эта охота представляла собой не рядовой акт в драме человеческих ошибок, усилий, триумфов, новых ошибок и новых триумфов, которым посвящена книга. Речь идет о решающем акте, который предопределил развитие всей судебной токсикологии. Тем не менее и он не последний.

В то время как шла борьба с алкалоидами, токсикологи научились распознавать действие многих других ядов и обнаруживать их. Из небольшого некогда ряда металломинеральных ядов эпоха химии и индустрии выковала почти необозримую по длине и ширине цепь. Она простерлась от соединений марганца, железа, никеля и меди до талия. В виде моющих и чистящих средств, дезинсектицидов или лекарств они попали в руки миллионов людей. Маленький ручеек газообразных ядов, таких, к примеру, как синильная кислота, также превратился в необозримый поток.

Возглавляла группу газов все еще окись углерода, пожиравшая год за годом тысячи жертв. За ней шел целый ряд сероводородных и сероуглеродных соединений вплоть до трихлорэтилена. Широкое распространение во всем мире получило и множество кислот и щелочей — от метилсульфата до салициловой кислоты, этого компонента жаропонижающего и болеутоляющего лекарства аспирина, который в течение десятилетий стоял на третьем месте среди ядов, применяемых самоубийцами, вслед за окисью углерода и барбитуратами.

Если взглянуть на развитие всех этих исследований в целом, то нельзя оспаривать, что из робких начинаний отдельных пионеров ныне выросла серьезная наука. И все же после всех усилий, триумфов и успехов с XIX в. остается нерешенным вопрос: достаточно ли доказать наличие яда в выделениях, крови, тканях тела живущих или умерших людей, чтобы распознать, идет ли в данном случае речь о жертве убийства с помощью яда, самоубийства, медицинского или профессионального отравления? Достаточно ли, как это подчас случалось, приблизительно определить количество обнаруженного яда, чтобы извлечь из этого столь же приблизительные выводы относительно того, какое количество яда получил потерпевший? Не следует ли поискать методы более точного определения количества обнаруженного яда? Не в этом ли заключается главная цель, венец всех усилий?

*8. Развитие исследований мышьяка со времени дела Мари Лафарж. Атомные и радиологические исследования на предмет обнаружения мышьяка.*

К середине века казалось доказанным, что «естественный» или «полученный естественным образом» мышьяк в человеческом организме четко отличим от отравляющих доз этого яда. В массе случаев отравления мышьяком, жертвы которых были подвергнуты токсикологическому анализу непосредственно после наступления смерти, в этом отношении не возникало никаких проблем или серьезных сомнений. Но даже в тех случаях, когда подозрение в отравлении влекло за собой эксгумацию лишь спустя большой или меньший отрезок времени после смерти, возникающая при этом проблема проникновения мышьяка в останки тела из земли казалась окончательно выясненной и урегулированной. Казалось доказанным, что вода не вымывает из земли сколько-нибудь значительного количества мышьяка и не может занести его в останки умерших. Казалось, что большие количества мышьяка в трупах ни при каких обстоятельствах не могут проникнуть в них из окружающей гроб земли, коль скоро последняя в принципе содержит лишь ничтожные количества мышьяка. И считалось окончательно доказанным, что издавна практикуемое взятие проб земли при эксгумировании и точное определение процента содержания мышьяка в земле и в трупе исключает возможность ошибочных решений. Стало аксиомой, что любой мышьяк, попадающий в волосы, а точнее, на волосы вследствие непосредственного соприкосновения последних с землей или через содержащую мышьяк жидкость, можно удалить, применяя современные методы мытья волос с помощью кислоты и ацетона. Опытным путем было точно установлено, что несмываемый при этом мышьяк попадает в волосы из организма человека и в зависимости от своего вида и количества может свидетельствовать об отравлении.

Во второй половине XX столетия возможности количественного определения ядов достигли такой степени развития, о которой не могли даже мечтать токсикологи времен Уилкокса.

Кроме того, появлялись все новые и новые методы обнаружения ядов. Опыт исследователей атома, очень быстро нашедший применение почти во всех отраслях науки, начал привлекать внимание токсикологов. Некоторые токсикологи, прежде всего во Франции, предприняли первые попытки с помощью радиоактивных элементов обнаружить металлические яды и определить их количество. Их эксперименты касались в первую очередь мышьяка в волосах; они делали его радиоактивным с помощью нейтронов, измеряли затем его излучение и по степени этого излучения делали выводы о количестве имеющегося мышьяка.

Область, в которой происходило развитие «количественной» токсикологии, была очень широкой, и развитие исследований по обнаружению мышьяка показательно для прогресса, достигнутого в ней.

Вывод о том, стал ли умерший жертвой отравления мышьяком или нет, мог быть, казалось бы, сделан без тени сомнения.

На этом фоне весной 1952 г. произошло одно из тех событий, которые много раз в ходе истории привлекали к токсикологии всеобщее внимание, подвергая ее суровым испытаниям и побуждая к новым достижениям. Событие это разыгралось на юго-западе Франции — в Пуатье. Оно свело на нет ощущение уверенности в точности результатов прежних исследований и показало, что токсикологию ожидают новые загадки и сомнения.

В центре событий находилась женщина, обвинявшаяся в убийстве посредством мышьяка по меньшей мере двенадцати человек. Ее имя было Мари Беснар, урожденная Девайо. Но прозвали ее «черная вдова из Лудена».

*9. 1949—1961 гг.— чудовищное дело Мари Беснар. История «черной вдовы из Лудена». Тринадцать случаев смерти за период с 1927 по 1949 г. Эксгумация Леона Беснара. 21 июля 1949 г.— арест Мари Беснар. Эксгумация останков одиннадцати остальных умерших. Во всех, за одним исключением, наличие смертельных доз мышьяка. 20 февраля 1952 г.— первый процесс по делу Беснар. Новые эксперты. 1954 г.— второй процесс по делу Беснар. Третья группа экспертов. Семь лет в поисках правды. 21 ноября 1961 г.— третий процесс по делу Беснар. Микробы действительно поглощают мышьяк из почвы. Оправдание Мари Беснар за недостаточностью улик.*

21 июля 1949 г., в день ее ареста. Мари Беснар, урожденной Девайо, было пятьдесят три года. Землевладелица, она была одновременно крупным рантье в городишке Луден. Ниже среднего роста, с рано постаревшим лицом, покрытым несколько провинциальной косметикой, с бегающими глазами, спрятанными за круглыми стеклами очков, с тонкими губами — она по всему своему облику была типичным подобием большинства женщин французской провинции Вьенн, состоящей из деревень и городков, разбросанных имений, населенной мелкими крестьянами, арендаторами, ремесленниками, — края, где все знали друг друга, где деньги еще хранили в чулках, а досуг заполняли вином, хорошей едой, любовью и сплетнями.

И именно сплетня дала толчок делу Мари Беснар, затянувшемуся на многие годы. Сплетня, как обычно бывает в маленьких городках, пошла от жены начальника почты мадам Пинту.

Когда 25 октября 1947 г. после непродолжительной болезни скончался Леон Беснар, муж Мари, мадам Пинту сообщила одному из своих «друзей» помещику Огюсту Массипу, будто Леон Беснар сказал ей незадолго до своей кончины, что его отравила жена. Это подозрение, по словам мадам Пинту, он высказал в тот момент, когда Мари Беснар провожала к выходу обоих лечащих врачей — доктора Галлуа и доктора Шованеля, а жена начальника почты осталась одна возле умирающего. Огюст Массип, который ютился с двумя своими слабоумными братьями в почти пустом господском доме своего разоренного поместья, где было всего две койки с соломенными матрацами, кучи старого тряпья и горы грязной посуды, передал слова жены начальника почты в уголовную полицию города Пуатье. Там это сообщение попало в руки следственного судьи Пьера Роже, которому едва исполнилось двадцать пять лет. Он и инспекторы Сюртэ Ноке, Шомье и Норман дали такой ход делу Беснар, что оно потом не могло остановиться целых четырнадцать лет.

История должна согласиться с Роже, что даже небольшой части тех странных происшествий вокруг Мари Беснар, на след которых он напал, было вполне достаточно, чтобы заподозрить убийство путем отравления. Но первоначальные следственные действия не зашли пока так далеко, ибо мадам Пинту стала отрицать, будто подозревала Мари Беснар в убийстве. Но в Лудене нашлись и другие жители, которые питали подозрение к Мари Беснар. В хозяйстве Беснаров в мае 1947 г. работал двадцатилетний немецкий военнопленный по фамилии Диц. Его считали любовником Мари Беснар, которая была на тридцать лет его старше. По слухам, Леон Беснар сказал как-то, что он больше не хозяин в своем доме, а слуга своего батрака. До появления этого молодого немца жители Лудена были взбудоражены потоком анонимных писем скабрёзного содержания. Эти письма доктор Эдмон Локар, видный пионер научной криминалистики из Лиона, сличил с образцами письма, взятыми у Мари Беснар. Локар установил, что Мари является автором этих писем, которые, как учат бесчисленные примеры из истории криминалистики, имели своим истоком неудовлетворенное половое влечение. Правда, Мари Беснар упорно отрицала, что она является сочинительницей сомнительных писаний. Но против нее говорило то, что поток анонимных писем прекратился с того момента, как немец Диц приступил к своей службе.

Инспектор Ноке пришел к убеждению, что в данном случае мотив возможного отравления ядом Леона Беснара очевиден: одержимая любовной похотью женщина устранила своего старого мужа, чтобы получить возможность беспрепятственно жить с молодым немцем. После смерти мужа она совершила несколько длительных путешествий вместе со своим слугой на собственном автомобиле «симка», а когда Диц в мае 1948 г. вернулся в Германию, она продолжала поддерживать с ним связь и добилась наконец того, что в 1949 г. он снова появился в Лудене, заявив, что здесь он с помощью Мари хочет найти себе постоянное занятие и обосноваться, чего ему не удалось сделать у себя на родине.

Таковы были первые результаты расследования, когда 16 января 1949 г. умерла мать Мари Беснар, восьмидесятисемилетняя Мари-Луиза Девайо, урожденная Антиньи, с 1940 г. проживавшая в доме Беснаров. Доктор Галлуа, который считал причиной смерти Леона Беснара сначала приступ печеночной колики, позже — стенокардию, а в конечном итоге (после анализа мочи) — уремию, лечил

и Мари-Луизу Девайо. В январе 1949 г. в Лудене свирепствовала страшная эпидемия гриппа. Когда больная впала в бессознательное состояние и у нее развился односторонний паралич, Галлуа решил, что это результат упадка сил вследствие гриппа, осложненного кровоизлиянием в мозг. Во всяком случае, смерть старой женщины стала той искрой, которая превратила тлевший до сих пор подспудно жар подозрений в настоящий пожар. Инспектор Ноке узнал, что покойная осыпала свою дочь упреками из-за ее связи с немцем и предстоящего его возвращения. Ноке поэтому заподозрил, что Мари Беснар после мужа умертвила и мать, чтобы дожидаться молодого немца и беспрепятственно предаваться своей страсти. Ноке удалось наконец заставить мадам Пинту отказаться от ее прежней сдержанности. Она очень убедительно описала последние часы жизни Леона Беснара: его боль в желудке, рвоту, а также разговор между умирающим и ею.

— Ох, что же они мне дали?

— Кто, немец?

— Нет, Мари... Мы собирались есть суп. Я увидел в моей тарелке что-то жидкое. Мари налила туда же суп. Я съел, и у меня тут же началась рвота.

Когда Ноке в ходе этого разговора узнал, что Мари Беснар наняла одного парижского частного детектива, пользующегося сомнительной репутацией, по имени Локсидан, и тот пытался запугать мадам Пинту, у него исчезли последние сомнения.

9 мая в Пуатье было решено извлечь через два дня из могилы на Луденском кладбище труп Леона Беснара и произвести его исследование на предмет обнаружения яда. Эксгумация была поручена врачам Сета и Гийону и смотрителю кладбища Жану Морену, а токсикологическая экспертиза — доктору Жоржу Беру, директору Лаборатории полицейской техники в Марселе, который уже десятки лет пользовался большим авторитетом на юге и юго-западе Франции, а в 1938 г. благодаря выходу в свет книги «Очерк по криминологии и полицейской науке» стал известен и за пределами Франции. Части трупа, пролежавшего в земле уже более полутора лет, были помещены в стеклянные сосуды, помечены и отправлены в Марсель. Д-р Беру сообщил в Пуатье о результатах своего исследования. Согласно его заключению, в ходе качественного и количественного анализов на содержание яда в теле Леона Беснара он обнаружил 39 миллиграммов мышьяка на килограмм веса тела, то есть такое количество, которое должно рассматриваться как доказательство отравления мышьяком, приведшего к смерти. Это побудило Роже распорядиться об эксгумации трупа матери Мари Беснар. Исследование, проведенное тем же Беру, привело к обнаружению в теле покойной мышьяка в количестве не менее 58 миллиграммов на килограмм веса.

21 июля 1949 г. в Лудене появились инспектора Ноке и Норман и доставили Мари Беснар и Дица в Пуатье к следственному судье Роже. Столь же злобно, сколь и оригинально Мари Беснар описала потом юного следственного судью: «У него была ненормально большая голова, и он смотрел на меня как через сито».

Наружность землевладелицы из Лудена и ее непоколебимое, отталкивающее хладнокровие не вызвали у Роже симпатии. После длительного допроса он распорядился о ее предварительном аресте и велел отвести в тюрьму Пьер-Леве. Дица он тоже подверг пристрастному допросу. Поскольку немец держался стойко и отрицал всякую любовную связь с Мари Беснар, его пока отпустили. Все, что делал Диц после этого, было хотя и объяснимо, но мало способствовало тому, чтобы рассеять тучи подозрений в убийстве, сгустившиеся над Мари Беснар. Он не стал ждать, пока в Луден придут его документы, находившиеся по случаю его возвращения во Францию в Париже, и в ту же ночь пересек франко-германскую границу, чтобы никогда более не возвращаться.

Расследование по данному делу, которое Роже все более продвигал вперед, привел прямо-таки к каким-то мистическим результатам: была установлена целая серия крайне подозрительных случаев смерти в семье Беснар, а также среди их соседей и друзей. Чем дальше продвигалось расследование, тем чаще приходилось обращаться назад, к прошлым временам вплоть до 1927 г. Вскоре после первой мировой войны тогда еще двадцатитрехлетняя Мари Беснар (дочь мелкого крестьянина Пьера Эжена Девайо из Сен-Пьер-де-Майе) вышла замуж за своего двоюродного брата Огюста Антиньи, работавшего на ферме. Оба они в качестве домоправителей переехали в замок Мартен. Огюст Антиньи умер в 1927 г., как было тогда установлено, от туберкулеза. Но Беру, эксгумировав Антиньи, обнаружил в останках покойного, хотя со времени захоронения прошло более 20 лет, целых 60 миллиграммов мышьяка на килограмм веса, что служило явным признаком смертельного отравления мышьяком.

В 1929 г. Мари Беснар вышла замуж вторично, на этот раз за Леона Беснара, и тем самым поднялась на следующую ступеньку социальной лестницы. Беснар имел дом в Лудене, москательную лавку и усадьбу в сельской местности. Мари Беснар не родила ему детей, но оказалась прекрасной хозяйкой и столь же целеустремленной, сколь и расчетливой накопительницей. Беснар находился в откровенной вражде со своими родителями, жившими по соседству. Он не мог простить им, что они постоянно оказывали предпочтение не ему, а его сестре Люси. Свою вражду он перенес и на других родственников. Однако Мари Беснар не обращала на эту враждебность никакого внимания и достигла того, что двоюродная бабушка ее мужа — вдова Луиза Леконт — в своем завещании назвала ее своей наследницей наряду с сестрой Беснара Люси. Вскоре после этого, 22 августа 1938 г., Луиза Леконт скончалась. Правда ей было уже за восемьдесят. О наличии у нее симптомов отравления мышьяком тогда ничего не говорили. Но токсикологическая экспертиза останков покойной, произведенная Беру, показала наличие 35 миллиграммов мышьяка на килограмм веса. А кроме того, выяснилось, что Мари

Беснар находилась у смертного одра Луизы Леконт и до этого часто посылала ей вино.

Через два года после этого, 2 сентября 1940 г., умерла бабушка Леона Беснара вдова Гуэн. Она была единственной родственницей, от которой Леон, по его словам, видел хоть что-то хорошее. Он был ее единственным наследником. Мари Беснар с мужем тоже посетили эту совсем старенькую даму незадолго перед ее кончиной. О ее последних часах тоже нет точных врачебных сведений. Несмотря на это, 23 августа 1949 г. была назначена эксгумация ее останков. Но они плохо сохранились и показали столь мизерные следы мышьяка, что обвинение в убийстве здесь было бы никак не оправдано.

Тем подозрительнее были данные токсикологической экспертизы, когда по распоряжению Роже был эксгумирован труп отца Мари Беснар — Пьера Девайо, умершего 15 мая 1940 г. Причиной его смерти в 1940 г. считали апоплексический удар. В момент смерти отца Мари Беснар не было в родительском доме. Тем не менее анализ на яд показал наличие 30 миллиграммов мышьяка на килограмм веса покойного. Мари Беснар унаследовала усадьбу отца; тогда же ее мать переехала в дом Беснаров в Лудене.

А уже 19 ноября 1940 г. умер еще один родственник — свекор Мари Беснар — Марселен Беснар, которого она очень часто посещала, несмотря на вражду между ним и ее мужем. И на этот раз Мари не была возле больного в момент его смерти. Старик много лет страдал прогрессирующими проявлениями паралича, и д-р Деларош, его домашний врач, посчитал причиной смерти старческую слабость и инсульт. Однако Беру обнаружил в эксгумированных частях его трупа 38 миллиграммов мышьяка на килограмм веса. В результате этой смерти Беснары унаследовали 227 734 франка.

Спустя лишь несколько недель, 16 января 1941 г. пришла очередь свекрови — Мари-Луизы Беснар, ушедшей вслед за своим мужем в возрасте шестидесяти шести лет. Приведшая ее к смерти болезнь длилась девять дней. Доктор Деларош диагностировал воспаление легких. Мари Беснар ухаживала за своей свекровью до последней минуты. Половина наследства после покойной пришлась на долю Люси Беснар, а другая половина, в сумме 262 325 франков, досталась Мари и Леону Беснарам. Роже, который в каждом из этих случаев смерти подозревал умышленное отравление, велел эксгумировать труп Мари-Луизы Беснар. Беру обнаружил в нем 60 миллиграммов мышьяка на килограмм веса.

И опять всего несколько недель прошло до следующей смерти. 27 марта. 1941 г. Люси Беснар, сорокапятилетнюю сестру Леона, нашли повесившейся в родительском доме. Тщательного расследования этого случая не было, хотя самоубийство Люси было несколько странным, ибо она была очень набожной католичкой. С другой стороны, Люси тяжело переносила свое одиночество после смерти родителей. Когда же Беру и в ее останках обнаружил 30 миллиграммов мышьяка на килограмм веса, самоубийство Люси стало выглядеть еще более удивительным, чем в 1941 г. У Роже появилось подозрение, что Леон Беснар содействовал отравлению сперва своих родителей, а затем и своей сестры и повесил сестру, чтобы инсценировать самоубийство. Позднее, предполагал Роже, сам Беснар пал жертвой своей жены-убийцы, когда мотивы убийства у нее изменились и она из убийцы ради наживы превратилась в убийцу на сексуальной почве.

Списку подозрительных случаев смерти, казалось, не было конца. 14 июля 1939 г. скончался сосед Беснаров шестидесятипятилетний кондитер Туссен Ривэ. В качестве причины смерти была записана «чахотка». Его жена — Бланш Ривэ — обратилась к Беснарам за помощью в управлении ее небольшим состоянием. Впоследствии она переехала к Беснарам и в обмен на маленькую пожизненную ренту передала им в собственность свой дом. А уже 27 декабря 1941 г. она умерла. В качестве причины ее смерти также значился туберкулез. Ухаживала за больной Мари Беснар. Когда Роже распорядился послать в Марсель части трупов обоих Ривэ для анализа на яд, в обоих случаях оказалось по 18 миллиграммов мышьяка на килограмм веса.

Но и на том серия смертей не кончилась. В мае 1941 г. две пожилые кузины Леона Беснара — Полина и Виржиния Лаллерон — нашли приют в доме Беснаров. Во время вторжения немецких войск во Францию они бежали из своего дома в Ле-Труа-Мутьер. Причем всю свою наличность Полина унесла в поясе, застегнув его вокруг живота. Когда 1 июля 1941 г. Полина умерла (по мнению д-ра Галлуа, «от старческой уремии»), ее сестра настояла, чтобы наследницей их имущества сделать Мари Беснар. И уже 9 июля 1941 г. она последовала за Полиной в могилу.

Токсикологические исследования Беру дали на этот раз такие результаты: 48 миллиграммов мышьяка на килограмм веса у Полины, от 24 до 30 миллиграммов — у Виржинии Лаллерон. И опять-таки речь шла о таких количествах яда, которые вряд ли позволяли Роже сделать какой-либо иной вывод, кроме констатации убийства с помощью мышьяка.

Однако в пользу Мари Беснар был, во-первых, тот факт, что, кроме мадам Пинту, а она только что-то слышала, не было свидетелей, которые могли бы хотя бы в одном эпизоде уличить Мари в покупке мышьяка, в подмешивании его в пищу и в кормлении этой пищей потерпевших, а во-вторых, тот факт, что почти ни в одном случае не наблюдались симптомы острого или хронического отравления мышьяком.

Первому из этих аргументов можно было противопоставить тот довод, что Мари Беснар была не первой в истории отравительницей, действовавшей с такой осмотрительностью, что против нее не существовало никаких свидетельств очевидцев. На второй аргумент можно было возразить, что число умышленных отравлений, которые остались навсегда нераскрытыми из-за неопытности или невнимательности домашних врачей, просто безгранично.

Тем не менее Роже стремился к тому, чтобы обвинение, которое будет предъявлено Мари Беснар,

базировалось не на одних только косвенных уликах. В ходе длившегося около двух лет расследования он испытал все средства, способные побудить Мари Беснар к признанию. Он прибегал при этом даже к таким методам, которые, особенно в эпоху Горона, считались классическими и самыми эффективными из арсенала Сюртэ. Так, он подсаживал в камеру Мари Беснар женщину-шпику. Но бдительное недоверие и упрямство арестованной (а может быть, ее невиновность) оберегали ее от опрометчивых высказываний. Бесспорно, какую-то часть присущей ей силы сопротивления Мари Беснар черпала из того факта, что ее защиту взял на себя один из известнейших парижских адвокатов. Вскоре после своего ареста Мари заручилась помощью таких авторитетных адвокатов, как Рене Эйо и Дюклюзо. Благодаря постоянно растущему интересу к этому делу в стране внимание ведущих парижских адвокатов, постоянно ищущих сенсационные дела, было привлечено к этой женщине из провинции. Рене Эйо в конце концов сам привез в Пуатье звезду адвокатуры, тогда уже шестидесятичетырехлетнего кавалера ордена Почетного легиона Альбера Готра. В течение целого дня Готра беседовал с арестованной.

Вероятно, Готра еще до своего визита к Мари Беснар решил, что этот необычный процесс ему упускать нельзя. Готра давно было ясно, что обвинение будет строиться по преимуществу на косвенных уликах, добытых токсикологической экспертизой, а по опыту он знал, что нет ничего легче, как выиграть предстоящий процесс,— для этого достаточно посеять с помощью не раз уже испытанных им способов недоверие к данным токсикологической экспертизы. В Марселе Готра получил некоторые сведения о работе Беру и полагал, что ему удастся «выбить Беру из седла». Насколько подробно он был информирован, можно судить по замечанию, которое он сделал, когда Мари Беснар возмущалась марсельскими токсикологами: «Не говорите плохо о своих врагах, ибо они спасут вас».

Когда после визита в Пуатье Готра взял на себя защиту Мари Беснар, сила сопротивления последней удвоилась, равно как и ее желание либо до последней возможности отрицать свою вину, либо отстаивать свою невиновность (а это значило размотать почти невероятное сплетение случайностей, роковых совпадений, недоразумений, лжи и сплетен).

И вот 20 февраля 1952 г. во Дворце юстиции в Пуатье начался процесс по делу Беснар. Красные мантии председателя суда Фавара и судей подействовали на Мари, как она сама потом сказала, «подобно виду крови», когда ее, одетую в черное, отороченное мехом пальто, с испанской шалью на голове и плечах, ввели в зал суда. Стоя, с застывшей улыбкой слушала она чтение обвинительного акта. Затем произошел маленький эпизод, чем-то напоминавший дело Лафарж. Мари Беснар была обвинена в незаконном получении ренты за одну из умерших родственниц путем подделки ее подписи на квитанциях. Приговор гласил: два года тюрьмы и штраф в размере 50 тыс. франков. Это был, как говорится, только пролог, но пролог, намеренно включенный в сценарий судебного спектакля, чтобы бросить мрачную тень на характер подсудимой. Лишь после этого, на второй день, с выступлений свидетелей, вызванных прокурором Жиро, началась настоящая борьба. Каждому внимательному наблюдателю вскоре стало ясно, что показания всех свидетелей, кроме мадам Пинту, не имели существенного значения.

Спору нет, из нагромождения сплетен и слухов возник такой образ подсудимой, в котором можно было искать и найти черты хитрой, хладнокровной и расчетливой убийцы. Но ни одно из этих показаний не обладало силой подлинного доказательства. Многие из них скорее способны были породить сомнение относительно того, имела ли вообще подсудимая чисто техническую возможность осуществить то или иное из инкриминируемых ей убийств. Однако, как только появлялись подобные сомнения, представитель обвинения и председательствующий ссылались на одного и того же человека — Жоржа Беру. Он, мол, обнаружил яд. Он, мол, самый знаменитый токсиколог на юге Франции. Как яд попал в тела покойных, если не из рук убийц? И если ясно, что кто-то давал потерпевшим яд, то кто, кроме Мари Беснар? Последняя во всех случаях что-то выигрывала от этого — либо как алчная стяжательница, либо как охотница до любовных утех.

И 22 февраля снова и снова повторялась эта фамилия: Беру, Беру, Беру. Его имя приобрело большой вес еще до того, как он впервые переступил порог зала суда. С вечера 22 февраля все сосредоточенно ждали утра следующего дня, когда Беру должен был доложить о результатах проведенных им токсикологических исследований.

Пассивное поведение Готра и Эйо в течение первых двух дней судебного разбирательства вызывало некоторое удивление. Этому могло быть только два объяснения. Либо они как адвокаты из столицы явились на этот провинциальный процесс с изрядной долей высокомерия и зазнайства, либо же они не придавали всей этой игре слухов и наветов большого значения и ждали главных свидетельств, которые могло предъявить обвинение,— показаний экспертов-токсикологов, чтобы именно с ними скрестить свои клинки. Но что казалось наблюдателям в Пуатье особенно подозрительным, так это та шутливая невозмутимость, с которой Готра ожидал наступления дня 23 февраля. Она производила впечатление затишья перед бурей. Но это было последнее затишье перед бурей.

Осталось неясным, каким образом в руки Готра попала переписка между Роже и Беру, относящаяся к 1949 г., а также кое-какая документация из марсельской лаборатории. Но так или иначе они находились у него. То, как он ими воспользовался, показало, как, впрочем, и весь процесс, что Готра был не только закаленным в боях профессионалом, который к тому же мастерски разбирался в естественнонаучных концепциях, но и человеком не очень-то щепетильным в выборе средств для



достижения своей цели, адвокатом, не чуравшимся дешевых эффектов и даже сознательно их использовавшим.

Утром 23 февраля, пробравшись сквозь возбужденную, ожидавшую его людскую толпу, Беру вошел в зал суда. Это был темноволосый, грузный, широкоплечий, казавшийся несколько малоподвижным человек, о котором Мари Беснар со злобой писала:

«Он выглядел не очень интеллигентно, но в сравнении со всеми его глупостями и ошибками все же достаточно прилично». Впечатление, которое производил Беру, не в последнюю очередь объяснялось чрезвычайно большим разрывом в развитии науки между Парижем и большей частью провинции, а исключения, вроде развития судебной медицины в Лионе, лишь подтверждали общее правило. Он принадлежал к старшему поколению и жизнь свою провел на юге, занимаясь, подобно многим своим сверстникам, помимо токсикологии, еще различными областями естественнонаучной и технической криминалистики вплоть до почерковедения.

Но сейчас, когда он вышел вперед и стал описывать проделанную им огромную работу, ему не хватало необходимого для суда блеска. Сухими словами набросал он картину затянувшихся на месяцы событий, вызывавших одну эксгумацию за другой. Стеклянные сосуды с материалом для исследований курсировали между Луденом и Марселем, со многими сотнями частей и частиц органов похороненных в разное время людей. Все исследования на мышьяк Беру проводил с помощью аппарата Марша, но прибегал и к измерениям изменений в цвете. Тысячи раз за последние тридцать лет в его лаборатории проводились подобные анализы, и Беру ничуть не сомневался в том, что установленные им в трупах количества мышьяка совершенно точны, в рамках, конечно, незначительных отклонений, неизбежных при любых измерениях. Он исследовал также многочисленные пробы почвы с примогильных участков на содержание в них растворенного мышьяка и пришел к выводу, что количество растворенного мышьяка в них намного меньше, чтобы им можно было объяснить наличие необычайно больших количеств мышьяка в трупах. Беру показал, что он не легкомысленный фанфарон, а эксперт, ограничивающийся пределами своей профессиональной компетенции. Когда председатель суда задал ему каверзный вопрос: «Утверждаете ли вы, что речь здесь идет об умышленном отравлении?», он дал отрицательный ответ: «О нет. Что-либо в этом роде я бы никогда не смог заявить. Все сказанное мною сводится исключительно к тому, что я обнаружил в исследованных трупах мышьяк».

Беру в эту секунду и не подозревал, что несколько минут спустя он станет жертвой целого ряда судебных трюков, которые с дьявольским мастерством разыграет Готра, разрушив как ударами топора все здание токсикологических экспертиз. Впрочем, Беру стал жертвой не только этих трюков, но и тех упущений, в которых был виновен он сам и некоторые его сотрудники. Правда, упущения эти состояли в том, что Беру при проведении своих анализов не пользовался самыми новейшими методами. Но является по меньшей мере спорным, можно ли считать недостатком привязанность исследователя к тем методам, которыми он овладел в совершенстве. Как выяснилось позже, результаты Беру были бы не опровергнуты, а подтверждены даже при исследовании самыми современными способами. Ошибка, в которой он действительно был повинен, была совсем иного рода: он не обеспечил безукоризненной точности и аккуратности в организации лабораторной работы и в первую очередь пренебрег бюрократической системой регистрации и контроля, без чего лаборатория в наш массовый век рано или поздно будет попросту погребена под постоянно усиливающимся напором огромного количества анализов.

Готра начал с того, что допросил врачей — доктора Сета и доктора Гийона, которые на Луденском кладбище изымали необходимые для исследования части трупов и запечатывали их в стеклянные сосуды, предназначенные для Марселя. «Я убежден,— сказал он необычайно дружелюбно,— что вы работали с крайней осторожностью, пересчитали и занесли в список все стеклянные сосуды, прежде чем отправить их в Марсель...»

«Само собой разумеется,— ответил Сета,— мы работали с огромной тщательностью». Он добавил, что это необходимо для того, чтобы в лаборатории попали подлинные объекты исследования.

Готра взял со своего стола несколько списков и раздал их судьям, присяжным и журналистам. Право же, он не знает, заявил Готра, как при тех обстоятельствах, которые описал доктор Сета, надо назвать некоторые вещи, о которых сейчас пойдет речь. Очевидно, произошло нечто таинственное. Если господа сравнят списки, составленные у вскрытых могил доктором Сета, со списками доктора Беру о поступивших к нему объектах исследования, то окажется, что в Марселе зарегистрировано и исследовано значительно больше сосудов с частями трупов по делу Беснар, чем их было отправлено из Лудена. Если исключить возможность того, что число сосудов само по себе увеличилось по пути в Марсель, то остается только один вывод: в лаборатории доктора Беру сосуды с объектами исследования по разным уголовным делам были перепутаны и, так сказать, привнесены в дело Беснар извне. Наверно, доктор Беру сможет объяснить нам это наваждение?

Беру был так поражен этим неожиданным нападением, что не находил слов, а лишь растерянно озирался. «Успокойтесь, доктор,— продолжил дальше Готра с наигранным дружелюбием, за которым пряталась львиная хватка,— в таком большом институте, как ваш, подобно может случиться. Естественно, вы ежедневно получаете много сосудов с объектами для исследований. Поскольку эти сосуды устанавливаются на полках и могут быть легко друг с другом перепутаны, вашим ассистентам достаточно лишь раз быть невнимательными. Если,— и тут медоточивый голос Готра стал стал вдруг резким,— в списках из Лудена среди мертвых останков, например, мадам Гуэн значится мышечная

ткань, а не внутренности, а в вашем заключении говорится применительно к случаю с мадам Гуэн об обнаружении большого количества мышьяка при анализе ее внутренностей, то, значит, произошла путаница и были исследованы части какого-то другого трупа».

Беру, все еще растерянный, снял очки и вытер глаза своим желтым шарфом. Но Готра не собирался давать ему время прийти в себя. «В вашем заключении,— сказал он (и его голос зазвучал еще громче и угрожающе),— содержатся данные о мышьяке, обнаруженном в волосах Туссена Ривэ. Но у Туссена Ривэ была лысина. Мне это представляется еще одним наваждением. Уж не имеем ли мы здесь дело с подменой головы Ривэ головой неизвестного нам покойника из вашего института? Наконец, среди отчетов о ваших анализах имеется протокол об исследовании глаза вдовы Луизы Леконт. В списках же, составленных при эксгумации этой дамы, нигде об этом глазе не упоминается. Да это и не мудрено. Ведь вдова одиннадцать лет пролежала в земле, и надо еще поискать такой человеческий глаз, который смог бы сохраниться в течение столь долгого времени...»

Атака Готра была отнюдь не столь страшной, как это могло показаться в первый момент. Он коснулся лишь некоторых мелких несоответствий, которые бросились ему в глаза при придирчивом сравнении списков, но которые на фоне сотен отдельных объектов исследования не имели существенного значения для получения общего результата. Однако Готра так ловко выдвинул их на первый план, что в зале суда сложилось впечатление, будто вся работа Беру проходила в обстановке беспорядка и дезорганизации и вместо трупов из Лудена исследованию подвергались посторонние трупы. Готра знал, что не должен дать своему сбитоному с толку и морально подавленному противнику из Марселя сгладить это впечатление.

Учитывая все это, он продолжал наступление, позволив себе даже такой вопрос: а может быть, обнаруженный мышьяк происходит вовсе не из исследованных трупов, а из тех стеклянных сосудов, которые Беру предоставил для транспортировки объектов исследования? «Другими словами, я спрашиваю, были ли эти сосуды чисты и свободны от мышьяка?»

Беру к этому моменту настолько овладел собой, что, повысив голос запротестовал против этих подозрений, глубоко убежденный в своей правоте.

— Итак,— спросил Готра,— сосуды каждый раз чистили и стерилизовали, прежде чем послать их в Луден?

— Разумеется! — воскликнул Беру.

— Ага,— сказал Готра,— ну, в таком случае должен вам сказать, что это расходится с той информацией, которой я располагаю...

И Готра вызвал в качестве свидетеля смотрителя кладбища Морена. Морен сказал, что немало сосудов возвращалось из Марселя совсем грязными и не очищалось даже в Лудене. Можно спорить, был ли в данном случае Морен самым подходящим свидетелем, и удивляться тому, что Готра не спросил об этом гораздо более компетентного в этом вопросе доктора Сета, которого он незадолго перед тем восхвалял как образец добросовестности в работе. Точно так же осталось, к примеру, непонятным, отчего Беру со своей стороны не потребовал допросить Сета, а будто парализованный (по выражению одного журналиста), «позволил загнать себя в угол». Волнение в зале суда росло. Репортеры устремились вперед, засверкали вспышки фотоаппаратов и тем еще больше привели Беру в состояние замешательства.

Готра лучше, чем кто-либо в зале, знал, на какой зыбкой почве он держится, и что ему нужно продолжать атаку, чтобы не провалиться. Взяв копии писем, он раздал их участникам процесса.

Здесь, заявил Готра, у него имеется несколько интересных посланий доктора Беру следственному судье Роже. Небрежным движением руки он достал письмо, как будто оно являло собой один пример из множества других подобных. Затем Готра потребовал от Беру, чтобы тот сказал, писал ли он Роже следующую фразу (да или нет?): «Если Вас не удовлетворит мой отчет о проведенных анализах, я просил бы Вас сообщить мне об этом, чтобы я смог внести необходимые изменения...»

Стало ясно, что теперь он ставил под удар не аккуратность Беру, а его порядочность. Он обвинял Беру, будто тот приспособлял свои исследования к пожеланиям следственного судьи. Глубокое возмущение, охватившее Беру, помогло ему в один миг справиться с растерянностью. Дрожащим от гнева голосом он спросил, как могла такого рода переписка попасть в руки представителей защиты? «Я не фальсифицирую свои отчеты!» — вскричал он, и кровь прилила к его лицу. Само собой разумеется, заявил Беру, что в письме он не имел в виду ничего иного, кроме возможных стилистических изменений в отчете, которые облегчили бы суду понимание сложной материи. Но посеянное Готра с холодным расчетом подозрение, будто Беру действовал по указке следственного судьи, нельзя было рассеять никакими объяснениями и интерпретациями, какими бы дельными они ни были. Готра заявил: «Мне достаточно одной фразы... и, думаю, всем остальным тоже». И в тот же миг он обрушил на Беру еще один удар. Признает ли Беру, спросил он, что написал следственному судье следующую фразу, а именно: что он, Беру, с учетом своего многолетнего опыта в состоянии на глаз распознать в металлической бляшке, образовавшейся в аппарате Марша, мышьяк и отличить ее от металлической бляшки, содержащей другой металлический яд, например сурьму. Итак, писал Беру такую фразу или нет?

Беру подтвердил и попытался объяснить, почему он так написал. Но Готра прервал его: «Вы и теперь настаиваете на своем утверждении?»

Неясно, что могло побудить Беру к подобным высказываниям. В годы его учебы многие токсикологи действительно выработали у себя большие навыки по распознаванию мышьяка и сурьмы и при случае

демонстрировали студентам свою виртуозность. Но экспертные заключения, от которых порой зависела жизнь и смерть, они никогда не составляли на глазок. Без сомнения, в случае с фразой из письма Беру, преднамеренно вырванной из контекста, можно говорить лишь о проявлении человеческой слабости, о желании подчеркнуть свой опыт перед следственным судьей, который по возрасту годился ему в ученики. Вероятно, Готра знал, что означала упомянутая выше фраза в действительности, и понимал, что он ни в коем случае не должен дать Беру возможности объясниться и привести иные цитаты из своего письма. «Да,— заявил Беру,— я настаиваю на этом утверждении». Он снова хотел что-то добавить, хотел разъяснить свою позицию. Но Готра, как фокусник, уже держал в руке шесть запечатанных стеклянных пробирок, в которых, как он сказал, были бляшки, содержащие мышьяк и сурьму. «Итак,— воскликнул он, поднеся пробирки к Беру,— объясните нам, в каких пробирках находится мышьяк, а в каких — сурьма».

По всей вероятности, затеянная Готра игра провалилась бы, будь на месте Беру другой, менее провинциальный и менее скованный человек. Другой бы отверг это представление и объяснил бы, что означала процитированная фраза в надлежащем контексте. Но для этого нужна была личность, которая реагировала бы на изменение обстановки с той же молниеносной быстротой, с которой действовал Готра, а не потрясенный неожиданными ударами, задетый в своей чести и гордости человек. И он попал в расставленные Готра сети. Возможно, если бы в тот момент он мог бы спокойно собраться с мыслями, то он смог бы на глаз отличить мышьяк от сурьмы. Но сейчас — в момент максимального напряжения на глазах у всего зала...

С покрытым потом лбом рассматривал Беру пробирки. Затем он вернул три из них Готра и заявил, что в них содержится мышьяк, а в остальных — сурьма.

Глаза Готра засверкали. «Доктор Беру,— прогремел его голос на весь зал,— я хочу вам кое-что сказать по секрету. Ни в одной из этих пробирок нет мышьяка. Все они содержат сурьму. Вот здесь имеется подтверждение лаборатории, из которой я получил эти пробирки». Разведя руками, он обернулся к судьям и присяжным, воскликнув с язвительной насмешкой: «Вот вам доказательство, что доктор Беру является именно тем специалистом, чьим анализам можно доверять!»

Какой-то миг царил тишина. Затем раздался смех. Доктор Беру опустился на стул, а председательствующий Фавар тем временем просил тишины, но, когда это ни к чему не привело, прервал судебное заседание. Когда Беру покидал Дворец юстиции, он от волнения упал и поранился настолько серьезно, что на следующий день на заседании его представлял один из его ассистентов, доктор Медай. Но диспут об обнаружении яда в марсельской лаборатории уже и без того окончен.

Бесспорно, никто не знал лучше Готра, что он разыгрывал игру, которая не имела никакого отношения к тому, насколько верны были выводы Беру относительно наличия или отсутствия мышьяка. Бесспорно, Готра знал, что отдельные погрешности в ведении бумаг вносят столь же мало изменений в подавляющее большинство получаемых данных, как и чьи-то слова о том, что некоторые из сотен стеклянных сосудов не были стерилизованы или что Беру в своих экспериментах прибегал к методам токсикологии, бытовавшим в его юные годы. Временный успех Готра был успехом его вышколенного в Париже интеллекта. Насколько он сам сознавал ограниченное значение своего театрального приема, видно из того, что после этого триумфа он никоим образом не настаивал на немедленном вынесении приговора.

Когда несколько растерянный суд предложил под давлением возникших недоразумений назначить новых экспертов и поручить им провести заново все анализы на яд, он немедленно согласился. Правда, Готра мог пойти на это, ибо лучше, чем суд в Пуатье, знал, что повторная эксгумация покойников, большинство из которых так долго покоились под землей, сможет лишь при очень благоприятных условиях дать такие материалы для исследования, которые позволили бы сделать безошибочные анализы на содержание яда. В истории судебной токсикологии лишь изредка случалось, чтобы можно было компенсировать крушение или опровержение первых анализов. Готра надеялся, что и в новых анализах он сумеет обнаружить слабые места и ошибки, которые позволят ему разрушить доверие к ним.

Рене Фабр, Кон-Абрес, Анри Гриффон и Рене Пьедельевр — так звали новых экспертов, назначенных судом в Пуатье. Все четверо принадлежали к числу самых знаменитых судебных медиков и токсикологов, которыми располагал Париж в 1952 г.

Фамилия Пьедельевр нам уже встречалась: как судебный медик он был известен далеко за пределами Франции. Шестидесятирехлетний Рене Фабр начал свою карьеру в 1919 г. в качестве главного аптекаря прославленного госпиталя Неккера. С 1931 г. он стал профессором токсикологии Парижского университета, а с 1946 г.— деканом фармацевтического факультета. Кон-Абрес — поджарый, бородатый мужчина, стоящий на пороге пожилого возраста,— всю жизнь работал токсикологом. Наконец, Анри Гриффон — самый молодой из них — был руководителем токсикологического отделения лаборатории парижской префектуры полиции. Его имя было связано с первыми опытами, которые поставили достижения атомной науки на службу количественному и качественному определению мышьяка. Эта группа экспертов запросила примерно два года, чтобы, начав с повторного эксгумирования покойников в Лудене, провести все необходимые исследования.

На этот раз сам Пьедельевр наблюдал за эксгумацией трупов. Полный достоинства, седовласый семидесятилетний офицер ордена Почетного легиона расположился в главной капелле Луденского кладбища. Каждая отдельная часть трупа, предназначенная для исследования, приносилась к Пьедельевру и регистрировалась им самым тщательным образом. Он старался избежать любой

ошибки. К его удивлению (и к удовлетворению Готра), оказалось, что при захоронении трупов после первой эксгумации с ними обошлись довольно-таки небрежно. Добросовестность Сета, которую так хвалил Готра и которую он использовал против Беру, предстала теперь в очень сомнительном свете. Видимо, никто тогда не думал, что может состояться повторная эксгумация. Верхние черепные кости многих покойников были положены в одну могилу, и теперь невозможно было установить, кому они принадлежали. То же самое произошло и с останками внутренних органов, которые так смешались с землей, что отделить их было просто невозможно. Пьедельевр хорошо сознавал, что в этих случаях Готра тотчас же заявит, что любой обнаруженный мышьяк происходит из земли. Он опечатал многочисленные пробы почвы из самых различных слоев земли Луденского кладбища, чтобы еще раз проверить растворенность в них мышьяка.

Пьедельевр пользовался большим авторитетом в мире судебной медицины и любил его. Но никогда прежде ему не встречалось столь чудовищное зрелище, случай с таким большим количеством трупов, которые по десять и более лет пролежали в земле и от которых сохранились жалкие остатки. Лишь у некоторых трупов было еще возможно проверить части тела на содержание мышьяка. У остальных же анализу можно было подвергнуть только волосы— этот накопитель мышьяка, о котором современная теория токсикологии говорит как о важнейшем индикаторе вида, степени и длительности отравления мышьяком.

Остатки внутренних органов покойников и большая часть проб почвы были направлены в лабораторию профессора Кон-Абреса, а кожа с голов и пробы волос, а также оставшиеся части проб почвы — в лабораторию Анри Гриффона в Париже. Готра, который был прекрасно осведомлен о состоянии исследуемого материала, спокойно ждал дальнейшего развития событий. Но вскоре после начала анализов он узнал, что, несмотря на большие трудности, вставшие перед исследователями, их результаты вряд ли будут благоприятны для Мари Беснар. Кон-Абрес, который применял как аппарат Марша, так и новейшие методы спектрального анализа, установил, что исследуемый материал содержит 20 миллиграммов мышьяка на килограмм веса, что, учитывая мизерное количество предоставленного на исследование вещества, следовало рассматривать как подтверждение выводов Беру. Еще более тревожными были сведения, полученные Готра из лаборатории Гриффона: последний установил наличие в волосах Леона Беснара такого количества мышьяка, которое в сорок четыре раза превышало норму.

Эти данные в некоторой степени поколебали самоуверенность Готра. Его преследовала мысль, что Кон-Абрес, Фабр и Гриффон смогут при возобновлении слушания дела подтвердить всем своим столичным авторитетом данные о высоком проценте мышьяка у «покойников Мари Беснар» и не дадут ему возможности повторить тактику, столь успешно примененную им против Беру. Он узнал, что Гриффон применил для определения степени содержания мышьяка в волосах методы исследования с помощью атомов, но не мог еще предполагать, что именно это обстоятельство поможет ему повторить тот спектакль, который он разыграл ранее против Беру. Правда, у Готра была еще надежда найти другие слабые места в позиции обвинения: например, он намеревался на этот раз признать наличие мышьяка и использовать иную тактику защиты. Тактика эта была того же рода, к которой адвокаты прибегали еще во времена Орфила, и, попросту говоря, состояла в том, чтобы, признав ставшие уже неопровержимыми данные о наличии мышьяка в организме потерпевших, утверждать, что яд попал туда не из рук преступника, а из кладбищенской земли.

Поначалу и такая тактика не очень обнадеживала Готра. Он знал, что назначенные судом эксперты достаточно старательны в работе, чтобы заранее суметь выбить у него из рук все воображаемые козыри. Гриффон, например, проделал обширные дренажные опыты с пробами почвы с Луденского кладбища, установив при этом, что в земле, бесспорно, имеется мышьяк, однако он либо вовсе не растворяется в воде, либо же растворяется в ней в минимальной степени.

Рене Трюо, профессор фармацевтики и токсикологии из Парижа, ученик и сотрудник Фабра, захоронил в 1952 г. пучок волос, содержание мышьяка в которых было точно замерено, в особенно богатом мышьяком месте Луденского кладбища, установив там полицейский пост. Причем захоронение было проведено точно на той же глубине, на которой были погребены «покойники Мари Беснар». При контрольном исследовании этих волос в 1953 г. оказалось, что, в то время как волосы указанных покойников содержали чрезвычайно большое количество мышьяка, содержание мышьяка в захороненном более года назад пучке волос практически совершенно не изменилось. Такого рода данные не оставляли защите почти никаких шансов на успех, если она собиралась настаивать на том, что обнаруженный в трупах мышьяк происходит из кладбищенской земли.

Но Готра не собирался сдаваться. Будучи в безвыходном положении, он последовал примеру, который подавали ему многие выдающиеся защитники по уголовным делам. Он сам занялся изучением специальной литературы, касающейся токсикологического значения содержащегося в почве мышьяка,— и в результате этого к концу 1953 г. неожиданно прояснились тучи, сгустившиеся было над ним и Мари Беснар.

Готра разыскал публикации некоторых ученых, чья деятельность касалась, собственно, лишь пограничных областей токсикологии. Вернее, это были даже не токсикологи, а биологи или врачи, заинтересовавшиеся биологией. Первыми из тех, чьи работы попали в руки Готра, были Анри Оливье и Лепентр. Один из них — пятидесятилетний врач, руководитель лаборатории медицинского факультета в Париже, читающий курс биологии, а другой — Лепентр — руководитель лаборатории по контролю питьевой воды во французской столице.

В процессе работы с содержащей мышьяк водой случай привел их обоих к выводу, что в земле, должно быть, происходят какие-то неизвестные еще процессы, благодаря которым имеющийся в ней мышьяк становится растворимым в гораздо больших количествах, чем токсикологи до сих пор предполагали. Эти процессы не имеют явной связи с чисто химическими процессами, на которых исключительно сосредоточивались токсикологи, когда исследовали растворимость мышьяка. Они были скорее биологического свойства и находились в прямой зависимости от деятельности почвенных микробов. Готра узнал, что есть множество почвенных микробов, которые применительно к обмену подразделяются на две большие группы: на таких, которые подобно человеку, нуждаются для своей жизнедеятельности в кислороде (их называют аэробными), и на таких, которые могут существовать без кислорода (анаэробные), черпая необходимую для своих жизненных процессов энергию из процессов брожения, решающую роль в которых играет вода.

Оливье и Лепентр ставили поучительные эксперименты. Когда в содержащую мышьяк землю, в которой при обычно проводимых токсикологами контрольных опытах с просачивающейся дождевой водой не оказывалось растворимого мышьяка, они добавляли определенные анаэробные бактерии, то мышьяк начинал растворяться в удивительно больших количествах и уносился водой. Если же в такую землю добавляли аэробные бактерии, мышьяк оставался нерастворимым. И везде, где в почве происходили процессы гниения или брожения вследствие деятельности анаэробных микробов, имелись предпосылки для прежде совершенно не предполагавшегося и обширного растворения мышьяка, находящегося в земле. Но где еще больше гниения и брожения, чем возле могил?

Готра внутренне заликовал, прочитав далее, что обнаружилось особые связи между анаэробными микробами и человеческими волосами, ибо анаэробные бактерии на кладбищах (отнюдь не везде, но во многих местах), изымают жизненно необходимый им водород из серосодержащих соединений в волосах покойников. Там, где возникают эти сложные процессы, мышьяк в ходе своего рода обмена переносится прямо в волосы, попадая из тел отравленных покойников к корням волос, и не поддается удалению даже путем промывания.

Все соображения, выдвинутые Оливье и Лепентром, были идеями неспециалистов. Они, кроме того, не стремились проникнуть в суть замеченных ими явлений. Но одно было доказано неопровержимо — сильная растворимость мышьяка в воде и его перенос в волосы покойников вследствие деятельности почвенных микробов. Сами эти процессы еще не были изучены до конца. Они могли бы возникнуть в одной могиле, а в другой, расположенной совсем рядом с ней, — нет. Но для Готра встреча с этим новым феноменом стала тем лучом света в ночи, который он искал. Наконец-то он получил материал, с помощью которого сможет подвергнуть сомнению официальную теорию токсикологии и тезисы Фабра, Кон-Абреса и Гриффона. Большого он не хотел. Большого ему было не надо.

Готра связался с Оливье и Лепентром, а через них познакомился с другими врачами и биологами. Они уже ставили подобные опыты и были готовы проводить дальнейшие эксперименты, а также выступить в качестве свидетелей защиты. В первую очередь это касалось профессора Жана Кейлинга из французского Национального института земледелия и профессора Поля Леона Трюффера, который, невзирая на свои шестьдесят пять лет, был столь же вдохновенным, сколь и безупречным исследователем в новой области. Его репутация видного парижского клинициста и кавалера ордена Почетного легиона сделала его важнейшим из новых союзников Готра.

Для Готра наступила полоса удач. Ибо перед его глазами вскоре после первой беседы с Полем Леоном Трюффером открылись новые горизонты: то, чего он так долго и тщетно искал, а именно — более точные сведения о методе, с помощью которого Анри Гриффон работал над установлением количества мышьяка в волосах «покойников Мари Беснар», были у него в руках.

В тот момент атомная физика была для Готра в той же мере, что и для большинства его современников, еще книгою за семью печатями. Он пустился поэтому на поиски ученых-атомников, от которых надеялся узнать, не содержатся ли в экспериментах Гриффона источники каких-либо ошибок. Если удастся найти такие источники (а он горячо на это надеялся), то тогда Готра и увидит Гриффона «беспомощно барахтающимся в его сетях».

В конце концов он нашел такого консультанта прежде всего в лице известного далеко за пределами Парижа профессора судебной медицины Деробера. С его помощью он узнал, что методу обнаружения мышьяка в костях или волосах с помощью их радиоактивности, бесспорно, принадлежит большое будущее, а главное — осознал, о чем вообще идет речь применительно к этому методу.

В обычном состоянии мышьяк не бывает радиоактивным, то есть не выделяет никаких лучей. Однако его можно сделать радиоактивным, если поместить в атомный реактор и там обстрелять нейтронами — крохотными, электрически не заряженными атомными частицами. Последние улавливаются нормальными атомами мышьяка и превращают его в испускающий лучи элемент, чье излучение (как и любое иное радиоактивное излучение) можно измерить. Если на содержание мышьяка исследуются волосы, то, значит, их тоже следует поместить в атомный реактор. И если в них имеется мышьяк, он превратится в радиоактивный и его излучение можно будет измерить. Имеются три различных вида излучения, которое исходит от всякого радиоактивного элемента: альфа-, бета- и гамма-лучи. При первых двух видах речь идет об излучении, в ходе которого частицы из распадающихся ядер атомов выбрасываются в пространство. При гамма-излучении, наоборот, речь идет о жестких рентгеновских лучах. В то время как при альфа- и бета-излучениях число выброшенных частиц и их скорость можно измерить, при гамма-излучении измеряются интенсивность гамма-лучей и

их частота. В ходе опытов, при которых надо обнаружить мышьяковое излучение в волосах, следует пользоваться прежде всего бета-излучением. Чтобы установить количество имеющегося мышьяка, одновременно кладут в тот же реактор контрольное количество мышьяка, вес которого точно определен, также делают его радиоактивным и измеряют его бета-излучение. Путем сравнения результатов измерения можно точно установить величину содержания мышьяка в волосах. Если, к примеру, известное количество мышьяка показало на счетчике Гейгера — Мюллера 1000 единиц, а неизмеренное количество мышьяка — 1500, то неизмеренное количество мышьяка в полтора раза больше, чем контрольное количество.

Трудность этого способа в настоящее время коренится в том, чтобы определить, как долго вещество, в котором ищут мышьяк, должно оставаться в атомном реакторе под обстрелом нейтронов. Для посторонних, в том числе и для Готра, поначалу не было ничего более странного, чем единицы измерения быстрого распада атомов — период полураспада. Под ним понималось время, в течение которого распадается половина атомов какого-либо элемента. У разных элементов оно неодинаково. У радиоактивного мышьяка, например, оно равно 26,5 часа, а это значит, что в течение 26,5 часа распадается половина его атомов. Из оставшейся половины в следующие 26,5 часа распадается опять-таки половина и так вплоть до окончательного превращения в неизлучающий элемент.

Если бы мы захотели вновь вернуть веществу радиоактивность и вызвать его излучение, следовало бы с помощью периода полураспада вычислить наиболее благоприятный отрезок времени, необходимый для того, чтобы в должной мере «зарядить» соответствующее вещество в атомном реакторе. Для мышьяка к тому времени было доказано, что периода его полураспада, то есть 26,5 часа нахождения в реакторе, вполне достаточно для последующего измерения.

Но после этого тотчас же возникла новая проблема. Человеческие волосы, в которых ищут мышьяк, от природы содержат некоторое число других элементов, которые вследствие помещения в атомный реактор тоже могут стать радиоактивными. Их излучение должно мешать измерению мышьяка и при известных обстоятельствах вести к полностью искаженным показателям. Скажем, волосы содержат углерод, кислород и водород, а также многочисленные следы таких элементов, как кальций, медь, серебро, калий, магний или натрий. Их радиоактивное излучение не является существенной помехой для измерения мышьяка, поскольку их период полураспада сильно отличается от свойственного мышьяку. Магний, например, распадается так быстро, что через два часа у него исчезает всякое излучение. Кальций в свою очередь имеет период полураспада, равный 164 дням, что, как видим, выходит далеко за пределы того времени, в течение которого измеряется излучение мышьяка. Опасность грозила со стороны других элементов, чей период полураспада был близок к периоду полураспада мышьяка, как, например, натрия с его 18 часами или калия с его 12,5 часа. Опасности, которые при этом грозят, не преодолены до сих пор. Их научились избегать лишь с помощью выше упоминавшегося наиболее благоприятного отрезка времени нахождения в атомном реакторе. В первую очередь, однако, занялись опытами по удалению мешающих элементов химическим путем из содержащих мышьяк волос до того, как начнут измерять излучение мышьяка. Извлеченные из атомного реактора волосы обрабатывали химическими реактивами, такими, как соляная кислота и сероводород, осаждающими натрий, калий и иные вещества, о которых шла речь.

Для Готра знание этих основ, как бы интересны и поучительны они ни были, означало лишь прелюдию. Начиная с того момента, когда он узнал, что радиоактивный анализ, или, как его позже назвали окончательно, нейтронно-активационный анализ мышьяка, все еще связан с трудностями и имеет неразрешенные проблемы, росла его надежда на то, что он сможет уличить Гриффона в какой-нибудь небрежности, ошибке, поспешном выводе — будь они даже ничтожно малы. И ему действительно недолго оставалось ждать исполнения этой надежды.

Профессор Деробер обратил его внимание на то, что Гриффон, несомненно, совершил ошибку, которая относится к числу кардинальных ошибок из тех, какую только может совершить любой токсиколог. Неважно, что именно толкнуло его на это, легкомыслие или же честолюбивое стремление благодаря делу Беснар навсегда связать развитие радиоактивного метода со своим именем, — во всяком случае, он не стал ожидать окончания стадии разработки и испытания нового метода. Он поместил волосы Леона Беснара под нейтронное облучение в атомный реактор не на 26,5 часа, а лишь на 15. Из-за этого, бесспорно, «подскочило», как выразился Деробер, опасное для точных измерений излучение натрия. Правда, это не вело неизбежно к неправильным результатам, но все-таки создавало возможность ошибок.

Готра торжествовал во второй раз. В конце 1953 г. он для вящей уверенности обратился еще к некоторым британским атомным физикам. Они подтвердили то, что ему уже было известно.

Когда 15 марта 1954 г. наступил час возобновления слушания по делу Мари Беснар, Готра чувствовал себя сильным, как никогда прежде. У него не было никаких сомнений, что и эту новую битву он тоже выиграет.

Мари Беснар большую часть времени, на которое был прерван процесс, провела в тюрьме в Пуатье, но в июне 1953 г. была переведена в Бордоскую тюрьму, ибо именно Бордо предстояло стать местом проведения второй части процесса.

Обвинителем на этот раз был прокурор Стек, а председательствующим — Поркери де Буасрэн, внешне немного резкий, но внутренне вполне уравновешенный человек. Оба они не предчувствовали еще какая борьба им предстоит. Стек был убежден, что отныне он имеет дело с экспертами-токсикологами, чьи выводы больше никому не удастся поколебать. Все они подтвердили наличие

абсолютно смертельных доз мышьяка у двенадцати покойников. Они констатировали, что такие количества мышьяка ни при каких обстоятельствах не могли проникнуть в трупы из земли.

Интерес общественности к Мари Беснар и ее делу начиная с 1952 г. благодаря публикациям в печати был настолько сильно подогрет, что 15 марта 1954 г. в Бордо собрались любопытные и журналисты со всех концов света.

В качестве пролога во второй раз состоялся длившийся целый день марш свидетелей обвинения из провинции Вьенн. Он дал так же мало основательных доказательств, как и во время первого процесса, и лишь снова принес поток слухов и описаний характера Мари Беснар, которые представляли ее как несимпатичное, жадное, расчетливое, чуть ли не болезненно-сексуальное существо, но никоим образом не как убийцу.

Готра, Эйо и молодая привлекательная адвокатесса из Бордо Фавро-Коломбье вели более менее громкую и ожесточенную перебранку с многочисленными свидетелями.

Но эта перебранка, как и в 1952 г., представляла собой лишь шумную, бесполезную увертюру к решающему акту, в котором Мари Беснар, бледная и больная после долгого пребывания в тюрьме, но все еще полная бдительности, полностью отошла на задний план, лишь только началось сражение с экспертами и экспертов между собой.

Готра остерегался всерьез выступать против результатов, полученных Кон-Абресом и Фабром при проведении исследований на обнаружение в трупах яда. Их весомость и безупречная доказанность были столь велики, что ему не приходилось рассчитывать на успех. Да он и не опасался этих результатов. Его с дьявольским рвением отточенная шпага была направлена исключительно против Анри Гриффона, о котором Мари Беснар впоследствии с глубоким презрением к каждому, кто выступал против нее, писала, обозвав его «смешной рыбой»: «Ноги в семь сантиметров и все остальное соответствующее. Он был очень мал ростом. Он имел неприятный вид человека, уверенного в самом себе, а любого другого не ставящего ни в грош. Он был слишком молод, чтобы извлечь какие-нибудь уроки из собственного опыта». Наверно, такая характеристика, вышедшая из-под пера Мари Беснар, не вполне соответствовала действительности, но она по крайней мере позволяет как-то объяснить ту ненужную свару, в которую Гриффон (проделавший, впрочем, важную работу) вовлек себя и обвинение. Суетность, жгучее честолюбие, огромное самомнение и, наконец, недостаточное чувство ответственности, свойственное молодому поколению, во многом утратившему за время войны и немецкой оккупации усердие и добросовестность в работе,— всем этим можно объяснить то, что в данном случае произошло. Председательствующий вынужден был сделать Гриффону замечание, что методы его работы оставляют неблагоприятное впечатление. Вся бессмысленность этой ссоры стала ясна позже, когда оказалось, что вообще не было необходимости использовать еще недостаточно зрелый метод нейтронно-активационного анализа. Повторные исследования показали, что, хотя Гриффон поторопился с выводами и не придерживался особенной точности в работе, ему все же повезло. Вывод, что доза мышьяка, содержащаяся в волосах покойников из Лудена, является смертельной, оказался правильным. Но к такому же выводу можно было прийти и с помощью уже испытанных, неоспоримых привычных методов, к которым прибегли Фабр и Кон-Абрес. Многие говорят о том, что лишь честолюбивое желание Гриффона быть первым и блеснуть познаниями в атомной физике поставило его под удар Готра. Впрочем, быть может, все действительно сводилось к его самомнению, которое не позволило ему, по-видимому, даже предположить, что адвокат сможет разгромить его в столь сложной области, как атомная физика.

Как бы то ни было, адвокат тщательно подготовился к атаке, перед которой он прочел суду своего рода учебный курс по атомной физике и нейтронно-активационному анализу мышьяка. Будучи дилетантом, наконец что-то понявшим в незнакомой материи, он смог растолковать ее непосвященным лицам.

Лишь когда он обрел уверенность в том, что его понимают, когда каждый присяжный точно знал, что именно означают 15 или 26,5 часа периода полураспада,— лишь тогда Готра перешел в наступление, обвинив Гриффона в том, что тот самонадеянно избрал неправильное «время обстрела» мышьяка в атомном реакторе и тем самым ценность всех его результатов сведена к нулю.

Удивление, вызванное его неожиданным выпадом, было огромным. Побледневший представитель обвинения остолбенело уставился на Гриффона. Председательствующий, судьи и присяжные подались всем телом вперед, боясь пропустить хоть слово.

Гриффон, хоть и был взволнован, в первый момент реагировал на заявление защитника с высокомерием ученого, который не собирается допускать вмешательства неспециалиста в свою область.

Но на Готра это позерство не произвело никакого впечатления. Он так ставил вопросы, что каждому непосвященному бросалась в глаза по крайней мере одна многозначительная деталь: держал ли Гриффон волосы под облучением в ядерном реакторе 15 или 26,5 часа? Правильным было это время или нет? Существовала ли в данном случае опасность ошибки или нет? Гриффон пытался объяснить, что примененный им метод так нов, что не исключает различий во мнениях экспертов, в частности по вопросу выбора той или иной процедуры его применения.

Готра заметил, как в этот момент в зале суда зародилось столь желанное для него сомнение, так же как и то, что волнение Гриффона усилилось и готово выплеснуться во взрыве возмущения. И он повторил свой вопрос: «Правильно или нет было выбрано время облучения, равное 15 часам?» Еле сдерживающий себя, Гриффон отпарировал, что подобным образом ставить вопрос нельзя, ибо

имеются различные мнения относительно того, что считать «правильным», а что «неправильным». Но через несколько мгновений он, очевидно, почувствовав, как вокруг него растут сомнение и недоверие, взорвался. Видимо, для человека, приехавшего в Бордо, чтобы пожать лавры славы эксперта, разоблачившего Мари Беснар с помощью таинств атомной физики, было совершенно непереносимо терпеть крушение из-за злонамеренных выходов дилетанта с его рассчитанными на публику мелочными вопросами.

Гриффон стал стучать кулаками по столу. «Вы хотите меня учить? — кричал он, — Разыгрываете из себя специалиста?»

«Нет, — холодно ответил Готра, — Но господин Деробер и другие являются специалистами». Он ознакомил Гриффона с тем, что они думают о достоверности его методов работы. Он взмахнул их заключением и огласил его содержание. «Вот они — эксперты», — подытожил он и продолжал: «А здесь сказано, что думают о вашей работе в Англии».

«Англичане, — бросил в ярости Гриффон, — не авторитеты в этой области».

«Тогда, — резким, ледяным тоном сказал Готра, — я рекомендую вам поехать в Англию и поучить англичан».

В лице представителя обвинения не было ни кровинки. Растерянно взирал он на драму, которая разыгрывалась перед ним. Эксперты работали целых два года. Он надеялся, что в их работе не будет уязвимых мест, к которым Готра мог бы придраться. И вот теперь — теперь он беспомощно взирает на то, как непредвиденная беззаботность и несдержанность одного-единственного человека дала в руки Готра возможность посеять то самое сомнение, которое в 1952 г. уже однажды подвело обвинение.

Когда Готра покончил с Гриффоном, он добился того, на что он рассчитывал в первой части избранной им стратегии защиты: доверие к результатам анализов на яд было вновь подорвано. Он улыбался Мари Беснар с насмешливой уверенностью в победе, и серые узкие губы подсудимой в свою очередь вытягивались в улыбку. Однако он понимал, что главный бой еще впереди, и продолжал наступление.

«Наличие яда в покойниках, много или мало, да или нет — что все это вообще значит? — так начал он главную стадию своей атаки, — Ведь никто никогда не видел, чтобы в руках Мари Беснар был мышьяк, никто никогда не был очевидцем того, что она давала яд кому-либо из покойников. Эксперты обвинения утверждают, что яд мог попасть в организм потерпевших только из чужих рук. Но уже более ста лет токсикологи занимаются вопросом, растворяется ли в воде мышьяк, содержащийся в любой почве, и может ли он попасть в трупы умерших. И более ста лет они отрицали эту возможность. Но отрицали они ее лишь потому, что во всех своих прежних исследованиях они забывали, что почва представляет собой живой элемент, в котором разыгрываются миллионы процессов, о которых пока никто не знает. Они отрицали данную возможность и применительно к покойникам из Лудена. В течение двух лет они давали дождевой воде просачиваться через Луденскую почву и замеряли в ней количество мышьяка. Но они пренебрегли достижениями науки, которая как раз сейчас достигла расцвета, как и многие другие науки, чье развитие еще несколько лет назад считалось невозможным, а именно науки о физиологических процессах в почве».

Наверно, я первый, кто в этот исторический момент призывает представителей этой науки в зал суда в качестве свидетелей. Но я уверен, что в будущем ни один такого рода процесс не сможет обойтись без обращения к их знаниям. Я ходатайствую о допросе в суде господ Оливье, Лепентра, Кейлинга и Трюффера».

Тот, кто впоследствии читал отчет о следующих днях процесса Мари Беснар, воочию убедился, как с подачи Готра в более или менее застывшую область токсикологии проникает новый элемент — элемент брожения.

Готра действовал с величайшей осторожностью. Он знал, что приглашенные им в качестве свидетелей защиты Оливье, Лепентр и Кейлинг были людьми почтенными, но им еще не сопутствовал тот ореол славы или чинов, который вызвал бы особое доверие к их утверждениям в глазах судей и присяжных. Они были призваны лишь подготовить почву, на которую мог бы потом вступить и обеспечить окончательную победу Поль Леон Трюффер — член Академии наук и кавалер ордена Почетного легиона.

Показания Оливье, Лепентра и Кейлинга о значении почвенных микробов для растворения содержащегося в земле мышьяка вызвали сенсацию. Как от всего нового, от них исходили некие чары, которым поддавались даже те наблюдатели и журналисты, которые с трудом могли, а то и вовсе не могли следить за научной дискуссией экспертов.

«Очарования их экспериментов, — писал английский корреспондент Арман Стил, — не мог избежать никто, в ком жило влечение к неразгаданным тайнам мира, еще и потому, а может, именно потому, что они могли разрушить представления, утвердившиеся в токсикологии за целое столетие». И они разрушили их.

Представитель обвинения во второй раз столкнулся с сюрпризом, который поразил его как гром среди ясного неба, и не только его, но и экспертов, которые, не имея опыта и нужных аргументов, вступили в противоборство с неожиданно вторгшимися «чужаками» и их утверждениями. В отношении Оливье, Лепентра или Кейлинга обвинение могло попытаться высмеять их теории как ошибочные заблуждения, типичные для неспециалистов. Так, Кейлинга представитель обвинения назвал «партизаном от науки». Но с того момента, как в зал суда в качестве свидетеля защиты вошел Трюффер, все попытки такого рода стали беспредметными. Как и ожидал Готра, они разбивались о его



репутацию, положение и внушительный облик.

В напряженной тишине весь зал слушал спокойное, деловое, сдержанное сообщение Трюффера. Если подытожить наиболее важные его положения, то они сводились к следующему: да, согласно его исследованиям, нельзя оспаривать, что почвенные микробы, особенно те, что живут в земле кладбищ, оказывают не поддающееся полному учету влияние на растворимость мышьяка и его попадание через почву в покойников и их волосы. Благодаря деятельности микроорганизмов мышьяк зачастую так сильно впитывается в волосы, что не может быть удален оттуда даже с помощью процессов промывания, которым обычно доверяют токсикологи. Более того, некоторые его эксперименты показали, что перемещающийся вследствие деятельности микробов мышьяк из земли может быть обнаружен даже в различных, отделенных друг от друга частях волос, как если бы это был мышьяк, проникший в волосы из тела. Тем самым теряет свою универсальную силу положение о том, что мышьяк, не происходящий из тела покойника, пропитывает все волосы покойника в целом и этим отличается от воздействия, которое оказывает на волосы мышьяк из тела. И последнее: в результате деятельности микробов содержание мышьяка в теле или волосах мертвеца может во много раз превышать его содержание в окружающей гроб земле. Из-за этого возникают серьезные сомнения в правильности существовавшего до сих пор положения о том, будто возможность перемещения мышьяка из окружающей почвы в труп исключается, если эта почва содержит намного меньше мышьяка, чем труп.

Закончил свою речь Трюффер с внушительной скромностью: его опыты еще не закончены. Это лишь начало новой области исследований, которые требуют времени. Но совесть ученого заставляет его уже сейчас констатировать одно: прежние теории о растворимости и нерастворимости мышьяка, содержащегося в земле, больше нельзя рассматривать как незыблемые. Вероятность того, что большие количества мышьяка в трупах покойников из Лудена переместились в них из земли кладбища, нельзя отрицать уже сейчас. Он говорит только о возможности этого, но, как бы ни мала или неуловима была эта возможность, она — в пользу подсудимой.

Когда Трюффер закончил, обвинитель взглянул на Кон-Абреса и Фабра, ища у них поддержки. В его взгляде сквозило требование занять определенную позицию и разбить новые теории Трюффера, заклеив их как несостоятельные порождения спекулятивного духа. Но Фабр, как и Кон-Абрес, прожили долгую жизнь, которая научила их как токсикологов никогда не исключать возможность ошибки и никогда не забывать о бесконечном многообразии природы и ее возможностей. Они испытывали глубокие сомнения, были скептически настроены. Но когда суд попросил их высказать свое мнение, оба заявили, что они не могут просто так отрицать «тщательность, точность и потенциальную истинность экспериментов и исследований Трюффера». Кон-Абрес добавил, что есть лишь один путь — подвергнуть вновь возникшую проблему, которая, по всей видимости, имеет большое значение для токсикологии, обстоятельной научной проверке.

31 марта 1954 г. второй процесс над Мари Беснар пришел к тому же итогу, которым кончился первый, — к сомнениям и неуверенности. И Готра не медлил ни минуты, стремясь использовать время. С распростертыми руками он обратился к суду и присяжным, заявив, что не имеет ничего против предложения профессора Кон-Абреса, ничего против тщательных поисков истины в последней инстанции. Но как долго продлятся эти поиски? Опять два года или того больше? Судя по прежнему опыту, такую возможность нельзя исключить. Он взывает к человечности. Он взывает к совести французской юстиции. Ни один из судей, ни один из присяжных не может взять на себя тяжесть ответственности, заставив Мари Беснар снова ждать в тюремной камере, пока наука достигнет единства взглядов по вопросу ее виновности или невиновности. Он требует свободы для Мари Беснар еще до того, как ее невинность будет доказана окончательно.

Суд совещался больше часа и решил, что новая группа экспертов должна изучить возражения Трюффера и остальных свидетелей защиты.

На период до составления нового заключения экспертизы и начала нового, третьего слушания данного дела Мари Беснар была выпущена на свободу под залог в 1200 тыс. франков.

Это было одно из самых сенсационных решений, вынесенных когда-либо французским судом. 12 апреля Мари Беснар покинула Бордо, на короткое время с помощью Готра и Эйо остановилась в Париже, а затем вернулась в Луден — в свой старый, разграбленный тем временем дом. Надо сказать, что и теперь мало кто верил в ее невиновность.

Впечатление, которое она производила на любопытствующих и журналистов, регулярно появлявшихся в Лудене, было неодинаковым. Большинству она представлялась женщиной, убежденной в том, что после столь многих лет и стольких сомнений ни один суд не отважится осудить ее, даже если и будет сомневаться в ее невиновности. В ней видели убийцу, которая обязана своей свободой ошибкам обвинителей, ошибкам и человеческим слабостям экспертов и бессовестному использованию этих ошибок и слабостей ее защитником.

Тем временем вновь назначенный обвинитель Гиймен настойчиво стремился все же изобличить выпущенную на свободу Мари Беснар и опровергнуть те новые биологические положения, с помощью которых Готра сорвал второй процесс. Первой его целью было поправить дело после поражения, которое обвинение потерпело по вине Гриффона. Он мог считать большим успехом, что ему удалось привлечь прославленного французского атомного физика Фредерика Жолио-Кюри, чтобы еще раз проверить работу Гриффона и окончательно устранить все сомнения относительно данных о наличии яда. Лауреат Нобелевской премии Жолио-Кюри родился в 1900 г., а в 1948 г. он создал первый

французский атомный реактор и организовал французский центр атомных исследований. Он был подлинным первооткрывателем той самой искусственной радиоактивности, которой воспользовался для доказательства наличия мышьяка Гриффон. Жолио-Кюри медлил. Он боялся быть втянутым в скандальный и сомнительный процесс по делу Мари Беснар. Но в конце концов он взялся за работу, чтобы как ученый проверить возникшие сомнения относительно радиоактивного метода исследования мышьяка и устранить имеющиеся причины ошибок. Его работа длилась несколько лет. Жолио-Кюри подтвердил, что хотя Гриффон и допустил определенные неточности, но его утверждения о наличии токсичных доз мышьяка были совершенно правильными.

Когда в 1958 г. Жолио-Кюри умер, эту работу продолжил его ученик Пьер Савель. Он усовершенствовал рассматриваемый метод и неопровержимо доказал, что волосы покойников из Лудена содержат смертельные дозы мышьяка. Жолио-Кюри и Савель не оставили Готра никакого шанса на успех, так что обвинитель мог торжествовать.

Но Гиймен знал, что даже окончательного подтверждения данных о наличии яда еще недостаточно для разрешения дела. Если не удастся опровергнуть тезис Готра о том, что мышьяк проник в трупы и волосы покойников из земли, то дело будет проиграно. Но оно будет проиграно даже в том случае, если останется хотя бы намек на вероятность того, что тезис Готра и утверждения его экспертов где-то, когда-то и при каких-либо обстоятельствах могут оказаться правильными. После стольких лет и стольких заблуждений ни один присяжный не решится сказать «виновна», если у него на совести останется хотя бы малейшее сомнение.

Иной раз это кажется непостижимым, но ведь действительно не менее семи лет — с 1954 по 1961 год — шла борьба вокруг проблемы содержания мышьяка в земле Луденского кладбища, растворимости этого яда и роли почвенных микроорганизмов в этом. Исследования и эксперименты по этой проблеме суд поручил трем экспертам, пользующимся международной известностью: профессору Рене Шарлю Трюо — токсикологу из Парижского университета, профессору Альберу Демолону, а после смерти последнего — семидесятилетнему профессору Морису Лемуаню из Пастеровского института в Париже. Демолон и Ле-муань были микробиологами и специалистами в области почвоведения. Лемуань руководил в Пастеровском институте отделом по исследованию ферментов. Кладбище в Лудене теперь не знало покоя. Там регулярно появлялись не только Трюо и Лемуань, проводившие необходимые эксперименты, но и эксперты Готра — от Трюффера до Оливье, не пропускавшие ничего, что могло бы подкрепить их новые тезисы. Трупы снова и снова извлекались из могил, а волосы и подопытных животных, наоборот, закапывали. Были эксгумированы и подвергнуты исследованию на яд покойники, не имевшие никакого отношения к делу Беснар и умершие не от отравления мышьяком. Огромная модель кладбища, точно скопированная с Луденского, стала местом обширных исследований движения подземных вод.

Наконец, разгорелась третья, и последняя битва. 17 ноября 1961 г. Мари Беснар препроводили из Лудена в Бордо и поместили в больничном отделении тюрьмы, а 21 ноября постаревшая, но все с таким же решительным видом она появилась на скамье подсудимых в третий раз. В третий раз перед судом прошла столь же неизбежная, сколь и бесполезная толпа свидетелей — от мадам Пинту до инспекторов Ноке и Нормана. Не пришли лишь свидетели, которые, подобно помещику Массипу, тем временем умерли. Стремясь избежать наказания за оскорбление генерала де Голля, Массип удрал в Алжир и, как писала со злобным удовлетворением Мари Беснар, «вернулся в Луден в гробу». Весь этот спектакль был так же бессмыслен, как и на двух предыдущих слушаниях данного дела, но его продолжали играть, будто бы в этом процессе речь не шла исключительно об одном-единственном вопросе: происходили ли обнаруженные в телах покойников из Лудена и никем больше не оспариваемые дозы яда из почвы кладбища или такая возможность абсолютно исключена? Не имело никакого значения, что государственный обвинитель предложил выступить на процессе не только профессору Савелю, но и повторно — Кон-Абресу и Пьедельевру, чтобы лишний раз подтвердить наличие смертельных доз яда. Готра на этот раз не смог предложить ничего иного, кроме некоторых из тех трюков, с помощью которых он много лет назад разгромил Бери. Но его склонность к театральным эффектам и судебным трюкам была, видимо, так сильна, что он не мог от них удержаться. Он еще раз проделал номер со сравнением списков, составленных при эксгумациях и при проведении лабораторных исследований. Причем на этот раз он сравнивал данные, записанные профессором Пьедельевром на Луденском кладбище в 1952 г., с лабораторными протоколами Анри Гриффона и Савеля об исследовании волос Леона Беснара. Поскольку Пьедельевр в своих данных упоминал лишь о коже с головы Леона Беснара, а не о его волосах, Готра решился на довольно смелое утверждение, что, следовательно, никаких волос Леона Беснара в Париж не посылали. Подобным же образом он пытался использовать тот факт, что волосы Леона Беснара, которые сначала исследовались Гриффоном, а впоследствии Жолио-Кюри и Савелем, были в заключении Гриффона отмечены как имеющие длину 60 миллиметров, а в заключение Жолио-Кюри — 75 миллиметров. Он утверждал на этом основании, что речь идет не об одних и тех же волосах. Он вынудил Пьедельевра разъяснить, что волосы человека после его смерти могут удлиниться еще на четверть своей прежней длины и что, само собой разумеется, вместе с кожей с головы Леона Беснара в Париж были отправлены и его волосы. Требование гражданского истца, чтобы Готра прекратил наконец эти леденящие душу шутки, оказалось очень кстати — он в них больше уже не нуждался.

Решающее значение имели судебные заседания, проходившие с 23 ноября по 1 декабря, когда полем битвы завладели Трюо и внушительный старец Лемуань со стороны обвинения и Трюффер,

Оливье, Кейлинг, Лепентр и д-р Бастис — со стороны защиты.

Сама Мари Беснар полностью отошла на задний план. Хотя речь шла в данном случае о ее судьбе, но в еще большей мере — об основной проблеме токсикологии, проблеме исследования трупов, длительное время пролежавших в земле.

Рене Шарль Трюо защищал традиционную теорию о невозможности проникновения мышьяка из почвы, во всяком случае в тех количествах, которые обнаружены в трупах. Он опирался на многочисленные эксперименты в Лудене. Споры нет, почва тамошнего кладбища содержит мышьяк, но его количество в расчете на килограмм земли несравненно меньше, чем количество мышьяка на килограмм веса в покойниках. Трюо считал невозможным, чтобы большие количества мышьяка попали в покойников из тех крошечных количеств мышьяка, которые имеются в почве. В покойниках, которые не имели никакого отношения к делу Беснар, но были тоже захоронены на Луденском кладбище, он не обнаружил ни капли мышьяка, буквально ни капли, хотя покоились они в той же самой земле. Марселен Беснар, Луиза Леконт и Мари-Луиза Гуэн, три предполагаемые жертвы Мари Беснар, были похоронены вплотную друг к другу в одном и том же склепе. Все они около одиннадцати лет пролежали в этом склепе. Если бы мышьяк проник в трупы извне, то останки должны были бы содержать более или менее одинаковые количества этого яда. Между тем об этом не может быть речи. В то время как в останках Марселена Беснара мышьяка оказалось чрезвычайно много, в трупе Мари-Луизы почти не обнаружено его следов. Нет, не могло быть никакого проникновения извне. Все опыты отрицают такую возможность.

После Трюо выступили Оливье, Лепентр, Кейлинг, Бастис и, разумеется, Трюффер. В затаившем дыхание зале суда они рассказали о результатах своих новейших экспериментов, которые подтвердили, что возбуждаемые микробами и их ферментами процессы в почве не поддаются количественным измерениям и не подчиняются какой-либо закономерности, которую искал Трюо. Они тоже закапывали волосы и исследовали трупы покойников и в состоянии доказать, что во многих трупах, которые покоились рядом друг с другом в одной и той же земле, в одном случае имела место деятельность микроорганизмов, приведшая к растворению и перемещению мышьяка из земли в трупы, а в других — нет. На одном и том же кладбище в почве может в одном месте содержаться растворенный мышьяк, а в другом — нет. Трюффер же считал, опираясь на самые последние американские исследования и результаты своих опытов 1952—1954 г., что вообще не существует четкой связи между количествами яда в почве и в трупе. Вопрос же о том, почему количество почвенного мышьяка столь ничтожно, а количество мышьяка в трупах очень велико, вообще не обсуждался. Из воды, в которой была растворена одна тысячная миллиграмма мышьяка, волосы поглотили при благоприятных микробиологических условиях мышьяк в количестве до 50 миллиграммов на килограмм веса покойника, то есть, по существовавшим до сих пор представлениям, невообразимое количество. Его новые эксперименты подтвердили также, что волосы способны накапливать в себе мышьяк не только из организма, но из окружающей среды таким образом, что его можно обнаружить в отдельных, разделенных друг от друга отрезках этих волос, особенно у их корней. При этом, вероятно, определенную роль играет проникновение микробов в кожу головы. Свой отчет Трюффер закончил заявлением, что прежние ошибочные представления коренятся в недооценке огромного многообразия природных процессов. Ныне же, по его словам, микробиология в состоянии лучше разобратся в этом многообразии, даже если она все еще сталкивается со множеством кажущихся отклонений от общего правила. Объяснить их — задача будущего. Затем Трюффер обратился персонально к Трюо и попросил его ответить на один вопрос. Каждому было ясно, что этот вопрос будет иметь особое значение. Трюффер спросил: «Вы не забыли сделать выводы из эксперимента, проведенного вами в 1952 году?»

Оказалось, что Трюо в 1952 г. отравил собаку и на два года закопал ее на кладбище в Лудене. Когда же через два года собаку снова откопали и исследовали, Трюо встал перед загадкой, почему в собаке не было найдено даже следа того яда, которым она была умерщвлена.

«Итак,— сказал Трюффер,— знаете ли вы, как это объяснить? Куда девался яд? Ведь вы не нашли его ни в трупе животного, ни в окружающей его земле. Куда же он в таком случае исчез?»

Трюо ответил, что он этого не знает.

«В таком случае,— сказал Трюффер,— все мы должны признать, что стоим перед еще не изведанным миром, когда речь идет о действии мышьяка под землей и внутри трупов», Далее он сказал, что, по его убеждению, токсикология больше не вправе исходить из существовавших до сих пор принципов при решении вопроса о том, мог мышьяк проникнуть в труп из почвы или не мог. Токсикологи должны признать, что они достигли той границы, которую обязаны не нарушать до тех пор, пока получше не узнают то, что лежит по другую ее сторону.

Если во время второго процесса по делу Беснар семь лет назад именно Трюффер был тем, кто predetermined вынесение решения в пользу подсудимой, то и теперь его выступление знаменовало начало решающей фазы борьбы на последнем процессе по этому делу. Но, по существу, решающие слова все-таки произнес человек, которого обвинение привлекло к делу в качестве биолога для проверки утверждений Трюффера,— профессор Лемуань. После долгого изложения результатов, его исследований в Лудене и в Пастеровском институте у этого старого человека вырвались такие слова: «Вообще надо сказать, что... бактериальное гниение растительных и животных останков способствует растворимости мышьяка. Но у нас нет возможности судить и говорить о том, имеет ли место процесс растворения мышьяка в данной почве или нет. Решение данного вопроса зависит от слишком многих

факторов, скрытых пока от нашего взгляда...»

Этим заявлением Лемуань определенно поддержал утверждения Трюффера, Оливье, Лепентра, Кейлинга и Бастиса о том, что поскольку нет абсолютно точных объяснений происхождения мышьяка в том или ином случае, то нельзя безоговорочно отрицать возможность его проникновения в трупы из земли. А поскольку такая возможность, пусть даже самая минимальная, существует, вопрос следует решить в пользу подсудимой, независимо от того, что можно думать о ее виновности или невиновности.

Готра, ловивший каждое слово с напряженным вниманием, воскликнул, вскакивая: «Вот и конец делу Беснар!..»

Государственный обвинитель знал, что дает лишь арьергардный бой, когда с горечью прокричал Готра: «У вас удивительное свойство все истолковать по-своему! По мнению экспертов, как я слышу, существуют различные возможности. А вы хотите из этого сделать вывод в пользу подсудимой, что только одна возможность, а именно растворимость мышьяка, является правилом. Но точно так же можно сказать, что правилом является его нерастворимость, то есть невозможность проникновения мышьяка в организм после смерти потерпевшего».

Торжествующий Готра бросил ему на это: «Да, но какая из обеих возможностей правильна, этого вы не знаете. Вы и ваши эксперты не в состоянии внести необходимую точность в объяснение феномена. Вы должны в данный момент признать, что вам невозможно далее поддерживать ваше обвинение». Драма, длившаяся свыше десяти лет, действительно подошла к концу. 12 декабря 1961 г. суд за недостаточностью улик оправдал Мари Беснар по обвинению в отравлении двенадцати человек.

*10. Уроки процесса: осознание границ токсикологии. Наступление синтетических ядов. Поток снотворных средств. Барбитураты как средства самоубийства. 16 февраля 1954 г.— дело Кристи Леман из Вормса. Первое убийство с помощью «Е-605». Сюрприз для токсикологии. Курт Вагнер и обнаружение «Е-605» в покойниках из Вормса. Эпидемия самоубийств с помощью «Е-605». Поиск надежных методов обнаружения ядов. Разоблачение и осуждение Кристи Леман. Судебная токсикология не должна останавливаться в своем развитии.*

Осознание того факта, что возможности токсикологии ограничены, и открытое признание, что такие пределы существовали и ранее,— важнейшие уроки, вытекающие из дела Беснар. Дело это было необычным. Но история нуждается и в таких случаях, чтобы обратить внимание на то или иное явление, и, очевидно, уроки, извлеченные из дела Беснар, были своевременными.

В 1954 г., когда в Бордо состоялся второй акт драмы, называемой «делом Беснар», токсикологи всего мира увидели, что они втянулись в борьбу, которая давала им мало поводов для слишком высокой оценки своих возможностей и для самодовольства, но немилосердно гнала их вперед.

Как уже говорилось в связи с историей алкалоидов, все более стремительное развитие фармацевтической промышленности в середине XX столетия, все более быстрый и расширяющийся выпуск новых синтетических ядов и лекарств, которые при неправильном употреблении тоже действовали как яды,— все это на глазах токсикологов росло угрожающим образом. Такое производство предоставляло миллионам людей все новые яды и создавало тем самым новые возможности для совершенствования убийств, самоубийств или отравлений по неосторожности, которые не поддавались контролю судебных токсикологов.

В 1863 г. Адольф Байер, в то время профессор органической химии в Берлинской промышленной академии (позже, будучи профессором в Мюнхене, он был возведен в дворянство и удостоен Нобелевской премии), получил в лаборатории барбитуровую кислоту, не предполагая, что тем самым он положил начало тому «девятому валу» в производстве ядовитых медикаментов, который через столетие уготовит токсикологам настоящий кошмар, как и в те далекие дни, когда выделение растительных алкалоидов породило ощущение беспомощности перед новыми ядами. Находясь в лирическом настроении, Байер назвал открытую им новую кислоту именем подруги своей юности Барбары. Спустя сорок лет, в 1904 г., два других немецких исследователя — Эмиль Фишер и Йозеф Фрайгер фон Меринг — установили, что производные барбитуровой кислоты — барбитал и фенobarбитал — могут применяться как снотворные средства. Меринга при этом тоже потянуло на лирику, а так как к выводу о терапевтическом значении барбитала он пришел, путешествуя вблизи Вероны, то дал первому снотворному средству, содержащему барбитуровую кислоту, название «веронал». А фенobarбитал вошел в историю фармакологии и ядоведения под именем люминала.

В первое же десятилетие после их открытия веронал и люминал, принятые в больших дозах, использовались как средства самоубийства. Один из их создателей — Фишер — пытался обнаружить барбитураты, как называли новые средства, в моче отравившихся людей. Но лишь в период между 1924 и 1931 годами случаи самоубийства с помощью барбитуратов настолько участились, что это заставило всерьез заняться вопросами их обнаружения.

В борьбе с барбитуратами токсикологи пошли по пути, чреватому множеством осложнений. Когда же они в конце концов достигли своей цели — нашли точные методы обнаружения барбитуратов или продуктов распада, оставляемых ими в теле человека, то за барбитуратами уже виднелся новый мир потенциальных ядов — мир транквилизаторов, то есть медикаментов, которые воздействовали непосредственно на психику чрезмерно раздраженных людей и должны были освобождать их от депрессии.

Но вероятно, не было неожиданности, которая бы в такой степени подчеркнула непредсказуемость

развития противоборства токсикологов с ядами, как загадочное убийство, происшедшее в начале 1954 г. в западногерманском городе Вормсе и на многие месяцы возбудившее эмоции, инстинкты и мрачную жажду мести у миллионов людей.

Преступление, которое для Вормса стало, наверное, «преступлением века», выявилось в понедельник, 15 февраля 1954 г. Неприметный поначалу этот «случай в среде маленьких людей», произошел в тесном, приземистом, невзрачном домишке в одном из переулков старого Вормса, называемом Гроссен-Фишервайде. В доме жили: Эва Ру — семидесятипятилетняя вдова, ее сын Вальтер, ее дочь Анни Хаман, тоже вдова (ее муж погиб на войне), со своей девятилетней дочерью Уши. В общем и целом семейство, каких в те дни было тысячи: пожилые родители или матери, которые приютили у себя своих дочерей, выбитых войной из колеи, и растили внуков, если дочери не могли больше вступить в брак или вести нормальное существование, а жадно старались наверстать упущенное в жизни, считая, что она их обделила. К таким дочерям принадлежала и Анни Хаман.

Под вечер того самого 15 февраля Анни Хаман возвратилась с гулянья, стала искать что-нибудь поесть и нашла на тарелке в кухонном шкафу пирожное в виде начиненного кремом шоколадного гриба. Как впоследствии было установлено, Эва Ру отложила этот шоколадный гриб для своей внучки Уши, которая была в гостях у их родственников.

Анни Хаман взяла пирожное, откусила кусочек, проглотила часть откушенного, а остаток с отвращением выплюнула на пол, закричав: «Оно же горькое!» Тем временем домашняя собачка — белый шпиц схватила брошенную на пол сладость и съела ее.

Дальнейшие события последовали друг за другом так стремительно, что Эва Ру, сидевшая у кухонной плиты, впоследствии не смогла в полной мере восстановить в памяти все, что произошло. Анни Хаман побледнела, закачалась, попыталась опереться на стол и закричала: «Мама, я ничего не вижу!..» Она, шатаясь, пошла в спальню, упала на кровать, извивалась в судорогах, затем потеряла сознание. Прежде чем ее матери удалось позвать на помощь, Анни Хаман была мертва.

Вызванный соседями врач, бессильный помочь умершей, стоял возле нее. Ввиду особых обстоятельств смерти он избежал необходимости выяснять какую-либо ее естественную причину да еще, чего доброго, возможности поставить ошибочный диагноз. На полу в кухне лежал белый шпиц. Он тоже был мертв. Мысль, что в данном случае свою роль сыграл какой-то яд и что этот яд был в шоколадном грибе, пронзила врача. Он известил уголовную полицию.

Старший инспектор уголовной полиции Дамэн (начальник Вормского полицейского отделения) и два его сотрудника — Штайнбах и Эрхард — за годы своей работы в Вормсе мало сталкивались с особо тяжкими преступлениями. Они не подозревали, какие масштабы примет дело Анни Хаман. Их начальство, находившееся в Майнце, тоже не могло предвидеть, что этот случай вызовет какие-либо необычные последствия.

Во всяком случае, труп забрала полиция, поручив директору института судебной медицины в Майнце профессору Курту Вагнеру произвести вскрытие трупа и установить причину смерти.

Как и следовало ожидать, вскрытие не дало никаких оснований считать данную смерть естественной. Застойные явления и скопления крови во многих органах, особенно в мозгу и в легких, позволяли предположить в лучшем случае общие симптомы отравления.

Вагнер принадлежал к числу тех судебных медиков, которые обладают достаточными познаниями и опытом в области токсикологии. Но поскольку единственная свидетельница внезапного заболевания покойной — ее мать — была не в состоянии точно описать сопутствовавшие этому симптомы, трудно было выбрать надлежащее направление исследования на яд. И все-таки один симптом был настолько отчетлив, что даже вдова Ру не могла его не заметить: судороги. Следовательно, речь должна была идти о яде, вызывающем судороги. Но и такого ограничения сферы поисков вряд ли было достаточно. Поэтому оставалась полная неопределенность относительно того, приведет ли токсикологический анализ к какому-либо положительному результату, каким образом и в течение какого времени.

Так что сотрудники уголовной полиции в Вормсе полагались в первую очередь на самих себя. Среди всеобщего замешательства, подозрений и обвинений Дамэн, Штайнбах и Эрхард попытались установить, каким образом смертоносное пирожное попало в дом. Им удалось довольно быстро реконструировать ход событий.

На почве своих любовных походов Анни Хаман тесно сблизилась с другой вдовой лет тридцати, жившей на Паулюс-штрассе, — Кристой Леман. Она была матерью троих детей. Ее муж — плиточник Карл-Франц Леман, старше ее на шесть лет, — был пьяницей и в 1952 г. внезапно скончался от прободения желудка. В воскресенье, 14 февраля, за день до смерти Анни Хаман, Криста Леман постучала в кухонное окно дома Ру. В кухне сидели вдова Ру, ее дочь, сын и соседка, они рассматривали платье, которое Анни Хаман сделала к карнавалу. Криста Леман под села к ним и вытащила пакет с пятью шоколадными грибами. Первый из них Криста Леман дала соседке, второй — Анни Хаман, третий — ее брату. Четвертое пирожное она взяла себе, а пятое предложила вдове Ру. Все, за исключением Эвы Ру, съели шоколадные грибы. А Эва Ру отложила пирожное в сторону и не позволила себе съесть сладкое, хотя Криста Леман на этом настаивала. Эва Ру сказала, что попробует его вечером, перед тем, как лечь спать. На самом же деле она уже заранее решила, что спрячет пирожное для своей внучки Уши. Позже она положила шоколадный гриб в кухонный шкаф, как раз на ту тарелку, в которой ее нашла на следующий день Анни Хаман.

Никто — ни Анни Хаман, ни ее брат, ни Криста Леман, ни соседка — не жаловался в воскресенье на какое-либо недомогание. Следовательно, пирожные, которые они съели, были безвредны. Что же

произошло с тем единственным шоколадным грибом, который мать покойной оставила для своей внучки? Испортился этот гриб еще раньше и поэтому был ядовит? Или же кто-нибудь ввел в него яд, пока он лежал на кухне? Скажем, с целью отравить ребенка, которому предназначалось это пирожное?

Кто мог быть заинтересован в устранении этого ребенка? Бабушка? Абсурдная мысль. Мать? Ну, например, потому, что девочка как-то мешала ее любовным связям? Еще более абсурдная идея. Будь в этом виновна Анни Хаман, она бы сама поостереглась попробовать шоколадный гриб.

Но кого же тогда намеревались умертвить? Анни Хаман? А кто намеревался? Может быть, ее брат? Но они оба были в хороших отношениях друг с другом. Или ее собственная мать? Вдова Ру, тихая женщина, воспитанная в среде мелких буржуа, действительно переживала из-за образа жизни своей дочери. Но разве стала бы она из-за этого убивать собственное дитя? Сколь бы непроницаемой ни была зачастую человеческая натура, как бы ни были скрыты от чужого взора мысли и намерения, прячущиеся иной раз за добрыми лицами стариков, все же старший инспектор Дамэн не мог представить себе вдове Ру в роли убийцы своей собственной дочери. Он продолжал исследовать обстоятельства дела. А не существует ли некто неизвестный, который питал ненависть к Анни Хаман или к семье Ру? Но после того воскресенья ни один посторонний не переступал порога их дома. Никто, следовательно, не имел возможности отравить шоколадный гриб после того, как тот оказался в кухонном шкафу. Лишь Криста Леман заходила на минутку в понедельник и вышла вместе с Анни. Но в это время вдова Ру была дома, а, кроме того, подруга дочери не знала, где лежит пирожное.

Таковы обстоятельства, которые удалось выяснить 15 и 16 февраля в доме на Гроссен-Фишервайде. Дамэн по долгу службы решил допросить Кристу Леман по поводу предыстории случившихся событий. Когда сотрудники уголовной полиции в первый раз зашли к Кристе Леман в ее неприбранное жилище, они увидели среднего роста блондинку с серыми глазами, со слишком острым носом на помятом лице и маленькими, острыми зубками. В общем, отнюдь не красавица и уж никак не соблазнительная. Казалось, она все еще не пришла в себя после смерти подруги.

Криста без колебаний подтвердила, что пирожные в дом Ру принесла она. Вместе с Анни Хаман она купила их днем 13 февраля. Где? В магазине Вортмана. Потом она рассталась с подругой, ибо спешила к своим детям. А в воскресенье она с этими сладостями пошла в гости к семейству Ру. Все остальное уже известно. По ее словам, она с отчаянием думает о том, почему четыре шоколадных гриба не причинили никому вреда, а пятый убил ее подругу? А разве не может быть так, что часть пирожных, продаваемых в магазине Вортмана, была ядовита и одно из них через ее руки попало в дом ее подруги?

Криста Леман вела себя настолько убедительно, что сотрудники уголовной полиции сразу же исключили ее из круга подозреваемых лиц. Если виновна она, рассуждали они, то ее посягательство должно было быть направлено против вдовы Ру — ведь именно ей она дала отравленное пирожное. Но что могло толкнуть Кристу Леман на убийство старухи? Бесспорно, гораздо больше оснований предположить возможность попадания яда в часть продукции в процессе массового изготовления шоколадных грибов. Конечно, речь могла идти и о несчастном случае, и даже о действиях какого-нибудь психопата, причастного к изготовлению, упаковке или перевозке пирожных. В анналах расследований дел об отравлениях немало случаев, когда коварно замаскировавшиеся убийцы получают садистское удовлетворение именно от того, что где-то умирают лично им не известные люди, а полиция идет по ложному следу и подозревает невинного в убийстве.

Дамэн решил провести дознание в кондитерском отделе магазина Вортмана. Фирма пустила в продажу всего 140 шоколадных грибов, которые она получила у одного кондитера. Из них 133 уже были проданы. Оставшиеся семь Дамэн велел изъять и в самом срочном порядке отправить для анализа на яд в институт судебной медицины в Майнце. Вечером по радио было передано сообщение с просьбой воздержаться от употребления шоколадных грибов, купленных в магазине у Вортмана.

В тот вечер казалось, что расследование, скорее всего, зашло в тупик. Если хотя бы одно из изъятых пирожных содержит яд, остается только одно — сначала проверить персонал магазина, а затем транспортирующую и изготавливающую пирожные фирмы: расследование, таким образом, выйдет за пределы Вормса и станет безбрежным. Лишь если яд не обнаружат, то можно будет с уверенностью предполагать, что яд, погубивший Анни Хаман, попал в пирожное только по пути из магазина в кухонный шкаф вдовы Ру.

Главная арена событий переместилась теперь в 18-и корпус университетской клиники в Майнце, где работал Курт Вагнер со своими ассистентами. Они предприняли поиски ядов, вызывающих судороги, прежде всего стрихнина, а потом и других алкалоидов. Но все анализы окончились совершенно безрезультатно.

В это время лишь немногие токсикологи в ФРГ занимались препаратом под названием «Е-605», который относится к средствам защиты растений от насекомых. Эти средства были созданы незадолго перед второй мировой войной или вскоре после нее. То, что даже среди немецких токсикологов этим средством к тому времени занимались лишь немногие, очень удивительно, ибо «Е-605» являлся немецким изобретением. Однако это обстоятельство исчерпывающе объясняет примечательная история «Е-605».

Между 1934 и 1945 годами немецкий химик Герхард Шрадер на заводах Байера в Леверкузене выделил органические соединения фосфора, которые при проведении экспериментов биологом Кюккенталем оказали необычно сильное ядовитое воздействие на все виды вредителей растений. Последняя стадия исследования этих соединений закончилась в начале 1945 г. Препарат получил

название «E-605». Испытание этого средства защиты растений в полевых условиях началось как раз тогда, когда на территорию Германии вступили американские войска и емкости с новым веществом были конфискованы. Вот так и случилось, что уже этот готовый препарат сначала был применен в Соединенных Штатах, где получил название «паратрион». За несколько лет производство паратриона достигло огромных размеров. Только за один 1950 г. во Флориде были распылены тысячи тонн препарата, чтобы очистить от вредителей апельсиновые плантации. Под различными названиями — от фоллидола до тиофоса-3423 — это средство распространилось по всему свету и в 1948 г. вернулось на свою родину. Здесь оно производилось в больших количествах, расфасовывалось в простые медицинские флаконы с завинчивающимися колпачками, а позже — в пластмассовые ампулы и свободно продавалось в магазинах семян и удобрений, а также в аптеках. Оно снова получило название «E-605» и сопровождалось предостережением на этикетке, что средство оказывает ядовитое воздействие «при ненадлежащем обращении».

До 1953 г. во всей Северной Америке были известны лишь 168 случаев отравления данным препаратом из которых все, кроме девяти, протекали легко. Причиной отравления была грубая неосторожность, из-за которой значительные количества яда попадали в рот. Опытным путем американцы установили смертельные дозы «E-605». По своему действию он был очень похож на синильную кислоту, отравление которой также приводило после судорог к параличу дыхания. Данный яд никогда не использовался для убийств или самоубийств. Поэтому и не существовало никаких судебно-медицинских методов его обнаружения.

Вследствие описанных обстоятельств в ФРГ лишь после 1948 г. произошло несколько случаев отравления этим ядом. В 1952 и 1953 годах некоторые химики и токсикологи исследовали ткани и выделения организмов, отравленных препаратом «E-605». Они разработали метод, с помощью которого удавалось доказать наличие в крови «E-605». Исследуемая субстанция обрабатывалась каустиком, вызывавшим яркую желтую окраску. Если же подвергнуть выпариванию содержимое желудка или экстракт из внутренних органов отравленного, а затем пар сконденсировать и полученный раствор обработать по способу Аверелла и Морриса, то при наличии «E-605» он приобретет голубовато-фиолетовую окраску. Были сделаны также первые, робкие опыты с применением спектрального анализа и «бумажной хроматографии». Но так как считалось, что нечего спешить с развитием столь отдаленной области токсикологии, то все исследования находились лишь в начальной стадии, когда Курт Вагнер в феврале 1954 г., встав перед проблемой обнаружения яда, которым была отравлена Анни Хаман, а это со всей очевидностью был какой-то вызывающий судороги яд, безрезультатно применил все известные методы исследования на обнаружение ядов.

Вспомнив некоторые публикации о «E-605», в частности описания предсмертных судорог, Вагнер по наитию напал на след этого яда. Поскольку «E-605» еще никогда не использовали в качестве яда для убийства, то след этот был настолько зыбкий, что Вагнер сам вряд ли надеялся получить положительные результаты. Часть содержимого желудка Анни Хаман была подвергнута дистилляции с помощью водяного пара, и спустя немного времени Вагнер и его ассистенты оказались перед лицом одного из самых больших сюрпризов в их жизни. Почерпнутые ими из специальной литературы методы тестов и реактивы привели к образованиям такого цвета, который, судя по накопленному к тому времени опыту, свидетельствовал о наличии препарата «E-605».

В первый момент Вагнер сомневался, можно ли верить в правильность этого результата. Он велел продолжать общие анализы на яд, чтобы все же установить, не идет ли здесь речь о каком-нибудь другом яде. Но все эти исследования вновь оказались безуспешными. Единственный позитивный результат, который был достигнут в ходе анализов, указывал на наличие «E-605». Это побудило Вагнера подвергнуть анализу на него пирожные, изъятые из магазина Вортмана, но в них не оказалось ни малейших следов ядовитого препарата, предназначенного для защиты растений.

Но Вагнер все еще колебался. Он и его сотрудники переживали драматические минуты. Если в данном случае имеет место убийство с помощью препарата «E-605», то это первое ставшее известным убийство такого рода. Допустимо ли в разгар начальной стадии судебно-медицинского изучения «E-605» разглашать результаты анализов, которые могут послужить научной уликой для обвинения в умышленном убийстве? Когда Вагнер все же окончательно решился передать данные об обнаружении «E-605» в прокуратуру и уголовную полицию, он недвусмысленно говорил лишь о «высокой вероятности» того, что в данном случае налицо наличие «E-605», и о необходимости подкрепить полученные им данные результатами дальнейшего расследования и признаниями виновных.

Ожидая с крайним нетерпением известия о результатах токсикологической экспертизы, которое пришло в Вормс в четверг, Дамэн, Штайнбах и Эрхард тоже не сидели сложа руки. Не исключая до конца, что яд мог попасть в шоколадный гриб по дороге из магазина до кухни вдовы Ру, Дамэн решил более детально ознакомиться с обликом Кристи Леман. Этот облик, как оказалось, был не просто непривлекательным, но даже возбудил у Дамэна, Штайнбаха и Эрхарда первые подозрения против женщины с Паулюс-штрассе.

Она выросла в безрадостной обстановке и, по сути дела, без родителей. Ее душевнобольная мать уже много лет находилась в психиатрической лечебнице, отец — Карл Амброс, столяр-мебельщик, потерпел крушение и во втором браке. По окончании восьмилетней школы Криста Леман работала на кожевенной фабрике, а затем на красильном предприятии Хёхста. За кражу она была осуждена к лишению свободы условно. Работая в Хёхсте, она встретила Карла-Франца Лемана, который страдал

желудочным заболеванием и слегка хромал, почему и был освобожден от военной службы во время второй мировой войны. В 1944 г. она вышла за него замуж и перебралась к родителям мужа в Вормс. Леман открыл мастерскую, которая процветала в голодное лихолетье 1945—1948 гг. Это было время грязных сделок на черном рынке, бесконечных пьянок и неоплаченных счетов, выставляемых поставщикам.

Денежная реформа в Западной Германии положила конец этим источникам легкой наживы. Но Криста Леман была не в силах отказаться от веселой жизни прежних времен. Дело дошло до диких скандалов и драк с мужем, сцен с его родителями, а после смерти свекрови — со свекром. Пошли быстротечные связи с американскими солдатами и другими мужчинами. Леман втянулся в пьянство. Драки Кристи с мужем становились все более яростными, пока 27 сентября 1952 г. он скоропостижно не скончался.

Обстоятельства смерти Карла-Франца Лемана озадачили Дамэна и его сотрудников. В тот день — 27 сентября — Леман с утра был у парикмахера, а вернувшись домой, неожиданно умер в страшных судорогах. Вызванный доктор Ваттрин предположил, что причиной смерти является прободение язвы желудка,— диагноз вполне логичный с учетом желудочной болезни и пьянства покойного. Но правилен ли он? Не напоминают ли судороги обстоятельства, при которых умерла Анни Хаман?

Криста Леман никогда не отрицала, что смерть мужа была для нее облегчением. Ее квартира совершенно открыто стала местом свиданий с быстро сменяющимися друг друга партнерами. Вместо скандалов с мужем начались ссоры со свекром — Валентином Леманом. И тут наконец Дамэн столкнулся со вторым происшествием, породившим у него подозрения. 14 октября 1953 г. Валентин Леман через полчаса после завтрака, совершая поездку по городу, замертво упал со своего велосипеда. Вызванный прохожими врач засвидетельствовал смерть от паралича сердца. Конечно, такой диагноз напрашивался сам собой. Но был ли и он правилен? Смерть Валентина Лемана освободила Кристу Леман от последних препятствий в собственном доме. После его внезапной кончины Криста Леман вместе с Анни Хаман беспрепятственно развлекались в свое удовольствие.

И если Дамэн никак не мог выяснить мотив, который мог бы побудить Кристу Леман убить Эву Ру, то он несколько не сомневался, какой мотив двигал ею при убийстве своего мужа и свекра. Оба мешали ее любовным утехам. Но когда Дамэн с сотрудниками столкнулись с вопросом: а может быть и вдова Ру тоже была препятствием для Кристи Леман?

Вот насколько преуспело расследование, проводимое в Вормсе, к тому моменту, когда из Майнца поступили результаты исследования, внесшие ясность в то, что пирожные были отравлены по пути из магазина в дом в переулке Гроссен-Фишервайде. Отравлены с помощью «Е-605». Это название для сотрудников уголовной полиции Вормса было так же малопонятно, как и для широкой публики, которая вскоре услышала его. Но тот факт, что этот яд производился на предприятиях Байера, неизбежно привел к следующему, неблагоприятному для Кристи Леман вопросу. Ведь она работала на красивом предприятии в Хёхсте. Не там ли она прослышала о смертельном действии «Е-605»?

Когда 19 февраля хоронили Анни Хаман, по Вормсу разнеслась весть, что ее отравили таинственным средством, употребляемым для защиты растений. Нездоровый интерес, пробужденный во всей стране к препарату «Е-605», сделал свое дело: любопытные устремились на кладбище. Среди них затерялся и Дамэн, наблюдавший за Кристой Леман, подошедшей к открытому гробу с залитым слезами лицом. Он арестовал ее при выходе с кладбища.

Дамэн, Штайнбах и Эрхард допрашивали арестованную с пятницы до воскресенья. «Е-605»? Она настаивала на том, что не знает яда с таким названием. Обвинение в том, что она убила Анни Хаман, намереваясь в действительности убить ее мать, она встретила тоже совершенно спокойно и заявила: «Это не я». На обвинение в отравлении своего мужа и свекра она ответила обескураживающей язвительной усмешкой.

Обыск ее квартиры не принес абсолютно никаких доказательств того, что «Е-605» когда-либо у нее имелся. С утра в понедельник расследование, казалось, зашло в тупик. В уголовной полиции Майнца впервые подумали о целесообразности эксгумации тел Карла-Франца и Валентина Леманов, потому что это, судя по всему, представляло собой единственную возможность получить путем анализов на содержание яда дальнейшие улики против арестованной. Но принять такое решение было совсем не просто. Дело в том, что оба покойника пролежали в земле достаточно долго: соответственно полтора года и четыре месяца. А в ту пору не было еще никакого опыта относительно того, можно ли по прошествии такого времени обнаружить «Е-605» в мертвецах. Профессор Вагнер не мог сообщить ничего определенного по этому поводу. Тем не менее эксгумация представлялась неизбежной. С пятницы все больше и больше людей собиралось перед тюрьмой при местном суде Вормса. Чем бы ни отличался этот случай убийства от сотен других, необычность ему придавало таинственное сочетание букв и цифр: «Е-605». Репортеры из больших газет появились в Вормсе и ждали результатов расследования.

И вот во вторник, 23 февраля произошла первая неожиданность. В 10 часов утра Криста Леман потребовала привести к ней в камеру ее отца — Карла Амброса и священника. Что ее подвигло на это, так никогда и не выяснилось. Было ли это вызвано пониманием того, что все для нее потеряно? Или же это был приступ упрямой гордости, которая мешала ей признаться в чем-либо Дамэну и его помощникам и заставила искать обходный путь — через отца и священника. Что бы ни побудило ее к тому, но она призналась, что начинила препаратом «Е-605» шоколадный гриб, убивший Анни. Она подтвердила это и перед следственным судьей, к которому ее немедленно доставили. Да, она хотела



отравить вдову Ру, правда не до такой степени, чтобы та умерла, а чтобы она только заболела. Она уверяла, что Анни Хаман вовлекла ее в свою безудержную жизнь. Поэтому будто бы она пришла к мысли сделать так, чтобы серьезно заболела мать Анни: ведь это заставит Анни быть все время дома, чтобы ухаживать за больной матерью, а ее, Кристу Леман, Анни тогда оставит в покое. Она ведь не знала, что яд «Е-605» смертелен.

Ее признание было смесью правды и лжи, совершенно явной попыткой спасти себя от обвинения в умышленном убийстве. Но после того, как в стене ее обороны была пробита первая брешь, Дамэну понадобилось еще лишь несколько часов, чтобы добиться от нее полного и правдивого признания. Она созналась, что Эва Ру была для нее препятствием, которое необходимо было убрать. Вдова Ру называла ее злым гением своей дочери и делала все, чтобы оторвать от нее Анни. После этого первого полного признания сотрудники уголовной полиции допрашивали Кристу Леман до позднего вечера относительно внезапной смерти ее свекра 14 октября 1953 г. Но все усилия казались напрасными, пока не произошла вторая неожиданность. Кристу Леман уже вывели из комнаты, где шел допрос. И тут — посреди коридора — она с холодной насмешкой заявила: «Вообще-то и свекра я тоже отравила».

Снова встал вопрос: что побудило ее к такому признанию? Было ли это проявлением болезненной гордости убийцы, привыкшей сознавать себя в мире врагов и из самолюбия признаваться только тогда и там, где и когда она пожелает, а не там и тогда, где и когда полиция захочет получить от нее признание? Было ли ей ясно, что если яд нашли в трупе Анни Хаман, то его обнаружили бы и в трупе ее свекра? Или она, не желая долго ждать, как бы заявила со снисходительным высокомерием: «Что вам надо? Чего вы морочите мне голову? Ну, вот вам ваше убийство!»

Во всяком случае, она призналась. Да, она влила целую ампулу «Е-605» в йогурт, поданный на завтрак Валентину Леману, и добавила туда сахару. Валентин Леман съел йогурт, влез на свой велосипед и спустя двадцать минут свалился с него вследствие паралича дыхания.

Однако отвратительная игра в признания еще не кончилась. Доставленная в тюрьму Криста Леман угрожающе погрозила кулаками машине для перевозки арестантов.

Утром в среду сотрудники уголовной полиции час за часом бесплодно пытались побудить заключенную признаться в отравлении своего мужа, но она все холодно и насмешливо отрицала. Дамэну, Штайнбаху и Эрхарду ничего не оставалось, как продолжать свои попытки. После окончания очередного допроса, стоя уже возле открытой двери в коридор, Криста Леман задержалась на пару секунд, посмотрела на полицейских чиновников и мимоходом обронила: «И мужа своего я тоже извела».

Карл-Франц Леман получил яд на завтрак в молоке. Но где Криста достала его? В витрине аптекарского магазина в Вормсе в 1952 г. ей бросились в глаза коробки с этикеткой «Яд». Ради этой надписи она купила одну коробку с несколькими ампулами «Е-605». Действие этого яда она испытала на собачке-таксе.

Такова была ее история. Из-за простоты, с которой оказалось возможным приобрести яд, совершить убийства и ввести в заблуждение двух врачей, она казалась столь невероятной, что даже прокуратура не хотела и не могла принять ее всерьез без проверки.

12 марта останки покойных Карла-Франца и Валентина Ломана были эксгумированы, и части трупов, необходимые для проведения анализов на наличие яда «Е-605», были отправлены в Майнц. Тот факт, что в трупе Валентина Лемана сохранились остатки стенки желудка, вселил в профессора Вагнера надежду на обнаружение следов яда. Через день предположение Вагнера оправдалось. Удалось найти следы «Е-605» в обоих трупах и тем самым замкнуть цепь доказательств.

В 1954 г. в ФРГ не было второго такого уголовного дела, которое имело бы (совершенно независимо от произведенной им сенсации) столь непосредственные и в самом прямом смысле слова смертельные последствия. Неоднократно повторявшиеся в истории убийства путем отравления приводили к появлению «модных ядов», которые распространялись среди убийц и самоубийц, подобно бактериям заразной болезни. Как часто даже старый-престарый мышьяк заново входил «в моду»! Но то, что случилось с «Е-605» в февральские дни 1954 г., когда его название впервые всплыло в связи с делом Кристи Леман, было бесприммерно. В тот же момент в ФРГ и Австрии прокатилась волна самоубийств с помощью «Е-605». Заголовки в газетах следовали один за другим:

«Вормский яд требует очередной человеческой жизни», «Еще пять самоубийств с помощью «Е-605», «Шесть новых самоубийств с использованием средства для борьбы с сельскохозяйственными вредителями», «Семья из четырех человек отравилась «Е-605».

Когда 20 сентября 1954 г. Криста Леман предстала перед судом в Майнце, когда она, не отрицая своего признания, без всяких признаков раскаяния или печали выслушала приговор к пожизненному заключению, оглашенный председателем местного суда Никсом, снова поднялась волна убийств и самоубийств.

Не было ни одного института судебной медицины и почти ни одной химико-токсикологической лаборатории, которые бы не соперничали друг с другом в обнаружении «Е-605». При этом опять не обошлось без сюрпризов и неудач.

Вновь все усилия сконцентрировались на достижении абсолютной надежности результатов исследований. Через метод «бумажной хроматографии» они в итоге привели к методу, который позволял путем так называемой спектрофотометрии в сфере ультрафиолетового излучения непосредственно обнаруживать выделенное из покойников активное вещество «Е-605» и даже

измерять его количество.

При ознакомлении с историей вторжения «Е-605» в сферу судебной токсикологии она может показаться всего лишь коротким эпизодом. Но внезапность этого вторжения, по сути дела, осветила ярче, чем во многих других случаях, ту обстановку непрерывной борьбы, которая сложилась в токсикологии за первые сто — сто пятьдесят лет ее развития.

Токсикология стала большим, переросшим границы стран и континентов зданием. Работа первопроходцев многих поколений заложила фундамент этого здания, который уже ничто не сможет поколебать. Но судебная токсикология еще в большей степени, чем судебная медицина в целом, подчиняется суровому закону — быть в постоянной готовности и не останавливаться в своем развитии. Она должна равняться на своих «матерей» — химию и фармакологию, которые не перестали создавать новые вещества — вещества, необходимые в эпоху массового индустриального общества для его дальнейшего развития, но дающие в то же время в руки людей этой эпохи яды в таком многообразии и количестве, которые Орфила или Стасу не могли даже присниться.

Далеко то время, когда лишь отдельные случаи убийства путем отравления требовали вмешательства токсикологов. Сфера токсикологии ныне распространилась чрезвычайно широко: от убийств, самоубийств, неясных случаев смерти до общих пределов нынешнего социального мира с его повседневными возможностями отравления миллионов людей на их рабочих местах. Она распространилась еще дальше — в хаос современного транспорта, в работу по изучению методов доказывания наличия алкоголя как причины бесчисленного количества несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. Да, мир токсикологии проник и в повседневную работу сотен тысяч врачей, в рамках деятельности которых остаются нераскрытыми многочисленные отравления и убийства с помощью яда, потому что врачи еще не научились распознавать многоликие симптомы отравлений.

Токсикологи знают, что еще в течение долгого времени их ждут новые дискуссии, новые встречи с новыми формами проявления и применения гидры по имени яд, которую при всей ее величине и вездесущности можно охарактеризовать формулой немецкого токсиколога Герберта Шрайбера: «Отравление — это явление, при котором вещество вступает во взаимодействие с организмом, вследствие чего наступают негативные последствия для организма». Они узнали, что даже знаменитость ненадолго застрахована от ошибки и что их высший принцип должен оставаться таким, как его сформулировал Лакассань: «Надо уметь сомневаться». Им было ясно, что наведение мостов между наукой и деятельностью уголовной полиции еще не окончено и что эти мосты должны становиться все шире. С одной стороны, все, вплоть до последнего сотрудника уголовной полиции, должны быть осведомлены, насколько широки реальные возможности науки, а с другой стороны, перед токсикологами стоит задача: еще больше, чем это было до сих пор, вживаться в атмосферу и изучать ценный опыт криминалистической практики.

И все же, если взглянуть на более чем столетнюю историю судебной токсикологии и ее медленно развивавшихся связей с уголовной полицией, если сопоставить и взвесить все позитивное и негативное в этом сотрудничестве, то чаша весов с позитивным, завоеванным и достигнутым намного перевесит ту чашу весов, в которой собраны ошибки, порочные методы, разочарования и сомнения.

#### IV. БАЛЛАДА О ПУЛЕ УБИЙЦЫ, ИЛИ ПУТИ СУДЕБНОЙ БАЛЛИСТИКИ

*1. Большой пролог. Генри Годдард и случай с пулей убийцы. 1860 г.— Ричардсон, ружья, заряжаемые с дула, и пыжи. 1879 г.— один эпизод в Америке. Переход к выпуску оружия с нарезными стволами. 1889 г.— Лакассань и «бороздки» на пуле убийцы. 1898 г.— Пауль Езерих фотографирует «бороздки». Нарезы, их крутизна и промежутки между ними. Ганс Гросс об огнестрельном оружии. 1902 г.— судья О. У. Холмс и эксперт-оружейник. Выстрелы «пробными пулями» из оружия, на которое падает подозрение. Сравнение их с пулей убийцы. 1905 г.— восковые пластинки профессора Коккеля из Лейпцига. 1913 г.— парижский профессор Балтазар. Следы на патронной гильзе. Европа уступает инициативу Америке. Золотое время для шарлатанов.*

В 1835 г. Генри Годдард, один из последних и самых прославленных боу-стрит-раннеров (сыщиков с Боу-стрит) — с них начиналась, как мы рассказывали, лондонская уголовная полиция,— изболел убийцу.

На пуле, попавшей в потерпевшего, Годдард заметил странный выступ, и с этой «меченой» пулей в руках он отправился на поиски преступника. В мрачном жилище одного из подозреваемых Годдард обнаружил форму для литья свинцовых пуль, которая имела дефект — углубление, в точности совпадающее с выступом на пуле убийцы. Ошеломленный владелец формы сознался в убийстве.

Генри Годдард был, подобно большинству боу-стрит-раннеров, неотесанным и жадным до денег человеком, но достаточно хитроумным, и успех в случае с пулей пришел к нему в результате внезапного озарения. У Годдарда не было ни малейшего намерения разрабатывать на этой основе какой-либо метод или систему. И все же то, что он проделал, представляло, вероятно, первую попытку найти убийцу, идя от смертоносной пули к оружию, из которого она была выпущена. Сам того не ведая, Годдард стал предшественником многочисленных оружейников и полицейских, шарлатанов и настоящих исследователей, которые на протяжении жизни нескольких поколений создавали новые методы раскрытия преступлений, совершаемых с помощью огнестрельного оружия,— те самые методы, которые в первой половине XX в. вошли, подобно судебной медицине или токсикологии, в научную криминалистику и получили название «судебной баллистики» или «науки об огнестрельном

оружии и боеприпасах».

Через двадцать пять лет после удачи Годдарда, в 1860 г., в материалах дела, рассмотренного английским судом присяжных в Линкольне, упоминался другой пионер судебной баллистики. Правда, имя его не называлось. Он, как и Годдард, был полицейским и нашел убийцу одного своего товарища. Но на этот раз помогла не пуля из тела убитого, а один из бумажных пыжей, распространенных в дни, когда ружья заряжались через дуло. Обожженные и пахнувшие серой остатки пыжа, сделанного из газетной бумаги, лежали возле тела убитого. И вот при обыске домов подозреваемых в квартире некоего Ричардсона полицейские натолкнулись на двуствольный пистолет. Один его ствол был пуст и покрыт копотью, второй же заряжен. Найденный в заряженном стволе пыж тоже был сделан из газетной бумаги, точнее из клочка лондонской «Таймс» за 27 марта 1854 г. Тогда наш пионер судебной баллистики обратился за помощью к издателю этой знаменитой газеты. Тот надел «свои самые сильные очки» и удостоверил, что пыж с места происшествия был изготовлен из номера газеты «Таймс» за то же число. Узнав об этом, Ричардсон так растерялся, что признался в убийстве. Но и это событие осталось лишь примером случайного успеха.

Должно было пройти еще около двадцати лет, чтобы снова произошло нечто подобное. В 1879 г. в Соединенных Штатах по обвинению в убийстве перед судом предстал человек по имени Маугон. Судьей по этому делу был, как отмечалось в газетных отчетах того времени, «человек с очень современными взглядами». У Маугона обнаружили пистолет и обвинили, что он сделал из него два роковых выстрела. Обвиняемый отчаянно уверял, что его оружие уже давным-давно не использовалось. Тогда судья велел позвать оружейника, чья мастерская находилась вблизи здания суда. Оружейник — бородатый исполин в рабочей робе — проверил на глаз ствол пистолета и, найдя его покрытым внутри плесенью и проржавевшим, присягнул, что из этого оружия как минимум уже восемнадцать месяцев не вылетало ни одной пули. Несомненно, что экспертам более позднего времени его вывод показался бы более чем смелым, но он спас жизнь подсудимому. Однако и здесь речь опять-таки шла об эпизодическом случае.

Тем не менее по обе стороны океана все чаще можно было услышать об оружейниках, привлекаемых судами в качестве «экспертов по стрельбе». Они умели собрать и разобрать ружье и револьвер. Они обладали более или менее точными знаниями о стрельбе, а заключения, которые от них требовались, касались по большей части вопросов о том, был ли произведен выстрел из оружия, заряженного с дула или с казенной части; с какого расстояния то или иное оружие поражает цель, стреляли ли из данного ствола дробью и как далеко она «рассеивается».

Прошло еще десять лет. Наконец весной 1889 г. этими вопросами занялся профессор судебной медицины Лионского университета Лакассань. Из тела убитого он извлек пулю и при ближайшем рассмотрении обнаружил на ней семь продольных полосок, или «бороздок». Пуля была того же калибра, что и револьвер, выкопанный из-под пола в доме одного из подозреваемых в убийстве, и, следовательно, могла быть выстрелена из этого револьвера. Но «могла» — не значит «обязательно была». Поэтому Лакассань с особым рвением занялся семью «бороздками».

В XIX в. со стволом огнестрельного оружия произошли значительные изменения. В принципе оружейники еще триста лет тому назад знали, что дальность и прицельность огнестрельного оружия могут быть чрезвычайно увеличены, если на внутренней стенке ствола провести бороздки, или «нарезы», расположив их спиралевидно по всей его длине. Пуля, пущенная по такому стволу, начинала вращаться и поражала такие цели, которые были недостижимы при стрельбе из гладкоствольного оружия. Однако до тех пор, пока огнестрельное оружие заряжалось с дула, втиснуть пулю в «нарезной» ствол было чрезвычайно трудно. Поэтому сначала должен был получить развитие способ зарядания оружия с казенной части, при котором пуля вместе с начиненной порохом гильзой закладывается в ствол сзади. Сила порохового взрыва с легкостью гнала бы снаряд по нарезам ствола, заставляя его при этом вращаться.

Каждый фабрикант оружия разрабатывал свою конструкцию. Некоторые из них оснащали канал ствола пятью, другие — шестью нарезами. Одна ружейная модель отличалась от другой шириной нарезов и промежутков между ними. Различным было и число витков образуемой ими спирали внутри ствола, а также обусловленное «завихрением» нарезов направление вращения пули слева направо или справа налево. Каждый фабрикант считал, что его решение — самое лучшее.

Когда в 1889 г. профессор Лакассань рассматривал выпущенную убийцей пулю с семью бороздками, никто еще не имел надлежащего представления обо всех этих различиях. Лакассань пришел к выводу, что эти бороздки не что иное, как следы, оставленные на пуле нарезами, имеющимися в канале ствола револьвера. Когда чуть позже ему принесли револьверы нескольких подозреваемых лиц, он нашел среди них один с семью нарезами в стволе. Никогда прежде не приходилось ему встречать такой револьвер. На основании совпадения числа нарезов в канале ствола револьвера и числа бороздок на пуле владелец этого оружия был осужден как убийца. Ныне, по прошествии времени и с учетом накопленного опыта, можно лишь надеяться, что он и был в действительности убийцей. Ведь вполне могло быть, что какой-нибудь мелкий производитель оружия во Франции изготовил несколько револьверов с семью нарезами.

Прошло еще почти десять лет. В 1898 г. Пауль Езерих, берлинский химик, увлекавшийся криминалистической работой, был приглашен в качестве эксперта в суд маленького немецкого городка Нойруппин. Там ему вручили пулю, извлеченную из тела убитого, и револьвер подсудимого. Езерих выстрелил из этого револьвера и сфотографировал под микроскопом пулю, извлеченную из тела

убитого, и пробную пулю. Если обе пули были выстрелены из одного и того же револьвера, рассуждал он, то, вероятно, обе они должны иметь на себе одинаковые отметины от канала ствола. При сравнении обеих фотографий Езерих отчетливо увидел очертания нарезов и промежутков между ними («полей»). Правда, ввиду его ограниченного опыта они показались ему «аномальными». Причем эта «аномалия» была одинакова хорошо видна на обеих пулях, что и оказалось решающим для вынесения обвинительного приговора. Но сфера интересов Езериха была слишком широкой, поэтому занимался он проблемами судебной баллистики сравнительно мало и все, чего он достиг в этой области, свелось лишь к нескольким намёткам.

О том, как малы были научные возможности исследования оружия даже в канун двадцатого столетия, свидетельствуют первые издания знаменитого «Руководства для следователей» Ганса Гросса. Целый раздел этой книги был посвящен огнестрельному оружию. Гросс рекомендовал следственным судьям самим приобретать специальные познания, касающиеся огнестрельного оружия, поскольку тот, кто ими обладает, достигнет гораздо большего, чем «так называемые „эксперты по стрельбе“». Он подсмеивался над часто встречающимися в материалах судебных дел пометками вроде следующей: «Ружье передано для разрядания эксперту, который установил, что оно было заряжено довольно большим количеством дроби». Однако сам Гросс ограничился более или менее точным описанием известных ему типов оружия, возможностью проверки их стволов с помощью «зеркала» из белой бумаги, установления направления выстрела, а также доброкачественности и эффективности пороха. Кроме того, он предупреждал о необходимости как можно осторожнее обращаться с найденным оружием, чтобы не стереть имеющиеся на нем следы.

Затем арена действий снова перемещается за океан, в штат Массачусетс, где Оливер Уэнделл Холмс, один из воистину выдающихся деятелей американской юстиции, в 1902 г. вершил суд над обвиняемым по имени Бест. О. У. Холмс знал кое-что о появляющихся научных новшествах в области криминалистики. Подобно своему коллеге, рассматривавшему дело Маугона, он разрешил в качестве экспертов пригласить оружейников, «разбирающихся в микроскопе». И снова речь шла о том, могла ли пуля, которой убит потерпевший, быть выстрелена из оружия, принадлежавшего подсудимому. Эксперт сделал то же, что в свое время Езерих: он выстрелил пробной пулей из пистолета Беста в корзину, полную хлопка, и извлек ее оттуда невредимой. Затем с помощью увеличительного стекла и микроскопа он сравнил пули на глазах у присяжных и пришел к заключению, что сразившая потерпевшего пуля могла быть выпущена из пистолета Беста.

«Нет иного пути,— заявил Холмс присяжным,— с помощью которого правосудие с такой ясностью смогло бы узнать, каким образом ствол огнестрельного оружия помечает выстреленную из него свинцовую пулю».

Но и в данном случае речь шла всего лишь о несовершенной, ввиду недостатка опыта, попытке, недоверчиво встреченной судьями и полицией, ответить на вопрос: чем же в действительности характеризуется ствол того или иного оружия?

Само собой вышло так, что европейские судебные медики, уже давно занимавшиеся изучением различных вопросов стрельбы, обратили внимание и на данный вопрос. В особенности это касалось тех из них, кто, как мы уже видели, стремился в своих изысканиях выйти за пределы чистой патологии и медицины. Рихард Коккель, руководитель института судебной медицины Лейпцигского университета, занялся рассматриваемой проблемой в 1905 г. Он пропагандировал идею о снятии слепков с «пули преступления» и «пробной пули» при помощи пластинок из воска и цинковых белил. Причем он размягчал пластинки горячей водой и делал их более пригодными для снятия слепков. Пули же, наоборот, перед снятием слепков укладывались на лед. Такие оттиски казались Коккелю гораздо более точными, чем фотографии, дававшие искаженную картину вследствие округлости пуль. Но действительно ли на восковых пластинках отражались все, даже мельчайшие, особенности поверхности пули? Не оставались ли некоторые из них незаметными?

Спустя почти десятилетие в судебной баллистике, что характерно для ее ранней истории, опять появилась новая фигура и снова сместилась арена ее главных событий. В декабре 1913 г. во французском журнале «Архивы уголовной антропологии и судебной медицины» громко заявил о себе профессор судебной медицины из Парижа Балтазар. По его словам, он обнаружил, что ударник любого огнестрельного оружия оставляет при стрельбе характерные следы на шляпке гильзы. Причем это касается не только ударника, но и патронного упора затвора, который удерживает патрон за донную часть в патроннике. Ведь донышко гильзы при выстреле с огромной силой давит на патронный упор затвора. Швы и иные существенные неровности патронного упора оставляют, как утверждал Балтазар, отчетливые оттиски на гильзе. Мало того, даже зацеп выбрасывателя, которые извлекает отстрелянные гильзы полуавтоматического оружия из патронного ствола, оставляет свои следы. Они различаются в зависимости от типа оружия. Однако поставленные Балтазаром опыты проводились не в столь широких масштабах, чтобы из них можно было сделать окончательные выводы.

Когда французский профессор опубликовал свою статью, над Европой сгустились грозные тучи первой мировой войны. Голос Балтазара (услышанный, впрочем, только во Франции и Бельгии) на долгие годы остался голосом последнего из пионеров судебной баллистики, которые серьезно пытались изучить эту новую область.

Несмотря на то что эти исследователи лишь поверхностно коснулись проблем судебной баллистики и не вышли из сферы предположений о наличии в ней определенных закономерностей, в криминалистической науке появился новый раздел.

Ничто не свидетельствует об этом более убедительно, чем то, что сомнительная компания «экспертов-профессионалов», со времени распространения дактилоскопической системы возникшая на благодатной почве чрезмерного американского либерализма, решительно начала внедряться в новую область. Их деляческий подход помог им почуять те шансы, которые несла грядущая эра судебной баллистики, отсюда и появился их девиз: «Купи себе увеличительное стекло и стань экспертом по стрельбе: 50 долларов за процесс тебе обеспечены!» И надо сказать, что их бесстыдство позволяло им с легкостью давать заключения и решать судьбы людей задолго до того, как были найдены методы исследования, гарантировавшие надежность таких заключений.

И все-таки именно бессовестность одного американского шарлатана активно стимулировала развитие судебной баллистики — этот факт относится к числу самых удивительных феноменов в ее истории.

*2. 21 марта 1915 г. — убийство двух человек на ферме Фелпса в штате Нью-Йорк. Револьвер Чарлза Стилоу. «Д-р» Гамильтон, или от продавца медицинских патентов до эксперта по стрельбе. «Пули были выпущены из револьвера Стилоу, и не из какого другого». Смертный приговор и борьба за жизнь невиновного. На сцену выходит Чарлз Уэйт. Авантюристы и баллистики по влечению. Помилование Ч. Стилоу и провал Гамильтона.*

В ночь с воскресенья 21 марта на понедельник 22 марта 1915 г. в поселке Уэст-Шелби, штат Нью-Йорк, были убиты два человека. Уэст-Шелби — маленькое скопление далеко разбросанных друг от друга фермерских усадеб — относилось к графству Орлеан, расположенному в западной части штата. В ту ночь вся местность лежала под толстым покровом снега, выпавшего накануне вечером.

Часов в шесть утра Чарлз Э. Стилоу, батрак с фермы семидесятилетнего Чарлза Фелпса, выскользнул из-под одеяла. Наскоро умывшись, еще полусонный, он открыл дверь своей хижины на краю дороги, но споткнулся об окровавленное тело женщины в ночной сорочке, неподвижно лежавшее у порога, и страшно испугался... Стилоу узнал в ней Маргарет Уолкот, экономку своего хозяина. Кровавый след привел Стилоу к дому Фелпса. На полу в луже крови, тоже в ночной рубашке, лежал сам хозяин. Его конторка было взломана, а все деньги (как выяснилось позже) украдены.

Стилоу в то время было уже тридцать семь лет. Немец по рождению, он обладал силой быка и умом ребенка. Он никогда не учился читать и писать, по-английски понимал лишь самые простые фразы и всю жизнь был батраком, кочуя с одной фермы на другую, пока примерно год назад не осел с беременной женой, ребенком, тещей и шурином у Фелпса. Живя в батрацкой хижине, получая от хозяина дрова, корм для коровы и 400 долларов платы в год, он считал, что достиг вершины своей земной карьеры. Понадобилось некоторое время, чтобы Стилоу сообразил, что к чему. В замешательстве он вернулся домой, разбудил своего шурина Нельсона Грина и послал его сообщить обо всем в Альбион шерифу графства Орлеан Честеру Бартлету. Грин, еще менее сообразительный, чем Стилоу, отправился в путь.

Через полчаса на ферме Фелпса собралась возбужденная толпа жителей, преисполненных любопытства, страха и жажды мщения, ибо на их памяти в графстве Орлеан никогда не было никаких преступлений, не говоря уже об убийстве. Возбужденные люди бродили вокруг фермы и затоптали все следы, которые, вероятно, оставил после себя убийца или убийцы. Шериф Бартлет (как и большинство его коллег в то время, он был избран на эту должность не из-за своей осведомленности в вопросах криминалистики, а из соображений принадлежности к одной из политических партий) тоже впервые в своей жизни имел дело с убийством. С важным видом, но, по существу, совершенно беспомощно осмотрел он место преступления. И все же он установил, что Фелпс еще жив, и велел фермерам доставить его в госпиталь в Альбионе, где Фелпс и скончался около часу дня, не проронив ни слова. Единственным вкладом Бартлета в расследование этого убийства был вызов собаки-ищейки, которой, однако, не удалось взять след. Какую-то ниточку для следствия дала только больница: дежурный врач извлек из тела Фелпса три пули от огнестрельного оружия 22-го калибра.

Когда 26 марта к дознанию приступил коронер графства Орлеан, он взял под подозрение каждого, кто имел огнестрельное оружие 22-го калибра. Стилоу и его шурином Грин показали под присягой, что никакого огнестрельного оружия у них нет и никогда не было. В конце концов Бартлет нашел выход, к которому тогда особенно охотно прибегали: с согласия публичного обвинителя графства, где произошло убийство, он нанял частного детектива за поденную оплату и обещание премии в случае успеха.

Детектив прибыл из Буффало, звали его Ньютон, и он был полон решимости как можно скорее заработать премию. Его метод, вполне соответствовавший царившему тогда в полиции и суде хаосу, состоял в том, чтобы из числа подозреваемых арестовать людей малоразвитых и неимущих, противозаконно удерживать их под стражей и изматывать длительными допросами до тех пор, пока признание не покажется им единственным избавлением. Как только он выяснил, что шурином Стилоу — Грин — еще более туп, чем сам Стилоу, он велел арестовать Грина. Грин же от страха и беспомощности тотчас признался, что у Стилоу есть оружие, а именно: дешевый револьвер, винтовка и дробовик. Это было правдой. Грин по поручению зятя в свое время спрятал его оружие и теперь указал место, где оно спрятано. Все три вида оружия были 22-го калибра. Длительный ночной «допрос» заставил Грина сделать еще один существенный шаг: он признался, что Фелпса убили Стилоу и он. Ньютон и Бартлет торжествовали. Они арестовали Стилоу, доставили в альбионскую тюрьму, где и «обрабатывали» его в течение двух дней: не давали ему ни есть, ни спать и допрашивали его днем и ночью, сменяя друг друга. Стилоу, едва способный изъясняться по-английски и привыкший к жизни на

свободе, производил впечатление пойманного зверя. Он сознался, что Оружие принадлежит ему, а спрятал он его, когда всюду стали искать оружие 22-го калибра. Однако Фелпса он не убивал, вообще никог-да никого не убивал. Ну да, в ночь убийства он слышал, как вблизи его дома какая-то женщина звала на помощь. Но теща уговорила его не открывать дверь, потому что его жена ждет ребенка и ей нельзя волноваться. Все это действительно было — но он не убивал! Однако Ньютон использовал все средства — от уговора до обмана. Он, например, доброжелательно говорил, что уход за коровами — слишком скромное занятие для Стилоу, который с его данными вполне мог бы стать шерифом и носить звезду. Если он признается, то ему дадут эту шерифскую звезду. А кроме того, он тотчас же сможет вернуться домой к жене.

На второй день Стилоу, страшно тосковавший без жены, сдался и признался, что убил Фелпса. По его словам, они с Грином в ту ночь направились в дом хозяина, чтобы похитить деньги из письменного стола Фелпса. Как явствовало из признания, далее произошло следующее. Они постучали в дверь кухни. Фелпс встал с кровати и пошел со свечой на кухню, чтобы отворить дверь. Как только он открыл дверь, они его застрелили, а затем направились в спальню, чтобы вскрыть письменный стол. Тем временем из своей комнаты выскочила экономка Уолкот и побежала через кухню на улицу, громко призывая на помощь. Они выстрелили ей в спину через стекло кухонной двери, которая закрылась за беглянкой. После этого они украли 200 долларов и пошли назад в свою хижину. По пути они слышали, как лежавшая в снегу экономка умоляла о помощи, но не обратили на это внимание, а вошли к себе в дом через заднюю дверь и улеглись спать.

Стилоу, однако, так и не подписал это признание. С трудом подбирая слова, он отказался от него и в суде. Уже тогда должно было броситься в глаза, что события, описанные им в своем признании, просто не могли произойти указанным образом. Однако публичный обвинитель довольствовался признанием обвиняемого, ибо держал в руках еще один козырь. Козырем этим были пули, сразившие Фелпса, и старый, дешевый револьвер Стилоу.

К тому моменту на сцене появился человек, с которым нам еще не раз придется встретиться, — один из самых знаменитых экспертов «собственной выпечки», которые в то время, и еще долго потом, именно в Соединенных Штатах использовали тягу людей к научной криминалистике. Это был «доктор» Альберт Гамильтон.

Гамильтон был опытным человеком, во всяком случае более опытным, чем многие другие самозванные «эксперты по стрельбе». Американские судьи не требовали от них никаких удостоверений, довольствуясь заявлением самого «эксперта» о том, что он является таковым. Причем многие из них сами себя выдавали с головой, признаваясь на перекрестном допросе, что «микроскопию» они проводили с помощью дешевого увеличительного стекла. Другие же на предложение объяснить присяжным процесс изготовления пистолета отвечали обезоруживающе наивно: «Пистолеты отливают в формах». Но «д-р» Гамильтон был из другого теста.

Человек небольшого роста, но с большими познаниями и еще большим умением убеждать, он начал свою карьеру уже как изготовитель патентованных лекарств в Оберне, штат Нью-Йорк. Степень доктора он присвоил себе сам. Поприще профессионального эксперта (50 долларов плюс суточные) манило его к себе с неодолимой силой. Долгое время он называл себя «микрхимик-исследователь», а с 1908 г. занялся саморекламиранием, выпустив пропагандистский трактат под названием «Человек из Оберна». В нем он выдавал себя за эксперта в области химии, микроскопии, почерковедения, сравнения шрифтов пишущих машинок, фотографии, дактилоскопии, токсикологии, кровяных пятен, причин смерти, бальзамирования и анатомии. Неудовлетворенный столь впечатляющим перечнем своих специальностей, он добавляет в заключение следующие области, в которых он может провести экспертизу: огнестрельные раны, огнестрельное оружие и боеприпасы, идентификация по пулям, порох и взрывчатые вещества. Как отмечали впоследствии некоторые наблюдатели, он ловко проштудировал некоторые европейские публикации о ранних опытах в области идентификации боеприпасов и купил себе микроскоп и фотоаппарат. Он знал, что на присяжных особенное впечатление производят увеличенные, таинственно выглядящие фотоснимки.

И вот он появился в Альбионе, осмотрел револьвер Стилоу и поместил пули, извлеченные из тела Фелпса, под свой дешевенький микроскоп. Затем с удивительной проворностью он подготовил свое заключение. По его словам, в стволе орудия у самого дула он обнаружил «аномальную зазубрину». Царапины от этой зазубрины были видны на пулях. Гамильтон пришел к выводу: «Пули, принесшие смерть, выстрелены из револьвера Чарлза Э. Стилоу!» В дополнение к своему заключению он сфотографировал пули, чтобы произвести большее впечатление на судей и жюри присяжных.

12 июля процесс по делу Стилоу начался. Признания Стилоу и Грина показались очень странными даже судье, и его сомнения отразились в напутствии присяжным. Сомнения вызывало также то, что ни у Стилоу, ни у членов его семьи не было обнаружено украденных денег. Теща Стилоу тем временем вынуждена была даже продать корову, чтобы расплатиться с врачом, принимавшим ро-ды второго ребенка. Вот почему глаза всех присутствующих в суде были направлены на «д-ра» Гамильтона. Последний наслаждался всеобщим вниманием, продемонстрировав фотоснимки пуль, и повторил свои выводы: «Пули убийцы не могли быть выстрелены *им* из какого другого оружия, кроме револьвера подсудимого»..

Защитник Стилоу — назначенный судом молодой адвокат из Медины по имени Дэвид Уайт — был неопытен и вел первый свой процесс по делу об убийстве. У него не было и средств на оплату экспертов защиты, которых он мог бы привлечь к делу. Тем не менее ему удалось доказать, что на

фотоснимках пуль, представленных Гамильтоном, не видно никаких следов от «зазубрины», которая должна якобы находиться в передней части ствола. Но Гамильтон остался хозяином положения. «О,— заявил он,— фотографии по недоразумению перепутаны. На снимках видна та сторона пули, которая не соприкасается с зазубриной». Сила убеждения Гамильтона была так велика, что никому и в голову не пришло задуматься над значением этого эпизода. Гамильтону удалось также парировать утверждение защиты, что дефекты дула оружия лишь в редчайших случаях отражаются на пулях. Не колеблясь он заявил: «Затвор в этом случае так плотно и жестко охватил патрон, что пороховые газы не проникали назад. Со всей силой эти газы толкали пулю вперед. Свинец пули расширился у самого дула и обволок, упомянутую зазубрину в конце канала ствола».

Граждане графства Орлеан, попавшие в число присяжных, были полны решимости как можно скорее представить общественности виновного и сэкономить налогоплательщикам дальнейшие судебные издержки. Заключение Гамильтона отвечало их пожеланиям, и 23 июля 1915 г. они признали Стилоу виновным в «тяжком убийстве первой степени». Он был приговорен к смертной казни на электрическом стуле, исполнение которой было назначено на начало декабря. В ожидании казни Стилоу поместили в тюрьму Синг-Синг.

По всей вероятности, судьба его была бы решена, если бы заместитель начальника тюрьмы Спенсер Миллер не проявил интереса к этому беспомощному, как теленок, кандидату в покойники. Спенсер Миллер был идеалистом, мечтавшим о реформе уголовного права. Вот почему он сообщил об этом случае в так называемый «Култ человеколюбия» — нью-йоркскую организацию, которой руководили по преимуществу женщины и которая посвятила себя борьбе за отмену смертной казни. Трое из этих женщин — Ирен Лоэб, миссис Хьюмистон и Инее Милхоллэнд Буасвэн — с чисто женским состраданием бросились в бой за отмену приговора Стилоу. Хотя несколько их ходатайств о проведении нового судебного разбирательства по данному делу было отклонено, казнь Стилоу все же неоднократно откладывалась. Один раз, в июле 1916 г., Стилоу уже сидел пристегнутым к электрическому стулу, когда сообщили о дальнейшей отсрочке казни. Предпринятое организацией «Култ человеколюбия» исследование обстоятельств дела

привело к важному открытию: было установлено, что двое бродяг по имени Кинг и О'Конел, приговоренные на данный момент за кражу и лжесвидетельство к суровым наказаниям, в ночь, когда произошло убийство Фелпса, околачивались в Уэст-Шелби, а на следующее утро вели речь об этом убийстве — задолго до того, как первые сведения о нем были преданы гласности.

Миссис Хьюмистон удалось поговорить в тюрьме с Кингом. Больше того, она убедила его, чтобы хоть раз в своей жизни он сделал доброе дело. И Кинг признался, причем добровольно, судье Джорджу Ларкину, что вместе со своим собутыльником О'Конелом они убили и ограбили фермера Фелпса. В своих показаниях он описал ход событий настолько точно, что исчезли все недоумения, неизбежно возникшие после показаний Стилоу.

Признание Кинга вызвало страшное беспокойство в графстве Орлеан. Ведь если то, что сказал Кинг, правда, то предстоит новое судебное разбирательство, а значит, новые расходы за счет налоговых поступлений в местный бюджет. Обвинитель, шериф Бартлет и детектив Ньютон послали в тюрьму в Литл-Вэли, где находился Кинг, с тем чтобы забрать его в главный город своего графства и самим допросить еще раз. Уезжая с ними, Кинг заверял, что все сказанное им является правдой. Но возвратившись через несколько дней, он от всего отказался. Не требовалось большой фантазии, чтобы догадаться, как именно втолковали ему в Альбионе, что его чистосердечное признание никому не нужно. Однако губернатор штата Нью-Йорк Уайтмен, узнав о случившемся, назначил в 1917 г. независимую комиссию, которой было поручено проверить дело в полном объеме. Во главе комиссии он поставил Джорджа Бонда, адвоката из Сиракуз, а Бонд выбрал себе в помощники чиновника службы генерального атторнея Нью-Йорка Чарлза Уэйта.

Уэйт был уже немолод. Он прожил бурную и, в сущности, бесплодную жизнь. Но раскрытие преступлений всегда увлекало его, и в конце концов он осел в аппарате службы генерального атторнея. Когда Уэйт впервые столкнулся с Бондом, он и не подозревал, что вступает в этот самый миг на путь, который приведет его в ряды обессмертивших себя пионеров судебной баллистики, и его жизнь наполнится истинным содержанием.

Бонд и Уэйт допросили Стилоу, Кинга и О'Конела. Уже после этих допросов они склонялись к убеждению, что Стилоу невиновен, а убийство совершено двумя другими из допрашиваемых. Против Стилоу свидетельствовало только экспертное заключение, данное в 1915 г. «доктором» Альбертом Гамильтоном по поводу револьвера Стилоу и пуль, сразивших потерпевшего. Эти пули и револьвер, тщательно упакованные, были приобщены к материалам дела. Прежде Уэйт никогда специально не занимался огнестрельным оружием. Но он знал, что в сыском отделении города Нью-Йорка работает некий капитан Джонс, который много лет занимался пистолетами, револьверами и боеприпасами к ним. И он обратился за помощью к капитану Джонсу и инспектору Форю, принёсшему в Америку методы работы с отпечатками пальцев.

В первую очередь Джонса попросили установить, когда последний раз стреляли из револьвера Стилоу. Джонс тоже *вряд* ли владел тогда точными методами исследования оружия. Он исходил в основном из своего личного опыта, но, во всяком случае, не был очковтирателем и дельцом наподобие Гамильтона. Осмотрев револьвер, он заявил, что этим оружием, бесспорно, не пользовались уже в течение трех или четырех лет, то есть не пользовались уже задолго до того, когда был убит Фелпс. Сильно поржавевшие части ствола револьвера подтверждали мнение Джонса. И все же сказанное им

было лишь его личным мнением, но еще не доказательством. Был проделан и следующий опыт: на казенную часть револьвера Стилоу положили листок бумаги и выстрелили. Одним этим выстрелом тут же было посрамлено утверждение Гамильтона о том, будто затвор так плотно удерживает патрон, что пороховые газы не могут пробиться назад,— огненная струя испепелила бумагу! Затем из этого же револьвера сделали два пробных выстрела - по коробке с хлопком и по сосуду с водой. Обе выстреленные пули сравнили с пулей убийцы. Даже невооруженным глазом было видно, что пробные пули вряд ли могли быть выстрелены из того же самого револьвера, что и пуля, посланная убийцей. Последняя была чистой и лишь слегка помеченной царапинками, пробные же пули, наоборот, были совершенно грязными и изменившими свой прежний цвет.

Так как у Джонса не было микроскопа, то пуля, сразившая Фелпса, и обе пробные пули были направлены в Рочестер. Там на заводах знаменитой оптической компании «Боуш энд Ломб» работал видный специалист по прикладной оптике и микроскопии Макс Позер. Ему и поручили попытаться обнаружить ту самую царапину, которую якобы нашел Гамильтон на пулях, сразивших Фелпса. Если эта царапина, как утверждал Гамильтон, получилась от зазубрины у дула револьвера Стилоу, то она должна была оставить след и на пробных пулях. Позер приложил все усилия, но даже с помощью самых сильных линз ему не удалось обнаружить никакой царапины. Он не нашел ее ни на пуле, посланной убийцей, ни на пробных пулях. По всей вероятности, она была плодом фантазии Гамильтона.

Вслед за этим Позер сделал открытие, изблещившее Гамильтона прямо-таки в преступном недомыслии. На пуле убийцы отпечатался след пяти нарезов и промежутков между ними в стволе револьвера убийцы. Револьвер Стилоу тоже имел пять нарезов, но они располагались равномерно и между ними были промежутки обычной ширины. На пуле же убийцы эти промежутки были необычайно широки — так широки, что на них умещались вместе два нареза и один промежуток нормальной ширины. К тому же револьвер убийцы имел фабричный дефект, а револьвер Стилоу — нет.

Здесь, конечно, налицо был необыкновенно счастливый случай, доказавший, что пули, сразившие Фелпса, никоим образом не могли быть выстрелены из револьвера Стилоу. Этот вывод уже никак нельзя было считать просто чьим-то мнением. Это был уже факт, который послужил Бонду и Уэйту фундаментом для принятия окончательного экспертного заключения. Оба они объявили Стилоу невиновным.

После трех лет заключения, отбытого безвинным Стилоу, губернатор Уайтмен помиловал его, и он был выпущен на свободу. Снова взялись за подозреваемого Кинга. Он повторил свое прежнее признание, и никто всерьез не сомневался, что он виновен, хотя большое жюри графства Орлеан и отказалось предъявить ему обвинение в убийстве Фелпса. Оно оберегало свое графство от грозивших ему новых судебных издержек и ради этого пренебрегло требованиями закона. Но это ничего не меняло ни в самом факте — вынесении порочного приговора на основе ошибочной экспертизы, проведенной «лицом, сведущим в баллистике», — ни в его последствиях для истории.

Для Чарлза Уэйта дело Стилоу стало поворотным пунктом в жизни. То обстоятельство, что из-за ошибочной баллистической экспертизы был приговорен к смертной казни невиновный, не давало ему покоя: он был убежден, что средство, позволяющее в принципе избежать таких ошибок, может быть найдено. Его все время преследовал вопрос: как с научной точностью, полностью исключающей возможность ошибки, найти оружие убийцы по пуле убийцы? Как?...

На год Уэйт попал в вихрь первой мировой войны. Но после возвращения в 1919 г. на родину он, будучи уже немолодым человеком, взялся за поиски ответа на этот вопрос.

*3. 1920 г.— Уэйт берется за поиски точных методов установления того, какая пуля вылетела из какого оружия. Самая большая коллекция оружия в Новом Свете. В Европу за оружием. Открытие огромного значения: каждое огнестрельное оружие оставляет на своих пулях неизгладимые следы. Решающий шаг: Грейвелл создает сравнительный микроскоп. Калвин Годдард.*

В начале 1920 г. на всемирно известном оружейном предприятии «Смит и Вессон» в Спрингфилде появился незнакомец из Нью-Йорка. Просьба, с которой он обратился к администрации, поначалу показалась несколько странной. «Мы,— заявил он,— регистрируем в нашей стране по двадцать — тридцать убийств в день — раз в пятнадцать-двадцать больше, чем, скажем, в Англии. Подавляющее большинство этих убийств осуществляется с помощью огнестрельного оружия. После войны в руках преступников сосредоточилось больше огнестрельного оружия, чем когда-либо прежде в нашей истории. Все, что мы обычно находим воем уби-тых,— это пули и гильзы. Нам нужен надежный способ, чтобы по ним определить, из какого вида оружия они выстрелены. Это поможет нам в дальнейших поисках убийц. Я решил попытаться собрать все виды огнестрельного оружия, которые когда-либо изготавливались у нас в стране и могут быть ныне использованы преступниками. Для этого мне нужны точные данные о конструкции, времени изготовления, калибре, общем количестве выпущенного оружия каждого вида, о крутизне нарезов в канале ствола и промежутках между ними, а также о видах применяемых боеприпасов. Мне известно, что на выстреленных пулях можно обнаружить следы нарезов и промежутков между ними. По ним можно определить крутизну и направление нарезов в канале ствола, а также точный калибр оружия. Если я узнаю соответствующие характеристики всех видов оружия, то наверняка смогу установить, какой вид оружия применялся при совершении конкретного преступления. И в этом мне необходима ваша помощь».

Незнакомец был Чарлз Уэйт.



Вскоре он добился понимания и готовности оказать ему помощь. Но трудности в этом не кончились. Например, фирма «Смит и Вессон» имела документацию о конструкции только самых последних своих моделей. Между тем многие виды оружия, изготовленного ею за период с 1856 г., оставались все еще в ходу по всей Америке. Однако их технические особенности не были зарегистрированы, отсутствовали также данные о многочисленных изменениях, производимых время от времени в выпускаемых видах оружия.

Когда Уэйт уже подумывал о том, чтобы отказаться от своих намерений, он столкнулся с пожилым мастером, который вспомнил о старой-престарой, пожелтевшей записной книжке, заполненной числами и различными данными и хранившейся где-то у него дома. Книжка оказалась настоящим откровением. В ней содержались размеры многих видов оружия, выпущенных фирмой «Смит и Вессон», начиная с самой первой модели. Вслед за этим и другие оружейные мастера разыскали подобные же заметки, частью доставшиеся им еще от отцов. Уэйт уехал из Спрингфилда с целым ящиком документации.

То же самое произошло и на заводах Кольт. Сэмюэл Кольт с 1873 по 1878 г. производил свой знаменитый шестизарядный револьвер «Сикс-Шутер» пяти различных калибров — оружие пионеров Дикого Запада. Как и другие, еще более ранние виды оружия Кольта, «Сикс-Шутер» был тогда в ходу по всей Америке. Но сама фирма не имела собственного собрания старых моделей.

Потребовались долгие, кропотливые поиски, прежде чем Уэйту удалось собрать характеристики всех моделей оружия Кольта.

В 1922 г., после трехлетних трудов Уэйт располагал уже точной документацией обо всех видах оружия, выпущенного в Соединенных Штатах начиная с середины XIX в., за исключением некоторых изделий неизвестных оружейников из отдаленных мест или маленьких, давно закрытых фабрик. В основе его собирательской деятельности лежала «несокрушимая убежденность» в том, что не существует такой модели огнестрельного оружия, которая бы совпадала с какой-либо другой моделью во всех подробностях! Подчас различия в размере нарезов и промежутков между ними были настолько мизерны, что лежали в пределах так называемых допусков, то есть тех отклонений, которые даже лучшие фирмы позволяли своим рабочим при условии соблюдения конструктивных размеров в целом. Но в таких случаях имелись четкие различия другого рода, в частности в крутизне нарезки ствола. Когда Уэйт приступал к обследованию пули, он с точностью до мельчайших долей миллиметра измерял в первую очередь калибр, а затем определял направление нарезки в канале ствола. Если речь, к примеру, шла о калибре 35 с левой нарезкой, то все оружие другого калибра или оружие такого же калибра, но с правой нарезкой исключалось. Затем Уэйт подсчитывал и измерял нарезы и промежутки между ними и довольно быстро определял соответствующую модель оружия, за исключением тех случаев, когда различия лежали в границах так называемого допуска. Однако и в этих случаях, если он замерял еще и крутизну нарезки, то обязательно находил «свое» оружие. К середине 1922 г. Уэйт был в состоянии в кратчайший срок сообщить органу дознания, передавшему ему на исследование пулю американского производства, была ли она выстрелена из кольта 35-го калибра модели «икс» или из винчестера модели «игрек». Его система действовала безотказно, даже если пуля убийцы разрывалась на отдельные части и полностью деформировалась. Но тут-то с Уэйтом и произошло то, что случилось и со многими другими другими пионерами криминалистики. Когда казалось, что он уже достиг цели, Уэйту пришлось пережить глубокое разочарование и убедиться, что на деле он еще очень далек от нее.

Осенью 1922 г. он посетил штаб-квартиру нью-йоркской полиции. Судьба пожелала, чтобы Уэйт попал туда как раз в тот момент, когда все огнестрельное оружие, которое было изъято в течение года в Нью-Йорке, должно было быть погружено в лодки и сброшено в открытый океан. Нью-йоркская полиция вела тогда яростную, но безнадежную борьбу с незаконным хранением оружия. В 1922 г. ею было обнаружено не менее 3 тыс. пистолетов, [револьверов, пулеметов и винтовок. Рассмотрев это собрание оружия, Уэйт сделал ошеломившее его открытие: не менее двух третей оружия было произведено в Германии, Англии, Франции, Австрии, Бельгии и Испании. Большинство этих типов оружия было ему совершенно незнакомо.

Полный мрачных предчувствий, Уэйт поспешил в таможенное ведомство, где у него были друзья. Там он был поражен еще больше, когда узнал, что лишь в прошлом году через нью-йоркский порт было импортировано 559 тыс. единиц зарубежного огнестрельного оружия. В 1920 г. их число составляло 205 тыс. Больше всего было сбываемого по бросовым ценам испанского оружия, представляв-шего собой зачастую плохие копии с американских моделей. В многих каталогах американских универмагов, осуществлявших посылочную торговлю, они предлагались по цене от трех до четырех долларов за штуку, что позволяло каждому американцу без непомерных для себя расходов воспользоваться идущим от времени "первых поселенцев правом на ношение оружия.

Сделанные в Нью-Йорке открытия поначалу повергли Уэйта в глубокое отчаяние. Если две трети огнестрельного оружия, которое, разумеется, использовалось не только в Нью-Йорке было иностранного происхождения, то тогда его коллекция американских моделей, с таким трудом собранная, теряла всякую ценность. Уэйт понимал, что стоит перед выбором. Он мог отказаться от своих замыслов. Но если он решит продолжать работу дальше, ему сле-дует отправиться в Европу и там тоже попытаться собрать данные об огнестрельном оружии, выпущенном за последние семьдесят — восемьдесят лет. Уэйт с горечью признался: «Если бы я мог подозревать, что меня ожидает, я бы уступил всю мою работу кому-нибудь помоложе». И все же он решил не сдаваться. Он обзавел-ся

рекомендательными письмами к американским военным атташе в Европе и к полицейским ведомствам важнейших европейских стран, после чего в конце 1922 г. отправился за океан.

Его путешествие продлилось год. Оно было утомительным и трудным. Уэйт не владел ни одним европейским языком, кроме английского; к тому же он часто болел. Но ему нигде не отказывали в помощи. Уэйт посетил все европейские оружейные заводы. Повторилось то же, что было в Америке: старых моделей в наличии не было, а документация на них «затерялась». Однако движимый мрачным предчувствием близкой кончины Уэйт сделал, казалось бы, невозможное. Когда в конце 1923 г. он снова ступил на американскую землю, то привез с собой полные ящики моделей оружия, конструкторских чертежей и записей. Его коллекция насчитывала теперь около 1500 моделей огнестрельного оружия. Он мог быть уверен, что она охватывает почти все виды оружия, способного стать средством убийства по всей Америке. Как раз в то время, когда он был занят классификацией огромного материала, собранного во время своего путешествия в Европу, и пересчетом европейских размеров в американские, ему удалось внести важный вклад в расследование одного примечательного дела об убийстве.

Один шериф, с которым Уэйт случайно встретился, показал ему пулю, убившую человека. По характеру пули Уэйт пришел к выводу, что она была выстрелена из бельгийского револьвера фирмы Николя Пипера из Льежа, модель 1895 г. До этого сам шериф никак не мог продвинуться в расследовании, хотя уже довольно давно и держал под подозрением некоего бельгийца. После же вмешательства Уэйта бельгиец сознался в совершении убийства. Однако именно это вроде бы успешно раскрытое дело снова вызвало у Уэйта чувство острого разочарования. Хотя он и установил, что пуля выстрелена из бельгийского револьвера модели 1895 г., но фирма Пипера, без сомнения, выпустила еще десятки тысяч единиц оружия той же модели. И если бы убийца случайно не попал под подозрение и не сознался, никто бы не смог доказать, что причинившая смерть пуля была выстрелена из того экземпляра пиперовской серийной продукции, который принадлежал именно ему. Уэйт вновь убедился, что он еще далек от своей цели.

Однако Уэйт слишком далеко продвинулся по избранному пути, чтобы отступить. Если вообще существует возможность по выстреленной пуле идентифицировать совершенно определенное, конкретное оружие, то необходимо найти дополнительные признаки — признаки, которые неизменно соответствовали бы лишь одному-единственному оружию, точно так же, как — какая смелая, невообразимо смелая мечта! — каждый человек имеет свои, только ему присущие отпечатки пальцев. Сотни раз наблюдал Уэйт процесс изготовления огнестрельного оружия: в цилиндрическом стальном блоке вытачивался и полировался ствол будущего оружия. Затем с помощью механического станка резцами из самой закаленной стали делались нарезки в канале ствола. Резцы работали в масляной ванне, выбрасывая перед собой стальные стружки, вырезанные ими из стенок ствола. Если рассмотреть эти резцы под микроскопом, то окажется, что их режущая поверхность не гладкая, а состоит из бесчисленного количества зубцов неправильной формы и расположения. Кроме того, станки приходится по многу раз останавливать для заточки резцов. Уэйт вспомнил слова одного австрийского инженера-оружейника: «Мы пользуемся лучшими инструментами, и тем не менее нам никогда не удается сделать одно оружие точно таким же, как другое. В любом случае имеются хотя бы крошечные различия. Рассмотрите под микроскопом лезвие бритвы! Вы увидите, что его режущая кромка не гладкая, а состоит из множества зубцов, расположение и размер которых у каждого лезвия различны. То же самое и у наших резцов. Сверх того, их заточка ведет к тому, что на каждом зубце образуются те или иные отклонения, зазубрины и тому подобное. Практического значения все это, естественно, не имеет, но все-таки весьма интересно».

Поглощенный своей первоначальной идеей создать полную коллекцию огнестрельного оружия, Уэйт не сразу постиг все значение этого высказывания. Но теперь он осознал его важность. А что, если австриец прав и процесс фабричного изготовления оружия той или иной модели, несмотря на всю его одинаковость, допускает крошечные особенности, позволяющие отличить один экземпляр оружия от другого в рамках одной модели и, естественно, оставляющие свой след на пулях?

Никогда Уэйт не прибегал к микроскопу. Для его прежней работы вполне хватало точных измерительных инструментов. Однако те особенности, о которых он сейчас мечтал, можно было увидеть только под микроскопом. Уэйт помчался в Рочестер к Максиму Позеру. Он хотел получить самый лучший микроскоп из имеющихся в продаже. Его энтузиазм произвел столь сильное впечатление на именитого оптика, что он в кратчайший срок изготовил особый микроскоп, где был предусмотрен пулерждатель и измерительная шкала, которые позволяли вести наблюдение и измерение даже самых слабых примет и изменений. Но Уэйт чувствовал, что сам он уже не справится с такой работой. Зрение часто подводило его, а правая рука дрожала. Поэтому он стал искать нужного ему специалиста. Поиски были нелегкими — ведь Уэйт не имел никаких прибылей от своей практики. Ему нужен был идеалист, который, подобно ему, верил бы в само дело и в то, что оно имеет будущее.

То, что он нашел людей, разделявших его идеи и готовых ради них на жертвы, было последней большой удачей в жизни Уэйта. Первым среди них был Джон Х. Фишер, физик, долгое время работавший в пробирной палате, но всегда интересовавшийся огнестрельным оружием. Второго звали Филипп О. Грейвелл. Еще будучи студентом Колумбийского университета, Грейвелл ночами занимался микроскопией и фотографией. Затем его страстью стала микрофотография. В ту пору Грейвеллу было сорок пять лет. Лондонское микрофотографическое общество только что наградило его золотой медалью Барнарда. Услышав об идеях Уэйта, он, ни минуты не колеблясь, присоединился к нему. В

итоге в Нью-Йорке возникло Бюро судебной баллистики — первое такого рода учреждение в мире.

В нем началась кипучая работа. Физик Фишер сконструировал геликсометр — разновидность медицинского цистоскопа. Если последний служил для того, чтобы вводить трубки и лампы в мочевой пузырь и почки для прямого наблюдения за состоянием этих органов, то геликсометр позволял проводить обследование ствола любого ружья или пистолета. Фишер сконструировал также измерительный микроскоп, линзы и шкалы которого позволяли измерять нарезы, промежутки между ними и крутизну нарезки с недостижимой прежде точностью. Грейвелл между тем обследовал и фотографировал тысячи пуль, выстреленных из различных экземпляров оружия одной и той же модели в тюки с хлопком. Он сравнивал их друг с другом, и в каждом случае пули, выстреленные из различных экземпляров оружия, обнаруживали собственные признаки, характерные только для них. Трудно было поверить, но неодинаковость станков и инструментов, степень их изношенности, царапины от вылетающих стальных стружек оставляли, оказывается, на стволе каждой единицы огнестрельного оружия свои характерные следы, которые не повторялись ни в каком другом стволе. Но был ли найден тот самый «отпечаток пальца» каждого отдельного экземпляра оружия на каждой выстреленной из него пуле?

Число проведенных наблюдений было еще недостаточно боль шим, чтобы окончательно сделать столь смелый вывод. Грейвелл не доверял в первую очередь человеческому мозгу. Пока он мог обследовать под микроскопом только одну пулю и должен был запечатлеть ее образ в своей памяти до того, как под микроскопом окажется пуля, взятая для сравнения, о подлинно научной точности исследования нечего было и говорить. Слишком много здесь зависело от способности к восприятию конкретного наблюдателя.

Неудовлетворенность такой ситуацией привела Грейвелла в конечном итоге к открытию, которое должно было дать судебной баллистике надежную опору.

Шел 1925 год, когда Грейвелл создал «сравнительный микроскоп» — инструмент, позволивший одновременно держать в поле зрения одного человека две пули при многократном их увеличении. Два микроскопа, под каждым из которых находилась одна из сравниваемых пуль, он соединил вместе посредством остроумно сконструированной оптики. Несовершенство человеческой памяти было преодолено. Грейвелл одновременно имел перед глазами две пули, расположенные вплотную друг к другу, и мог вращать их до тех пор, пока не убеждался окончательно в совпадении или же несовпадении их примет и характерных признаков.

Вот насколько продвинулось развитие судебной баллистики к тому моменту, когда Уэйт — уже отмеченный печатью близкой смерти — нашел третьего сотрудника. Ему суждено было поднять дело всей жизни Уэйта на такую высоту, которая впервые обеспечила Америке ведущее место в области криминалистической науки. Звали его Калвин Годдард.

Годдарду исполнилось тогда тридцать четыре года; это был крупный, сильный мужчина с густой темной шевелюрой. Происходил он из Балтимора и, подобно большинству американских пионеров судебной баллистики, имел за плечами годы бурной жизни. Вообще-то он был врачом, специалистом по кардиологии, получившим в 1915 г. степень доктора медицины и некоторое время работавшим в качестве ассистента в больнице Джона Хопкинса. Но в 1916 г. он поступил на службу в американскую армию, стал майором санитарного корпуса, служил во Франции, Бельгии, Германии и Польше; в 1920 г. вернулся в Соединенные Штаты, где начал работать в одной из армейских оружейных мастерских. Сделал он это не без оснований, ибо еще с детства огнестрельное оружие стало его страстным увлечением. Оружейная мастерская давала ему желанный повод ознакомиться с арсеналами и оружейными заводами. Через год он вновь, хотя и вынужденно, вернулся к медицине и даже стал заместителем директора больницы Джона Хопкинса. Но уже в 1924 г., влекомый своей прежней страстью, он обратился к «доктору» Альберту Гамильтону, которому в свое время с помощью рекламных трюков удалось без ущерба для собственной карьеры пережить провал по делу Стилоу. Годдард попросил у Гамильтона совета, как стать «судебным баллистиком». К счастью, он быстро почувствовал шарлатанство Гамильтона и, познакомившись в 1925 г. с Уэйтом, бесповоротно покончил с медициной, поступив на работу в его бюро. Когда же 14 ноября 1926 г. Уэйт скончался от сердечного приступа, Годдард стал уже бесспорным лидером «баллистической троицы», в качестве каковой Джон Фишер, Филипп Грейвелл и он вошли в историю криминалистики.

Уже через несколько недель после начала своей работы в бюро Уэйта Годдард с подлинным мастерством пользовался сконструированным Грейвеллом сравнительным микроскопом. Пули, выстреленные из десяти пистолетов одинаковой модели, изготовленных на одном и том же станке, он умел различать по их «характерным производственным особенностям» и всякий раз определял пистолет, из которого они были выпущены. Теперь не было больше никакого сомнения в том, что любое огнестрельное оружие оставляет на снарядах, выстреленных из него, помимо типичных примет своего калибра, крутизны нарезки и размера нарезков, и такие следы, которые, по существу, равнозначны «отпечатку пальца». Даже на дне гильз Годдард находил такие следы, которые не имели никакого отношения к особенностям ударника или патронного упора или выбрасывателя гильз, а были связаны с обработкой данной гильзы на станке. Ответ на вопрос о том, можно ли и как установить, что данный снаряд или пуля выстрелены из данного конкретного оружия, был найден. С уверенностью в этом и со сравнительным микроскопом в руках Годдард пустился на завоевание полиции и судов.

Время для этого было удачным. Вскоре произошел сенсационный процесс, на котором вскрылись абсолютная ненадежность, несовершенство и даже шарлатанство прежней экспертизы в области

баллистики. И именно этот процесс дал Годдарду возможность выступить перед общественностью с новыми достижениями и методами и представить заключение баллистической экспертизы, навсегда вошедшее в историю.

Но предварительно расскажем еще об одном любопытном деле. Вечером 4 февраля 1924 г. Хьюберт Даме, священник католической общины в Бриджпорте (штат Коннектикут) шагал вдоль главной улицы этого города. Внезапно кто-то подошел к нему сзади и выстрелил ему в затылок. Даме упал замертво. Убийца скрылся. Пуля, сразившая Даме, была, как оказалось, 32-го калибра.

Так как священника очень любили, началась бешеная охота за убийцей. Многочисленные показания усердных свидетелей ни к чему, однако, не привели. Но вот 11 февраля Джон Рейнолдс, сотрудник уголовного розыска в Саут-Норфолке, увидел молодого человека, бесцельно шатающегося по городу. Он препроводил незнакомца в полицию и там обыскал его. В кармане пальто у того находился револьвер испанского производства 32-го калибра. Из пяти патронов, которыми он заряжался, в барабане не хватало одного — выстреленного. Незнакомца звали Гарольд Израэль, он прибыл из Бриджпорта и искал ночлег. За тайное ношение оружия он был приговорен к 30 дням ареста. Просто так, «для порядка», его спросили, где он был в момент убийства священника Даме. Ответить на это он не смог. Тогда ему устроили очную ставку со свидетелями, которые подтвердили, что узнают в нем убийцу священника. После этого Израэля усердно допрашивали с полудня 13 февраля до вечера следующего дня. В конце концов он не устоял и признался, что убил священника, «потому что ему так захотелось».

К этому делу в качестве эксперта был привлечен Вэн Эмбур, который девять лет работал в арсенале г. Спрингфилд, затем на предприятиях Кольта и Вестингауза, а в данный момент был оружейным техником на патронном заводе фирмы «Ремингтон» в Бриджпорте. Получив для исследования пулю, причинившую смерть, Вэн Эмбур произвел из пистолета Израэля несколько выстрелов пробными пулями, сделал микрофотоснимки всех пуль и прикрепил их к ленте, чтобы таким образом всегда иметь под рукой изображение всей поверхности каждой пули. Затем он сделал надрез в кадре с изображением пробной пули, засунул в него кадр с изображением пули, причинившей смерть, и так долго передвигал эти кадры по отношению друг к другу, пока характерные признаки обоих кадров не совпадали.

Следственному судье он заявил: «Я, правда, провел еще не все пробы, но убежден, что пуля выстрелена из этого (Израэля) оружия». Заявление Вэна Эмбура имело решающее значение.

Результаты предварительного расследования были переданы государственному атторнею Хоумеру Стилле Каммингсу, который принадлежал к числу тех государственных атторнеев, для которых важно было отнюдь не то, чтобы добиться осуждения обвиняемого и тем самым завоевать симпатии своих избирателей на следующий избирательный срок, а была важна справедливость.

Когда Израэль отказался от своего признания и заявил, что вследствие бесконечных допросов он готов был признаться в чем угодно, лишь бы положить конец мукам, Каммингс не отмахнулся просто так от этого факта. У него сложилось свое собственное представление об Израэле, он считал его умственно отсталым, беспомощным и легко поддающимся чужому влиянию. А вскоре он избличил всех свидетелей в безответственных и легкомысленных утверждениях. Далее выяснилось, что Израэль имел алиби на момент убийства священника.

В конечном итоге оставался только один труднопреодолимый момент — экспертиза Вэна Эмбура. Каммингс начал с того, что вызвал к себе шесть новых экспертов по баллистике. В те дни подобные эксперты расплодились, как грибы после дождя. Каждый работник оружейного завода хотел участвовать в новой, входящей в моду сфере деятельности. Применявшиеся ими методы были не лучше и не надежнее, чем у Эмбура, и их взгляды очень бы удивили Уэйта или Годдарда. Тем не менее они единодушно заявили, что не находят никаких доказательств того, что причинившая смерть пуля имеет отношение к револьверу Израэля. Это побудило Каммингса лично ознакомиться с фотоснимками Эмбура. Сравнив фотоснимки пули, сразившей священника, и пробной пули, накладывая эти фотоснимки один на другой, он был страшно удивлен, ибо никакого «совпадения» признаков между ними не было и в помине.

Каммингс велел вызвать к нему Вэна Эмбура. Он повторил при нем эксперимент с кадрами фотоленты и молча, но с укором посмотрел на него. Бледный и перепуганный Вэн Эмбур молчал. Наконец он вынужден был признать, что пуля, причинившая смерть, выстрелена не из пистолета Израэля. Объяснить свою ужасную ошибку он не смог, хотя сделать это было нетрудно — Эмбур ограничился лишь поверхностным осмотром пули.

*4. 1929 г., Чикаго — чудовищное убийство в день святого Валентина. Годдард устанавливает оружие, из которого стреляли убийцы. Первая в Америке научно-криминалистическая лаборатория.*

Неустанно, как одержимый, трудился Годдард над дальнейшей разработкой своего метода. Немало было у него и неудач на этом пути. Он установил, что даже в рамках его метода все еще остаются возможности отдельных ошибок, которых надо научиться избегать. И он терпеливо учился этому.

В 1929 г. авторитет Годдарда был так велик, что его вызвали в город Чикаго, где одно преступление следовало за другим, чтобы помочь в расследовании случая массового убийства, известного в истории криминалистики под названием «бойни в день святого Валентина».

Утром 14 февраля 1929 г. в гараже на улице Норт-Кларк в Чикаго собрались семеро мужчин. Большинство из них принадлежало к так называемой банде «Багса» («Клопа») Морана, которая в годы

всеобщего хаоса, вызванного введением сухого закона, орудовала в чикагском районе Норт-Сайд. Мужчины ждали своего босса «Багса» Морана, который в то утро должен был получить груз с алкоголем.

Однако Моран запаздывал. Это спасло ему жизнь. В десять часов тридцать минут в гараж ворвались двое мужчин в форме чикагской полиции, с пистолетами в руках и приказали: «Стать к стенке!» Из-за них появились двое в гражданском платье, вытащили из-под своих пальто пистолеты-пулеметы и расстреляли всех, кто стоял у стены. Затем они покинули гараж, вскочили в автомашину и скрылись.

Коронер д-р Герман Бундесен, один из немногих «неподкупных» в юстиции и полиции Чикаго, обнаружил на месте преступления шесть мертвецов, одного умирающего и не менее семидесяти отстрелянных гильз от пистолета-пулемета.

Знакомые с обстановкой в городе люди быстро сообразили, что за этим случаем стоит «лицо в шрамах» — Аль Капоне, самый страшный босс гангстеров Чикаго. Видимо, Капоне хотел избавиться от своего конкурента «Багса» Морана вместе с его лучшими людьми. Разумеется, в момент совершения преступления Аль Капоне не был в Чикаго. Но некоторых его людей, например Джека Макгорна, Фрэда Барке и Фредди Гётца, видели вблизи гаража. Правда, это еще ничего не доказывало. Коронер Бундесен хорошо знал, что ожидать особенной помощи от полиции нечего. В то время вряд ли в каком другом городе США политики, полиция и преступный мир были переплетены друг с другом так, как здесь. Бундесен образовал жюри из благонадежных и независимых граждан, чтобы расследовать это убийство. В свою очередь это жюри решило пригласить в Чикаго Годдарда.

Отбывая из Нью-Йорка, Годдард еще не подозревал, что движется навстречу осуществлению мечты всей своей жизни, а именно: основанию полноценной лаборатории научной криминалистики. Между тем он понимал, что только такое учреждение могло бы положить конец хаотической деятельности бездарных экспертов по огнестрельному оружию. Итак, после обследования всех гильз и пуль, обнаруженных на месте преступления и в трупах, он приступил к составлению своего заключения.

Годдард пришел к выводу, что при совершении данного преступления были использованы два пистолета-пулемета фирмы «Томпсон» 45-го калибра. Один из них — с магазином на двадцать патронов, другой — с барабаном на 50.

14 декабря 1929 г. в Сен-Джозефе (штат Мичиган) один сотрудник полиции был убит шофером, которого он задержал за нарушение правил уличного движения. Убийца исчез, но благодаря номеру автомашины удалось установить его адрес. Квартира по этому адресу принадлежала человеку по имени Дейн. При обыске квартиры полицейские обнаружили стенной шкаф и, к своему удивлению увидели в нем целый арсенал оружия, в том числе два пистолета-пулемета Томпсона. В срочном порядке их доставили Годдарду. Пробные пули из них отстреляли в тюки хлопка, и снова Годдард часами сидел, склонившись над своим микроскопом. Его вывод гласил: «В данном случае речь идет о пистолетах-пулеметах, с помощью которых было совершено убийство в день святого Валентина».

Через несколько дней был найден и бежавший шофер. Это был Фрэд Барк, один из гангстеров банды Капоне, на которых уже давно пало подозрение. Он жил под фальшивой фамилией. Его приговорили к пожизненным каторжным работам, и он исчез за решеткой. Наверно, благодаря этому он избежал судьбы, которую мстительная рука «Багса» Морана уготовила двум другим подозреваемым: Фредди Гётц и Джек Макгорн были вскоре найдены застреленными, и не было ни малейшего сомнения в том, среди кого следовало искать их убийц.

Впечатление, произведенное работой Годдарда на влиятельные круги, группировавшиеся около Германа Бундесена, было так велико, что они решили основать при университете институт под названием «Научная лаборатория по расследованию преступлений». Его задачей было с помощью научных методов поставить заслон лавине преступности и познакомить молодых, еще не затронутых коррупцией полицейских с методами судебной баллистики. Директором института стал Калвин Годдард. Годдард прекрасно понимал, что если он передаст свои методы большому количеству молодых людей, то тем самым сведет на нет значение своей собственной лаборатории в Нью-Йорке и основы своего прежнего существования. Он, который до этого был единственным мастером, станет всего лишь одним из многих. Но это его не беспокоило.

На окраине Ивенстоуна, на территории Северо-Западного университета, он выстроил свою лабораторию. В течение многих лет его никогда не видели без кобуры, даже во время микроскопирования. Вооруженный охранник постоянно был поблизости и являлся немедленно, если где-нибудь слышался выстрел — даже если речь шла о пробных выстрелах самого Годдарда. «Все в порядке, я лишь делаю пробу!» — стало постоянной присказкой Годдарда. Никто не был уверен, что чикагские банды не попытаются когда-нибудь навестить институт и его директора. Лаборатория Годдарда стала одной из первых больших кафедр научной криминалистики в Америке. За четыре года Годдард провел экспертные исследования по 1400 делам, связанным с применением огнестрельного оружия. Когда в начале 1934 г. страшный экономический кризис расшатал финансовые основы существования института, Годдард продолжал работать еще почти целый год без оплаты. Его последней мечтой было создание большой центральной лаборатории судебной баллистики в Вашингтоне — лаборатории, которая обслуживала бы всю Америку и в которой каждый начальник полицейского участка, пусть самого незначительного, мог бы получить помощь и поддержку в вопросах, связанных с огнестрельным оружием. Когда в конце 1934 г. Годдард оставил службу, он

воочию увидел осуществление своей мечты: Эдгар Гувер учредил в Вашингтоне Институт судебной баллистики при ФБР. «Впервые,— воскликнул Годдард в эту минуту,— Америка взяла на себя руководящую роль в области научной криминалистики!»

5. *Победное шествие сравнительного микроскопа. Европейское межвременье. «Атлас пистолетов». Сравнительный микроскоп пересекает Атлантику. Промежуточная станция Каир. 19 ноября 1924 г.— убийство сэра Ли Стэк-паши. Шесть пуль и шесть гильз. Разоблачение убийц с помощью сравнительного микроскопа. Дискуссия среди экспертов.*

Не ошибся ли Годдард? Действительно ли Соединенные Штаты благодаря Уэйту, Грейвеллу и Годдарду обогнали Старый Свет?

Буря первой мировой войны преобразила лицо преступности и в Европе. Конечно, вряд ли правы были пацифисты, утверждая в 20-х годах, что убийцы только потому стали убийцами, что именно война научила их убивать, а государства к тому же провозгласили убийство противника деянием во славу отечества. Но очевидно, что война вследствие колоссального производства винтовок и пистолетов и массового обучения стрельбе обусловила совершенно иные, чем прежде, масштабы преступности. И Европе ввиду роста числа преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, пришлось глубже, чем прежде, заняться судебной баллистикой. В судебно-медицинские институты при университетах, в судебно-химические лаборатории вернулись пионеры судебной баллистики довоенного времени, чтобы вместе с новым пополнением ученых и техников продолжить прерванную войной работу — довольно часто самыми скромными средствами.

Пьер Мединже в 1919 г. в Люксембурге снова взялся за изучение следов на патронных гильзах. Доктор Г. де Рештэ, возглавивший в 1920 г. только что образованную бельгийскую Школу криминологии и полицейской науки, и подполковник Маже, профессор бельгийской военной школы, были самыми выдающимися в Европе пионерами исследований в этой области. Год за годом работали они, снимая слепки и отпечатки с гильз, фотографируя и микрофотографируя эти гильзы, позолачивая свинцовые пули, чтобы они лучше получались на фотоснимках.

Именно благодаря им европейские учреждения по идентификации огнестрельного оружия долгое время занимались гильзами в гораздо большей степени, чем американские. В Париже вернулся к своей работе профессор Балтазар. Другой французский исследователь — Локар из Лиона — шел собственным путем. В Голландии доклады о своих опытах делали такие криминалисты и химики, как Гульст и Ван Ледден Гульзебош. В Афинах ставил эксперименты греческий исследователь Георгиадис. Русские Матвеев и Зускин, как и поляк Соболевский, выступили с рядом научных работ по экспертизе огнестрельного оружия. В Германии занимались научными изысканиями и экспериментами Август Брюнинг и д-р Крафт из Берлина, Фридрих Петруски из института судебной медицины университета в Бреслау, советник полиции Вайценеггер из управления полиции Штутгарта, а также Отто Мецгер, директор бюро химических экспертиз города Штутгарта. Мецгер был страстным охотником, и эта страсть привела его к судебной баллистике. Он сам проектировал аппараты для своих исследований и передавал заказы на их изготовление в мастерскую своего друга — знаменитого Роберта Боша. Шаг за шагом эти люди добивались успехов в новой области. Они накачивали пули по пластилину, копировальной бумаге и оловянной фольге, по свинцовым пластинкам и массе для снятия слепков с зубов. Они копировали каналы стволов оружия, вскрывали оболочку пули и разворачивали ее, чтобы получить всестороннюю картину пули. Они создавали даже аппараты, которые с помощью чувствительных иголок исследовали поверхность вращающихся пуль и выявляли при этом неровности, которые изображались подобно температурной кривой. Они производили пробные выстрелы и долго искали наилучшую среду для того, чтобы уловить затем эти пули, не повредив их: стреляли в мягкую древесину, в восковые плиты, в ящики с ватой, а корзины с тряпьем и землей, в толстые книги или в трубки, наполненные водой. Они фотографировали с микроскопом и без него, при искусственном освещении, при дневном свете и с помощью выпуклых кассет, чтобы точнее отразить изгибы пуль и гильз. Они наклеивали микрофотографии для сравнения одну возле Другой или одну над другой. Отто Мецгер и его сотрудники Хеес и Хасслахер пошли с 1923 г. по тому же пути, который за четыре года до того проложил Уэйт: собирали все доступные им виды личного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему и измеряли их характерные признаки, составляя соответствующие каталоги. Таким путем они создали наконец «Атлас пистолетов», который, правда, охватывал не 1500 видов оружия, как коллекция Уайта, а лишь 100, но для тесной территории Европы и он имел бодрое значение. Однако в одном отношении европейским пионерам баллистики не повезло: путь к настоящему сравнительному микроскопу остался для них закрытым. Правда, Отто Мецгер в ходе своих работ обратился к фирме «Ляйц» и осведомился, можно ли сконструировать такую аппаратуру, в которой удалось бы одновременно обследовать две пули, но еще прежде, чем у него согрела эта мысль, изобретение Грейвелла перешагнуло Атлантику, придя из Нового Света в Старый.

Правда, по прихоти судьбы, в силу случайного стечения обстоятельств, которое так часто встречается в сфере международных научных связей, сравнительный микроскоп на своем пути в Европу сделал крюк — никем не объясненный, но документально подтвержденный — в сторону Средиземного моря, до Каира в Египте.

С 1917 г. шотландец Сидней Смит руководил отделом судебной медицины министерства юстиции Египта. Судебно-медицинская экспертиза по всем серьезным делам о преступлениях, совершенных на берегах Нила, проходила через его умелые руки, так что его положение было единственным в своем

роде. В мемуарах Смит вправе был с гордостью отметить: «В течение ряда лет мы имели, вероятно, самые лучшие судебно-медицинские лаборатории в мире». Но вряд ли кто знал об этом. Лондон, Париж, Берлин, Рим — это были известные каждому центры криминалистики. Но Каир?...

С 1905 г. в Египте стало нарастать национальное движение против господства англичан, а с 1919 г. началась непрекращавшаяся вереница революционных вспышек. «Когда волнения достигли своего апогея,— вспоминал Смит несколько десятилетий спустя,— мой morg оказался слишком малым». Не только в англичан, но и в египтян стреляли почти без разбора. При этом чаще всего никогда не было свидетелей, готовых дать показания. Такая ситуация побудила Сиднея Смита, подобно многим европейским судебным медикам, заняться совершенно новой для него областью — идентификацией огнестрельного оружия. Раз в Египте молчали свидетели, то показания против убийц должны были давать пули и гильзы.

Приступив к этой работе, Смит не знал многого из того, что знали Уэйт или Калвин Годдард в начале своей деятельности. Но число убитых, множество гильз и пуль, которые тащили в его институт, предоставляли ему широкие возможности для быстрого и основательного изучения новых проблем. Он доказал египетским правительственным чиновникам, что патроны, которыми стреляли во время одного из бунтов, были добыты из арсеналов их собственной полиции. У него появилось много врагов, но он не дал сбить себя с толку. В 1924 г. он случайно прочел небольшую заметку о том, что Уэйт и Грейвелл совместили в одной конструкции два микроскопа, чтобы лучше сравнивать пули. Смит тотчас же взялся за работу и смастерил свой первый сравнительный микроскоп. Все это было как нельзя кстати, ибо уже через несколько недель произошло сенсационное событие, повлекшее принципиальную проверку его мастерства.

19 ноября 1924 г. на улицах Каира был застрелен британский сардар, то есть главнокомандующий египетской армией сэр Ли Стэк-паша. В центре города его автомобиль должен был пересечь трамвайные рельсы, поэтому он замедлил ход, и в тот же момент несколько заговорщиков открыли огонь. Стеля, они еще пару минут бежали за машиной, а затем скрылись на ожидавшем их такси. Сардар скончался от внутреннего кровотечения, его телохранители были ранены.

Сидней Смит поспешил к месту преступления, где обнаружил девять гильз от патронов. Из тел потерпевших было извлечено шесть пуль. К тому времени Смит накопил достаточный опыт, чтобы быстро определить, что все гильзы отстреляны из автоматических пистолетов 32-го калибра, но из трех различных типов таких пистолетов. На трех гильзах были специфические следы «захватов» выбрасывателя кольта. Пули тоже были 32-го калибра. Пять из них путем надреза их головок были превращены в так называемые «дум-дум» — разрывные пули, которые, попав в человека, оказывают особенно губительное действие. Пули эти тоже вылетели из пистолетов трех различных типов: во-первых, из кольта с шестью левыми нарезками, во-вторых, из маузера с четырьмя правыми нарезками и, в-третьих, из браунинга либо из пистолета марки «Сюртэ» с шестью правыми нарезками. Колт, по всей вероятности, был в плохом состоянии, следы его нарезков были едва видны. Кроме того, на его пулях было много бороздок, а это означало, что на дуле кольта есть дефекты. Смит задумался над этими бороздками: где-то он их уже видел. Да, он был уверен, что видел их, и не раз, а довольно часто. И он обратился к своей коллекции пуль.

Там, их за несколько лет скопились сотни, а то и тысячи. Одну за другой сравнивал он их с пулями из кольта, которыми стреляли в сардара. Сомнений не было: тот же самый колт, который использовался во время последнего нападения, послужил орудием многих других убийств и покушений на убийство.

Тем временем египетская полиция искала виновных старым, проверенным способом — через шпики. Наконец шпики сообщили, что покушавшиеся принадлежали к националистической группе, руководимой адвокатом Шафиком Мансуром. Чуть позже стали известны и имена двух исполнителей — это были братья Энайат. Правда, против них не было ни малейших доказательств. Но Смит обещал представить доказательства, если в его распоряжении будет оружие подозреваемых.

Смиту представилась возможность заполучить это оружие. Один из шпики предупредил подозреваемых братьев о грозящем аресте. «Убегайте в Триполи»,— посоветовал он. И оба действительно решили бежать — бежать на поезде через пустыню. В пустыне полиция остановила поезд, арестовала Энайатов и обыскала их. В ходе обыска из корзины с овощами вывалились четыре пистолета.

Смит с нетерпением дожидался этих трофеев у себя в лаборатории. Два пистолета были 25-го калибра и не вызвали у него интереса. Однако два других, колт и пистолет марки «Сюртэ», были 32-го калибра. Громко разносились пробные выстрелы Смита по двору его тихого института, а выстреленные пули из корзин с хлопком сразу попадали под сравнительный микроскоп. Будь в то время у Смита побольше опыта, он непременно бы достиг еще более значительных результатов. А так он провел сравнение пуль, использованных при совершении преступления, и пробных пуль, выстреленных им из пистолета марки «Сюртэ», и не очень уверенно пришел к выводу: сравнение гильз и пуль показало, что при покушении на сардара был использован пистолет «Сюртэ». Но все сомнения отпали, когда Смит перешел к исследованию пробных пуль, выстреленных из кольта. На них были те самые бороздки, которые ему часто приходилось видеть. Так как Смит всегда старался избегать скороспелых выводов, он обследовал еще несколько дюжинок кольтов. Лишь убедившись, что ни один из них не оставлял на пулях бороздки, он сообщил нетерпеливо ждавшему от него известий начальнику каирской полиции, что пуля, убившая сэра Ли Стэк-пашу, была выпущена из кольта братьев Энайат.

Впервые политические убийцы в Египте столкнулись с немим и тем не менее таким красноречивым свидетельством, как их собственные пули. После первоначального скепсиса братьев Энайат охватила растерянность, сознание провала, затем они признали свою вину, выдав сообщников — Шафика Мансура и Махмуда Рашида. В доме Махмуда нашли пилки, напильники и двое тисков с колодками, покрытыми цинковыми обманками. По обманкам

Смит смог установить, что в них зажимали округлые предметы, по величине совпадающие с патронами 32-го калибра. В шарнирах тисков осталась металлическая пыль (свинец, медь, никель), которая оказалась идентичной по составу со стружкой, полученной при обработке напильником пуль, причинивших смерть. Таким путем удалось доказать, что пули, предназначенные для убийства, превращались в доме Рашида с помощью напильника в разрывные пули «дум-дум».

В конце мая 1925 г. Сидней Смит в качестве эксперта стоял перед судом в характерной для него позе: в одной руке у него был кольт убийцы, в другой — монокль. Он был последним свидетелем обвинения, и его показания легли в основу приговора.

*б. Роберт Черчилл, или Блеск и тени оружейника. Ошибка, повлекшая оправдание убийцы. 1927 г.— дело Брауна и Кеннеди. Британская увертюра к внедрению сравнительного микроскопа.*

Из Каира сравнительный микроскоп сделал свой последний большой прыжок на пути в Европу. Правда, и теперь он не сразу направился на континент, а забрел сначала в Лондон.

Написанная Смитом статья о деле сардара, которая в 1926 г. была опубликована в «Британском медицинском журнале», выходящем в Лондоне, привлекла внимание к сравнительному микроскопу. Ее прочитал человек, который в свою очередь давно уже бился над секретами экспертизы огнестрельного оружия,— Роберт Черчилл из Лондона.

Роберт Черчилл не был одним из тех находившихся на государственной службе ученых и криминалистов, которые все больше и больше определяли облик криминалистической науки на континенте. Он был, что называется, оригинал в полном смысле слова — этот сорокалетний мужчина, с мощными бицепсами и несколько бычьим лицом. Оружейный мастер по профессии, он из маленькой мастерской, изготавливавшей винтовки для стендовой стрельбы, сделал одно из самых солидных британских предприятий по выпуску дорогостоящего огнестрельного оружия ручной работы. Теперь это предприятие носило его имя. Его деловая контора на углу Ориндж-стрит вблизи Лестер-Сквер, в западной части Лондона, была похожа по царившей там атмосфере на английский клуб. На стенах висели предметы из его ценнейшей коллекции оружия. Под ними громоздились посылки с оружием, отправляемым во все части огромной Британской империи. Здесь Черчилл принимал своих клиентов и друзей из Англии, Индии и Южной Африки. Отсюда же они вместе отправлялись на охоту.

В 1910 г. английский суд впервые привлек его к участию в процессе об убийстве в качестве эксперта по баллистике. С тех пор постепенно стало само собой разумеющимся, что за советом по вопросам судебной баллистики следует обращаться к Роберту Черчиллу.

Черчилл, бесспорно опытный в делах, касающихся огнестрельного оружия, постоянно экспериментирующий, но так же мало, как и другие эксперты тех дней (не говоря уже о шарлатанах), владеющий надежными методами исследования, пользовался репутацией лучшего эксперта Великобритании в своей области, и обвинители умели оценить силу его воздействия, особенно если речь шла о том, чтобы убедить присяжных.

Насколько велик был его авторитет, легко судить хотя бы по тому факту, что он не так уж редко выступал вместе с Бернардом Спилсбери. Впоследствии Сидней Смит вспоминал: «С ним (Спилсбери) приходил Роберт Черчилл, эксперт по баллистике, который пользовался также заслуженной славой отличного оружейника, но был таким же упрямым и таким же догматиком, как Спилсбери. По делам, связанным с применением огнестрельного оружия, они часто выступали вместе. Они действительно были грозной парой, и ужасно было, когда они... допускали ошибки...»

Отзыв Смита не был лишен оснований. Одну из таких ошибок (в деле Дональда Меррета) Черчилл вместе со Спилсбери совершил как раз в то время, когда знакомился со статьей Смита в «Британском медицинском журнале». И позже, в 1932 г., он еще раз не избежал опасности поспешных выводов. В Лондоне, в суде Олд-Бейли двадцатилетняя светская дама Эльвира Барни обвинялась в убийстве своего юного любовника Майкла. Очевидцев этого убийства не было, а Эльвира Барни утверждала, что речь идет о несчастном случае. Она, мол, в пылу ревности стала грозить своему любовнику, что застрелится, а Майкл попытался отнять у нее пистолет и при этом случайно раздался роковой выстрел.

Роберт Черчилл, будучи экспертом обвинения, заявил, что оружие, использованное при совершении данного деяния, является чуть ли не самым безопасным огнестрельным оружием, которое когда-либо выпускалось. Выстрелить из него можно, только применив значительную силу. А это значит, что утверждение, будто оружие выстрелило «случайно», абсолютно несостоятельно.

И снова мертвая тишина воцарилась в зале суда, когда Патрик Гастингс, один из самых знаменитых британских защитников по уголовным делам, выступавший в 30-х годах, в ходе принявших драматический характер прений сторон шутливо взял в руку пистолет Эльвиры Барни. Подвергая при этом Черчилла перекрестному допросу, он позволил себе в это время так же шутливо «цокать» курком этого пистолета. Цок, цок, цок.. И с каждым «цоканьем» присяжным становилось все более ясно, как на самом деле легко стрелять из этого оружия. Позже, однако, ходили слухи, что спуск курка не был таким легким, как это казалось, и что Гастингс будто бы даже от чрезмерного напряжения повредил себе



указательный палец. Правда это или легенда, но, во всяком случае, опыт учил Черчилла, что, подобно любому другому эксперту периода становления судебной баллистики, он не застрахован от ошибок, притом самых серьезных.

Это, однако, не помешало тому, чтобы внедрение сравнительного микроскопа и научной судебной баллистики в Англии навсегда оказалось связанным с именем Роберта Черчилла и легендой вокруг этого имени.

Взявшись мастерить сравнительный микроскоп, Черчилл поехал в Нью-Йорк, где встретился с Годдардом лично. Микроскоп Черчилла отнюдь не был шедевром, но свое предназначение он выполнял. И так же, как в свое время с Годдардом, именно случай сыграл свою роль в судьбе Черчилла, доставив ему в нужный момент сенсационное дело об убийстве, выступая в процессе по которому он дал столь же сенсационный старт сравнительному микроскопу и судебной баллистике в Великобритании. Это было дело об убийстве констебля Гаттериджа в ночь с 26 на 27 ноября 1927 г.

Ранним утром 27 ноября стояла пасмурная, туманная погода. Водитель почтовой машины Уорд из Стейплфорд-Эббеса (графство Эссекс), проезжая по Ремфорд-Онгар-роуд, увидел у кромки дороги полицейского, лежащего в луже крови. Его записная книжка валялась на земле рядом с упавшим с головы шлемом. В правой его руке был зажат карандаш, которым полицейский, видимо, делал записи. Не было никаких следов борьбы. На левой щеке виднелись две пулевые раны. Одна пуля вышла через затылок, другая — через правую щеку. Необычное и вместе с тем ужасное впечатление производил тот факт, что убийца выпустил еще две пули — по одной в каждый глаз полицейского, как бы стремясь погасить обличающий взгляд умирающего. Уорд остолбенел от ужаса. Он узнал убитого: это был констебль Гаттеридж.

Начальник эссекской полиции обратился за помощью в Скотланд-Ярд. Из Лондона был прислан главный инспектор Беррет. Этот грузный, широкоплечий, бородатый сотрудник Скотланд-Ярда пользовался уже тогда достаточным авторитетом. Но именно дело Гаттериджа сделало его знаменитым, и впоследствии он посвятил ему вступительную главу своих мемуаров. Но важнее было все-таки то, что Беррет не принадлежал к старой полицейской гвардии, отрицательно относившейся к техническим и научным достижениям.

Осматривая место происшествия, Беррет обнаружил отпечаток автомобильной шины на поросшей травой земле у кромки дороги и стал довольно эффектно конструировать возможные ситуации происшедшего. Дорога ночью не освещается, а карманный фонарик Гаттериджа был спрятан в мундире. Если Гаттеридж хотел что-то записать, ему нужен был свет. Или, может, ему хватало света от фар автомобиля? А не хотел ли он записать номер какой-нибудь подозрительной автомашины?

Вскоре поступило донесение, что прошлой ночью в Биллерикэй был угнан автомобиль доктора Пауэлла с находившимся в нем врачебным саквояжем. Беррет увидел в этом подтверждение того, что находится на правильном пути. А чуть позже был обнаружен и угнанный автомобиль. Воры бросили его на отдаленной дороге, видимо, в сильной спешке. На колесах налипли комья земли и травы. На подножке возле сиденья водителя были пятна крови, а позади левого переднего сиденья сержант полиции обнаружил стреляные гильзы. Поскольку Беррет кое-что слышал о возможностях судебной баллистики, он позаботился о том, чтобы эти гильзы были посланы на баллистическую экспертизу. То же произошло и с тремя пулями, найденными в теле убитого и возле него. Проведение экспертизы поручено было Генри Иббитсону, Уильяму Фоксу и Генри Перри, испытателям оружия Королевского арсенала и Королевской фабрики ручного оружия в Инфилд-Лох, но в первую очередь — Роберту Черчиллу из Лондона.

Испытатели оружия пришли к выводу, что пули, выстреленные в глаза Гаттериджа, были частью патронов, которые не производятся уже несколько десятилетий. В лицо же жертве стреляли модернизированными пулями с бездымным порохом. Довольно легко были идентифицированы и найденные гильзы. Все они были 45-го калибра и были выпущены из револьвера одной из следующих марок: «Кольт», «Уибли» или «Смит и Вессон». О какой конкретно марке идет речь, испытатели не установили. И тут — именно тут — в образовавшийся пробел впервые втиснулся Черчилл со сравнительным микроскопом. Хотя смертоносные пули, наткнувшись на кости черепа, сильно деформировались, они вполне годились для того, чтобы их можно было сравнить с пробными пулями, выстреленными соответственно из револьверов «Кольт», «Уибли», «Смит и Вессон». Сравнительный микроскоп позволил Черчиллу сделать вывод: все пули выстрелены из револьвера «Уибли».

Беррет и несколько дюжин других сотрудников полиции развернули настоящую охоту за револьверами этой фирмы. Наконец в Хаммерсмите был найден выброшенный кем-то «Уибли». Все испытатели оружия независимо друг от друга склонялись к предположению, что гильзы от патронов, найденные в автомобиле убийц, вылетели из этого револьвера. Казалось, имелись совпадения между линиями на шляпках гильз и на патронном упоре затвора револьвера. Увеличенные фотоснимки (как часто они уже приводили к заблуждениям!) усилили это предположение. Но Черчилл продолжал стрелять пробными пулями из найденного «Уибли». Он слышал их с пулями, причинившими смерть, под микроскопом, и... картина получалась совершенно иная. Револьвер «Уибли» из Хаммерсмита ни в коем случае не мог быть оружием, из которого было совершено данное убийство. Над сравнительным микроскопом склонился не только Черчилл, но и испытатели оружия, которые вынуждены были внести соответствующие коррективы в свои выводы.

Снова началась охота за револьверами. Беррета при воспоминании о Гаттеридже неотступно преследовали его пустые глазницы. Тот, кто произвел эти выстрелы, считал он, должен быть особенно

жестоким и бесчувственным. Он проштудировал список известных преступников, особенно отличавшихся насилием, и прямо в самом его начале столкнулся с именем Фредерика Гая Брауна. Последний уже несколько раз отбывал наказания за свои преступления. Это был неисправимый, жестокий тип. Время от времени он занимался торговлей автомобилями сомнительного происхождения, как раз неподалеку от места, где произошло расследовавшееся Берретом преступление. В настоящее время он держал маленькую ремонтную мастерскую в Баттерси. Беррет велел понаблюдать за ним, но не находил никаких оснований для его ареста и для обыска его гаража до тех пор, пока в конце января 1928 г. Браун не продал очередную краденую автомашину. Теперь Беррет принялся за дело. Войдя в мастерскую Брауна, он наткнулся на еще одну машину. В ней лежали не только инструменты из врачебного саквояжа доктора Пауэлла, но и заряженный револьвер марки «Уибли» с огромным количеством боеприпасов к нему. Браун клялся в своей невинности: Гаттеридж будто бы был ему совершенно незнаком, а револьвер «Уибли» он купил в апреле прошлого года.

На следующее утро Черчилл и испытатели оружия занялись оружием, найденным при обыске. Сравнительный микроскоп Черчилла на удивление быстро дал в распоряжение экспертов главные связующие звенья. Бороздка на пуле, причинившей смерть, соответствовала бороздкам на пробных пулях, выстреленных из «Уибли». Но так как пули были деформированы, Черчилл отказался представлять их присяжным в качестве доказательства. «Присяжным,— сказал он,— предстоит в первый раз столкнуться с результатами, полученными с помощью сравнительного микроскопа. Поэтому им вообще нельзя давать никакого повода для сомнений. Они должны быть убеждены».

В этом чувствовалась накопленная мудрость. Но необходимую убедительность давало именно сравнение пробных гильз из «Уибли» с гильзами, обнаруженными в автомобиле убийцы. Неровности на патронном упоре «Уибли» и шляпках гильз полностью совпадали. Чтобы не рисковать, Уильям Фокс, испытатель оружия из Инфилд-Лох, обследовал патронные упоры всех 1374 видов ручного огнестрельного оружия, находившегося как раз тогда на ремонте в Королевских мастерских. Не обнаружив ни единого патронного упора, чьи выступы соответствовали бы бороздкам на гильзах, он окончательно убедился в правоте выводов экспертизы.

Еще до окончания экспертизы оружия Беррет арестовал мужчину по фамилии Кеннеди, которого часто видели вместе с Брауном. При аресте Кеннеди пытался стрелять в полицейских, но оружие дало осечку. Оно тоже было обследовано. Выяснилось, что оно не имеет никакого отношения к оружию, которым было совершено убийство. Правда, роли это уже не играло, ибо Кеннеди признался, что они вместе с Брауном похитили автомобиль доктора Пауэлла. По его словам, констебль Гаттеридж остановил их и Браун выстрелил из автомобиля в ничего не подозревавшего полицейского.

23 апреля 1928 г. судья Эйвори открыл в Олд-Бейли слушание дела по обвинению Брауна и Кеннеди. Впервые в традиционно оформленное старое здание была приглашена современная судебная баллистика. Сравнительный микроскоп произвел фурор. Об успешном его применении все еще продолжали говорить, когда в пентонвиллской и уондсуортской тюрьмах в отношении обоих подсудимых был приведен в исполнение приговор к смертной казни. Конечно, и после процесса не обошлось без скептиков, которым доказывание с помощью микроскопа казалось явлением зловеющим и неконтролируемым. К ним относился Дж. Б. Шоу, который так любил высказываться по всевозможным поводам. В открытом письме он писал о «сфабрикованных царпинах на пистолетах и патронах, призванных повлиять на присяжных». Но его высказывания на этот раз опровергались действительностью. Черчилл не ошибся, и за ним по праву закрепилась репутация человека, которому Великобритания обязана внедрением судебной баллистики.

### *7. Фундамент будущего прогресса.*

Из Лондона путь сравнительного микроскопа лежал дальше. Следующим, кто сконструировал у себя на родине сравнительный микроскоп, был швед Сёдерман. За ним последовали Эдмон Локар в Лионе, Мецгер в Штутгарте, Крафт в Берлине. С 1930 г. в Европе какое-то время насчитывалось больше сравнительных микроскопов, чем в Америке, где этот метод исследования хотя и возник, но научная криминалистика еще не достигла уровня развития, характерного для Европы. Еще долго (отчасти даже после второй мировой войны) обсуждалась проблема, является ли судебная баллистика частью судебной медицины, которой она в Европе стиль многим обязана, или же она должна быть полем деятельности технических специалистов, в то время как экспертиза огнестрельных ран по-прежнему останется за судебной медициной. Это была дискуссия, которая во многом напоминала борьбу за место токсикологии в криминалистике. Но в конечном итоге все более утверждалось мнение, что новая область требует столь много забот, времени и ответственности, что не может быть освоена людьми, которые одновременно заняты научными исследованиями другого рода. В течение десятилетий большинство стран создавали собственные баллистические отделы, по преимуществу в рамках полицейских лабораторий, историю развития которых мы проследили. Они проводили не только сравнительное исследование огнестрельного оружия, но часто также и химико-физическое определение дальности выстрелов. Так как в большинстве лабораторий физики, химики и техники-оружейники работали рядом друг с другом, то такое решение вопроса напрашивалось само собой. Кроме того, возникли обширные централизованные коллекции для сравнения оружия и боеприпасов.

Эпоха «специалистов по всем вопросам» здесь тоже пришла к концу и сменилась более или менее тесным сотрудничеством специалистов различных профилей. Но это не означает застоя в

криминалистической науке, ибо постоянная готовность преступного мира использовать новейшие достижения оружейной техники столь же мало располагает к нему в сфере судебной баллистики, как и на ниве судебной медицины или токсикологии.

Последующее развитие этих наук ничего не изменило в основных принципах, явившихся результатом труда многих людей на протяжении многих десятилетий. Эти принципы и образовали прочный фундамент будущего прогресса.

*Ю. Торвальд Век криминалистики*  
*Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс»*  
*Государственного комитета СССР по печати. 119847, Москва, Зубовский бульвар,*  
*17.*